



1

Андрей  
**СИНЯВСКИЙ**

127 писем  
О ЛЮБВИ



5 мая 4

15 мая.

22 мая.

17 мая.

14 ноября

12-14 сентября.

15 сентября.

6 декабря.

4 декабря

6 мая.

2 июня 1966.

11 ноября.

3 октября

1 июня.

5 июня.

2 августа 1966.

8 июня (чт)

15 ноября 1966.

25 сентября.

10-15 августа 5-4

4-5 августа 66.

3 сентября 1966.

13 января

25 мая.

1 августа.

8 октября.

17 августа.

18 августа.

16 августа.

17 октября.

18 мая.

20 июня.

17 июня.

20 января 1966.

9 сентября.

12 июня.

11 сентября.

8 сентября.

21 октября.

1-2 октября.

15 ноября 1966.

7 декабря.

11 декабря.

13 ноября.

10 января.

1 октября 1967.

1-2 декабря.

7 ноября 1966.

13 октября 1966.

27 декабря.

4 января.









Андрей  
**СИНЯВСКИЙ**  
127 писем  
О ЛЮБВИ

МОСКВА ■ АГРАФ ■ 2004

УДК 821.161.1(092)Синявский А.Д.  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Синявский А.Д.  
С38

Предисловия *Л. Флейшмана и М. Розановой*  
Подготовка текста и примечания *М. Розановой*  
Художник *А. Зарубин*

Издание подготовлено при участии общества «Мемориал»



Информационный спонсор –  
радиостанция «Эхо Москвы»

**Синявский, Андрей Донатович.**

С38 127 писем о любви: [В 3 т.]. т. 1 / Андрей Синявский. – М.: Аграф, 2004. – 464 с. – ISBN 5-7784-0293-7

Лагерные письма Андрея Синявского обращены к единственному адресату – жене Марии Розановой. Разрешенные два письма в месяц были местом встречи с семьей, творческой лабораторией писателя, дневником и записной книжкой. Сегодня эти письма позволяют лучше понять и книги хулигана и разбойника Абрама Терца, ни одна из которых не вышла в мир без шумового сопровождения скандала и брани, и статьи почтенного профессора Сорбонны Андрея Синявского.

Первый том – письма 1966–1967 годов. В СССР тогда начиналось диссидентское движение, во многом вышедшее из дела Синявского-Даниэля. Но почему же Андрей Синявский никогда не называл себя диссидентом, а только, шутя, «незаконным отцом диссидентского движения»? Почему между вчерашними друзьями и, казалось бы, единомышленниками едва ли не сразу по окончании процесса возникли разногласия? Все ли средства хороши? И где граница между спором о путях и методах сопротивления и травлей, известным способом советской коллективистской расправы: все на одного, один против всех. Письма позволяют лучше понять, что происходило в те годы в окружении участников знаменитого процесса. «Примечания адресата» включают фрагменты писем М. Розановой к мужу.

УДК 821.161.1(092)Синявский А.Д.  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Синявский А.Д.

ISBN 5-7784-0293-7

© Издательство «Аграф», 2004  
© Розанова М.В., 2004



## МУЖСКОЕ ПИСЬМО\*

Книга эта – ошеломляет.

Она создавалась в трудно вообразимых условиях долгих лагерных лет и писалась, как нескончаемый разговор с оставшейся на воле, по ту сторону тюремной стены, семьей.

Попав в лагерь, Андрей Синявский свел всю разрешенную властями дозу – два письма в месяц – к переписке с женой, каждое слово, шедшее на волю, каждый привет, посылаемый другу, каждую просьбу, адресуемую вовне, направляя через нее. Такая самоизоляция Синявского (столь отличавшаяся от поведения его подельника Даниэля) могла бы удивить или даже обидеть кое-кого из друзей и знакомых.

Причины, заставившие его пойти на это, становятся очевидны с публикацией этой книги, и они говорят о Синявском, человеке и писателе, столь же сильно, как его осуществившееся намерение вызвать к жизни «другую литературу».

Выход этой книги перед лицом новых поколений читателей, не имеющих личного соприкосновения с временем, когда она создавалась, обязывает вернуться на четыре без малого десятилетия назад, когда весной 1966 года судебный процесс над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем обозначил резкую грань в истории духовной жизни советской интеллигенции послесталинского периода.

Писателей судили и осудили за контрабандную пересылку своих произведений недозволенного толка за границу и публикацию их там под псевдонимами Абрам Терц (Синявский) и Николай Аржак (Даниэль). По нормам того времени путь в литературу, в журналы, к печатному станку был строго регламентирован на всех стадиях, как для членов Союза советских писателей, так и для прочих граждан. Так что уже то, что обвиняемые решили

---

\* Название заимствовано у Бориса Пастернака, из черновых вариантов к поэме «Лейтенант Шмидт».

стать писателями на собственный страх и риск, оказывалось тогда, в конце 1950-начале 1960-х годов, дерзким вызовом советскому порядку вещей.

Вызов состоял именно в том, что Синявский и Даниэль отнеслись к писательскому труду как к делу совершенно приватному, не имеющему никакого касательства к государственно регулируемым занятиям, правам и обязанностям. Они отдавали себе полный отчёт в исконно преступном характере изначального замысла и поэтому работали над своими произведениями в глубокой тайне, заботясь, чтобы о рукописях не прознал и случайный свидетель.

Замысел при этом был преступным вдвойне. Синявскому было мало – не писать так, как было предустановлено официальными правилами, а только так, как ему хотелось; ему было мало издать написанное – не там и не так, как полагалось по ранжиру, а под строгим секретом переправив за кордон. Конечной задачей он считал создание литературы, которая явилась бы альтернативой литературе советской: пренебрегала бы границами разрешенной тематики и – что было еще нужнее и еще опаснее – была бы несовместима с государственными нормативами в плане чисто художественном, стилистическом.

Арест Синявского и Даниэля в начале сентября 1965 года – о котором почти сразу же сообщили иностранные радиостанции и газеты – стал оглушительной новостью сразу по нескольким причинам. Во-первых, наступившая после смерти Сталина «оттепель» в общественной жизни и начавшаяся после XX съезда партии кампания «десталинизации», набиравшая обороты на протяжении всего правления Хрущева, казалось, начисто исключали аресты по политическим статьям. А данный случай был именно таким, – опубликованные за рубежом литературные произведения были приравнены к враждебной, антисоветской пропаганде. Во-вторых, коль скоро арестованных обвиняли в публикации своих произведений на Западе, возникало недоумение, почему уготованная им кара оказывалась куда свирепей по сравнению с памятной расправой, учиненной над Борисом Пастернаком (после присуждения ему в 1958 году Нобелевской премии) за столь же незаконную, – по советским представлениям – публикацию за границей романа «Доктор Живаго». Конечно, Пастернак не



скрывался под псевдонимом; конечно, писательские свои занятия он не совершал в секрете, конечно, его писательский статус был издавна признан всем миром. И если взять и другие просочившиеся за рубеж литературные произведения, написанные в Советском Союзе, но по цензурным, идеологическим условиям не могущие быть там опубликованными, – например, «Реквием» Ахматовой, то, конечно; издания эти, по крайней мере, не воспринимались как санкционированные самими авторами и принятые по их воле и желанию. Но могли ли все эти различия оправдать готовящиеся суровые меры? Арест Синявского и Даниэля произошел через год после смещения Хрущева. Либеральная интеллигенция резонно усмотрела в самом факте предстоящего судебного процесса над писателями зловещее подтверждение опасениям, что новое руководство государством готово вернуться к старым порядкам.

К тому времени 40-летний Синявский завоевал себе известность и как историк литературы, и как журнальный критик, и как искусствовед, и трудно сказать, какая из этих ипостасей казалась советской интеллигентной публике более важной. В соавторстве с Игорем Голомштоком он написал вышедший отдельным изданием очерк о Пикассо – первую книгу о художнике, появившуюся в Советском Союзе после многолетнего перерыва. Он становился одним из постоянных авторов журнала «Новый мир», главного оплота либеральной интеллигенции, редактировавшегося Твардовским. Среди одарённых авторов этого журнала, в круг которых было не так-то легко пробиться, Синявского выделяли, вескость, глубина и независимость суждений, свежесть оценок, напряженная пульсация мысли и красота ее выражения – качества редкие при жёстких цензурных условиях тогдашнего времени. В Институте мировой литературы имени Горького, где Синявский состоял научным сотрудником в секции советской литературы, он был первым, кто – после долгих лет полного запрета на многие имена – выступил с обстоятельными разборами лучшего, что было в русской литературе XX века. За год до ареста вышла написанная им вместе с Андреем Меньшутиним книга «Поэзия первых лет революции», где, в частности, впервые давалась характеристика русской модернистской поэзии начала века, дотоле подвергавшейся полному замалчиванию. Конечно, не все в этой кни-

ге сегодня покажется столь дерзким, каковым явилось тогда, потому что не все сегодня сохраняют память о том, какое сопротивление приходилось преодолевать в борьбе с цензурой и идеологическим контролем администрации, и о том, на какие ухищрения приходилось идти, чтобы намеком, случайной, казалось бы фразой, или беглой библиографической справкой довести до читателя правду о целом пласте русской культуры, память о котором десятилетиями вытравлялась из советского обихода. Одним из проявлений этой борьбы за освобождение литературы прошлого от цензурных препон явилась статья Синявского о Борисе Пастернаке, напечатанная как предисловие к сборнику стихотворений поэта, вышедшему в серии «Библиотека поэта» за несколько недель до ареста Синявского. Ранний вариант статьи автор показал Пастернаку еще в 1957 году, и поэт назвал ее лучшим из когда-либо написанного о нем.

И литературно-критическая, и в еще большей степени «академическая» деятельность Синявского заставляли видеть в нем растущую в своем значении фигуру советского либерального лагеря. Но значительная часть его жизни, как и того, чем на самом деле питалась его умственная работа, – поэтический и художественный авангард в России начала века, философско-мистические искания того же периода, мир древнерусской иконы и народного православия, – лежали далеко от того, что получало выражение в его работах, опубликованных в СССР. Дело не просто в том, что многое из того, чем он занимался «для души», тогда совершенно не интересовало общество и не было ему известно. Дело – в *интенсивности* переживания Синявским всех этих явлений. Недаром он горячо оспаривал определение модернистского периода как Серебряного века в России, считая его веком Золотым. И, конечно, легче себе представить Синявского в контексте художественных и духовных исканий символистской и постсимволистской эпохи, чем в Советском Союзе позднего сталинского и послесталинского периода. Совсем не случайно многие деятели либерального лагеря отвернулись от Синявского после его «разоблачения», осудив молодого критика за «двойную жизнь», и усмотрев в ней предательство общественных идеалов и надежд, разбуженных после смерти Сталина. С другой стороны, суд над Синявским и Даниэлем и беспрецедентное по стойкости поведе-



ние обвиняемых дали толчок новому явлению советской жизни – диссидентскому движению.

Воодушевлявшую Синявского идею альтернативной литературы невозможно истолковывать в чисто политической или общественной плоскости. И не следует привязывать её к детективным обстоятельствам его подпольной биографии до ареста и процесса: ей он остался верен и в лагере, и по выходе из него, когда эмигрировал во Францию, стал профессором Сорбонны и завоевал признание и уважение в западных интеллектуальных кругах. Одержимость этой идеей сделала Синявского и его беспутного двойника – Абрама Терца – неисправимыми диссидентами в любом культурном и общественном окружении. Главное, что осуществлено Синявским и Терцем в русской литературе последних десятилетий, – это стилистическое обновление ее, освобождение от серьезно-величественных традиций реализма (и социалистического, и иного), усматривающего в общественном служении искусства его высшую миссию. Недаром Синявский-Терц стал той точкой, на которой с 1970-х годов сосредоточивались интересы молодых авторов, боровшихся против советского или западного истеблишмента и отвергавших солженицынскую концепцию писательства.

Но все прежде нам известные публикации и Синявского, и Терца дают нам далеко не полное представление об авторе. Настоящее издание картину эту решительно меняет.

Книга поражает и обстоятельствами создания и количеством написанного, но более всего – самым характером, масштабом и глубиной содержащихся в ней размышлений и идей. В записях начисто отсутствуют какие бы то ни было отклики на события внешней жизни. При крайне скупых упоминаниях повседневных деталей жизни в лагере в письмах нет даже беглых намеков на происходившее на воле, – на все то, что вызывало в те годы волнения и ропот в обществе: попытки верхов вернуть страну к сталинской дисциплине, возникновение диссидентского движения, смута, порожденная в среде советской интеллигенции интервенцией в Чехословакию и крахом иллюзий «социализма с человеческим лицом». Главная особенность этого «дневника» – полное погружение в мир искусства и в мир мысли, совершенно отстранившейся от общественных, «земных» забот и тревог. Своей отре-

шенностью, от окружающей лагерной реальности и сосредоточенностью духовной работы записи Синявского напоминают соловецкие письма П.А.Флоренского к семье.

Изумляет в книге и другая ее сторона – необыкновенная широта круга чтения и вызванного им круга размышлений. Такая широта свойственна лишь особо крупным личностям, полностью поглощенным внутренней жизнью и приносимыми мыслью открытиями. Письма эти – бесценный, неисчерпаемый рудник догадок, наблюдений, замечаний, замыслов, да и просто цитат, которые заставляют давно знакомые тексты зазвучать по-новому. И ясно, почему такое происходит: ведь мало кто из современников обладал такой ненасытной влюбленностью в слово и мысль, в литературу и культурное прошлое, как Синявский. Удивительно, что такая трансформирующая сила обнаруживается даже в отношении явлений, которые автору, в общем-то, были не так уж дороги и близки. Вот, например, он сравнивает Горького и картину Ярошенко – и как точно и с какой влюбленностью говорит об обоих, раскрывая в каждом ранее незамеченные грани! Тут проявляется удивительная черта Синявского – редчайшее «всеприятие», универсальность охвата, восприятие культуры, как единого целого, без исторических или национально-пространственных границ. Народная деревянная скульптура, латышская сказка, чеченский фольклор, первобытная мифология, индийские упанишады – все входит как нечто родное, глубоко органическое в сферу его «всемирной отзывчивости». И это не просто «образованность» или «эрудиция» – слова, которые кажутся абсолютно неуместными в данном случае. В поколении Синявского – замечательные ученые-энциклопедисты, принесшие мировую славу русской гуманитарной науке. Но у Синявского была индивидуальная черта, обособлявшая его от сверстников при такой же широте интересов и знаний, а отчасти и при сходном круге увлечений и пристрастий. Черта эта – особая, почти детская замороженность, влюбленная заигипнотизированность искусством, самозабвенное растворение во всех периодах его истории и во всех его формах.

Эта универсальность предстаёт перед нами в лагерных письмах Синявского. Она позволяет автору – подчас всего лишь несколькими штрихами – охарактеризовать всем знакомые предме-



ты с такой захватывающей дух свежестью, что мы никогда уже не сможем взглянуть на них, освободившись от обаяния и точности его беглого наблюдения. Яркий тому пример – сближение Пастернака и поэтических явлений пушкинской эпохи, говорящее о необыкновенном проникновении в самую суть сравниваемого.

Многие из цитат, приводимых в этой книге, обретают новое звучание не просто потому, что замечания Синявского бросают неожиданный свет на знакомые вещи всем известных авторов, – но и потому, что они, эти цитаты, говорят о нем самом что-то такое, что передать иначе, не спрятавшись за чужое слово, было невозможно. Вот он читает и цитирует статью Пушкина:

«Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах, и, получа свободу, издал свою записки. Изумление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью, – прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательности», – и нас пронзает ощущение, что ведь это сказано Пушкиным и о самом Синявском, о его – еще предстоящих – годах в «темнице», и об этих самых «записках», ведшихся как беспрерывно длящийся разговор с женой, а сейчас представших перед нашими глазами в этой вот книге. Холод и дрожь, охватывающие нас, заставляют сразу понять, почему лагерная действительность и вообще текущая реальность – в этих письмах никакого места не находят, и почему при всем этом книга сильнее обнажает действительно существенное в лагерном опыте автора – и в самом духе его времени, – чем могли бы конкретные, «земные» детали.

Немало из того, что мы сейчас встречаем в этих письмах, вошло в вышедшие в эмиграции книги Абрама Терца – «Голос из хора», «Прогулки с Пушкиным», «В тени Гоголя». Само по себе – это еще одно подтверждение исключительной напряженности умственной работы автора, проходившей в немыслимых для творчества условиях. С другой стороны, в контексте лагерных лет Синявского эти знакомые пассажи получают новый, более «стереоскопический» смысл.

Иной читатель, признавая всю силу размышлений Синявского об искусстве, может посетовать, что в печатаемом тексте попадают повторы или что столько места отведено тревогам о домашних делах. Действительно, на страницы писем то и дело врываются

ются признания любви к жене, вопросы о здоровье сына (бывшего грудным младенцем в момент ареста отца), предположения о его росте, развитии и занятиях, гадания о будущем всей семьи, когда лагерный срок истечет. Но стоит сегодняшнему читателю поставить себя на место автора этой книги, увидеть себя мучающимся от неизвестности и невозможности помочь, теряющимся в догадках, не конфисковано ли его письмо – или встречное, ему отправленное, – и вообще представить себя в обстановке «зоны» и тех дней, – чтобы, устыдившись, увидеть не только повседневное, но и высокое человеческое, а потому, как это ни странно покажется, художественное значение этих, казалось бы, чисто житейских строк.

Читать эту книгу нелегко. Но те, кто ее одолеют, будут с лихвой и на всю жизнь вознаграждены ощущением причастности к миру одухотворенности, – таким ощущением, которое целиком меняет человека. Для многих книга эта станет «книгой жизни», чем-то вроде университета, роднее университета.

Удивительно, как современно – именно потому, что вневременно – звучат и сегодня эти лагерные записи Синявского, сделанные сорок лет назад. Здесь больше правды, той конечной, единственно важной правды, которая имеет дело с культурой и местом человека в ней. Здесь полностью уясняется подлинный масштаб этой личности, ставшей точнейшим выразителем интеллектуального брожения в послесталинской России. Поэтому книга эта – не только большого значения человеческий документ, но и историческое свидетельство огромной ценности. Таковым, несомненно, она останется и через много лет.

*Лазарь Флейшман*

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АДРЕСАТА ЭТИХ ПИСЕМ

### **Curriculum vitae**

1955 год, 23-го января – началась наша с Синявским общая жизнь.

1955 год, 8-го октября – в свой день рождения – А.С. рассказал мне о повести «Суд идет», над которой он начал работать, и что печатать ее он собирается на Западе.

1956 год, июль – «Суд идет» с помощью француженки Элен Замойска (Пельтье) отправлен во Францию, где должен печататься под псевдонимом «Абрам Терц». Мы знали, что в случае благополучного исхода этой операции арест неизбежен.

1957 год – ждем публикации и ареста.

1958 год – ждем публикации и ареста.

1958 год, октябрь-ноябрь – А.С. по предложению французского толстого журнала пишет статью о соцреализме, а Элен пересылает ее во Францию.

1959 год, февраль – в парижском журнале «Esprit» анонимно появляется статья А.С. «Что такое социалистический реализм». Ждем ареста.

1959 год, март – не выдержали, показали другу Даниэлю журнал «Esprit», рассказали про Абрама Терца. У друга загорелись глаза, и промолвил он мечтательно: «Я тоже хочу...» В результа-

те по тем же каналам во Францию через год-полтора отправилась повесть Ю.Даниэля «Говорит Москва», которая была опубликована в 1962 году в Америке (для еще большей конспирации) под псевдонимом Николай Аржак.

1959 год, осень – «Суд идет» вышел в Париже. Ждем ареста... А дальше пошло-поехало. Одной рукой отправляем рукописи (1961 год – в Париже выходит сборник Абрама Терца «Фантастические повести», 1963 год – повесть «Любимов», январь 1965 года – «Мысли врасплох»), другой – ждем ареста...

1964 год, август – обнаружили слезку. Дело пошло к развязке. Ждем...

1964 год, 23 декабря – родился Егорка.

1965 год, 8 сентября – Андрей Синявский арестован. **Наконец-то...**

1965 год, 12 сентября – арестован Юлий Даниэль.

1966 год, 10–14 февраля – в Верховном Суде РСФСР идет процесс Синявского–Даниэля, итоги которого – 7 лет лагерей строгого режима А.Синявскому и 5 лет – Ю.Даниэлю.

«**Наконец-то...**» – как вздох облегчения, потому что это было очень трудно – жить девять лет в ожидании конца. Арест и приговор открывали Синявскому новую жизнь – в лагере и в письмах.

### **Vita Nova (5.III.66 – 8.VI.71)**

В новой, в лагерной жизни Андрея Синявского ожидали три серьезных испытания:

**Испытание одиночеством** – потерей *своей* частной жизни, *своего* дома и быта, *своего* письменного стола, *своих* друзей и даже *своих* недругов, – всей той требухи, того скарба, из которых складывается «свой угол» в жизни каждого человека. Лагерь – это скопление, сгусток одиночеств и бездомностей, где переписка – какая-то попытка преодоления, а чемодан с письмами – домострой. Синявский отправлял свои эпистолы 5-го и 20-го числа каждого месяца, а я свои нумеровала с 1-го по 100-е. За лагерные годы я получила от А.С. 127 писем и написала ему 855 (а еще – 173 открытки и 71 телеграмму). Из его писем не дошло только одно. Из моих – 88...



**Испытание бездействием** – когда все и решено, и подписано без тебя, и ты полностью исключен из процесса созидания собственной жизни... Что делать в лагере? «Пустое препровождение времени действует на меня угнетающе и выводит из себя... – писал А.С. в одном из писем. – Никак не могу привыкнуть к бездейственному отбыванию срока и получать удовольствие в результате того, что день быстро закончился и год пролетел незаметно. Слишком рационалистично и утилитарно устроен я, что ли, для того чтобы просто изживать ни на что не годное время».

Решение нашлось почти банальное – писать под псевдонимом «Мария Розанова» и в соавторстве с ней же. Так Андрей Синявский, сидя в лагере, стал автором журнала «Декоративное искусство», где я печаталась еще до ареста А.С. Такое было совершенно невозможно, немыслимо в доперестроечные времена, и авантюра эта сохранялась в глубочайшей тайне даже от ближайших друзей. Постепенно возвращался смысл жизни и ее веселье. Недаром именно в лагере была написана и вмонтирована в эти письма самая радостная книга Абрама Терца – «Прогулки с Пушкиным», – его гимн чистому искусству.

**Испытание толпой**, известностью, жизнью на сцене, когда каждый твой шаг, каждое слово становятся сюжетом для обсуждения. Впервые с этой проблемой я столкнулась в дни процесса, в зале суда, куда я пришла после полугодового следствия, то есть полугодовой разлуки с мужем. И, естественно, мне надо было показать дорогому подсудимому, что в доме все в порядке и за нас не надо беспокоиться, что я жива, здорова и даже нарядна. И вдруг за своей спиной я услышала шипенье: «Вырядилась... серги нацепила... как в театр...» А потом предметом пересудов стал А.С., и завертелась вокруг нас откровенная бесовщина. И быть может, это было самое тяжкое лагерное испытание. Как там у Герцена? «Письма – больше, чем воспоминанья: на них запеклась кровь событий». Читайте сами...

Из этих писем Андреем Синявским сразу по возвращении была составлена книга эссеистско-дневниковой прозы «Голос из хора», были выбраны заметки для «Ивана-дурака», несколько статей и первая глава книги «В тени Гоголя»... А потом письма уехали с нами во Францию, и тридцать лет их никто не открывал...

## Post scriptum

Я не собиралась их печатать, и много раз на издательские проекты друзей и знакомых отговаривалась, что все интересное А.С. уже сам выбрал и опубликовал, и что в его посланиях остались только списки необходимых ему книг, любовное мяуканье и детские слезы.

Но, заглянувши в эти папки в поисках некоторых чисто фактических справок для собственного жизнеописания, для «Абрама да Марьи», я вдруг напала на такой текст: «Читаю Плутарха. Луна большая. Листья падают. Пойду покурю». И увидела, что эти письма – не только и не просто информативный ряд. Письма – проза, и написаны они по законам прозы, и это делает их интересными...

Но как это печатать? Перечитывая их, я поняла, что не хочу академического издания, с ученым дописыванием сокращений и старательными редакторскими разъяснениями и исправлениями. Все это, даже верное и нужное по сути, уничтожает «голос певца», живую интонацию, полет руки, оборвавшей слово жирной точкой.

Письма к любимым женщинам пишутся не по грамматике, а очень часто – в нарушение ея! Отсюда появляются разнообразные грамматические вольности, когда Синявский склоняет несклоняемые имена (Клее, например), африку пишет с маленькой буквы, а Щетку с большой. И вот вам фраза: «получил бандероль с Пикассо и Крупником. Теперь мне бы еще получить Поморин с Зубной Щеткой», где под одной крышей: Пикассо – великий художник, Крупник – друг-писатель, Поморин – зубная паста, а Зубная Щетка – сами знаете что. И все равны, все одинаково важны и значительны для бедного лагерника...

Даже ошибка становится стилистическим приемом: «От ошибка и оговорок слово воспринимается ярче. Не та же ли это сдвинутость образа с предмета, достигаемая силой поэзии» (письмо 98). Синявский возвращает старые написания: «чорт» только через «о» и никакого «черта» не может быть, а Гете только через «е», а Чурлянис только такой, как его писали в журнале «Аполлон», и никакого «Чурлениса», или тем более «Чюрлиониса» никогда не было.

«В моем издании Гофман именуется Эрнест. Но, помнится, в старых изданиях его звали – Эрнст. Хорошо бы он был Эрнстом» (письмо 68).

Лишнее «е» в слове «Эрнест» нарушало для Синявского главное украшение прозы – ее ритм. Украшение внутреннее, глубинное, скрытое. Это вам не пошлая рифма, которой сызмала баловался почти кто угодно и которая прозу только разрушает.

Но самое главное – это слово, его звучание, не слово-информация, а слово-музыка...

Письма печатаются почти без купюр. Сокращены (приблизительно на треть) только три бесконечных сюжета: объяснения мне в любви (сколько можно этих всхлипов!), вопли по поводу Егоркиных болезней (все дети болеют, и это основное содержание их детской жизни), и назойливые подсчеты наших писем – дошло, не дошло, задержалось, дошло, не дошло, задержалось и т.д. ...

Еще необходимо напомнить читателю, что в нашей переписке всегда присутствовал обязательный третий – КГБ. Первым письма Синявского читал лагерный цензор, потом они изучались на Лубянке и только в третью очередь поступали ко мне. Естественно, мы это учитывали и для передачи важных сообщений разработали несколько шифров. Например, после условного слова читай только вторые буквы после точки – получишь что-то интересное (см. письмо 5).

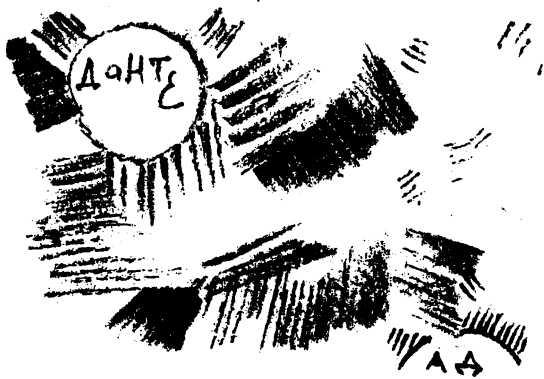
Рассчитывали мы и на малограмотность противника. Так, пересылая Синявскому неопубликованные стихи Мандельштама, я выдавала их за собственные поэтические опыты. А в 1970 году я плакалась в письме: «беспросветная тоска от смерти Тынянова, которую трудно осознать и невозможно поверить; я все время думаю о Наташе, и что она будет без него делать, и как она будет жить, и где, и на что, и зачем?» И кто из них – от лагерного сержанта до московского полковника – знал, что Тынянов умер в 1943 году, а сообщаю я в лагерь о смерти беглеца-эмигранта Аркадия Белинкова? Сам Синявский, имея в виду наших читателей в погонах, в письмах почти никого не называет по именам, и многие друзья и знакомые фигурируют в них под прозвищами. Эти прозвища (как и некоторые зашифрованные сообщения) раскрыты в примечаниях к письмам.

Но зашифровывалась не только горячая информация. Лагерные впечатления тоже не всегда бы прошли цензуру, а потому нуждались в маскировке. Вот, например, мы натываемся на со-

вершенно бессмысленную фразу: «Зачем надел? По глазам вижу, а строить не хочу» (письмо 111). Про что это? Кого строить? Ответ в книге «Голос из хора»:

– Зачем фуфайку надел? По глазам вижу – бежать хочешь, а я стрелять не могу – душа не позволяет. Снимай фуфайку! (Старый надзиратель).

В моих письмах Синявскому было много картинок. Они принадлежали А.Петрову и мне. Все Пушкины и Синявские, все кони и Голомштоки были нарисованы Петровым. Архитектура, собаки, кошки, цветы и птицы были сначала общие – и его, и мои, потом – только мои. Надо добавить, что именно в те годы в мире художников появилась техническая причуда – фломастер, который открывал совершенно новые возможности, позволяя покрывать бумагу толстым жирным штрихом рисовачек. А еще очень шикарно сочетался штрих свежего фломастера и подсохшего. И вдруг, запихнув во фломастерную распальцовку с одной стороны слово «ДАНТЕ», а с другой стороны слово «АД», обнаруживаешь, что это всего-навсего любимые инициалы: Андрей Донатович.



Еще раз напоминаем, что это не академическое издание, поэтому целый ряд мест мы оставляем в тумане, как того любимого ежика, и не всегда указываем, что это про интим. Толкуйте, как хотите...

Эти письма действительно о любви – к воздуху, ветру, бумаге, собаке, дождю, Пушкину, ребенку и птицам...

*Мария Розанова  
Июль 2004*



1966



## ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Милая Машенька.

Я прибыл на место и вот уже третий день вживаюсь в новую обстановку. Не писал пока, чтобы несколько освоиться сперва, узнать все правила, как-то сообразить все самое важное. После четырех стен наслаждаюсь привольем, воздухом, весенней капелью, березками и т.д. На первых порах от обилия впечатлений кружится голова. Работать я еще не начинал (с завтрашнего дня пойду – упаковщиком), приезд мой совпал с праздниками, так что я успел и отдохнуть, и сделать первые шаги, ориентирующие в этих условиях. Правда, обилие людей, с которыми пришлось познакомиться, несколько утомляет. Но я думаю, что по мере того, как я начну работать и жить по-деловому, эта необходимость общения сократится и тоже войдет в обычную колею. Пока что общее впечатление у меня неплохое: есть удобства (тепло, спать мягко, вокруг все очень чисто); питание вполне удовлетворительное и мне хватает; существует библиотека и много книг в личном владении, которыми можно обмениваться.

Права у меня по части общения с тобой такие:

Два письма в месяц (получать письма от родственников могу неограниченно). Посылки и передачи, пока не отбыто полсрока, отменяются. Но могу получать бандероли с книгами, журналами, писчей бумагой.

Ларек – 5 р. в месяц.

Волосы постригли, но борода осталась. Свидание – личное (до 3-х дней)\* один раз в год; общее (4 часа) один раз в четыре месяца.

На свидании как первоочередной задаче остановлюсь.

Машка. Надо, чтобы ты приехала ко мне на личное свидание – примерно в конце марта – начале апреля – не откладывая надолго.

го, потому что сейчас есть свободные комнаты (а летом, и особенно на майские праздники, будет наплыв родственников). Ехать ко мне нетрудно и недолго: сперва – до станции Потьма Мордовской АССР; лучше всего поездом на Саранск (в котором не бывает много народа) или на Уфу (поезд идет приблизительно часов семь-восемь, и лучше всего выехать с вечера, так чтобы в Потьму приехать в пять утра). Затем пройти пешком километр-полтора (можно нанять носильщика) на станцию Потьма-2, откуда около семи утра уходит местный поезд. На нем езды около часу – до второй станции – Сосновка. Тут пройти немного пешком до лагеря, спрашивать 1-ю зону. Это и есть тот самый пункт, где я нахожусь. Затем зайди в дом для приезжающих и там у дежурного напишешь заявление с просьбой о личном свидании и подашь (тебе там объяснят, как и куда подавать). Таким образом, уже утром (выехав с вечера) ты будешь на месте. Перед выездом за пару дней пошли мне телеграмму, для того чтобы мне лучше ориентироваться и я бы мог заранее тоже подать заявление. Приезжать можешь в любой день (хоть завтра), но надо бы сделать так, чтобы на один из трех дней падало воскресенье, которое я бы смог провести с тобой целиком, не уходя на работу.

Перед выездом попробуй получить от ГУМЗа\* (бывший ГУЛаг) бумажку, в которой бы содержалась просьба предоставить свидание на трое суток (не менее), без вывода на работу и с правом сделать мне продуктовую передачу в 5 кг. Мне известно, что такие вещи практикуются. Аналогичную бумажку ты могла бы получить с Лубянки (что еще лучше). Если не получится с такой бумажкой – не расстраивайся. Это ведь не обязательно, а только лишняя гарантия того, чтобы свидание (единственное в этом году) осуществилось наиболее благоприятным образом. (О ГУМЗе информацию получи у Эмиля\*.) Если разрешат передачу, то продукты меня интересуют такие: сливочное масло (в пластмас. завинчивающейся масленке), мед, икра (немножко), кофе в зернах, сало, колбаса, кофе растворимый, какао. Передачи обычно не превышают 5 кг.

Кроме того, мне желательно получить (и для этого не нужно специальное разрешение) – папиросы «Лайнер» и сигареты «Прима» (пачек сорок); трусы с майкой (на лето); эмалиров. чашку с крышкой средней величины (а не такую большую, как наша

китайская); эмалиров. тарелку плоскую; ложку из нержавеющей стали, крепкую, чтобы мазать маслом; самописку; чернила; бумаги (немного); кашне небольшое и неяркое.

Из книг пока привези (или лучше вышли бандеролью, не откладывая) Пастернака в издании 65 г\*.

Из еды, которой будем питаться во время свидания, не забудь немного кофе (уже не в зернах, а молотый или растворимый) и белых булок посвежее. Можешь все это уложить в простой чемодан (который мне оставишь), но это не обязательно. Учти, что тебе придется увезти от меня вещи: пальто, шапку, рубашку, брюки и т.д.

В поездку не торопись, а все предварительно обдумай и взвесь, но и не откладывай до мая. Сама оденься без шика, но и резиновых сапог не надо – дороги хорошие, места вполне цивилизованные.

Почтовый адрес мой: Мордовская АССР, п/о Явас, п/я ЖХ-385/1, отряд 4 Синявскому.

Очень жду твоего письма, Машуня, а главное твоего приезда.

Обо мне не беспокойся: условия вполне приличные, нет ни хулиганства, ни воровства. Постараюсь, как и раньше наметил, – работая здесь, не потерять квалификации критика. Книг здесь достаточно. А время свободное после работы тоже должно оставаться. Пока, правда, не знаю, как справлюсь со своей новой профессией, но работа вроде бы не очень сложная и не тяжелая. А чувствую я себя нормально. На воздухе совсем расцвету.

В Москве получил от тебя два письма и написал тебе два\*. Это третье. Четвертое пошлю в марте, в зависимости от перспективы твоего приезда. Поэтому, если у тебя какие-то неясности с приездом на свидание, напиши поскорее, чтобы я тотчас ответил, используя оставшийся запас. Сегодня написал тебе сугубо деловое письмо: надо определить главное, а главное сейчас свидание. Лирику откладываю до него и до других писем. Но все равно очень люблю тебя и целую много, много раз.

Будьте здоровы, мои любимые и дорогие детки.

А.  
III.66.

На своем письме обратный адрес и фамилию пиши полностью: так полагается.





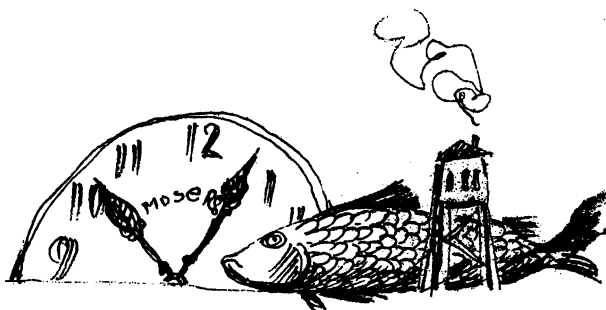
**Свидание – личное (до 3-х дней)...** – Говоря о свидании, А.С. не совсем точен: по действовавшим в 1966 году правилам в лагерях строгого режима разрешалось в год одно личное свидание (от 1 до 3 суток, с выводом или без вывода на работу) и три общих (то есть в присутствии надзирателя, от 1 часа до 4-х, с разрешением покормить зека или без него).

**...от ГУМЗа...** – ГУМЗ – Главное управление мест заключения.

**...информацию получи у Эмиля.** – Эмиль Шинберг – зубной врач, сосед А.С. по камере в Лефортово.

**...привези Пастернака в издании 65 г.** – Сборник Б.Пастернака «Стихотворения и поэмы» в Большой серии «Библиотеки поэта» вышел со вступительной статьей А.С. в 1965 г. за месяц до его ареста. Естественно, в лагере он стал своего рода «визитной карточкой».

**...написал тебе два.** – После процесса до отправки в лагерь была разрешена переписка. Мы успели написать друг другу по два коротеньких письма в стиле «жив-здоров».



## ПИСЬМО ВТОРОЕ

Маша-дружочек, Машенька моя милая и горячо любимая. Получил сегодня первое от тебя (сюда) письмо\* от 17-го марта с Егоркиными волосками. Чегой-то волоски вроде бы потемнели сравнительно с его младенчеством, или мне показалось? Надеюсь тебя увидеть вскоре, но на всякий случай пишу, не откладывая в долгий ящик. А раньше не написал, потому что экономил это письмо, последнее в моем эпистолярном пайке на март месяц, для того чтобы сначала получить от тебя и тотчас ответить. А телеграмму я тебе не отправил, потому что не разрешили. И вообще ты не думай, что если редко пишу или, случается, в деловом духе, то это по сердечной холодности или из прирожденного эгоизма. Просто по приезде я очень торопился известить тебя обо всей технической стороне, которая мне самому на первых порах представлялась крайне сложной и непонятной, чем и объясняется моя деловая старательность, столь же затрудная, как и мои привычки собираться на лекцию или переодеваться, когда ты стоишь на выходе и торопишь, а я копаюсь и рассеиваю по сторонам (о, милые времена! но ничего, они еще вернутся). Ты же знаешь мою медлительность и неумение быстро и правильно реагировать. Так и тут. Я думаю, ты уж в моем характере и нраве разбираешься так, что глубже некуда, и потому понимаешь, что я тебя люблю и ценю изо всех сил и стараюсь на расстоянии внушить тебе и Егорке хорошее настроение, здоровье и примерное поведение (все это путем телепатии!). Вот.

Получил два дня назад бандероль с Пастернаком. Очень хорошо. А по части деловых подробностей и что мне привезти я, конечно (как теперь выяснилось), многое перепутал и недоучел

(как всегда бывает, когда тороплюсь). Но пустяки. Вроде, например, что чемодан и ложка не нужны (ложка-пижемка\* со мной всегда, и когда ем и вообще – и прибор для поглощения пищи, и дорожный сувенир, и древняя культура, и наша с тобой, Машуня, совместная любовь!). А нужна мне, наоборот, трубка (кажется, лежит в подвале в среднем ящике), только без мефистофельской головы, – но это тоже не спешно, да и подарить собираются здешние сослуживцы. Ручку-самописку тоже успел достать самостоятельно. Тарелку же не сам придумал, а меня просто подговорили, и икру тоже – а того, что не надо икры, я не успел сообразить, потому что был новичок и по мягкости характера.

Жизнь моя совсем наладилась. Только очень мало свободного времени. Занимаюсь физическим трудом, у которого те преимущества, что часто на чистом воздухе, а для морозов есть теплая избушка, и вообще больше имею дело с деревом, а не с железом, и это гораздо приятнее, живее и мне больше подходит, чем какие-нибудь сложные слесарные работы. Забивать гвозди, таскать доски и ящики – задача нехитрая и требует лишь средней выносливости и некоторых навыков, которые и вырабатываются постепенно, хотя, конечно, вместо гвоздя частенько попадаю по пальцам, ну и прочие такие же смешные непопадания.

Вечером часа три остается на чтение и самообразование, но в 10 уже гухнет свет и надо спать (и потому тоже ничего не успеваю). Просыпаюсь же сам рано, раньше подъема, и такой образ жизни очень полезен.

Очень я скучаю без твоей фотографии. Если нет новых (вместе с Егорушкой), пришли мне штучки две из старых, какие я люблю, чтобы я мог смотреть на тебя и восхищаться.

Работа – в первую смену (до пяти). Это, говорят, для здоровья самое подходящее. Но тот недостаток, что к вечеру устаешь и работаешь умственно не так уже эффективно. Другая беда – нет уединенного места, к которому так привык, где бы можно было хорошо заниматься. Но скоро лето, и можно будет читать и писать на дворе, а также свету прибавится для утренних занятий. Словом, как видишь, у меня, при всей экзотичности положения, самые обычные заботы и проблемы, что говорит не только о торжестве реалистического искусства, но и о моем вполне удовлетворительном состоянии.

Все время мысленно гуляю с тобой по Москве и разговариваю. С Егором тоже веду беседы на разные детские темы.

Тебя обожаю. Как и прежде, «на гражданке», мне необходимо общение лишь с двумя людьми – тобой и Егором. Но зато уж самое тесное и постоянное. Господи, сколько важных и приятных вещей мне хочется сказать тебе, и непременно все скажу при случае. Главная же из них, Машенька, вещь – наша с тобой совместная жизнь, в которой было много прекрасного и удивительного и, Бог даст, еще будет. Так что нечего нам особенно жаловаться на судьбу.

Может быть, в дальнейшем я буду писать тебе письма не в один присест, а в несколько, чтобы было содержательнее. Про литературу тоже буду писать отдельно. И то: гвозди – гвоздями, а литература – литературой. И буду посылать тебе.

Ну, целую. Будь здорова, милая. Будь спокойна и весела.

Ежели это письмо ты получишь уже после нашего свидания, которого так жду, все равно не грусти и не думай, что письмо писалось давно, и прошло столько дней, и все изменилось. Я все так же тебя люблю.

А.

24.III.66.



...первое от тебя (сюда) письмо... – ...в котором я писала: «Расскажу я тебе, дорогой Андрюня, о смысле твоих писем в моей нынешней жизни.

Когда-то ты мне дважды в месяц приносил получку. Хватало не очень, перед каждым 1-м и 16-м я слегка занимала, но... справлялись. Для меня ничего не изменилось – ты в доме главный – поэтому все равно содержи меня, и баста. Письмами. Два полноценных любовных письма в месяц на уровне старшего научного сотрудника по калорийности.

В самом деле, Собакин, если ты хочешь, чтобы мы выжили, чтобы мы дождались тебя, чтобы я работала, поила-кормила Егора – вноси свою лепту в хозяйство – пиши про любовь и про то, что мы тебе нужны...»

...ложка-пижемка... – Деревянная ложка, привезенная из путешествия по реке Пижме (приток Печоры), – маленькая, стройная, невероятно изящная, она имитировала форму барской серебряной ложки.

## ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Всякий день, родная моя Машенька, как выпадает время и позволяют условия, я достаю конверт, где живешь ты с Егорушкой в фотографическом качестве, и вы вылезаете на свет, и мы хорошо беседуем. Очень живые у вас личики и выражения – не нарадуюсь, глядя на вас, – как вы дразнитесь, и выпучиваете глазки в пространство, и улыбаетесь, мои милые детки.

Погода стоит прекрасная эти дни. И у меня внутри пояснело после твоей побывки. Получил твои письма, отправленные еще до приезда. <...> А вчера – наконец – первая твоя записка после свидания – с приложением из прошлой переписки\*. Ты не представляешь, Машка, какой груз с меня свалился и как легко вздохнулось с известием, что ты улыбаешься и даже светишься после нашей встречи. Еще хочу твою онежскую фотографию (привези вместе с другими на выбор – твоими же из старых запасов + Егоркин пасьянс), где твоя улыбающаяся головка расположена вот так:



Воздух, ветки и линялые леса на горизонте немного отсвечивают нашим северным путешествием, Онегой, Пинегой, Мезенью; потеплело так, что работаем на дворе, на ветерке; от света и воздуха кружится голова, и, думая о тебе, о твоём приезде прошлом и будущем, бываю почти счастлив.

Очень облегчают жизнь новые вещи. Например, кашне, шарфик, обмотавшись на шее, устраивает гнездо, и от такой пустяковины меняется и самоощущение, удостоенное милой домашнос-



ти, и мой внешний облик, потянувшийся вдруг в партикулярную интеллигенцию. Сам себя не узнаю, а знакомые говорят, что при таком шарфе (в сочетании с общим видом и топором в руке) мне теперь недостает только *pinse-nez* – и, конечно же, ошибаются. Но я ношусь с этим уютом, играю в него и познаю тщету богатства и прелесть единичного походного сувенира, из разряда вещей перешедшего в среду добрых духов нашего очага, живущих за пазухой или в жестянке из-под икры с такой красивой картинкой, что нет-нет и вытащишь из тумбочки и полюбуешься.

Не знаю, как дальше, но это письмо решил написать мелкими дозами, растягивая удовольствие разговора с тобой и потому что, как всегда, нет времени, свободные вечера и воскресные дни проскальзывают в спешке и суете, хочется и почитать, и пожмуриться на солнышке, ничего не успеваю, а говорить с тобою, Машенька, надо долго-долго, и то все равно всего не исчерпать. Поэтому пока прерываюсь на *3-м апреля*. А ты, когда поедешь на общее свидание, запиши на бумажку темы, о которых нам необходимо поговорить, чтобы успеть за четыре часа-то. А сейчас уже отбой: бегу спать.

Заинтригован сообщением о стихах, которые ты сочинила\*. Обязательно привези или пришли. Не могу догадаться, как это выглядит. Разве что на манер популярной песни:

Малышка спит. Колышет ветер шторы.  
Я под окном сажусь писать письмо.  
Письмо пусть будет нашим разговором,  
Оно сегодня пишется легко.

Мне же тебе на это придется ответить следующими словами:

А порой в голове пробуждаются  
Злые мысли. Гоню я их прочь:  
Тебя кто-то отнять собирается,  
Я не сплю в эту темную ночь.  
Жаль мне станет, и слезы закапают  
Из моих опьяняющих глаз.  
Я скажу: пусть другие не трогают –  
Я люблю лишь единственный раз.

Мотив и тот и другой очень-очень жалостный, с дрожанием в голосе. Не правда ли, подходит?

*4 апреля.*

Уже прошло несколько дней в ожидании большого обещанного письма, а его все нет и нет. Уж не случилось ли что? Уж не заболела ли ты после трудной поездки?! А почему ты взяла билет в общий вагон? Не было других? А мне говорили, что отсюда без труда уезжают плацкартным. Лечишься ли ты и по всем ли большим местам, как было обещано? Обязательно зализывай раны, Машуня, а то что же это такое – стоило мне изолироваться, и ты уже очки разбила и никак не починишься!

Скоро, вероятно, ты получишь по почте (до востребования) доверенность. Не удивляйся, что без письма – такое правило, и этот конверт с доверенностью не входит в число отпущенных мне на месяц полноправных писем.

Егорку в апрельский приезд таскать не надо: боязно за него, да и не поймет он ничего, не расчушает и не оценит. Отложим на годик (об эту пору). Я сейчас его прекрасно начал представлять с помощью снимков. И очень люблю в этом новом, подростком состоянии. Теперь же в его присутствии мы будем волноваться и не успеем ничего путного сказать друг другу. Ведь даже в трехсютном свидании были какие-то пробелы, сквозь которые утекли некоторые важные слова и мысли, и только потом спохватился. (Еще раз – наметь список вопросов, требующих обсуждения.)

Сегодня я получил первую посылку, неожиданно большую: целых 9 руб. с копейками, не считая кормовых и т.д., которые вычитаются. Это, так сказать, чистый доход, из которого я имею право тратить на ларек и уже купил на 2 руб. спички и вкусные рыбные консервы. Тюремные деньги\* тоже пришли, но остались лежать неиспользованными на моем личном счету.

К работе привыкаю и почти привык. Устаю, естественно. Но специальность моя, очевидно, не переменится в ближайшее время, чем я даже доволен. Простейшие функции по забивке гвоздей и проч. уже выполняю достаточно быстро, не расходуя на это умственное напряжение, как было вначале. С переходом же полностью на механически-бездумный темп станет совсем хорошо. Очень приятно работать на чистом воздухе.

Когда поедешь на свидание, привези мне следующие предметы: *тапочки*, *махорка* (если нет в магазине – купи на рынке, такой же, примерно, мешочек, что и раньше; табаку не надо), *папиросы* «Лайнер» и сигареты «Прима» («Любительских» не надо), *трубка*, *майка*, черная *вакса*, что-то вроде *терки* для бани (небольшой), *конверты* 50 штук (а то все кончились), *иголка* (не слишком мелкую), *крем* для кожи (чтобы руки не очень трескались), *маленькое* мохнатое *полотенце*, зубная *щетка*. Главное из этого – тапочки, махорка, конверты.

Мериме на фр. яз.\* я достал, и пока фр. книг можно не присылать. Словарь здесь тоже есть (разве что случайно найдется карманный).

Если тебе случайно разрешат послать посылку, не забудь *кофе* в зернах (не менее 1 кг).

6 апреля.

Прошли все сроки твоего письма, и ничего нет. Ты обещала написать «завтра», а с этого «завтра» (с учетом пути и т.д.) прошло уже шесть дней. Очень волнуюсь. Начинал это письмо с лучезарного настроения, но продолжение омрачилось: каждый день, приходя с работы, надеюсь увидеть конверт на койке и откладываю надежду. Тяжеловато. Главное – нельзя ничего сделать, чтобы ускорить твое письмо или узнать о тебе. Ты хотя бы телеграммы можешь давать, когда от меня нет известий. Неужели и завтра, к Пасхе, ничего от тебя не придет?

8 апреля.

Ан нет, пришло! Молодец, умница, радость моя. Получил твое письмо от 1 апреля с картинкой. Только очень долго и очень маленькое. А где же обещанное длинное?! И картинка, и стихи замечательные. Продолжай в том же духе, у тебя получается. Финал, правда, несколько отдает влиянием Мандельштама, а тебе – как поэту – больше подошла бы, мне сдается, традиция раннего Заболоцкого, Олейникова, Хармса. В сочетании с народным лубком.

Кстати, о литературе. В киевском журнале «Радуга» (на русском яз.), № 3 за 1966 г., опубликована повесть (!) Макс. Волошина о Сурикове. Есть интересные моменты и любопытное столкновение с Репиным. Если будешь читать лекцию о Сурикове, непременно

познакомься – очень поможет. А в журнале на укр. языке «Наука и общество» (1966, № 1) – напоминаю – статья Вольфа Мессинга\* (не следует путать с его же статьями в журн. «Наука и жизнь», как жется). Следовало бы перевести на рус. яз. и сохранить копию.

Кроме того, мне попался ряд справочников «Академкниги» (изд-во «Наука»). Следовало бы приобрести (некоторые из указ. книг, м.б., еще не вышли, но выйдут в ближайшее время; наиболее важные я подчеркнул):

- 1) *Послания Иосифа Волоцкого*. 1959. (390 стр.)
- 2) Бегунов Ю. К. Патриотич. памятники рус. лит-ры XIII в. («Слово о погибели Рус. земли» и «Житие Ал-дра Невского». 1965.)
- 3) В.В.Гиппиус. Пушкин и Гоголь. 1965.
- 4) *Новонайденные произведения древнерус. лит-ры*. 1965.
- 5) *Котков С.И., Тарабасова Н.И. Памятники рус. народно-разговорного языка XVII столетия*. 1965 (Собр. частных писем).
- 6) «Александрия». 1965.
- 7) *Г.Аполлинер. Стихи*. 1965.
- 8) *Византийская любовная проза*.
- 9) *Мелори Т. Роман о короле Артуре*. Кн. I–II.
- 10) Бачелис Т., Рудницкий К. Вс. Эм. Мейерхольд.
- 11) *Грабарь И.Э. Древнерусское ис-во*.
- 12) Экспрессионизм. Сб-к.
- 13) Байрон. Дневники. Письма. 1965.
- 14) *Взаимодействие лит-ры с изобр. ис-вом в Др. Руси* (выйдет в 1966 г.).
- 15) *Державина О.А. «Великое зеркало» и его судьба на рус. почве* (выйдет в 1966 г.).
- 16) *Маковецкий И.В. Архитектура рус. нар. жилища* (Север и Верхнее Поволжье). 1962. (338 стр., множество иллюстр.)
- 17) Элиан. Пестрые рассказы. 1963.
- 18) А.И.Тургенев. Хроника русского. 1964.
- 19) *М.Г.Рабинович. Древняя Москва*. Очерки о культуре и быте. 1964.
- 20) Былины в записях и пересказах XVII–XVIII в. 1960.
- 21) Былины Печоры и Зимнего берега. 1961.
- 22) Былины Севера, т. 2. Прионежье, Пинега и Поморье. 1951.
- 23) Дмитриева Р. Сказания о князьях Владимирских. 1955.

Машечка. В дальнейшем (не в скором времени), м.б., стоит мне иметь здесь какую-нибудь книгу (или несколько) по древнерусской культуре, трудоемкую, так чтобы ее постепенно штудировать, типа старославянского словаря, или истории Карамзина, или учебника Текстологии\*. Сейчас пишу об этом, чтобы ты подумала и выбрала (или друзья б подыскали что-нибудь подходящее), а я потом – проштудировав – мог бы прислать обратно бандеролью. Пожалуй, это более важно, чем получить сюда сборник Цветаевой, важно – с упором на трудоемкость материала и его постепенное освоение. Вообще-то книг тут хватает. Помимо библиотеки, много книг в частном владении – и самых интересных – и если иметь свои – то максимально-полезные и долгообрабатываемые. Из более легких хотел бы, чтобы ты в апреле прислала мне сборник стихотворений Мандельштама\*. Ты это прикинь, а мы обсудим при свидании книжную проблему.

Детка моя, ну как ты можешь говорить про то, что слишком часто пишешь мне, и сомневаться на эту тему! Наоборот, ты же видишь – последнюю неделю без твоих писем я совсем захирел и только сегодня воспрял духом и оживился, и снова стало интересно жить и работать. И про домашнее слушать жутко любопытно, и про все, с тобой связанное, от тебя исходящее. Кстати, учти, я не хочу ни с кем переписываться, кроме тебя, и потому (потому что только ты мне нужна и по-настоящему интересна) прошу тебя никому не давать мой адрес, а со всеми делами и запросами пускай обращаются к тебе как к моему единственному и полноправному представителю.

*9 апреля.*

*10 апреля.* С праздником\*, моя Маша. На этом я заканчиваю и отправляю это затянувшееся послание. После вчерашнего от тебя получения на душе покойно и тихо. Спасибо тебе, родная. А то было (см. выше) очень плохо. Я уж думал, что какие-нибудь гнусные сплетни испортили твою ко мне расположенность или с тобой что случилось. Машка-Машка, береги себя во всех смыслах и пиши мне почаще. Не забудь сообщить, когда приедешь, чтобы я ждал и радовался. Портсигар, о котором я просил, привозить не обязательно: я вполне укладываюсь с табаком в жестяные коробки. Но если Петров\* все равно уж расщедрится – пускай делает по-на-

стоящему, да так, чтобы в тот художественный портсигар не один табак можно было класть, но и – в случае нужды – папиросы, чтобы не мялись. Но повторяю, все это мне теперь нужно не столько для пользы дела, сколь для души и глаза. Продуктов много не привози – все равно повезешь обратно. Егора привозить воздержись.

Машечка, люблю тебя и надеюсь, что ты все поймешь и мы будем всегда любить друг друга. Наша с тобой взаимная любовь и дружба в известном смысле вернулась к юношескому периоду своего развития. Ну, хотя бы (чтоб далеко не идти и много не философствовать) потому, что в эту встречу я в тебя влюбился еще один раз и опять предлагаю тебе руку и сердце. Мы теперь с тобою вроде обрученных, которым все же приходится потянуть со свадьбой в силу разнообразных жизненных передраг. Смотри же, жди меня, а если начнут тебя от меня отговаривать, никому не верь.

Думаю, что приехать надо тебе в этот раз – в конце месяца, но не очень близко к первомайским праздникам, когда может скопиться народ. Учти также (это бывает иногда), что и для общего свидания приходится ждать какой-то срок, когда все места заняты (но обычно недолго), – и потому не нервничай. <...>

Целую милого маленького мальчика Егорушку. Обнимаю тебя долго и нежно. Привет всем друзьям и близким.

А.

Сердечный поклон Виктору Дмитриевичу\*.

3-10/IV - 66 г.



**...с приложением из прошлой переписки.** – Это вернувшиеся из-за неправильного адреса письма, которые я отправила А.С. вторично.

**...о стихах, которые ты сочинила.** – Одной из моих проблем было – как переслать А.С. те или иные неопубликованные или малодоступные тексты, чтобы их не изъяла цензура. Решение оказалось предельно простым: приписать их себе. Так я стала «автором» некоторых стихотворений из «Воронежских тетрадей» Мандельштама. Синявскому выдумка понравилась, и в этом же письме (см. 9 апреля) А.С. заказывает раннего Заболоцкого, Олейникова и Хармса тем же способом.

**Тюремные деньги...** – По правилам того времени лефортовский заключенный мог получать от родных некоторую сумму на тюремный ла-

рек, которая вносилась на его личный счет. После суда, при отправке зэка в лагерь, остатки личного счета следовали за ним вместе со всей документацией. Но в лагере они «замораживались», ибо лагерник имел право потратить на ларек только 5 рублей в месяц и только из заработанных в лагере денег.

**Мериме на фр. яз.** ... – Многие зэки изучали в лагере иностранные языки. Поддался на эту идею и А.С. Он еще до лагеря получал и слегка переводил с французского статьи об искусстве. Кроме недолгих занятий французским А.С. от одного из лагерных друзей получил несколько уроков английского. На этом все кончилось. Как говорил потом Синявский: «Ну, выучил бы я за семь лет английский, вышел бы на свободу, прочел бы Диккенса в подлиннике и умер. А дальше что?»

**...статья Вольфа Мессинга...** – Вольф Мессинг (1899–1974) – известный в те годы парапсихолог. Интерес Синявского к Мессингу не случаен: в нашей с ним жизни тоже бывали чудеса. И на свидании я рассказала Синявскому, что после его ареста хотела встретиться с Мессингом и даже заготовила первые слова: «Помогите ему как волшебник – волшебнику».

**...учебника Текстологии.** – Д.С.Лихачев. Текстология: На материале русской литературы X–XVII вв. М.;Л., 1962.

**...сборник стихотворений Мандельштама.** – О.Мандельштам. Стихотворения. М.; Л.: Гос. изд-во, 1928.

**С праздником...** – Пасха.

**...Петров...** – Александр Петров – бывший студент Абрамцевского художественного училища, где я преподавала. До 1968 года он был моим учеником и соавтором в ювелирном деле.

**...поклон Виктору Дмитриевичу.** – Виктор Дмитриевич Дувакин (1909–1982) – литературовед, доцент МГУ, специалист по творчеству В.Маяковского, любимый учитель Синявского. Из показаний В.Д.Дувакина на процессе Синявского 12 февраля 1966 года: «Два года он читал лекции в МГУ, пользовался большой популярностью. Вначале первые его лекции я просматривал, потом понял, что это уже не нужно. Я почувствовал, что пришел лектор сильнее меня. У меня было такое отношение, как у... ну, как у утки, высидевшей лебедя. Это был гадкий утенок, развернувшийся в лебедя». Реплика судьи: «Хорош лебедь! Скорее, гусь». (Смех в зале.)

Вскоре после такого выступления на процессе Дувакин был «освобожден» от педагогической работы и переведен в отдел фонодокументов Научной библиотеки МГУ, где основал фонд устных мемуаров по истории русской культуры XX века.

## ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

С письмами твоими, любимая Машенька, то густо, то пусто!  
<...> Начну с № 6.

Как же так вышло с Егором? Не слишком ли его кутают, и поэтому он простужается?! Само по себе воспаление легких, может, и не очень опасно при нынешней медицине, но как бы в дальнейшем не воспоследовали повторные воспаления, в результате чего создаются слабогрудые дети. Понимаю никчемность моих рассуждений. Туда же, в калашный ряд. Но что мне делать, что мне делать, скажите на милость, чем помочь, как вызволить маленького Егорушку...

По сравнению с этим горем предшествующее письмо по поводу нечистых сплетен вокруг моей грязной особы\* не так ужасно, как мне показалось с первого взгляда. Лишь холодею от бестактности погребального звона по человеку, который жив еще и имеет право сам чувствовать и говорить за себя. Как это решаются люди строить планы и делать ставку на тему, которая исчерпана (у меня никого, кроме тебя, Машка, и я никого не хочу больше – это же ясно, это вопиет изо всей души)? Прошу, умоляю: пусть меня оставят в покое – если не из жалости, то хотя бы из уважения к несчастью. Живиться сейчас на мой счет – все равно что воровать на пожаре, у погорельцев. (В юмористической тональности тот же мотив: да что же это вы, господа, все на одного. Вы хоть разбрызгивайте, разбрызгивайте.)

*15 апреля.*

Пришло твое седьмое письмо, также не слишком утешительное. Ты и Петров, конечно, правы, что известили меня о Егорки-



ных болячках. Старое правило о правде навсегда остается в силе. А у меня, и впрямь, не такое уж отчаянное положение. Даже бывают моменты довольно светлые и добрые. Например, сегодня проснулся в пять (стараюсь просыпаться раньше подъема, чтобы выкроить клочок времени, и последние дни удается) и вышел на воздух. Поразило сходство с древнерусским пейзажем: роскошь неба над серым деревом, образы Рериха, в туманное утро выплывающие над детинцем. Утешила уединенность рассвета, нарушившая ежечасную сутолоку, раздражающую, может быть, больше всего бесполезным отбыванием жизни, невозможностью сосредоточиться над книгой, над письмом к тебе или просто спокойно подумать без того, чтобы кто-то с простодушной назойливостью не подошел бы и не помешал.

Получил две бандероли – «Легенды о Фаусте» и «Лит. Армения». Стихи и воспоминания в журнале проглотил ошарашенный – очень точно прились. «Легенды» мне показались занимательнее Гете. Все-таки средневековье – даже в литературном отношении (неизмеримо скуднейшем сравнительно с прочим средневековым искусством) – чудесная кладовая с таким запасом правдивых историй, что последующие поколения (как и в случае с античностью, которой более повезло) загребали оттуда лопатами, но унесли лишь малую часть. Один Киевский Патерик чего стоит. Жаль, в пересказе все эти сюжеты неизбежно бледнеют.

P.S. У меня полное доверие к бабушке, но если у Егорки высокая температура, я надеюсь, Машуня, ты ночуешь вместе с ним (?).

*17 апреля.*

Напиши мне, Маша, письмо, а то здесь ничего не происходит и без вестей с воли как-то пустовато. За недостатком событий изложу тебе, милая, кое-какие литературные идеи, пришедшие на ум в ходе разнообразного чтения (извини за незаконченность и случайность этих суждений).

Заметки Цветаевой в журнале «Литературная Армения»\* несколько беднее других ее очерков, но и тут бьет вверх главная тема воспоминаний – романтическая фигура поэта, поднятая на щит – вровень ее собственному преувеличенному самочувствию. Для Цветаевой поэт – всегда герой, и цветаевские мемуары стали сводом героических жизней XX столетия, чем-то вроде жизне-

описания Цезарей (и как она бросается грудью на защиту своих собратьев – точно это ее дети, питомцы).

Кстати, эта героиня косвенным образом наводит на водораздел в прозе прошлого века: между преувеличивающим искусством – Гоголя – Лескова – Достоевского и преуменьшающим – Тургенева – Толстого – Чехова. У первых трех авторов мы находим экзотическую флору и фауну психологии, языка, национальной природы. Даже персонажи «Мертвых душ» и «Ревизора» – титаничны, мамонтоподобны – прямые наследники Тараса Бульбы.

В отличие от такого эпоса, величия, героизма, излюбленные персонажи Толстого – неяркие посредственности: заурядный праведник Левин (ср. князь Мышкин Достоевского), славный малый Безухов, некудыка Нехлюдов (знаменательно уже это отсутствие полнокровного, сколько-нибудь значащего имени, лишение «уха» и «хлюда»). Толстой – певец частной жизни – постарался свести к ней все мировые проблемы. Его произведения – последовательное опускание в плоскость обыденных будней высочайших сюжетов прошлого. Такова «Война и мир», в которой батальная живопись очищена от признаков батальности – блеска подвигов, гения полководцев. Роман писался как опровержение «Илиады». Гоголевская поэма «Мертвые души» – по структуре образов – более героична, эпопейна, чем «Война и мир», где великие сражения приравниваются к бытовым эпизодам. Последние особенно удались автору (например, охота на зайцев) – наряду с антибатальными, по существу, движениями души человека, затерянного на войне. Отсюда же неприязнь Толстого к Шекспиру – к богам и героям, которые для него слишком экзотичны и потому неправдоподобны. В «Анне Карениной» роковая любовь, высокая страсть, бывшая сюжетом трагедии, свелась к семейным дрязгам и переживаниям сбежавшей жены (Кармен превратилась в Каренину, – сказала бы Цветаева). Наконец, «Воскресенье» – совсем не воскресенье, а нравственное исправление частного лица.

Сходный спуск к частному, мелкому, бытовому (разработанному с такой тщательностью, что эта тема надолго стала синонимом реализма) и в «Кавказском пленнике» Толстого (обытовление высокого байронического сюжета, увенчанного цветами у

Пушкина и Лермонтова), и в «Казаках», которые появились как снижение «Цыган» (пушкинский Алеко превратился в Оленина). Быть может, я злоупотребляю звуковыми аналогиями («Цыганы» – «Казаки»), но последнее время мне даже кажется, что «Бедные люди» Достоевского родились по контрасту с названием «Мертвые души». – Не мертвые души, – спорит Достоевский (и очень при этом сердится), – а бедные люди! (спор уже по другому поводу, чем с Толстым).

Беда, что многие догадки не успеваю или не могу проверить. Ты будешь очень смеяться, Машечка, но недавно я проснулся ночью и продолжительно размышлял, не есть ли скрипка имитация сольного пения, а рояль – классического балета (танец пальцев). А также не есть ли то и другое – поздняя попытка незаконным путем извлечь из струнного создания звуки, нарушающие природу струны, попытка очеловечить музыкальный эффект путем нарушения органических свойств материала, природы (на струнах полагается тренькать, и для того была арфа, гитара).

Для того чтобы сколько-нибудь серьезно задать эти вопросы, надобно знать историю музыки. Я же пробавляюсь ассоциациями, в большинстве своем, вероятно, вздорными, и рассказываю тебе про это только в целях более наглядной картины моих занятий и интересов. Отправные пункты единичны, убоги. Какая-нибудь пластинка Бетховена, вдобавок не слишком мной обожаемого (милый Гайдн давал чистую демонстрацию инструмента и следовал менуэтному принципу, а Бетховен первым сбился с ноги и пошел выражать себя), оказывается роскошью. По воскресеньям я обычно «слушаю музыку» – с таким же прилежанием, как другие ходят в концерт. Не с тоски или снобизма, а просто вещи труднодоступные или малочисленные внезапно набирают силу и вес и требуют внимания. Не пойти «слушать музыку» все равно что отказаться от завтрака, пренебречь глотком кофе, которым угощают соседи с ритуальной почтительностью к совершаемому возлиянию. Дело не в насыщении плоти (и духа), а в требовательности предмета, из обыденных и ничтожных ставшего паритетом (закон «Робинзона Крузо»).

*19 апреля.*

Ма-а-а-шенька, ми-и-и-и-лая! Получил твоё удивительное доброе письмо (№ 9). Как было бы прекрасно, если б это твоё тихое

чувство, это состояние защищенности продержалось с тобою подольше и, если можно, навсегда. Прости меня за некоторую нервозность начальных чисел этого письма: уж очень было трудно от болезни Егора и досадно от попутных царапин. А теперь, после девятки, – все зажило и встало на место. Видишь ли – подобное твоё состояние – мне лучшая опора и сила. Не нарадуюсь на тебя. Все-таки ты у нас в постоянных открытиях (или я такой невежа, что тебя до сих пор не вполне узнал). Такого спокойствия, детского и мудрого, что повеяло от твоих нынешних слов, – я просто не ожидал. Ну, уж и уважила. Ай да Маша. Ай-да-да!

*20 апреля.*

После свидания я так затуркался, родная моя жена, что только сейчас получил удовольствие взяться за перо и рассказать тебе вкратце, что случилось потом. А потом случилось вот что.

Во-первых, в расстройстве ума и чувств я совсем забыл спросить тебя – где ты ночуешь, как устроилась, и так и не знаю, когда и каким образом ты уехала. Во-вторых, всю ночь пролежал, не заснув ни капли, продолжая с тобой прерванный разговор (чуть ли не единственный раз в моей жизни), и назавтра еле-еле к вечеру дополз до койки (и то хорошо – растворимый кофе помог). Лишь вчера отдышался и расположил все в уме в должном порядке, но не успел написать, как наступил отбой.

Мне сказали (но это надо еще проверить), что вовсе не обязательно тебе на личное свидание приезжать в марте, ровно год в год, не раньше, а можно хоть в январе. Во всяком случае у других так часто бывает и не встречает препятствий. Бывает даже, что человек берет за один год свидание в конце декабря и тут же – за другой год – в начале января, отовариваясь разом на шесть дней (живут же люди!).

Отоварился полностью на апрельские деньги, и теперь у меня запас конфет и консервов «килька в томате». А еще мне подарили лимон. Еще более велик запас книг, лежащих на очереди (катастрофически мало времени, и я ничего не успеваю; иногда мне чудится, что я только успеваю писать тебе письма да еще вдыхать осинобые и тополиные запахи, заглядываясь на каемку дальних лесов, от одного вида которых, кажется, останавливается время и исчезает сознание). Кроме книг, полученных от тебя, меня ждут и

торопят (я их читаю все вместе понемногу): два тома русской истории С.Соловьева, два тома Пушкина, толстенная история античной эстетики\*, Сказания о князьях Владимирских, не считая разнообразной мелочи. Так что временно можно подождать с присылкой новых. Но те, что я назвал тебе при свидании, – высылай (или проси это делать друзей, чтоб тебе самой не слишком загружаться). Особенно душа просит книжечку Мандельштама (1928 г.).

Ты меня, пожалуйста, люби, Машечка, и верь мне непременно. Я очень на тебя уповаю и надеюсь, что никакие глупые и злые бабы, никакие распривлекательные кандидаты наук не собьют тебя с толку. Сегодня получил твое письмецо с нарисованными конями (еще доприездное), из которого с интересом узнал, что Егорка уже гуляет по улице, а ты ходишь в Ленинку (странно, что ты мне обо всем этом не рассказала при встрече, но мы же ничего не успели, ничего не успели), и очень обрадовался. <...>

Никаких писем, кроме как от тебя, не получал, и не надо, не хочу. Еще прошу не шлепать Егорку – это хоть и не больно, может быть, но ужасно ему обидно, и не надо его обижать. Он же у нас послушный мальчик, и хорошо бы он вырос спокойным и добрым, а для спокойствия необходимо к нему ровное отношение. Меня же вот, к примеру, никогда физически не наказывали, а какой получился.

Еще не забудь – напиши письмо Виве\*, как было обещано.

Целую тебя нежно и обнимаю горячо. Будьте здоровы и сильны, мои славные детки.

*25–26 апреля.*



**...по поводу нечистых сплетен вокруг моей грязной особы... –** В 1965 году А.Синявский имел неосторожность завести небольшую интрижку с некой М.З., которая после посадки А.С. стала тянуть к нему ручки, вовлекая в это дело Л.Богораз и ее окружение. Окружение радостно вовлеклось. Лариса Богораз – тоже. Этой историей всю пользовался КГБ, подтравливая и меня («Вот вы, М.В., защищаете Андрея Донатовича, а ведь еще не известно, к кому он вернется», – сказал мне однажды кагэбешный куратор), и Синявского, которому лагерное начальство неоднократно предлагало свидание с М.З., что, кстати, бы-

ло положено только родственникам. Мы не знаем, велись ли эти кагэбешные игры с введом М.З. или контора просто использовала ее неумение держать свои эмоции при себе. Не желая бросить камень в невиновного человека, мы оставляем М.З. под инициалами. В дальнейшем в нашей переписке этот сюжет называется «Карфаген».

**Заметки Цветаевой в журнале «Литературная Армения»...** – В «Литературной Армении» (1966, №1) была опубликована «История одного посвящения» М.Цветаевой и цикл стихов О.Мандельштама «Армения».

**...толстенная история античной эстетики...** – А.Ф.Лосев. История античной эстетики. М., 1963.

**...напиши письмо Виве...** – Вевия Донатовна Синявская (1919–2001) – любимая сестра А.С., которая, по его словам, была для него в детстве «второй матерью». Работала детским врачом, жила в Старой Руссе. После процесса она отреклась от брата со словами «Предателей народ не забывает» (см. примечание к письму 14).



## ПИСЬМО ПЯТОЕ

Единственная моя Машечка.

Получил твои допоездковые письма, по № 13 включительно, и жизнь моя потекла веселее, несмотря на злую погоду, от которой стынут пальцы, когда сижу и пишу на улице. Очень меня возродили последние три письма: тут и чудные картинки, и занимательное Егорово чтение, и твое расположение духа ко мне, от которого нынче все зависит. По количеству писем я в нашем бараке считаюсь самым богатым, и все удивлены, как ты много пишешь, и мне необыкновенно приятно, что у меня такая хорошая и замечательная жена. Удивление по этому поводу окружающих (как и вообще отношение к браку) – самое доброе и серьезное, в большинстве случаев лишенное (казалось бы, неизбежного в этом контексте) терпкого, заматерелого запаха, способного довести до безумия и отращения к женщине. Преобладает спокойное, ласковое, чуточку грустное понимание вещей, и высоко котируется звание законной жены. Что особенно меня поражает – никаких шуточек или улыбок, ни малейших намеков, даже по адресу смущенных счастливых, вернувшихся с личных свиданий.

Правда, в связи с твоими частыми письмами мне говорят иногда, что все это на первых порах, а потом, дескать, пойдет на убыль, и бывает, поворачивается все по-другому и происходят разные казусы (об этом говорят с осторожным желанием как-то подготовить и облегчить мое дальнейшее прохождение жизни). Но, соглашаясь с тем, что «бывает», и удрученно кивая в ответ, я с этими сведениями применительно к тебе не согласен и внутренне улыбаюсь. Прав ли я – как тебе кажется?

Любопытно, однако, что пока писал эти самые слова, мне по-

мешали (меня частенько прерывают: хотят, видать, скрасить мое уединенное раздумье, кажущееся со стороны печальным и угрюмым, и советуют «не думать» [тоже очень трогательная забота]). Подошли знатоки астрономической карты (висящей у меня под носом) и заговорили о загадочных звездных путях, и я спросил про твой день рождения (разумеется, не называя тебя), и вот в разговоре выяснилось, что и ты, и Егор родились под созвездием Козерога, что означает в первую голову «верный друг» (моя же собственная дата угодила прямо в созвездие Весов, что значит – авантюрная первая половина жизни и спокойная вторая, а также способность мыслителя и человеческое изящество [видишь, как я постарался]).

Но я уклонился от главного, что хотел сказать тебе. А именно: твои последние письма очень мне понравились, и я за них об тебя трусь всей своей грубой мордой. Смешно только, что ты, Машуня, все еще лепечешь, как маленькая, про какие-то сомнения и спрашиваешь с меня за правду (тут распространен такой оборот, типа: «поговорим за литературу»), как будто наичистейшая истина не сквозит во всей ясности из каждого моего звука и ты сама не видишь. И все поминаешь наивно про дурацкий Карфаген\*, который и без твоего участия давно разрушен, так что и место это быльем поросло и «ничего не было».

После твоего свидания несколько запарился на работе, и даже разучился вставать до подъема, и запустил свои книжки. Но ничего: скоро праздники: постараюсь прийти в равновесие. А пока – будь здорова, моя радость. У меня еще масса всякой всячины, которой хочется с тобой поделиться. Отложим ненадолго это увлекательное занятие.

29 апреля.

У меня к тебе четыре просьбы делового свойства.

1) Один достойный человек, переводящий «Бхагавадгиту» (вот каким основательным трудам посвящают себя люди, желающие и здесь приносить настоящую пользу), просил достать в Москве вышедший несколько лет тому назад учебник *Санскрита\** на русском языке или (еще лучше) вышедший у нас же совсем недавно учебник санскрита на английском языке. Если невозможно купить – просьба достать на подержание на 3–4 месяца с обяза-



тельным возвратом (я полагаю, в этом может помочь Владя\*). Наконец, если и это не удастся, – просьба переписать в Ленинке санскритский алфавит с параллельным обозначением звуков русскими буквами и прислать в письме.

Отсутствие учебника по санскриту мог бы отчасти возместить учебник языка хинди, в котором изложена индусская письменность – деванагара (та же самая, кажись, что и в санскрите). Выполнить эту просьбу желательно не откладывая в долгий ящик – в течение мая месяца.

2) Для занятий спортом здесь разрешено пользоваться кедами, которые ты могла бы послать мне бандеролью (завернув как следует, чтобы не растрепалась дорогой). Надеюсь, то, что разрешается другим, будет на сей раз дозволено и мне грешному.

3) По договоренности с несколькими интеллигентами, подписавшимися на ряд периодических изданий, меня следует со второго полугодия подписать на журнал «Новый мир». А на «Литературную газету» – не надо, здесь ее получают.

4) Хорошо бы при случае (это уже не столь срочно, как санскрит) прислать мне (кроме книг, которые я тебе называл раньше) карманное издание Хлебникова\* в малой серии «Биб-ки поэта». В свое время я подарил такое издание Коле\*, и он, вероятно, мог бы временно мне одолжить эту книжицу. Другое издание Хлебникова мне не нужно.

Мне немного совестно, Машка, загружать тебя подобными хлопотами, и потому переложи часть на тех добрых знакомых, кому не так трудно. К тому же бандероли могут быть посылаемы сюда и не от имени близких родственников, а от любого лица.

Всячески приветствую и подкрепляю мысленно твои искусствоведческие замыслы, моя умная Машенька. Они мне кажутся наиболее перспективным делом твоей жизни, даже по сравнению с лекционной работой, которая хоть и приносит моральное удовлетворение, но, к сожалению, не оставляет следов, испаряется в воздух. Я действительно очень высоко ценю твой открывшийся недавно дар в написании статей о Примаченко, Пиросмани\* и т.д. Надо непременно продолжить и сильно развить столь прекрасное начинание, так чтобы в туманном и проблематичном будущем, даже если нам предстоит жить в глубо-

кой провинции, у тебя сохранились эта профессия и контакты с издательством.

Все пять работ, задуманных тобою, мне очень нравятся. Постарайся, детка, хоть к осени сдать первую порцию в полном виде. Когда ты вплотную возьмешься за живопись Примаченко – следует учесть такие моменты (кое-что хорошо бы выяснить у нее лично).

1) Связь ее образов и навыков с украинской народно-живописной традицией (и что вне этой традиции).

2) Связь с украинским фольклором (словесностью). Тут могла бы тебе помочь книга Кулиша – материалы к биографии Гоголя. Известно, что Гоголь, работая над «Вечерами» и «Миргородом», просил в письмах свою мать и родных собрать для него народные легенды, которые и были ему присланы, а затем использованы в «Пропавшей грамоте», «Вие» и других рассказах. Вот бы найти эти легенды в записях фольклористов или родных Гоголя. В этом деле тебе могла бы помочь известная фольклористка Эрна Васильевна Померанцева\*.

3) Желательно сопоставить Примаченко с другими примитивистами, от Руссо до Генералича (ее отношение к этим картинам, ее отношение к детскому рисунку); старайся избегать, однако, распространенного обычая ругать неплохих художников ради возвышения излюбленного предмета.

4) В случае личной встречи расспроси о ее детских впечатлениях, а также – не видала ли она во сне своих персонажей? В книге Вересаева «Гоголь в жизни» (раздел – детство) приведено воспоминание Гоголя о том, как он в ребячьем возрасте утопил в пруду кошку, которая его напугала своим ведьминским видом. Эпизод этот (об этом он не говорит, но это очевидно так) послужил подсознательной основой для его «Майской ночи».

5) Спроси – откуда человечесье ухо на звере? Покажи ей картинки Босха – что она о них скажет. Короче, выясни проблему контаминации образа: каковы ее источники – ассоциативные, рациональные, сказочные, библейские? Не забудь о мавках – мотивах украинского фольклора.

В статье о вывесках попробуй использовать статьи раннего Маяковского (в 1-м томе) и его стихи 1912–13 гг.: «А сквозь меня на лунном сельде скакала крашенная буква», «зрочки малаванных афиш», «на чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ» и т.д.

Недавно в поэме Пушкина «Езерский» (это фрагмент из черновиков поэмы – см. примечания) наткнулся на такие строки, имеющие отношение к прикладному искусству вообще, к проблеме традиций:

Мне жаль, что дома наши новы,  
Что выставляют стены их  
Не льва с мечом, не щит гербовый,  
А ряд лишь вывесок цветных,  
Что наши бабушки и деды  
Для назидательной беседы  
С жезлами, с розами, в звездах,  
В роброндах, в латах, в париках  
У нас не блещут в старых рамах  
В простенках светлых галерей...

Интересно повернуть вывески в плоскость геральдического образа, цехового знака (вывеска не только зазывает покупателя, но удостоверяет престиж владельца, заставляет его с честью и достоинством относиться к своему делу, товару, вывеска обязывает). Проблема имени – название, имя, ни в коем случае не условный значок (все равно какой, абы висел), а речь предмета о себе, выражение его изначальной сущности и назначения. Об именах и названиях есть интересные мысли у Флоренского\*, забыл название работы, посмотри в Ленинке – в подсобном каталоге указана пара его брошюр, в одной из них, кажется, есть об этом (в моих конспектах есть эти выписки, но я сейчас не помню где).

В плане беллетризации и украшения статьи можно использовать повесть (и вывеску, обыгранную в тексте) А.Франса «Харчевня королевы Гуселапы». Посмотри также «Лавку древностей» Диккенса и начало «Давида Копперфильда» (там что-то есть о витринах), начало «Шагреновой кожи» Бальзака (описание лавки), «Чрево Парижа» Золя (описание рынка) и его же «Дамское счастье» (описание магазина) – м.б., найдешь какие-нибудь штрихи. В бесподобном рассказе Гофмана «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» (цикл «Серрапионовых братьев») – речь идет о символе-гербе цеха (стихи бабки и рассуждения вокруг них). Можно привести эти стихи, сказав: вот какова вывеска!

Извещай меня, Машка, какие – более частные – искусствоведческие задачи тебя волнуют, и я тоже буду их обдумывать. <...>

1–2 мая.

Добрый день, Машуня.

Вхожу\* я сегодня в секцию и вижу уже издали, что на моей подушке лежит твой конверт. Получил таким образом 14-е письмо. Счастлив и бодр твоим хорошим настроением. Ну, мне не много ведь надо – ты знаешь. В том, что ты бегала по лесу и нюхала травку, я вроде бы тоже слегка участвовал. Не скучаю по городу, по театрам-кино, а вот лесов и полей, уединенности на природе душа просит. В будущем непременно мы с тобой станем много гулять. И я даже представляю в мечтах, как мы втроем с Егоркой движемся по какой-нибудь лесной тропинке. Вначале я жутко расстраивался от таких мирных мыслей, а теперь – спокоен. Теперь все как-то встало на место. И мне не больно, а радостно воображать тебя и Егорушку. Воображаю, как вы кушаете, умываетесь, ходите по полу и делаете другие полезные вещи. Играю и разговариваю с вами часами – сознательно и бессознательно. Вижу, как вы кукситесь иногда. И мне – тяжело. Мне страшно жалко вас. Не знаю, чем утешить, как угодить (тем более – когда вы заболаетесь и раскапризничаетесь). Вижу, как вы смеетесь, и тоже улыбаюсь. В зимние месяцы я не позволял себе такой роскоши. В моем положении от этих мыслей можно было бы спятить. Весной постепенно оттаял. А наши встречи и переписка окончательно вернули реальное ощущение жизни. И я смело переношу памятью и фантазией в наше с тобой семейство.

В твоём письме, Машка, ничего не сказано про здоровье Егора. Лъшу себя надеждой, что это просто забывчивость, а не попытка скрыть от меня плохие вести.

4 мая.

Пользуясь прекрасной шариковой ручкой (которую получил от тебя в последней бандероли – очень своевременно пришла), хочу спросить тебя, Маша: а знаешь ли ты, какой сегодня день?! А сегодня такой день, что наш Егорушка именинник – вот какой сегодня день, и помнишь ли ты про это? Я-то знаю и помню. Поздравляю... <...>

Не грусти, милая. Волей судьбы мы перенесены в тот светло-зеленый романтический период юности, когда объясняются в чувствах пылкими письмами, клянутся в дружбе навеки, делятся планами жизни и вздыхают над фотокарточками. Что ж! У нас не было такой увертюры, и вот она сыграна где-то в середине действия, немного невпопад, на старости лет – в виде восполнения пропуска. Она позволяет все начать с начала и с толком и с расстановкой пройти эти первые шаги, которые обычно пробегают, не оглядываясь, не думая о прошлом. Ну, а у нас есть, на что оглянуться и на что посмотреть (я беру тебя вместе с ребенком), прибавив к прошлому трепетную надежду и робость бесстыдно, навзрыд произнесенного первого слова: – Возлюбленная!

Ах, Машка, Машка, очень ты меня и порадовала и огорчила сегодняшним письмом (№ 15). Огорчила Егоркиным нездоровьем, расстроила злыми сплетнями, от которых мне свет не мил (кстати, писем от Ларки\* я так и не получал). В некоторых твоих вопросах-причитаниях я, откровенно говоря, вижу либо чистую риторику, либо нечистое давление слишком заинтересованных лиц. Веду тебе – не поддаваться всяким глупым версиям. Ты же сама нутром чувствуешь, где правда. А вот Егорушка (через твое письмо) утешил. Подошел и сказал шепотом на ухо: «папа».

Целую вас крепко-накрепко.

А.  
6 мая.



**...поминаешь наивно про дурацкий Карфаген...** – См. примечание к письму 4.

**...учебник Санскрита...** – Вяч. Вс. Иванов, В.Н.Топоров. Санскрит. М., 1960.

**...может помочь Владя...** – Владилена Павловна Мурат, лингвист, однокурсница А.С.

**...карманное издание Хлебникова...** – Велимир Хлебников. Стихотворения и поэмы. Л., 1960.

**...я подарил такое издание Коле...** – Николай Борисович Кишилов (1934–1973), искусствовед, реставратор древнерусской живописи, со-

трудник Третьяковской галереи. Через него и его жену-француженку ушли на Запад многие рукописи и письма.

**...в написании статей о Примаченко, Пиромани...** – С 1965 года (еще до ареста А.С.) я начала печататься в журнале «Декоративное искусство». Так как я подписывала статьи своей фамилией – Розанова – и далеко не все знали, чья я жена, мне удалось сохранить связи с этим журналом и после ареста Синявского на долгие годы.

**...Эрна Васильевна Померанцева.** – Специалист по русскому фольклору, одна из учителей Синявского в МГУ.

**...интересные мысли у Флоренского...** – По-видимому, речь идет о книге: П.Флоренский. Общечеловеческие корни идеализма. Сергиев Посад, 1909.

**Вхожу...** – Здесь шифровка: «Хочу тебя не моги мне изменять».

**...пишем от Ларки...** – Лариса Иосифовна Богораз, будущая известная правозащитница, на момент ареста Ю.Даниэля формально считалась его женой, но фактически они разошлись и уже около года жили врозь, Даниэль – в Москве, Богораз – в Новосибирске.



## ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Как жаль, любимая Машечка, что я уже отослал тебе прошлое письмо с несколько тоскливым финалом, а затем, вскоре после этого, начали являться подряд следующие твои номера (16–18)...  
<...>

Ты спрашиваешь про мою выработку, производственные нормы, доходы и проч. Какие в точности нормы, сказать сейчас сложно, поскольку частично изменился мой трудовой профиль (от изготовления ящиков и упаковки я перешел к упаковке как таковой, в чистом виде), и нормы, по-видимому, будут меняться и устанавливаться вновь. Во всяком случае ни раньше, ни теперь я не в курсе этой нормировочной стороны, а влезать в курс мне образование не позволяет: делаю, что велют, вместе со всеми. По ведомости в марте, как и вся наша группа, я выполнил норму на 86%, в апреле – на 66% (откуда взялось снижение %, не понимаю: такова, видать, воля случая) и получил деньгами, за вычетом еды и одёжи, 6 р. с копейками, из чего явствует, что на ларек мне опять хватило, а рупь отложен в запас, на тот коварный месяц, когда по какой-нибудь неясной причине не выработаю необходимой пятерки. Моя должность – плотник 1-го разряда: это самый низкий разряд, вполне отвечающий уровню моего развития. Работаю как все, не отстаю от товарищей, и это теперь удастся, потому что бывалые мастера-плотники ушли на более доходный промысел и остались в основном новички, вроде меня. В последнее время стало несколько тяжелее. Я уже успел свыкнуться и полюбить ящичное производство (особенно приятен запах свежих досок, из которых предпочитаю осину: она и легка, и покладиста, и душиста [пахнет живым лесом], и нежна на ощупь,

сыровата, ворсиса – просто хочется щекой прильнуть). Упаковка же в собственном смысле слова – больше связана с тяжелыми грузами, железом, машинными маслами, суматохой и спешкой. Я не жалею. Меня устраивает этот вид полезной деятельности, и за исключением гуманитарных дисциплин, не приспособленных к здешним условиям, я не вижу для себя лучшего применения. Иногда, правда, порядком выматываюсь, и тело болит, как побитое, но на эту напасть существует горячий душ (мойся хоть каждый день) и кружка кофе, которым меня по временам потчуют добрые люди. К сожалению, я не могу отвечать им тем же и играю роль прихлебателя в буквальном смысле. Ах, если б провидение подарило два килограммчика кофе! (но это уже из области чистой фантазии).

9 мая.

Опять от тебя не поступают письма, и у меня кошки скребут и руки опускаются, когда прихожу вечером с работы, робко надеясь: «сегодня!» Но как заговаривают болезнь, не обращая на нее внимания и болтая о своем, попробую продолжать отвечать на вопросы, что задавались тобою давным-давно (а каково тебе сейчас, родная моя и бесценная, и где ты и как ты ходишь-бродишь?!)

Из Потевни я кое-что читал в студенческие годы и отношусь к этому автору с серьезной и благодарной почтительностью (он повернул проблему образа в интересную и умную сторону). В нынешнем моем состоянии я бы с удовольствием проштудировал подряд все его сочинения, так что если будут их предлагать для пересылки мне – кланяйся и хватай обеими руками. Сама же их сейчас специально не разыскивай и не торопись с этим делом. Сейчас у меня книг (с учетом тех, что ты пришлешь мне согласно прежней договоренности, а также – находящиеся в поле моего доступа) – хватит на добрые полгода. Охотно бы на досуге более углубленно взялся за литературоведение (имею в виду классиков, к которым меня магнитом тянет). Расхолаживает лишь то обстоятельство, что мне до сих пор (хотя прошло более двух месяцев) не возвращают мои конспекты и выписки из произведений классической литературы, которые я вел в тюрьме в течение шести месяцев и имел на это санкцию весьма авторитетных



лиц\*. Нельзя ли в Москве как-то выяснить этот вопрос? Ведь подобные мои интересы и планы, мне кажется, заслуживают поддержки, а не пресечения, чем по существу является изъятие у меня этих бумаг.

Курить я в ближайшее время не брошу. Табакеркой люблюсь и кладу туда вперемешку табак и папиросы. Замечательный, Машка, самосад привезла ты мне (и впредь что-то аналогичное постарайся доставать): все хвалят не нахвалятся, и мой запас тает с ужасающей скоростью: первый мешочек кончился, а еще и месяца не прошло. Трубку курю редко, откладывая ее применение до того срока, когда с самосада придется перелезть на табак. А пока кручу сигарки.

Будешь дарить коллекцию камней – оставь окаменевший позвонок динозавра (круглый, сантиметров 8 в диаметре, с углублением в середине), или кусок натуральной слюды, или какой-нибудь ярко выраженный геологический камень. На память о папочке\*. Сама выбери, что лучше. А остальное – ты права – нечего хранить, тем более в случае переезда или уплотнения. Из сундука выбери наиболее ценные отцовы рукописи, а прочее выброси.

Скорее бы тебе переехать\*. Из нашей квартиры надо бежать куда глаза глядят. Доверяю тебе, Машуня, всю эту процедуру на полное твое усмотрение. Может быть, и впрямь стоит поменяться в центре, где маленькие две комнаты. А что без двора – так Егорку все равно одного маленького выпускать не будем, а будем водить на бульвар. Поскольку грядущее темно и туманно, я думаю – на сегодняшний день обмен во всех отношениях рациональнее кооператива. Потом учти и такую психологическую подробность: если раньше я все твердил и мечтал об отдельном кабинете, то нынче – после всех мытарств – я согласен сидеть на кухне или в ванной и все равно буду счастлив. Я вообще теперь в отношении быта стал покладистый...

Меня только поражает (ты рассказывала при свидании, а я сейчас вспомнил и опять пришел в изумление), что находятся люди, считающие мое нежелание ни с кем (кроме тебя) переписываться какой-то позой гордеца или еще чем-то ненатуральным. Боже мой, да никого я не презираю, и ни на кого не злобствую, и ничего не воображаю из себя. Просто мне хочется от-

носительной тишины и спокойствия, к чему всю жизнь стремился. И совсем не только из-за внешней ситуации, а – душа просит. Кто не узнает меня теперь в этом качестве, тот меня никогда не знал. Я и раньше был готов уехать с тобою на край света. И никакой в том нет мизантропии, никакого разочарования. Ну как они не понимают! И неужели расположенность и благодарность не могут выражаться в одиночестве, на расстоянии, без обмена мнениями? А получать посторонние письма (даже не отвечая взаимными посланиями) мне как-то тягостно и было б слишком накладно (пусть лучше шлют бандероли, коли нет угомону: и пользы будет больше, и в возможности их получать у меня широкий простор – многим приходят бандероли несравнимо чаще – это не намек, а лимит, для ориентации). Уж если о Виве я предпочел узнавать от тебя, а не от нее непосредственно (кстати, еще раз прими во внимание эту мою просьбу и возобнови с Вивой более-менее регулярную связь), то тем более другие лица могут воздержаться от прямых контактов со мною, а я обойдусь без письменного заверения их сочувствия, любви, сожаления, упреков, советов и пожеланий (могу я, в конце концов, извлечь хоть какое-то удовольствие, заключенное в ограничении моего права переписки?!). Что же до души, то там у меня не раздражение и холодность, а скорее я бы решился, набравшись наглости, сослаться на преобладающее чувство доброжелательства, на то чувство *благоволения*, о котором удивительно говорил Пушкин (когда-нибудь потом я опишу тебе эту пушкинскую мысль, определившую очень многое в его поэзии). Извини, Машка, что я тебя пичкаю такими прописями: это я для того, чтобы ты в случае необходимости могла сослаться и объяснить вразумительно мою точку зрения на этот счет.

А починила ли ты свою больную пятку и очки? Почини немедленно!

11 мая.

Добрый день, милая Маша!

С письмом\* № 19 был побит рекорд: оно ехало до меня десять дней, и потому шесть из них я сидел в неизвестности и ужасно переживал. Временно даже забросил это послание. Ничем не мог объяснить твое затянувшееся отсутствие, привыкнув, что ты по-

являешься не реже, чем через два дня на третий (так и поступай, пожалуйста, а еще лучше пиши ежедневно: вот будет красота – всякий вечер понемножку видеть и слышать тебя и бежать с работы к подушке, на которой уже лежит обязательное письмо, – как спешат домой, к родимой семье!). А шесть порожних суток, проведенных без тебя, слегка украсила лишь бандерольная «Махабхарата», по скорому получению которой я догадался, что ты хоть жива и здорова. Плохо теперь только одно: то, что Егорка температурит. Нина Ивановна его смотрела?\* И другого детского врача, чей адрес я тебе давал, можно было бы подключить. Не сумеет ли также помочь Эмиль (это касается и твоей пятки, и очков) своими медицинскими связями? Всецело поддерживаю твою идею поехать летом с Егором куда-нибудь поюжнее, но беспокоит в этом украинском варианте отсутствие в деревенской обстановке подходящих врачей. И я не советую уезжать далеко, если не наладится прочно его температура и не подберется в компанию кто-нибудь из знакомых. Чтобы тебе не быть одной и беспомощной в случае внезапной болезни. В каком состоянии петровская дача? Муха работает или нет?\* И возможно ли привезти туда Манефу\*, чтобы она сидела с Егором, а ты бы работала? И как теперь здоровье матери: подтвердилась ли глаукома? Мне хотелось бы, Маша, знать все твои планы-заботы. Пиши тоже про Егора подлиннее и подетальнее: увлекательны все эти подробности про Зайца, горшок и т.д. (а скамеечку ему не забудь купить – ему же будет жутко интересно заполучить собственную, низкорослую мебель – это приятнее ему будет всяких там игрушек). И где он гуляет? Чему радуется, на что смеется и не слишком ли часто ревет?

Спрашиваешь ты меня смешные вещи: например, нужны ли письма про дом, про Егора и можно ли каждый день? Можно ли, Машка, все еще сомневаться в очевидных явлениях и придумывать на себя эту неуверенность? Все это мнительность одна, не имеющая почвы. Было бы глупо нам от себя отказываться под впечатлением бабских претензий. Слишком давно и прочно мы знаем и любим друг друга, чтобы вдруг разучиться чувствовать на расстоянии. В каждом твоём слове, Машуня, ты мелькаешь как на экране. Видеть твои повороты, улыбки, всякие там интонации – стало моей первой потребностью. В настоящее же время это

просто условие существования. Без твоих писем я как без воздуха. И приправленного вдобавок (как здесь сейчас) запахами травы и деревьев, чтобы было глубже дышать. В разговорах наших мы так и не успели вдосталь наговориться. Письма же от тебя мне нужны всякие – и грустные (когда грустно), и веселые. И хоть какие угодно. Хоть самые мрачные. В данном случае можешь не церемониться. Пиши все, что тебе нравится. В любом настроении. Видишь, как это просто, – «а ты, дурочка, боялась»\* (всему тебя учить нужно).

*15 мая.*

Хорошо, что наш Егорушка полюбил зайцев и птичек. Надо бы с нынешнего возраста этой милой живностью перебить у него нездоровый интерес к машинам, объяснив, что «би-би» – это то же, что «фу», и довольно скучно. А у нас звери тоже есть. Помимо голубей и скворцов (почти на каждом дереве прибит скворешник, стимулируя ощущение натурального человечника) живут кошки, к которым в общем относятся очень ласково. В одном бараке одна кошка недавно окотилась, и маленькие скачут по постелям и шныряют под ногами. Интересно, что такие осторожные и чувствительные существа, как кошки, совершенно не боятся этого скопления мужчин в грубых сапогах, с громкими голосами и ведут себя по-домашнему. Собак, к сожалению, нет. Но, по легендарным рассказам, существовала собачка «Тарзан», до того умная, что ходила с чашкой в зубах три раза на дню в столовую, а хозяин-нарядчик посылал ее с записками к разным лицам, называя их по имени, чего было достаточно для ее сознания (вот пример для Осички\*).

Из диких зверей в последнее время досаждают комары, напоминающие лютостью северных, но, конечно, пожиже (брюки все же прокусывают, и вечером надобно надевать сапоги, а иногда, для отдыха, ватник). Некоторые даже носят накомарники и жгут вату, спасаясь от комаров. Но окна и двери в спальнях секциях обтянуты металлической сеткой, так что ночевать можно без помехи.

*16 мая.*

Пришли мне бандеролью такие предметы:

1) конвертов штук 50 (а то мой запас истощился, и скоро будет не в чем посылать тебе письма),

2) школьных тетрадей штук 20, желательно в клеточку,

3) грифелей для вставного карандаша (по просьбе одного сослуживца) и, если продаются, несколько штукечек таких же трубочек для шариковой ручки, что ты мне присылала (они доехали хорошо, не разбились, но быстро исписываются – одну я уже исписал, а пользоваться ими очень приятно, удовольствие испытываешь от свободного и мягкого самопишущего вождения),

4) хорошую китайскую самописку рублей за 5 (а то у меня плохая).

(Из этих вещей наиболее нужны конверты, с остальным можно и подождать.)

Не надо присылать ни крема для рук, пользуясь которым я как бы попадаю в светское дамское общество (это и смешно и немного сентиментально), ни зубной пасты, действующей чересчур раздражающе (когда поедешь в августе, привези обыкновенный зубной порошок).

Получил фотографии Машки-маленькой\*. Она очень красивая и похожа на Петрова.

18 мая.

Про Гулливера и Робинзона я напишу тебе когда-нибудь в другой раз. А теперь из литературных предметов хочу рассказать вот про что. Перечитывая стихи Пастернака вперемешку с поэмами Пушкина, я неожиданно убедился в том, какую роль для художника играет живая натура, доколе она не просто объект изображения, но дыхание и сигнал его и мира (совместно) внутреннего состояния. Для художника великое дело найти *свою* натуру. Ему всегда не хватает действительности, и он вынужден выдумывать. Когда же волей случая или силой судьбы ему подвергается область, отвечающая его мыслям, он – счастлив. Он смотрит на эту страну и говорит «моя», точно она предназначена единственно для его созерцания. Смотреть на нее и радоваться приметам, родственным его распростертой, рвущейся навстречу душе, доставляет ему такое же полное наслаждение, как сочинение им самим запроектированной картины. Он узнает себя в окружающем и чувствует, как в эти секунды жизнь достигает силы и насыщенности искусства. И нет нужды, сумеет ли запечатлеть он свое открытие. Оно дано ему во владение, и этого достаточно. Так Пушкин

впервые встретился с Бессарабией и наблюдал еще не написанных им, но уже готовых цыган. Так Лермонтов застыл на века перед панорамой Кавказа.

А еще (из другой оперы) я догадался, почему А.Белый так любит двоеточие: в прозе Белого двоеточие непомерно распространенный знак: в нем дано направление фразы, уводящей в глубь текста: выражение мысли, недостаточно проясненной, рассеянной, многословной: но рыщущей по окончательным, последним формулировкам.

*20 мая.*

А теперь расскажу тебе, Машенька, как у меня проходят воскресные дни. Их значение тем более возрастает, что недавно один товарищ высчитал, что в моем исправительном сроке воскресенья составляют один выходной год и, таким образом, мне предстоит находиться в заключении не семь, а только шесть лет. Я добавил, что ежели учесть сон, которому отводится третья часть суток, то еще остаются свободными почти два с половиной года. В сумме с воскресеньями получается, что полсрока я провожу на воле.

Итак, воскресенье начинается в субботу, когда чистятся и моются особенно тщательно и частично уже витают в завтрашнем дне. Субботний вечер забит накопившимися обязательствами – в виде, например, консультации некоторым страдальцам, пишущим школьные сочинения (исправляю главным образом грамматические ошибки). Воскресный подъем в семь, но я хитрюсь проснуться раньше, бывает – в половине пятого, и, подсластив свою жизнь конфеткой и закутавшись в ватник от комаров, бегу на травку гулять, мечтать или писать тебе очередное письмо. В дневное время на дворе так многолюдно, что абонирую пустой класс в школе (в будние дни по вечерам класс, к сожалению, занят, и приходится рыскать в поисках тихого места). Здесь базируюсь на весь выходной день, выползая многократно для проверки, еды, курения и разнообразных бесед. От иных слишком общительных бездельников приходится даже скрываться, хоронясь за стены барачков, либо отделяться обещаниями поговорить в другой раз. Иные же по своему простодушию не понимают, что читающий или пишущий человек занят, и радостно подсажива-

ются для разговора, готового затянуться на несколько часов. Кроме того, некоторые инвалиды не работают, у них целый день в распоряжении, и вот они, начитавшись и наскучавшись вдосталь, набрасываются на мои считанные часы. Словом, тот же случай, что в Москве, – только здесь нет подвала\*. В итоге свободного времени до обидного мало, и я больше чем когда-либо ничего не успеваю, чему также причиной разбросанность моих воскресных занятий: тут и книги (сразу несколько), и конспекты прочитанного, и легкое прохождение иностранных языков (когда я прихожу на обед с работы, меня уже поджидает знакомый с книгой и будильником в руках, и мы 20 минут занимаемся, а потом я мчусь обедать), и письма тебе (другие ведь пишут по 4 листика, а я вон сколько!), ставшие для меня самым нужным и регулярным призванием. По воскресеньям в тот же класс притаскивают проигрыватель и мы слушаем музыку – все того же Бетховена, Листа или эстонский хор. После завтрака или после обеда предаемся кайфу, по здешней терминологии: пьем кофе. Поскольку достать и сварить его не так легко, кофепитие превращается в отдельное блюдо. В нем нечто сакраментальное, возвышающее, интимное, и, если к привычному (или заранее строго договоренному) кругу лиц прилипает незваный гость, его без стеснения гонят и говорят с презрением: «поломал кайф!» (это сильнейшее оскорбление). Кофепитие происходит в сосредоточенном молчании, с мечтательно прищуренными, устремленными вдаль глазами. Минуты эти доставляют много радости, но также требуют затраты энергии и внимания. Нельзя прийти на чужую кружку, отхлебнуть свои глотки и податься в сторону – это было бы обидой. А человеческая обидчивость развита здесь до крайности, и проблема такта является первостепенной.

Нехватка свободного времени заставила меня пожертвовать посещением кино и концертов. Они бывают каждую неделю, а иногда чаще. Но я был только один раз (смотрел «Обыкновенный фашизм» Ромма).

К воскресному отбою прихожу, еле волоча ноги и сожалея, что опять ничего не успел и ряд неотложных дел отложен на неделю. За редким исключением, засыпаю почти мгновенно, покаратаевски, и сплю глубоко и полно, хорошо высыпаясь за ночь. Вот, Машка, короткий отчет о моих выходных днях. <...>

Без тебя очень скучаю и жду, когда ты приедешь в живом, а не в письменном виде. Сегодня как раз воскресенье и ровно месяц с нашего свидания. Длинно он тянулся, хотя дни мелькают (но это уж такая примета существует: дни идут быстро, а срок медленно).

Как уже писал, тебе доверяю всецело и считаю своим единственным и полномочным представителем.

В сопоставлении с Егором: одно время (точнее говоря – прошлой весной и летом) Егора любил больше тебя. Теперь же (считая с осени и далее – по возрастающей) мне кажется, что я тебя вообще никогда еще так не любил, и даже Егор обязан потесниться и уступить тебе главное место, хотя, конечно, и его ужасающе как люблю, не хуже, чем раньше. Трудность фразы подтверждает, что на такую тему лучше и внятнее объясняться устно. Это мы когда-нибудь сделаем.

Будьте здоровы, мои детки. Целую и обнимаю ужасно.

А.

22 мая.



**...санкцию весьма авторитетных лиц.** – То есть тюремного (кагэбешного) начальства.

**На память о папочке.** – Отец А.С. Донат Евгеньевич Синявский (1890–1960), недоучившийся в свое время в Горном институте, любил камни и окаменелости. Недоучился он потому, что увлекся революцией, вступил в партию эсеров, был арестован и с 1913 по 1917 год отбывал ссылку. Второй раз он был арестован в 1924 году по обвинению в связи с иностранной разведкой (он был директором сызранского отделения Российско-американского комитета помощи голодающим детям – АРА). В третий раз он был арестован в 1950 году и сослан в деревню Рамено. Тогда сажали недобитков из партий меньшевиков и эсеров, всем им давали по пять лет ссылки, москвичам – в Казахстан, а немосквичам – по месту рождения.

**Скорее бы тебе переехать.** – До ареста Синявского у нас были две комнаты: одна – большая, красивая, 25 м<sup>2</sup>, в коммунальной квартире, другая – в том же подъезде – маленькая, темная, подвальная, без удобств, 13 м<sup>2</sup>, переделанная в свое время отцом А.С. из дворницкой. После ареста А.С. и суда подвальную комнату отобрали.



**С письмом...** – Здесь шифровка: «Пришли десятку в книге посылки не приходили».

**Нина Ивановна его смотрела?** – Нина Ивановна Знаменская, детский врач, ученица знаменитого педиатра Г.Н.Сперанского.

**Муха работает или нет?** – Жену А.Петрова Алевтину Мушкалову между собой мы обычно называли «Муха».

**...возможно ли привезти туда Манефу...** – Манефа – родственница квартирной соседки, которая иногда помогала с маленьким Егором.

**...«а ты, дурочка, боялась»...** – Домашнее выражение из полупристойной присказки «А ты, дурочка, боялась, а это совсем не больно, и даже юбка не помялась».

**...вот пример для Осички...** – Оська – любимый спаниэль, верный друг и член семьи. Его матерью была сука, подаренная товарищу Сталину к семидесятилетию. Подробно об этом см. в моей книге «Абрам да Марья».

**...фотографии Машки-маленькой.** – Маша – дочь А.Петрова.

**...только здесь нет подвала.** – Подвальная комната при нашей квартире на Хлебном использовалась А.С. как кабинет, а также как укромный уголок, куда можно было спрятаться от назойливых гостей.



## ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Очень меня утешило, золотая моя Машенька, 30-е письмо, и очень я тебя за него полюбил. Вот и картинка пришлась к нему самая красивая – просто прелесть что такое. А мысли – из тех, что заглавные и родные в нашей жизни. Ты иногда выглядываешь из писем (возьмешь и выглянешь) в неожиданно новом и значительном освещении – иногда настолько инстинктивно-разумная, что даже похожа на Василису Премудрую. <...>

Жаль, что в хлопотах у тебя забываются какие-то интересные мелочи и ты не успеваешь мне про все рассказывать. Я же записываю на бумажку, чтобы ничего не пропустить. Записывай и ты, пожалуйста. Потому что мне увлекательно читать у тебя про все на свете. Не говоря уже о таких подарках, как 30-е письмо, я могу, например, до бесконечности слушать про Егоркины бормоты-игры-заботы. И вообще мне все мило и занимательно в твоих повестях и рассказах. За исключением, может быть, одной только карфагенской темы, от которой, прямо сказать, с души воротит. Это я говорю не для того, чтобы ты воздерживалась мне писать об этом. Пиши, сколько требуют душа и обстоятельства твоей легкой жизни. Но прими во внимание и такую деталь и сообразишься с нею: иные повторения звучат унижительно – и для меня, выступающего не в очень-то свойственных мне при жизни пикантных ролях, и для тебя, когда ты размазываешь обиды по моим и своим щекам.

А вот цитата из чужого письма, простонародного, как старинная песня, и применимого к нам с тобою: «ты в мою душу пожизненно вселилась».

*1 июня.*

Трудно писать про искусство, когда заедает быт, но я все же таки немножечко напишу сейчас о сравнениях, которые приходят на ум, когда смотришь на травку или на облака при закате. (Здесь иногда случаются потрясающие закаты, напоминающие про все самое лучшее.) Возможно, крупички искусства, как соль, всыпаны в жизнь. Художнику предоставляется их обнаружить, выпарить и собрать в чистом виде. При особенно удивительных поворотах судьбы мы говорим: «как в романе». В этом сквозит признание явственного несходства между пресной обыденностью и тем, что по природе своей редко, удивительно, «красиво, как на картинке». От прошедших времен, если они того заслужили, остаются в основном произведения искусства. Не потому ли так часто прошлое кажется красочнее настоящего дня. На самом же деле, может быть, оно было ничуть не красочнее. Просто от него краска осталась, чистая, беспримесная соль искусства.

Искусство свойственно личности, нации, эпохе и всему человечеству подобно инстинкту самосохранения. Оно присуще и жизни вообще, существованию в целом. К искусству относятся одежды цветка, раскраска бабочки, хвост павлина, лучи заката – выделяющие породу и особь вопреки нивелирующим действиям смерти. Не здесь ли связанность искусства с полом, Эросом, продолжением рода? И не есть ли искусство в значительной мере брачное оперение жизни, которая в расчете на будущее наряжается и прихорашивается? (Непосредственно эти качества мы наблюдаем в народном творчестве, которое избегает копировать скучные повседневные склоки, но избирает яркие краски по примеру цветов и петушков с гребешками.)

Искусство в древности сосредоточено по двум границам человеческой жизни: перед зачатием (свадьбы, весенние игры и пляски) и после смерти (поминки, курганы, пирамиды и прочие способы сохранения). И там и тут преобладает идея рождения, преодоления смерти, и то и другое, глубоко прорастая в народный быт, стоит за бытом и над бытом как преджизненный праздник или посмертный могильный памятник. В этом смысле особой вынесенности за обыденное течение жизни искусство всегда не-обычно и в силу того necessarily. Без него легко обойтись, оно дано нам сверх програм-

мы, сверх прожиточного минимума, как некая роскошь, украшение, прихоть, сувенир, безделка. Но это тот избыток (остаток), которым долговечна жизнь. Уберите его, и целые сонмы бесследно сгинут, как обры.

Самое живучее из творений рук человеческих, искусство даже смерть, свою противницу, превращает в помощницу. Отвечая за продолжение рода, искусство тем и существует, что творит себя в виду и под угрозой близкой разлуки. В стремлении запечатлеть окружающее художник обводит землю расширенным, последним взглядом. словно перед скорой кончиной, он хочет навсегда запомнить увиденное, и потому изображение становится крепче и насыщенной подлинника. Искусство создается ради преодоления смерти, но в ее сосредоточенном ожидании, в длительные часы прощания.

2 июня.

Один добрый человек, которому я предоставил изучать «Махабхарату», сказал:

– Передайте мою благодарность Вашей госпоже.

Так вот, моя госпожа, благодарю тебя за «Махабхарату» и другие книжки-пластинки. Получил Протопопа, Хлебникова, Платонова, Зайца\*, Вивальди с Бахом. Не обошлось, правда, без казуса: на Бахе написано по-английски, что пластинка сделана в Советском Союзе, и эти загадочные иностранные буквочки потребовали разбирательства. Так что впредь старайся обходиться без таких сомнительных надписей. Зато потом целый вечер провел по-домашнему, под дребезжание клавесина, а буколический Вивальди почти что побывка у тебя. Теперь и другие знакомые закажут своим родным пластинки, и наши концерты обогатятся.

Простыня мне хорошо пригодилась. Теперь я всегда с двумя простынями, даже когда одну (по очереди) сдаю стирать в прачешную. А носки и другие мелочи, включая, в общем, все белье, я стираю сам на работе, где тоже висит на веревке мое мохнатое полотенце, которым трусь после душа. Чевой-то от частого вытирания оно стало слегка просвечивать.

Мыла мне не надо никак: у меня еще два куска в запасе, и тут выдают дополнительно. Носков тоже хватает. Лучше пришли

бандероли, о которых просил еще при свидании. А сплю я по-прежнему на втором этаже, и это теперь мне даже нравится больше нижнего места по причине возвышенности и воздушного окружения. А то бывает по ночам духновато.

... В журнале «Иностр. лит-ра»\* прочел киносценарий «Палач» (довольно мило) и пьесу Сартра «Дьявол и Господь Бог» – показалась слишком декламационной, головной, Л. Андреев писал лучше на сходную тему.

Из-за того, что у нас вычли какой-то излишек за прошлые месяцы, моя зарплата в мае пошла на резкое снижение, хотя выполнение нормы повысилось и работать пришлось особенно много. Получил 1 р. 88 коп. (выполнение 73%).

Вино письмо\* пересылать не надо, но сохрани его на будущее. Хотя меня весьма занимают ее доподлинные выражения, нет смысла их демонстрировать в подкрепление нелепым эпитетам, на которые не скупится судьба. Вспоминается старушка, подложившая с доброй молитвой и свою вязанку хвороста, – на такую сердиться нельзя. Тем более что меня в основном беспокоило наводнение в Старой Руссе, о котором писалось в газетах. А коли живы-здоровы – прекрасно.

По тем же мотивам я воздерживаюсь воспитывать Колю\*, одевшись в маску раскаявшегося алкоголика. Я и так в последнее время выгляжу что-то чересчур аморально, и хотя готов к стиливым снижениям, надо же знать и меру. Сердечно поздравляю их с новорожденным, радуюсь, что получился мальчишка, и надеюсь, что его появление усилит в Коле чувство ответственности. Вино рекомендую пить по субботам (ну и по воскресеньям ежели), вечером, в семейном кругу, так чтобы трудовая неделя имела приятное закругление. Из сочувствия к моему воздержанию он тоже мог бы пить поменьше.

Юлькины стихи\* не присылай – меня это мало интересует. И писать ему в настоящее время я бы тебе не посоветовал. Если можно – уклонись. А если все-таки будешь писать – не старайся его воспитывать: такое выглядит кощунственно. Каждому на месте виднее, как ему поступать. И как мне нужна тишина, ему, быть может, нужно другое, чего мы не вправе друг другу навязывать.

Поздравительных открыток к маю я никуда не посылал. Во-

первых, у меня нету открыток (со временем вышли, чтобы мог к ноябрю). Во-вторых, меня охладил рассказанный случай, когда открытка, вероятно слишком пространный, была приравнена к письму и отправитель остался с носом. От тебя же я не намерен ничего скрывать – не воображай.

По этой причине я и сейчас считаю нужным (как это ни тяжело) известить тебя, что недавно мной получены два письма от М.З.\* , которые шли около месяца, прежде чем дошли до меня. Содержание горькое – боль раненой женщины, не понимающей, что происходит, потому что в ее представлении все не так, как представляется мне. Читая эти горькие письма, я чувствовал свою вину (заставляющий страдать всегда виноват) и бессилие: что бы я ни написал ей, вряд ли она поймет что-то кроме того, что я обманул ее и предал, и она уже страшится ответа и уже наперед не верит тому, что могла бы услышать в ответ. Но воевать с тобою вроде не намерена.

Тебя все это пусть не пугает. Во мне ничего не изменилось и не изменится. Я как-то сжимаюсь и каменею от этих жалоб и обвинений, наполовину вымышленных и объяснимых размерами ранения, уязвленностью человека, с утратой иллюзий (длительное время принимаемых за правду) внезапно все теряющего, истекающего кровью. Зрелище способно вызвать ужас, возбудить угрызения совести, но оно не способно сдвинуть меня в том направлении, которого просто не существует.

3-4 июня.

Почти одновременно, одно за другим, пришла кучка писем от тебя (по № 33) и Голомштока\*. Несколько дней ломал голову, как помочь рассеять сплетни, принявшие столь угрожающий характер. Прямая записка другому лицу в письме к тебе оказалась технически невыполнимой затеей. Но в тексте этого письма я далее выскажу нечто такое, на что можно сослаться, что можно показать *в случае необходимости*. Понятно, что письмо, обращенное непосредственно, было бы лучше и полезнее, но для этого надо пожертвовать письмом к тебе. Если события заставляют – телеграфируй, и тогда второе письмо в июне я пошлю по другому адресу (содержание его тебе станет ясно из дальнейшего изложения). Может быть, правильнее было бы отправить письмо Ларке (тогда

пришли мне ее адрес). Боюсь, все это вызовет взрыв корреспонденций ко мне, – но по крайней мере с моей стороны поставит точку. Итак, если ситуация подпирает, я это сделаю отдельным блюдом (признаться, иногда подмывает поступить таким образом, но удерживает наш договор делать все по взаимной согласованности), а следующее письмо тебе, чтобы уменьшить паузу, отправлю в самом начале июля.

А пока что я прошу познакомить Голомштока с этим письмом полностью и прошу его (если это нужно) объяснить за меня с М.З. или Ларкой. Именно его, а не тебя, Машка, потому что твои вопли «к барьеру!» не внушают мне спокойствия и могут все испортить. А последующий листок из этого письма – коли не будет Голомштоку доверия – можно вырвать и показать. Итак, я прошу Игоря объяснить, что –

Не в чьих-то фантазиях, а на самом деле я люблю свою жену, и мне не нужно никого другого, кроме нее и ребенка. Тюрьма, как всякая встряска, проверяет истинность чувств, и, попав туда, а затем в лагерь, я не раздумывал, кого мне любить, а просто ощутил это как единственную достоверность. Я делал несколько попыток довести этот факт до М.З. и вижу из писем, что ей что-то известно, но она добивается невозможного, настаивает, обвиняет. Пусть меня считают кем угодно – сумасшедшим, обманщиком, соблазнителем, негодяем. У меня нет сил и желания защищаться по каждой версии, и я не хочу одни скандальные разоблачения побивать другими на удовольствие посторонним лицам. Скажу только, что я не выкармливал надежды на совместное счастье или начало какой-то новой жизни, а откровенно проживал (прожигал) довольно короткий и мрачный для меня отрезок времени. Мне казалось, что она понимает и принимает – как есть – эту зыбкость наших отношений, подчеркивать которую еще больше, чем я это делал, мне казалось непорядочным. Я видел в ней умного и хорошего человека и до сих пор не могу понять, как могли знаки доверия превратиться в вещественные доказательства по уловлению меня на слове, как могли факты и слова, не подлежащие огласке, цитироваться публично и служить основанием для произвольных выводов. Или она не догадывается, что сейчас ее слова обо мне и обращенные ко мне звучат публично, что ее борьба по защите меня от того, кто мне ну-

жен и дорог больше всего на свете, является нападением на меня, что даже ее письма, при самых добрых намерениях, становятся средством травли и циничной интриги, помогают загнать меня в угол, хотя, кажется, дальше некуда загонять?..

Единственно здоровое и доброе, что можно сделать в нынешнем положении и о чем я прошу, это не продолжать громкие выяснения, а расстаться и помолчать.

*5 июня.*

В письме Голомштока очень верно замечено обо мне и моих знакомых, что мы живем теперь в разных измерениях. Например, кто-то беспокоится на тему, что подумает обо мне мой сын, когда вырастет и все узнает. А меня этот вопрос не беспокоит. Я отбываю срок. Не будь срока, мне бы, наверное, стыдно было выслушивать все нелестные определения, сыплющиеся по моему адресу. А сейчас – как с гуся вода. Меня сейчас можно при случае и палачом назвать, и убийцей, и растлителем малолетних: я отбываю наказание, и мне не больно. Кто-то интересуется, как я жить смогу, имея грех за душою. А я не жить собираюсь, а отбывать срок. Живи я на воле, я бы мучился. А здесь мне тепло и не дует. Я хорошо устроился и не спешу. Наказанному гораздо удобнее. Не надо никуда ходить, ничего решать. И стремиться не к чему. Особенно к свободе. Там меня ждут неприятности, кредиторы. Нет, я уж лучше тут побуду. Не оправдаюсь – отсижусь.

Эти мысленные монологи я произношу, когда мне предъявляются векселя, платить по которым я не в состоянии.

*6 июня.*

Добрый день, Машка.

Ужасно\* трещит голова, пока дописываю это письмо и все никак не допишу. Я давно не страдал бессонницей, а теперь угораздило. Ну вот потому и с письмом запаздываю. Впоследствии, действительно, перемещу отправку на 5–6 и 20–21 каждого месяца. Но на сей раз не поспел: тут и проблема записки, с которой пришлось повозиться и переменить несколько вариантов, и общее настроение, немного напряженное. Все ждал с беспокойством твоих писем, и они в какой-то мере подтвердили опасения (имею



в виду ту же кучку). Ты представь только: в ночь с 25 на 26 мая я видел скверный сон. Глупый Осичка в каком-то болоте пытался ухватить зубами змею, лаял и рвался, я его отзывал в испуге и не мог оторвать от охоты, и змея его таки укусила. И как после такого сна ждать чего-то хорошего («твоим бы врагам такой сон», – сказал один знаток)? Будь на всякий случай осторожнее и не подобляйся Осичке. Я нынче стал суеверным: «о, как на склоне наших дней\* нежней мы любим и суеверней...» Так, кажется?

Впрочем, нервочки тоже пошаливают. И я в итоге всех треволнений ничего не успеваю. В твоих-то условиях можно посидеть вечером и успеть неуспетое. Выспаться можно после. А хуже, когда все закреплено по часам и минутам и ничего не сдвинешь. Ворочаешься с боку на бок. И спать не спишь, и подняться некуда. Последними словами себя клянeshь за такую неэкономность. Обидно расхотеть время попусту. Ведь выгоднее встать пораньше, когда рассветет, и подзаняться на досуге. Мне бы, кажется, только пару лишних часиков выкроить. Внушения эти, конечно, мало помогают. Ночь проваляешься, а утром еле проснешься – и на работу.

Сильно меня рассмешили недавно. В день воскресный стою я под легким дождиком и задумчиво жду товарища, ушедшего варить кофе. Ожидание прерывает какой-то незнакомый – подходит и участливо спрашивает с готовностью помочь: «Скучаете?» Так я чуть не выругался и дёру. А порожняком стоять – в покое не оставят, вот и бегаю с озабоченным видом.

Машенька, пока писал это письмо, случилась приятная новость. Вручили бандероль с «Возвращением»\*. Большое спасибо, книга, видать, полезная и с хорошим названием. А вообще-то книг у меня сейчас целая гора выросла – погоди присылать новые. Бандероль же с кедами еще не пришла, но ты не волнуйся с этим делом: в крайнем случае я могу тут заказать самодельные тапочки, в которых многие ходят.

*6 июня.*

В рассказе про кладбище ты опять меня обдала благодарным удивлением. Зря только, будто бы ничего другого я тебе не оставил в чистоте и незапятнанности. Не надо нам выдумывать печалей: хватает.

А знаешь ли, что «Мария» означает госпожа, а «Евдокия» – благоволение?

Нельзя ли занять денег и выписать на них доктора Любошица\*, чтобы окончательно урегулировать Егоркину температуру? Расскажи еще, что нынче ест Егор? А скоро ему полтора годика стукнет, и я его и себя очень поздравляю с полукруглой датой.

Будьте здоровы и невредимы, мои родненькие. Целую вас, обнимаю со всех сторон.

7 июня.

P.S. Пока доканчивал это послание (жутко смешно получается, но это происходит потому, что пишу две-три фразы – и на работу, потом еще фразу – и на проверку, и, бывает, я дня два таким путем одолеваю какую-нибудь страничку, а тут подходят новые события, все меняется и т.д.), получил еще два твоих письма и успокоился. Голова уже не болит и сплю нормально. Еще большая радость: мне вернули мои конспекты, и теперь я смогу более планомерно заниматься литературоведением. <...>

Только я опасаясь, не скучно ли тебе читать мои рассуждения про литературу и ты об этом просишь для моего лишь удовольствия. Напиши – и я сокращусь. Или наоборот – расширюсь. Очень тебя люблю, хотя ты про это и так знаешь наизусть.

Не забудь прислать конверты.

8 июня (утро).



**Получил Протопопа, Хлебникова, Платонова, Зайца...** – Речь идет о книгах: Житие протопопа Аввакума. М., 1960; Велимир Хлебников. Стихотворения и поэмы. Л., 1960; А.Платонов. В прекрасном и яростном мире. М., 1965. «Заяц» – детская книжка-раскладушка, с которой играл Егор, посланная Синявскому, чтобы он знал, чем увлекается ребенок.

**В журнале «Иностр. лит-ра»...** – Иностранная литература, 1966. №1.

**Вивино письмо...** – Письмо, в котором Вевия Донатовна Синявская отрекается от брата (см. примечание к письму 14).

**...я воздерживаюсь воспитывать Колю...** – Н.Б.Кишилова.

**Юлькины стихи...** – Стихи Ю.Даниэля, написанные в лагере.

...два письма от М.З. ... – Карфаген.

...кучка писем от тебя... и Голомштока. – Игорь Наумович Голомшток, искусствовед, мой университетский однокурсник, один из самых надежных и верных наших друзей. На процессе Синявского Голомшток отказался отвечать на вопросы суда, после чего было вынесено частное определение о привлечении Голомштока к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. В мае 1966 года Голомштока судили и приговорили к шести месяцам принудительных работ. В 1972 году эмигрировал в Англию.

Ужасно... – Шифровка: «Жду посылку на Пятых особенно и Джапарова» (Пятых и Джапаров – фамилии солагерников А.С.).

...«о, как на склоне наших дней...» – У Тютчева – «...наших лет».

...бандероль с «Возвращением». – Возвращение (Очерки о воспитателях исправительно-трудовых колоний). М.: Политиздат, 1965.

...выписать.... доктора Любошица... – Эмиль Любошиц – замечательный детский врач, сначала харьковский, затем донецкий, а теперь иерусалимский.



## ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Ах, вы, мои сокровища, Машенька и Егорушка. До чего ж вы милы и красивы на новой фотокарточке, от которой, глядя на вас, я без ума от радости, что есть у меня такие ангельские существа. Ужасно вы мне понравились. <...>

А знаешь, Машка, почему я так сильно полюбил Егора с самого начала и до сих пор? Я только недавно понял эту очевидную вещь (но еще до получения вашей фотографии), вернее – принял и осознал ее как-то особенно близко к сердцу, точно сразу прижал вас обоих к себе и не хочу никогда выпускать.

А потому что Егор – это ты в уменьшенном размере. И, наверное поэтому, ты тоже стала восприниматься несколько на Егорушкин лад и казаться мне маленькой и более единокровной. А сейчас, на этой картинке, ты получилась такой же самой, и каждая часть твоего портрета узнается насквозь и насовсем, как прямое продолжение моей души. Смотрю и отфыркиваюсь: ну можно ль так удаваться и быть столь безусловно похожей на себя, что один вид погружает в такую полноту обладания, что я сильнее сейчас с вами, чем здесь, на месте, и, оторвавшись, недоверчиво озираюсь по сторонам – куда же ты подевалась?

Еще удивляет рассказ про то, как Егорка забрался в крапиву и, значит, бегаёт туда-сюда по той самой лужайке, где в прошлом году даже ползать по-настоящему не умел. Присматривает ли за ним кто-нибудь, когда он так разгуливает, вызывая беспокойство, как бы чего с непривычки не проглотил или не повредился о какую-

нибудь колючку, гвоздь, стекло, сучок и т.д.? А тут еще холода начались такие, что мы опять влезли в ватники, и, вероятно, у вас не слаще – подумать страшно.

(А недавно весь наш участок утопал в теплом тополином пуху – в подобном изобилии я этого никогда не видал: что-то вроде густого тумана и снегопада. А комары внезапно пошли на убыль, так что крем «Тайга», который мне здесь подарили, почти не пригодился.) Хорошо еще, что вы все вместе и у вас там одни общие ясли. Очень я растроган помощью Али и Петрова; благодарю их за весь труд, за всю заботу о нашей семье, столь весомую в эту пору. За такую доброту им зачтется. А как они гостили, распиши подробнее, пришелся ли по вкусу Петров и понравилось ли ему на Урале? И каким образом Егор воспринимает Машу-маленькую? Или все еще ничего не кумекает?

Мне сдается, после лета надобно убрать и спрятать большую часть Егоровых игрушек, которые он этим временем успеет позабыть. Чтобы у него не было к ним скучающего равнодушия, а каждая вещь воспринималась бы в редкость, в подарок и поблескивала.

Мою фотокарточку я бы, конечно, прислал, да что-то в ближайшее время не предвидится, и я даже не очень разумею, как это начинание здесь организовано. Если представится случай, непременно сфотографируюсь, хотя такой специальный и апробированный снимок мало что передаст. Большую объективность проявил недавно один сторонний зритель, сказавший при виде меня в разгар работы: «Какой страшный!», на что получил ответ (не от меня, естественно): тебя бы (эпитет) так нарядить-разукрасить (эпитет) – вышло бы еще страшнее. Меня же этот «страшный вид» ничуть не шокирует, а скорее забавляет: какие-то ассоциации с детским маскарадом не выходят из головы. Вдобавок неизвестно, какой внешний облик более соответствует нашему назначению. Так что.

Иное дело – волосы. Их значение не оценено по достоинству. Не в смысле украшения, а в их первичной функции – покрова и восприятия. «С волосами думать легче», – сказал один старик, и это открытие меня поразило. Действительно – легче. Возможно, волосы, наподобие антенны, помогают улавливать полезные токи из воздуха, так же как лес притягивает тучи и усиливает осад-

ки. В то же время они могут служить защитой от каких-нибудь электроразрядов. У меня, например, после свежей стрижки обычно трещит голова, а потом проходит.

*12 июня.*

Не успеваю читать книги, но думаю о них непрестанно с удивлением и благодарностью. Не перестаю, помимо прочего, удивляться способности книги вбирать и выдавать по заказу большой видимый мир. В детстве книга была похожа на раздвижную ширму. Из-под серой, неприглядной наружности на тебя лезет ворох зверей и растений. Закрыл – и все исчезло, как сквозь землю провалилось. В книге есть что-то от шапки-невидимки, от скатерти-самобранки. Это свойство понимали старые каллиграфы, чувствительные к потребности слова расцвести в образ, превратиться в кудрявое дерево, увешанное игрушками. Из проросшего текста – на красной тропе – выскакивали рыкающие буквы, и как медленно, с какими прекрасными паузами прочитывалась книга. Искусство каллиграфов невосстановимо. Но мы должны помочь извечному стремлению книги к сокровенной компактности и сжать ее словесную массу так, чтобы она пружинила, трепетала под взглядом читателя и он, затаив дыхание, видел бы, как на страницу – из-под черных, горелых пней типографского леса – выбегают зеленые листики и смазливые мордочки красных лисенят.

*14 июня.*

Пока дурная погода, и ничего не предвидится, и в письмах твоих, Машечка, очередной перерыв, расскажу тебе про книги, хорошо знакомые с детства, но почему-то занимающие меня в последнее время. Перечитать не все удалось и многое приходится восстанавливать по памяти, перебирая мысленно «золотую библиотеку» и размышляя над тем, почему она золотая. Для начала выбрал Рабле, Свифта, Дефо, Сервантеса и начал думать о сходстве этих книг и различиях. И вот что получилось.

В ряде произведений (ренессансной поры и далее) человек в качестве особи сделался подопытным кроликом. «Мера всех вещей», потерявшая соразмерность с вещами, утратившая сознание собственного конца и начала, человек был помещен в по-

рожнее от предрассудков пространство, брошен и сопоставлен с самим собой. Его тотчас потянуло в разные стороны: он ударился в путешествия. Четыре автора с разных сторон взялись за эксперименты и написали в результате по увесистому роману, заложив четырехтомный фундамент новой литературной династии: «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Гулливер», «Робинзон Крузо», «Дон-Кихот».

Общее в этих книгах – универсальность задачи в исследовании и оценке человеческой единицы, ступившей, словно рекрут, на порог приемной комиссии и подвергшейся придирчивому выслушиванию и осматриванию.

Франсуа Рабле проверил работу желудка, кишок, почек и показал, как весело дышит и развивается наше тело, избавленное от страха, освобожденное от стыда. Сюжет «Гаргантюа» интересен гастрономическими подсчетами, интригующими задержками мысли над количеством отправлений, позволяющими проблему питания, одевания, выделения разрешать с медлительной напряженностью катастрофы. Соотнесение этого пиршества с обычными величинами (съедено столько-то быков, выпито столько-то бочек) служит уже не привязью к знакомому месту действия, но подзорной трубой, в которую человеческий организм созерцается в заманчивой прогрессии, наподобие невиданного, новооткрытого континента. Тут важна не гипербола, а процесс ее освоения, длительная протяженность усилий, совершаемых со вниманием, с той же трудолюбивой нелегкостью, с какой корабли Магеллана огибали пустынные берега Патагонии. (В «Гаргантюа» география потеснила физиологию, сблизив ее с интересами тогдашнего мореплавания.)

Затем появился Свифт, подвергший человека другому, по всем статьям тягчайшему экзамену.

Заметим: Свифт описывает содержимое наших карманов как необыкновенный феномен или требующий доказательства казус. У Гулливера часы – не часы, гребенка – не гребенка, платок – не платок, а нечто, на взгляд лилипутов, невообразимое, не поддающееся постижению и потому растянувшееся страницами увлекательной фабулы. Открытие Свифта, принципиальное для искусства, заключалось в том, что на свете нет неинтересных предметов, доколе существует художник, во все вперяющий взор с

непониманием тупицы. «Понятно! Давно понятно! – раздаются вокруг голоса. – Это же просто ножницы! Чего тут рассусоливать?» Но художник не может и не должен ничего понимать. Название «ножницы» ему неизвестно. Отступя на пару шагов и продолжая удивляться, он принимается их описывать в виде загадки: «Два конца, два кольца, а посередине гвоздик». Вместо понимания, взамен ответов – он предлагает изображение. Оно – загадочно.

Задавая загадки, Свифт сохранял кислую мину в ожидании, когда они захлопнутся, как капканы, и не радовался успеху предстоявшего зрелища. В переделку им были пущены не часики с гребешком, но человек как таковой с его природными принадлежностями. Все попало под удар переменных измерений, под губительные лучи той теории относительности, что вдохновила нашего автора на дерзкую вивисекцию и не оставила камня на камне от бедного кролика (еще тогда, еще на заре буржуазной цивилизации). Рабле воздвиг, соорудил человека до облаков – Свифт, идя следом, его разрушил.

В Свифте сказался естествоиспытатель, с академическим бескорыстием рассекающий лягушку и крысу, ганглии короля, мошонку висельника. Недаром свифтовская пронизательность предварила учение Дарвина о человеке из обезьяны, искусственные спутники и кибернетическую машину. В его сарказмах над учеными (раздувание собаки и прочее) сквозит высокая нелюбовь профессионала к недоучкам. Из писателей вряд ли кто сравнится со Свифтом в научном анализе, а педантизм его достигает фармацевтической дистилляции. Рабле размахивается, как матрос, в предвкушении заморских сокровищ, и подсчитывает, как кутила, сколько выпито на пари. Свифт не подсчитывает – вымеряет с точностью до дюйма, до унции, изготавливая препарат длинноногого лилипута. (Ему б гомункулюса выводить, ему бы пузыри биохимии...)

Рядом с другими героями Гулливер бесхарактерен. Он лучше прочих подходит под рубрику человека вообще. Что скажешь о нем кроме того, что это homo sapiens, лишь по-разному облученный критериями среды? Но те же перемены в предлагаемых условиях опыта лишают Гулливера надежности и постоянства. Он мал по сравнению, он велик по сравнению, он чист по сравне-



нию, он нечист по сравнению, он человек по сравнению и нечеловек по сравнению. Среди лилипутов великан, среди великанов лилипут, среди гуингнмов зверь, среди людей лошадь.

Что сохранится в итоге этих операций на огромном прокрустовом ложе вселенной? какие еще верования, законы, привычки, статуты? Даже мечта о бессмертии обернулась позором. Даже тоска по родине, влечение к себе подобным побеждены и рассеяны нескрываемым отвращением. Спрашивается: что потерял, кого забыл человек, став Гулливером, куда бежать ему, на что надеяться под взглядом Свифта? Тот из Гулливера сделал вывод: человек – фикция, человек – мнимость.

(На что надеяться Гулливеру и какой противовес свифтовским отрицаниям мы имеем в литературе, – я расскажу в другой раз.)

*15 июня.*

Родная моя жена-Маша! Прилетела стайка твоих писем (по № 43), в том числе и ваша фотография в рост, где вы выглядите ужасно похудевшими и страшно заброшенными, несмотря на ваши улыбки, и мне вас жалко, и я люблю вас бесконечно. А еще получил бандероли: 1) с трубочками, конвертами и перцем (на кой мне перец?! И где мне его хранить-таскать? ох, уж эта мне самостоятельность! а трубочки замечательные, не устаю радоваться легкости и свободе, с какой они пишат, подбивая еще пуще маракать тебе письма); 2) с Мандельштамом (по которому очень скучал); 3) с грифелями и ручкой; 4) Санскритский учебник. Молодец, жена! Ото всех этих подарков (в особенности от Санскрита, достать который – представляю – было не из легких задач) разливается внутри какая-то накрепчайшая уверенность в тебе, словно я за тобой как за каменной стеной, что ощущать в моем нынешнем состоянии несколько странно.

Письма твои получаю все, без пропуска. Только ты несколько раз обещала, что завтра будет длинное-длинное письмо, а никаких длинных завтра не пишешь. Разве что средней величины, да и то когда ругаешься за прошлогодние проступки.

Оськина привычка кусать Егора до того меня раздражила, что я просил бы сбегать его подальше – отдать на сторону или даже завезти на какую-нибудь дачную станцию и там оставить.

Пусть живет, как хочет. И если на то его собачье счастье – подберет какой-нибудь охотник.

Это не минутное настроение. Ты знаешь, у меня к нему умерла нежная привязанность. Неловко произносить такие слова – но так бывает – и ничего тут нельзя поделать, как бы ни просили, ни угрожали и ни проклинали. Проклятия лишь сильнее опустошают понурюю душу, хоть и знаешь, что грех быть «таким жестоким», но куда же денешься, когда ничего нет – это не восстановимо. Это просто – отсутствие, разводишь руками и недоуменно наблюдаешь чужую злобу, выросшую на непоправимом несчастье, которое мы приносим простым неимением того, что у нас ожидали найти. Но я, кажется, уклонился от темы.

Смешно и грустно узнавать про Егоровы делишки. Купите ему новый мячик, пожалуйста, – пока он не забыл, ведь это же тогда будет ему величайшая радость в жизни.

А стихи, что ты прислала\*, мне положительно не нравятся. Почему-то ощущаю фальшак. Почему-то по интонации они неуместно впадают в популярный мотив: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим» – вплоть до прямых совпадений: «Я так любил тебя... как, может быть, и женщин не любил» – строчки просто неприятные и этим множественным числом женщин, с которыми автор имел дело (да еще в соединении с «может быть» – тоже мне возможность ошастливить таким сравнением), и слезливой расквашенностью чувства, откровенным акцентом на жалостливость, на слабость. Все вместе – что-то среднее между «Пускай утопал я в болоте, пускай замерзал я на льду...» и «Бросьте, поручик, никто не поймет, никто не оценит». А неряшливость слога такая, что автор даже не заметил, что в одной строфе он не испытывает сожалений о своей судьбе, а в другой сетует на свою долю. Сплошное раздвоение.

Опять у меня, наверное, получилось слишком жестоко.

Кстати – тем лицам (или лицу), которые решились попрекать тебя (то есть меня) своими подачками, – верни деньги\*. Я не гордый и не отказываюсь от милостыни. Но шантажировать меня (тебя) тем, что «благодетельствуют», ни в какую не позволю.

17 июня.

Сегодня пошло как будто на твердое потепление, а несколько дней стояли совсем осенние – даже пар шел изо рта, – и я за вас очень переживал. Боязно за Егоркино здоровье после всех его воспалений и температур. Думаю, уж не пришлось ли вам временно перебираться в город?

А нельзя ли для Егорушки сделать какой-нибудь загончик в саду, чтобы он там кувыркался, не рискуя свернуть шею, и чтобы не нужно было постоянно за ним следить? Или он все время требует веселого общества и не умеет жить индивидуально? Ведь даже в коляске он, бывало, подолгу самостоятельно созерцал. А как Егор капризничает и почему? Ни с того ни с сего?

Я тут по случаю ремонта примерно неделю вел кочевой образ жизни. Ночевал на улице под фанерным щитом, откуда хорошо было видно вечеряющее небо. Комарики проникали за ватник, на глаза наплывал воздух, и опять мерещились наши северные поездки. А потом под угрозой дождя и холода пришлось сбежать в помещение, и одно время ночевал в пустой комнате, испытывая невероятное блаженство от одного того, что никого нет рядом. Не то что бы мне мешали или какие-то неудобства. Они есть, конечно, но не это главное. Просто возможность побыть одному дефицитна, и очень это трудно быть все время на людях. Особенно в первое время, когда многим было любопытно узнать: «а что ест крокодил?», вернее – как он ест и делает все прочие дела, поскольку «что» всеобщее и одинаковое со всеми. И пребывание в каком-нибудь пустом классе, где сидит всего-навсего три-четыре человека, уже становится отдыхом. <...>

А Санскрит ты насовсем прислала или временно? Можно ли его подарить?

*19 июня.*

Когда ты получишь это письмо, моя душа-Маша, мы уже перевалим за половину этого длинного четырехмесячного промежутка между свиданиями и дело пойдет легче в ожидании твоего чудесного приезда. Говорят, вторую половину срока тоже легче сидеть, чем в начале. Но удивительно, что, судя по рассказам и наблюдениям, особенно трудно даются самые последние месяцы, когда, казалось бы, человек счастлив уже одним предвкушением свободы.

Люди теряют сон, все валится из рук, и время тогда тянется изнывающе медленно (хотел бы я испытать эту медленность!). Уезжающие обычно наряжаются, как на свадьбу, а остающиеся отдают последнее, желая снарядить товарища получше и покрасивее: «ему предстоит жить» (хотя, рассуждая логически, все должно бы быть наоборот). При мне один уезжающий, завидев на приятеле майку поновее его собственной, тотчас произвел реквизицию, несмотря на то что дома его ждал недостаток, а у приятеля та майка была единственная. Я пытался было оспорить явную несправедливость, но меня как новичка не стали и слушать: это был вопрос чести.

Все же мне не верится, что я когда-нибудь, уезжая из лагеря на волю, тоже начну прихорашиваться и принимать до смешного независимый вид, будто и не был зеком.

Интересно еще, как меняется окраска слова. В обществе считается неприличным применительно к себе употреблять слово «кушать». Здесь же я часто слышу его именно в таком применении, но главным образом – не в связи с трехразовой будничной трапезой, а по случаю какого-нибудь сверхъестественного куска. И верно: все прекрасное, желанное (даже если это кусок хлеба) надо не есть, а кушать, титулуя свое занятие с благодарной почтительностью.

А про то, что в моих письмах тебе интересно читать, и про что – нет? – расскажи, пожалуйста.

А еще слышал реплику, произнесенную между прочим, но звучащую как стихи: «Тринадцать лет как в сказке пролетело». В одной строчке – поэма.

<...> Что-то я последнее время о тебе сильно скучаю. Дни проходят в страшной спешке, но мысли о тебе неподвижны и нескончаемы. Такое чувство, что в этой точке – в зените – время остановилось. <...>

А.

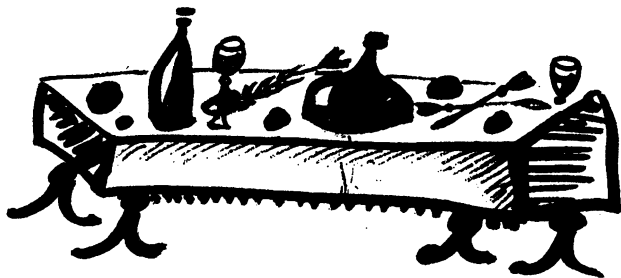
20 июня.



**А стихи, что ты прислала...** – Лагерные стихи Ю.Даниэля.

**...верни деньги.** – После процесса ко мне зашла Вика Швейцер (о ней см. в примечании к письму 14) и сказала, что общественность по-

становила взять нас с Ларисой Богораз на содержание. После чего та же Вика ежемесячно передавала мне приблизительно 100 руб., что по тем временам соответствовало зарплате начинающего научного сотрудника. Кроме этого, нам регулярно помогал ученик Синявского Лазарь Флейшман («наше незаконное дитя», как называли его мы с А.С.), иногда помогали Илья Крупник, Евгений Борисович Пастернак. Несколько раз друзья передавали мне деньги от разных малознакомых доброжелателей. Я принимала помощь с благодарностью, пока однажды не столкнулась с тем, что присланные мне через третьи руки 25 рублей дают право отправителю обсуждать, осуждать и попрекать меня. Я написала об этом Синявскому, он потребовал вернуть деньги, что и было сделано. А приблизительно через полтора года после процесса мне вернули деньги из писательского кооператива, куда мы вступали с Синявским и куда меня без Синявского, естественно, не приняли, и я встала на собственные финансовые ноги.



## ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Добрый день, моя ненаглядная.

Во первых\* строках поведаю, какие забавные вещи случаются иногда у нас с тобою: задаю тебе какой-нибудь вопрос (например, чем нынче кормится Егорка или об его отношении к Машке-маленькой) и – едва ушло письмо – получаю твой обстоятельный ответ на интересующую тему. Обидно немножко, что зря расспрашивал про то, что тобой давно описано, и представляю, как ты недоумеваешь по этому поводу и считаешь меня растяпой. Тем не менее, помимо горестно-огромного разрыва в получении писем, тут присутствует очевидное совпадение наших мыслей и вкусов, чему надо радоваться и удивляться.

В период, истекший со времени моего последнего письма, пришел косячок твоих птичек (№№ 44–50), подряд, и всё добрые, ласковые, с серебристым оттенком. По моему адресу товарищами даже сделано замечание, что я теперь выгляжу совсем прилично, исчезли круги и впадины на лице и как будто поправился. Истинной же причиной поправки является мое настроение, из чего можно видеть, как благотворно влияет возросшее количество и качество твоих писем. Бывает, правда, что они поступают неравномерно: то густо, то пусто. Плохо, когда почти неделю ничего не имею, но вдруг, в какой-нибудь чудесный вечер целых три штучки сидят на подушке, а однажды прилетела стайка сразу из пяти писем. С каким удовольствием их разглядываю в порядке живой очередности, и прыгаю с вами со дня на день, и заранее веселюсь и волнуюсь про следующие листочки и дни, уже пойманные в карман.

А из последней почты особенно меня порадовало письмо, в

котором ты рассказываешь про неудачу с квартирным обменом. Я полностью согласен с нравственным уроком, который ты вынесла из этой неароматной истории. Тоже так думаю и так живу, ну просто тютелька в тютельку, целую тебя и горжусь твоей дальновидной честностью.

Глупые легенды о моей библиотечной карьере\* немало распустили. В утешительной этой версии авторы явно спутали строгий режим с курортным. О чем не догадались они – так это прибавить, что мне созданы все условия для получения докторской степени. Либеральные сердца были бы успокоены. С легкой совестью можно делать собственную карьеру.

28 июня.

«...» Травмы от соседской собаки, пугающей Егорку, надо бы исключить. И вообще хорошо бы вокруг ребеночка было поменьше неожиданного крика, шума и лая. Очень ему требуется ровное обращение, по себе знаю и помню. В детском ощущении жизни должно быть что-то прочное, уверенность в постоянстве самых главных вещей. «...»

Еще я не в восторге от прозвища «Мурзик» (доколе это, может быть и правильное, определение переходит в закрепленное прозвище). Не потому что обижает, а что-то не то стилистически, не отвечает сущности. Егор – это Егор, и не надо ему превращаться ни в каких Мурзиков.

За книги, которые дарятся нашей семье, передай, Маша, мою признательность и человеческое уважение. Присылать же эти книги в самом деле не стоит. Лишь на будущее учти, что, оказывается, в принципе я имею право получать книги с дарственными надписями. Так что пускай надписывают. А вошли ли в новое издание Пастернака «Гамлет», «Август»\* или какие-нибудь другие не опубликованные раньше стихи?

Пластинки доехали отлично. Если впоследствии надумаешь (торопиться не надо и можно отложить до осени-зимы) еще какую-нибудь музыку, то посылай тем же способом – малыми дозами и в картонной крышке.

Санскрит годится, и за него громадная благодарность (можно ли не возвращать эту книгу?!). Авторучка тоже пригодилась. «...»

А еще я вступил в соревнование с одним милым человеком\*,

которого тоже очень любит жена и пишет ему часто, сопровождая свои послания сквозной нумерацией, и который тоже на нее молится и сочиняет ей длинные письма по такому же дневниковому методу. Так вот он постоянно меня спрашивает: «А у вас какой номер идет?» И я отвечаю победно: «50-й», тогда как у него только «45-й». О своем отставании он сообщил жене с мыслью нас обогнать в ближайшем будущем. Но мы ведь не поддадимся?..

*30 июня.*

Вот я расхвастался и за это наказан: опять наступил длительный перерыв в твоих письмах, и мне свет не мил. Пока что прикидываю так и эдак тему твоей статьи: «О фантастическом и реальном в русском народном искусстве». Лучше назвать ее «о»: такое меньше обязывает, либо придумать более броский и живой заголовок, а «о» поставить в скобки, в качестве подзаголовка и пояснения темы. Построение же статьи мне рисуется следующее (излагаю все в самом первом, черновом, конспективном виде – в качестве предварительной рассовки и затравки).

Центральную мысль о том, что в изобразительном фольклоре реальное фантастично, а фантастическое реально, не стоит формулировать в виде голого тезиса, в особенности не стоит этого делать в начале статьи. Надо, чтобы эта мысль составляла ее атмосферу и всюду витала, наподобие облака, принимающего всевозможные формы и очертания, богатого в своих возможностях, – не воплощенная в узкую по своей прямолинейности фразу. И надо, чтоб у статьи был сюжет, интригующий, заманчивый, имеющий изгибы.

1) Вначале введем читателя в фантастическую среду русского фольклора (слегка на беллетристический манер: войдите и посмотрите, какие райские птицы сидят на ветках, какие львы и русалки ютятся на косяках), оперируя сперва самыми очевидными примерами и пользуясь в полном смысле фантастическими мотивами. Тон задает Пушкин, при первом же погружении в эту стихию сказавший: «Там чудеса, там леший бродит...» – мир неведомого и невиданного.

2) Затем введем «антитезис», как бы опровергающий только что сказанное: ведь фольклор твердо базируется на почве народного быта, хозяйственных дел и забот, и реальные приметы до-



машного и трудового обихода широко вторгаются в область декоративно-изобразительную и по временам оттесняют сказочные образы.

3) Тем не менее (начинается опровержение антитезиса, возвращающее нас к исходному моменту о преобладающей роли фантастики [и отсюда же начинается более обстоятельное и аналитическое изложение, а до сих пор было лишь вступление в тему]) у нас не исчезает чувство сказочного и чудесного при столкновении с миром реального в народном творчестве, когда мы любуемся петухами на полотенцах или конями на прялках. Дело в том, что реальный быт, здесь запечатленный, не является просто копией всего, что происходит в жизни человека. Из фольклорных изображений мы выносим совсем иное «ощущение реального», чем, скажем, из серии передвижнических картин, превративших залы Третьяковской галереи в иллюстрированную энциклопедию народной жизни. И причина этого совсем не в примитивности или неумении народного художника воспроизвести окружающую действительность в ее полноте. В фольклоре господствует более *избирательный* принцип изображения реального мира. Здесь напрашивается аналогия с *цветком*, вобравшим краски природы с избирательной яркостью. Фольклорное мышление следует примеру цветка, который не столько отражает жизнь, сколько зачинает и увенчивает ее. (А передвижники, если продолжить ту же аналогию, уподобляются зеленым цветам по принципу отражения окружающей травы.) (Тут можно использовать кое-что из того, что я писал тебе в другом письме о природе искусства как составной части природы.) Петух на полотенце не просто петух, а скорее павлин. Тут можно затронуть позднейшие попытки использовать в народном искусстве мотивы и приемы реалистической живописи, что приводит к неестественности, к нарушению чувства реальности (помнишь неправдоподобно реалистического льва на фасаде?). И совсем реально смотрится условный конек, органически вырастающий из бревна и увенчивающий клеть (тот же принцип цветка), или наш знаменитый прялочный иероглиф коня, абсолютно реальный и абсолютно фантастический. Деревянная резьба сближает избу с дворцом (тот же петух-павлин), костюм крестьянской девушки превращает ее в царицу. Отсюда же фантастическое развитие орнамента, который, конечно,

не есть лишь украшение, радующее глаз, но философия бытия, явленного в расцветающем качестве. Тенденция орнамента – поглощать предметы, превращая их в повторные символично-магические заклęcia, а затем в более-менее отвлеченный или беспредметный узор, передающий, однако, красочную интенсивность, геометрическую конструктивность и ритмический лад вселенной. Красный цвет – ассистка древнего ритуала (возможно – жертвенная = творческая кровь), которой помечены предметы и понятия, играющие в жизни заглавную роль. По красному цвету мы узнаем сферу прекрасного в народном искусстве, его присутствие в таком изобилии уже сказочно и волшебно (а часто ли он встречается в окружающей природе? А здесь все насыщено им; в природе кровь скрыта, не видна, а здесь все горит ею, как на древе жизни).

Интересно, что в народном искусстве мы сравнительно редко встречаем изображение повседневно-трудовых процессов. Конечно, физический труд – равномерно распределенная боль – не мог стать объектом всяческой поэтизации (за исключением, может быть, сеяния и жатвы, поднятых до значения символа, *до и после* жизненного ритуала). А все больше хороводы, чаепития, катания на санях – приметы расцвета и богатства, основания и увенчания. Пристрастие не просто к быту, а к исключительному в быту.

Или – откуда львы в России? А потому что царь зверей, заглавный зверь, как петух – царь домашней птицы. А вот кошек-то и нет (петровские кошки – это иронические львы).

Еще путь в создании народного образа – аналогия, сравнение. Вероятно, ковши в виде уток были правилом не потому, что крестьяне любили уток, а потому, что ковши любят плавать. Здесь реализованная (в изобразительной форме) метафора, по своей неожиданности не менее фантастическая, чем русалка, восседающая на ветвях.

4) При всем том (опять начинается движение в сторону реального) самая вольная игра фантазии не порождает в народном искусстве ощущения ирреального и далека от романтических устремлений позднейших художников. Причина, во-первых, в том, что сам язык искусства просторечив и материален. Приземляющая осязаемость фантастического образа одновременно усилива-

ет его фантастичность и делает правдоподобным. В целостном живом организме искусства фантастика и реальность перестают противоборствовать, но идут рука об руку и помогают друг другу. Петух превращается в павлина, а птица Сириин похожа на курицу, и вот они уже могут беседовать и сидеть на общем нашесте. Вторых, эту зримость и тяжесть образного рисунка усугубляет присущее народному творчеству чувство исходного материала. Художник работает на сырце, оставляя предмет искусства где-то на полпути от доски до кружева (и получается дощатое кружево), от палки до лошади (и получается сучковатый конь). Потеки, трещины, зазубрины, подчеркивающие живую фактуру, первоначальную неовзделанность почвы, позволяют нам наслаждаться созерцанием преодоленной материи, преодоленной ровно настолько, чтобы видна была и рука мастера, и та косность материала, с которой он вступил в состязание. Неотесанность восполняет недостающее чувство реального (и потому примитивы бывают живее иллюзионистически точных подобиий).

Наконец, в-третьих, связь художества с предметами первой необходимости, с которыми обращаешься запросто, фамильярно, повседневно, в свою очередь ставит нас на реальную почву. Цветы на ложке достоверны уже потому, что они на ложке (к тому ж деревянной), хотя вместе с тем такое сочетание ложки с цветами (а тем более льва с дверью, русалки со шкафом) преисполнено условности. Быт, таким образом, оказывается той реальной средой, в которой самые сказочные образы плавают, как рыба в воде, и выглядят вполне естественно в этой естественной обстановке.

*1-2 июля.*

Примерно спустя неделю после упомянутой кучки писем получил вторую – 51 отдельно и 52–55 вместе. Разом нырнул в твои заботы, разъезды, погрузки, расстройства и расставания; пережил прощание с Хлебным\*, с подвалом, с дальними и ближними львами. И знаешь, мне не так уж больно, грустно – да, но не до отчаяния. Может быть, даже оказалось, что в своих привычках и вкусах я не столь консервативен, каким считался когда-то. Может быть, даже (и это мне и немножко смешно, и приятно) ты консервативнее меня. Почему приятно? – узнаешь дальше, если не догадалась.

Ну, чего ты затосковала, моя единственная, достоверная? Давай возьму тебя на руки и, покачивая, как Егорку, расскажу еще разочек, что тебе хорошо знакомо (но раз тебе интересно слушать, давай еще раз расскажу).

Что с нами будет, я не знаю, как никто сейчас не знает, но чего хочу – мне точно известно и состоит из трех вещей. Мне нужно: ты, Егор, книги. Со всем прочим готов проститься и уже со многим в душе простился. Жалею, оплакиваю, но расстанусь в трезвом сознании, что все это бrenно, преходяще, невозвратно, или ненужно, или осталось, закреплено в ином состоянии, в том, что для меня не подлежит пересмотру и с чем не намерен расставаться живьем (в первую очередь – в тебе и с тобою). Ну, что мне дом и незабываемый Хлебный, если там хулиганская шайка распоясавшихся соседей не дает тебе проходу и годовалого ребенка преследуют как врага народа? На чорта мне такой дом? А в том, что, где бы мы ни жили, ты сумеешь все устроить так, что это и станет домом, я ничуть не сомневаюсь. И все дорогое, что было на Хлебном, не только я унес с собою, а ты унесла – даже и то, чего не видала, а только слыхала, нюхала, что я отдал тебе на вечное пользование и сбережение, включая и дальних и ближних львов, о которых ты, уж конечно, расскажешь Егору, когда он научится понимать. У нас с тобою, родная Машенька, не только есть совместная прошлая и теперешняя любовь. А ты наполовину состоишь из меня, как и я тебе обязан составом души и тем добрым, что из нее произросло. Вот уже и бабушка с бабушкой, мой отец и моя мать, переселились в тебя и – с тобою – в Егора, и я теперь за них спокоен.

(Возможно, я ошибся с «мурзиком», отец меня в детстве звал «пузырем», и мне это нравилось по сравнению с красивыми мыльными пузырями, про которые ты напомнила.)

Ты мне нужна, потому что в тебе я вижу тебя и себя вместе, мое детство, нашу кровь (Егор еще маленький, и к тому же он от тебя происходит). Только с тобою мне интересно ездить по свету, смотреть картины, ходить в кино и всё делать. И разговаривать мне тоже хочется только с тобою. Я могу слушать других, но по-настоящему разговаривать – нет у меня других вариантов. Откровенно говоря, мне даже казалось, что ты во мне меньше нуждаешься, чем я в тебе, и, возможно, поэтому обидел тебя не по

заслугам. Так это или не так было – не сейчас судить, да и не столь уж существенно.

В моем позапрошлом письме ты уловила в интонации некую злость и раздражение. Это скорее изнеможение (ожесточенность) утопающего, каким чувствую себя, когда тебя у меня отнимают либо когда угроза-обида нависает над тобою с Егоркой. Тогда я выбрасываю то, что (рабочий термин) именую «балластом» и куда входит все, что путается под ногами, мешает, не дает помочь вам. Попался под ноги Оська (ты писала, что он способен сдуру изувечить сына), и вот я готов выбросить его без сожаления за борт. Да что там Оська! Без тебя мне и жизнь балласт. Знай это и запомни и не смей лепетать несусветное, что я тебя люблю из жалости. По нужде, Маша. По крайней нужде.

*3 июля.*

P.S. Рукописи опубликованных статей смело уничтожай и выкидывай. И вообще без сожалений расставайся с любыми архивами, вещами, людьми, обстановкой, становящимися балластом. Нам нужен прожиточный минимум: ты, я, Егор, книги. <...>

По поводу твоего намерения привезти в августе Егорушку меня преследуют сомнения. Первое и главное – его здоровье с повышенной температурой. Даже на машине путь такому маленькому не прост и не легок, тем более Егор не обожает машины, а тут многочасовой бензин, духота, сквозняки, головокружение от длинной дороги и еще другие кошмарные неизвестности. Уверены ли мы, что с ним в пути не начнутся рвоты?!.. В общем – очень страшно. И так он в этом году столько перенес. И чуть что – температура. Стоит ли нам так рисковать? Во всяком случае, если прочно не установится температура – пускаться с ним в дорогу нельзя.

Другой мотив – психологический. Не может он не почувствовать того огромного напряжения, какое я испытываю в эти часы (но у меня-то для компенсации радость и счастье нашей встречи, а у него что?). А если вдобавок твои слезы? Тягость и неестественность всей атмосферы? Ты думаешь, допустят хоть какое-то снисхождение для ребеночка? Не допустят. А если тебя или меня рядом с ним, с беззащитным, обидают, представляешь, какая вспышка, какое внутреннее потрясение перейдет из нас на его

головку. Ты же и так замечала, что я веду себя не совсем нормально, что нервы натянуты до предела и я не могу иначе. Не привыкну и не хочу привыкать. Есть люди, вообще не умеющие вынести встречу с детьми и женами и отказывающиеся от свиданий. Я далек от этого, а просто стараюсь тебе объяснить ту степень униженности, опустошения, до которой докатывается человек. И стоит ли приближать к ней Егора, столь неокрепшего, столь подверженного разным токам и наваждениям?

Это всё я не доказываю, а думаю вслух, говорю как с самим собой и не знаю, как лучше сделать, потому что ужасно хочется посмотреть на Егорушку, но люблю его и боюсь. Посоветуйся с врачами на предмет такой поездки. И если все же сочтешь нужным – вези. Я верю твоему чутью.

*4 июля.*

Завтра с утра, Маша, мне отсылать это письмо, а новых от тебя эти дни не было. Закончу литературным блюдом, в дополнение к аннотации по мотивам Рабле, Свифта, Дефо, Сервантеса. Помнится, мы остановились на бедствиях Гулливера, подвергшегося у Свифта тяжелейшему испытанию.

Но такого же Гулливера, спасая от треволнений свободы, Дефо посадил в клетку, на необитаемый остров. Дефо возвратил человека к среднему росту, к существованию обывателя, вернул ему рассудок, семейственность, благополучие, утраченные в приключениях с другими авторами. Он вынудил его к нормальному образу мыслей путем жестоких ограничений, лишив человека возможностей выскочить из себя, сбежать от необходимости жить «как все», «как люди живут». Он сослал его в собственное общество.

Кораблекрушение у Дефо играет роль потопа (то же – сотворение мира): голый человек остается на голой земле. И что же? Ободранный как липка, узник Робинзон Крузо, слегка поплакав, начал немедленно обрастать капиталом. Первобытная пустыня превратилась в доходную ферму, библия – в настольное экономическое руководство на пользу будущим Фордам, которые ведь тоже начинали не с небоскреба, а с какого-нибудь завалившегося под подкладкой зерна.

Если бы вместо приручения Пятницы, уводящего немного в сторону колониальной политики, Робинзон Крузо встретил по-

кладистую людоедку, они на острове развели бы целую Англию и возвращаться домой не имело бы смысла. Однако и наличные данные говорят, что наш Адам ни на милю не покидал цивилизованное отечество (один человек здесь государство в его хозяйственно-производительной функции), что каждый лавочник, клерк, молочник, рудокоп и фабрикант вправе считать себя Робинзоном. То же чувство доступно любому из нас, запертому на необитаемом острове своей работы, семьи, голода, болезни, богатства, – словом, не имеющему лучшего выхода, чем спасительный эгоизм, чем инстинкт самосохранения, заставляющий сражаться за продолжение нашей личности, за ее прогресс в пределах комнаты и мироздания.

Робинзона предохраняет от пошлости, а роман Дефо от скуки – альтернатива жизни и смерти, производительности и одичания, между которыми колеблется судьба героя. С другого конца, нежели Свифт, Дефо передвинул шкалу интересного в среду обыденных предметов и действий, занимательных лишь в результате избранной автором точки зрения, в данном случае – новой точки необычной технической трудности их исполнения, изготовления. Дефо показал, что разводить огород, шить штаны, строить стол – в высшей мере удивительное и ответственное занятие, исполненное препятствий и хитроумных преодолений, напрягающих сухопарое тело сюжета. Когда на одно хлебное зернышко, как на карту, поставлена жизнь, произрастание этого зернышка взлетит до уровня трагедийной игры (так в «Робинзоне Крузо» намечена схема позднейших индустриальных романов).

Рабле нас подманивает к свободе, обещая море удовольствий. Свифт приводит в отчаяние и не сулит никаких поблажек. Сервантес баюкает на волнах легковой мечты и грусти. Но как нам постараться выжить, не сходя с места, не уплывая ни на какие дальние острова, – этому учит «Робинзон Крузо» Дефо, самый полезный и обнадеживающий, самый добрый роман на свете.

В «Дон-Кихоте» человек разделен на две части: духа и плоти, мечты и рассудка, субъективного восприятия и реального бытия, – и обе половины положены на чаши весов, поочередно взлетающие и падающие под тяжестью. Кто кого перетягивает? – То действительность, подцепившая рыцаря крыльями мельницы, то рыцарь, силой фантазии и неуступчивым благородством стяжавший

наши симпатии и вовлекший в свои затеи даже вечного оппонента, здравомыслящего Санчо Пансу. Однако ни тот, ни другой противник не одерживает полной победы, предоставляя нам покачиваться на качелях коварной свободы и унылой необходимости, воодушевления – разочарования. «Дон-Кихот» не имеет исхода, и в затянувшейся дискуссии не дано возобладать ни одной из сторон. Чем бесспорнее доводы разума, тем настойчивее спорит мечта, измеряемая дарованием творить химеры вопреки очевидности.

Романтики, прочитав, обрадовались: наконец-то появилась возможность верить в красивые идеалы, не считаясь с проклятыми фактами. Реалисты тоже довольны: лбом стену не прошибешь. Но мягкий, уживчивый скептицизм Сервантеса равно подсмеивается над теми и этими и оплакивает человека, получившего право выбора между безумием и смертью: лишь сумасшедший способен верить; лишь умирая, он выздоравливает...

На этом месте прерываюсь, не успев досказать историю с Дон-Кихотом и его спутниками. Когда-нибудь в другой раз попробую к ним вернуться и связать кошкам хвосты. А пока что обнимаю и целую тебя в уста, моя родная и любимая женщина. Не думай про меня плохо: я совсем твой и нету у меня ничего кроме.

А.

5 июля.



**Во первых...** – Здесь шифровка: «Обе посылки получил».

**Глупые легенды о моей библиотечной карьере...** – Время от времени по Москве распускались слухи о благополучии Синявского и о его прекрасном лагерном устройстве. Однажды, когда подобные слухи слишком сгустились, я сообщила о них А.С. Из моего письма от 14 июня 1966 г.: «...хотя у меня душа разрывается, когда я читаю и думаю о твоих трудовых перипетиях, и мне мучительно знать, что нет сил даже свободное время тратить на книги и свои занятия, в глубине души я знаю – так лучше. По большому счету – так правильнее. Недаром время от времени кто-то распускает по Москве слух, что ты там на библиотечной или школьной службе. Недавно в таком плане в какой-то компании разглагольствовал ермиловский зятек. Звучало это приблизительно так:



“Подумаешь, трудности! Мне же точно известно, что сидит он там себе в библиотеке и почитывает целый день разные книжки!”». Ермиловский зятек – это известный литературовед Вадим Кожинов.

**А вошли ли в новое издание Пастернака «Гамлет», «Август»...** – В издании 1966 года (Б.Пастернак. Стихи; вступ. статья К. Чуковского) «Август», не пропущенный в издании «Библиотеки поэта», вошел, а «Гамлет» – нет.

**...с одним милым человеком...** – А.С. состязался в количестве писем от жены с Борисом Зеликсоном, участником подпольной марксистской группы «Союз коммунаров» (еще их часто называют «колокольчиками» по имени журнала «Колокол», который они пытались выпустить). «Колокольчики» были арестованы летом 1965 года.

**...прощание с Хлебным...** – Всю жизнь до ареста Синявский прожил по адресу: Хлебный переулок, дом 9, кв. 9. Маленького А.С. водили гулять по переулку до ближних или дальних львов. Львы – это фигуры при особняках нашего переулка.



## ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

Иногда, написав тебе и уже отправляя, думаю: ну вот, все написал, теперь уже не про что будет рассказывать. Глядь, на другой день получаю твое письмецо, и хочется тотчас ответить, и смотришь, – уйма вопросов, еще не освещенных, дожидается своего освещения. Только не на всякое хотенье тебе писать есть время и место, и приходится откладывать на несколько дней, за которые кое-что перемалывается и отсеивается. Многое также остается в мысленных разговорах с тобою, которые веду круглыми днями.

А твои письма последнего времени (на сегодня получил по № 60) очень меня привлекают, и совсем не скучно слушать даже про какие-то повторные вещи, потому что я вас люблю и стараюсь все представить в реальном виде, и когда день за днем вы проходите передо мною, – это удается способнее. Ведь, например, представить просыпающегося Егора на его теперешнем уровне – задача не из легких, а ты, все живописно описывая, мне очень помогаешь.

С твоими письмами я поступаю так: давние складываю в чемодан, а позднейшие – штук двадцать – держу поблизости, а совсем свеженькие – штучки три-четыре – еще ближе. <...> Но не беспокойся – места на них хватит; это сокровище мне хотелось бы сберечь не только для себя, но и для нашего Егорушки, когда он станет большим и умным.

А еще, читая некоторые твои мысли и настроения, ловлю себя на том, что говорю тебе: «так держать!», и такое возросшее единство прекрасно. Очень это ловко, когда ты понимаешь заранее.

Еще тебе велю не горевать, а быть бодрой и жизнерадостной, и следить за собою, и наряжаться, и ходить в кино (только, пожалуйста, не знакомься с незнакомыми мужчинами). Помимо твоего развлечения тут (в кино) есть необходимость в том смысле, чтобы мне не отстать от развития современного искусства и жизни (хотя пока что почему-то не чувствую себя отставшим – впрочем, может быть, это ошибочное ощущение, и я к тебе приеду ужасным анахоретом). Ради этой цели (то есть чтоб не отстать) я даже недавно «Пошел на грозу»\* во второй серии, но показалось настолько старо и скучно, что не решился досматривать первую серию, приехавшую через несколько дней. Некоторые у нас ходят в кино просто для того, чтобы посмотреть на улицы города, на автомобили, троллейбусы и молодых женщин. Но я, видимо, еще не досидел до такого чистого интереса.

Правда, с другой стороны (в плане чистого интереса), когда удается скушать какой-нибудь раритет, возникает странное чувство романтической увлекательности ложки меда или чего еще, что стекает в тебя и всасывается мгновенно, без остатка, кажется, еще не успев дойти до пуза. Процесс переваривания и всасывания в кровеносную систему начинается где-то в горле, и с одного небольшого глотка оживляешься без предела и крепнешь у себя на глазах, и происходит это не с голоду или истощения, а от одной одухотворенной изысканности поедаемого вещества. Об этом удачно выразился один старик, выдвинувший предположение, что лица, занимающие в науке и культуре высокое место, питаются, вероятно, настолько тонкими специями, что в результате по большой нужде ходят не чаще одного раза в неделю. Я не стал его разочаровывать: у бедности то преимущество, что она знает свойства богатства и умеет их передать в удивительно яркой форме.

10 июля.

Добрый день, родная моя жена! В скором\* времени – когда ты получишь это письмо – до нашего свидания в августе останется меньше месяца. А разве это далеко при наших-то сроках?! Поэтому пишу заранее, что мне привезти, – чтобы ты успела со сборами в дорогу.

Очень хорошо бы, во-первых, достать рыночного *самосада*

(или махорки) примерно того же качества, что ты привозила мне в прошлый раз (но лучше одного самосада). В наших условиях это просто клад. Можешь также захватить пачек 10–15 «Лайнеру» (на большее не стоит трудиться). А в расчете на зиму – *теплого белья*.

Было бы замечательно, если бы ты достала мне *железную кружку* объемом в 600–700 грамм (но все же не слишком крупную), в которой можно варить кофе на сильном огне. В шутку такие кружки здесь называются «самоваром». В личном владении иметь «самовар» и ни от кого не зависеть – моя заветная мечта. (А имеющих эту собственность не так уж много, и приходится побираться при каждой варке.) В придачу не забудь баночку *растворимого кофе*. *Конверты* – штук 50 (плюс 4-хкопеечных марок рубля на два и немного открыток). Если достанешь, прихвати *пасту*, которая полезна для десен. Быть может, эта паста болгарская (забыл название). Плохую же и ядовитую на вкус, какую ты привозила в прошлый раз, – не надо. Я, к сожалению, был вынужден ее просто выкинуть, не попользовавшись. Лучше уж тогда никакой не привози. В самом конце по значению – кусочек черноватой *матери*, чтобы я смог сшить из нее карманы к своему сюртуку и ватнику. Помнишь – какой примерно цвет и сорт (опять же не знаю, как она называется)? О двух карманах на куртке и телогрейке я давно размышляю (ужасно неудобно жить с таким малым числом карманов, как у меня). А навязываться в портняжную мастерскую и просить как-то не хочется.

А из пищи духовной – привези кучку своих старых *фотографий*. У меня желание самому выбрать из них себе пополнение. В качестве идеального размера пусть будет почтовый конверт, не больше. Но «Машу с яблоком» тоже захвати. О *фотографиях* новых, я надеюсь, ты сама позаботишься.

Нет у меня предметов красивее и любимее, чем ваши с Егоршкой изображения. Егор-ушастик и параллельный к нему Егор-пучеглазик – пожалуй, самые нежные. Про твою же наимилейшую материнскую фотографию я уже рассказывал. А из старых – где ты снимаешь очки и поправляешь волосы на фоне леса. И глаза у тебя слегка дымятся. Потом очень люблю твою львиную фотографию. В розовое онежское утро – на том паршивом диванчике. Лыщусь упованием, что ты теперь ко мне так же расположена, как тогда. Верно ли это?..

Твои, Машуня, рассуждения о предстоящей убогой старости неосновательны. Я убежден в твоём на меня непроходимом очаровании. А насчет моей возрастной консервации – думаю, мы поладим так или иначе. Лишь бы ты меня любила.

В качестве объяснения этого феномена, который заинтриговал меня чрезвычайно и, действительно, подтверждается фактами, существует гипотеза, согласно которой причина долговременной неувядаемости организма состоит в воздержании. (Но ведь в таком разе и тебе придется задержаться на молодом состоянии.) Влияет ли именно этот фактор, – я сомневаюсь. На мой взгляд, здесь, скорее, действует отключенность от общечеловеческого течения жизни. Любой предмет подчинен системе координат, имеющей свою изолированную скорость и протяженность. К Марсу, например, тоже неприменимы земные признаки времени. Видимо, в какой-то степени это свойство присуще и лагерю. А хорошо это или плохо, что мы «не стареем», – трудно сказать. Наверное, так хочет сама природа в порядке компенсации. Ей – виднее.

В любом варианте, однако, ты, моя красавица, от этого ничего не теряешь. Во-первых, тебя частично тоже можно рассматривать в консервированном виде, доколе ты моя и со мною. А во-вторых, у нас в будущем, как установлено, все должно начаться с начала. В исходной же точке мы всегда становимся новенькими. И что нам теперь делать, как не ждать замедленным образом этого начала, посматривая вскользь на время, проносящееся над головой? Будем терпеливы и будем потом начинать и так любить друг друга, что ты у меня в результате изрядно помолодеешь.

Поэтому ты должна пока что изо всех сил сохраняться. Сбереечь себя в цветущем качестве и вырастить Егорку – вот тебе боевое задание. Программа нелегкая, но, в общем, выполнимая. Запомни это наизусть и поступай соответственно, а я уж тебя не оставлю.

В твои пространные речи о моем «выборе» и «свободе» от тебя – вкралась одна ошибка. Я не выбираю тебя по той простой причине, что к любви это занятие никак неприменимо. Выбирает ли душа, «куда ее влечет неведомая сила»? Ей и мысли такие на ум не приходят. Разве, скажи на милость, ты меня выбрала (это было бы возмутительно)? Где, на какой витрине мы друг друга нашли? Право же, все это только кажущаяся ситуация. Не мо-

гу ни забыть, ни бросить – вот как бывает на самом деле, и при чем тут свобода? В сознании невозможности поступить иначе мы и любим, и дышим. Так же и Егорушку, говоря по секрету, мы с тобой не в магазине купили. Слава Богу, он сам на нас свалился, без особого разбору. Что бы мы делали – представь, – если б он выбрал себе папу и маму из разных семейных альбомов? Да мы бы тогда все сразу потерялись, исчезли. (Ай да сюжет для юмористического рассказа!)

В состоянии ли ты (вот вопрос более актуальный) вылечить все свои болячки? И к моему возвращению (хотя бы!) оказаться вполне здоровой? Письмо про дополнительные (к твоей пятке) напасти обеспокоило меня гораздо сильнее, чем все сетования на тему «прощай молодость». Никаких проволочек – слышишь – никаких откладываний в долгий ящик необходимых процедур! Я к тебе, Машка, в данном случае обращаюсь не с просьбой, а с требованием. Приказываю вылечиться, и баста (изволь выполнять). Как хочешь действуй, ходи к каким угодно гомеопатам-невропатом, но ты обязана в итоге быть сияющей, как стеклышко без единого пузырька. Сидеть тут, как идиот, а потом получить тебя (седую – еще куда ни шло, но только не больную) – мне вовсе не улыбается. Эгоизм мой не означает (не надейся), что я тебя в случае чего не возьму за себя замуж. Больную я тебя все равно не брошу. Проблема бросания вообще снята – и не заикайся. Но ты должна нам обоим в награду за разлученный период жизни расстаться со своими болячками. И даже чувствовать себя прекраснее, чем раньше. Также прошу тебя быть поосторожнее со своими домашними методами хирургии ноги при помощи грязной бритвы, от одного воспоминания о которой у меня все отнимается и опускается (ну, пожалуйста, ну Ма-а-ашенька)!

Следуя твоему полезному совету, сообщаю, что после тех двух писем из Карфагена, о которых я тебе уже рассказывал, я получил – примерно с месяц назад – еще одно, надеюсь, последнее. Несчастливая постаралась (даже еще более резко, чем в предыдущих) высказать все самое худшее, что может сказать один человек другому. Ей, очевидно, не до расчетов и не до правил, запрещающих ряд ударов. Если б она надеялась хоть на какую-то реставрацию отношений, она бы остереглась произносить некоторые слова, понятные лишь в атмосфере переживаемого кошма-

ра, но непоправимые. Скажу тебе прямо, я был бы рад, когда бы все это было женским маневром, хитростью, уловкой, как ты полагаешь. И гнев, и горе, к сожалению, неподдельные (я же понимаю толк в стиле и угадываю фальшивые ноты, и тут – при других, более мягких интонациях – они проскальзывали, но не в этом – не в главном – не в отчаянии).

В результате у меня появилось что-то вроде страха перед яростью этих огнедышащих проклятий. Писать ей теперь и что-то доказывать, объяснять уже совсем бессмысленно. В глубине души по отношению к ней у меня одно желание – бежать без оглядки. Помнишь, мы с тобой однажды боялись, как бы одна полупомешанная особа не ворвалась к нам ночью в квартиру, и даже не решились включить свет и открывать окно: вдруг влезет? Вроде этого получилось сейчас, только в неизмеримо более серьезной и сильной степени.

Бьюсь об заклад, Маша, – все это неспроста. Вероятно, мне на роду написано всякий свой шаг, возраст, предприятие одолевать с массой затрат, с трудом и болью, и ничего даром, без предъявления векселей. У всех людей романы, приятные увлечения, у меня же (в кой-то веки набрался храбрости, и то...) обязательно драма, кошмар пополам с анекдотом, из которых выпрыгиваю как ошпаренный пес. Такая регулярная отдача заставляет смотреть на жизнь с опасением влипнуть и порождает настроение сидеть тихо в стороне и ни за что не браться. И в сегодняшнем моем положении какой-нибудь популярный гвоздь, если воспользоваться профессиональным термином, превращается в загвоздку, в проблему, отнимающую силы и разум. Не понимаю, как при такой трудоемкости жизненного процесса я умудрялся быть счастливым и даже считался везучим. Прямой неудачник живет легче и вольготнее. Какое-то непостижимое противоречие...

Видимо, отсюда проистекает моя нерешительность, медлительность, запуганность, умение изо всего на свете делать отдельное блюдо, за которое ты мне так часто и справедливо пеняла, когда мы с тобой куда-нибудь торопились. Явление неизбежное, когда все непросто, все натянуто, заряжено и повергает в задумчивость, в оторопь. Разделяю озадаченность Юрия Карловича\* перед электрическим выключателем: включишь, а он еще возьмет и взорвется.

А на твоё предложение написать для Егора про кошек я вынужден ответить отказом. Поверь, такой игривый, легкий жанр не для меня. И в этой детской теме, ежели в нее вникнуть, встанет лес проблем, по которому начнут разгуливать уже не Анфиса с Ибрагимом\*, а, может быть, их кошачьи сновидения (почему-то все кошки подозрительно много спят), уводящие к упырям: А нашему ребеночку и так хватает. Ласки ему нужно, тишины и спокойствия, а про это я не умею...

*14-15 июля.*

Маша моя!

Конечно, ты, как всегда, права, и самостоятельный перец, по адресу которого я так распинался, стал чудесной приправой к нашему супчику. В самом деле, он вносит примерно то же неожиданное добавление в однообразный ритм еды-работы, ради которого я иногда слушаю музыку или не бросаю курить, – курю, можно сказать, для остроты жизни. А хорохорился я и отказывался больше для понта и потому, что не привык слишком усердно заниматься организацией быта и помнить про все фуфло в мешке и в тумбочке. По типу: сойдет и так. Но попробовал, и понравилась.

А музыкальные пластинки, которые ты послала, очевидно, до меня не допущены и вскоре к тебе вернутся. Это тем более не логично, что первые пластинки дошли в целостности и сохранности. Ну что ж! значит – «дают почувствовать», хотя и без подобных нажимов я довольно чувствителен к своему положению.

Производственно-финансовая канва моей жизни резко пошла на убыль, и за июнь месяц я уже ничего не получил. Ларек пока что выписали за счет прошлых остатков, отныне исчерпанных, так что, если моя зарплата забуксует на этом уровне, придется от ларька воздержаться. Объяснять причины сложно и длинно, но суть их сводится к тому, что из нашей бригады постепенно разбежались почти все работоспособные и остался контингент, уже не имеющий никаких перспектив справиться с нормами, достичь которых не удавалось даже первоклассным столярам-профессионалам. Итак, пребываю в числе отстающих, что влечет, естественно, различного рода житейские неудобства, хотя меня лично коллектив считает старательным работягой. Посмотрим, что бу-



дет далее с кандидатом наук. В крайнем случае обойдусь без ларька, и пусть тебя именно этот, ларьковый момент не волнует (пишу не для того, а просто ради спокойной констатации факта). Имеются люди, нормально и подолгу существующие без ларька, а раз другие живут, и я проживу. Не сахарный.

В этот эпистолярный заход про литературу, наверное, написать ничего не сумею. Соображений разных полна голова, да сформулировать недосуг, а от точности формулировки, от искомой правильности эпитета подчас все зависит. (Точное слово в современном искусстве – остаточная магия: требуется имя вызнать и заклясть им, чтобы появился предмет. Точное слово, как искра, рождает вспышку мыслей; в его озарении появляется образ, вызванный из праха к трепетному бытию, состояющемуся с природой яркостью, то есть способностью укореняться и жить в сознании так же долго, как существуют истинные лица, события, или того дольше...)

Гулливеровскую тему тоже пока обрываю: надо бы перечитать «Дон-Кихота». Кстати, если тебе когда-нибудь (дело неспешное) попадетсЯ дешевое издание «Дон-Кихота», – купи и пришли мне. Но академический двухтомник не тревожь: жалко, и объем великоватый, хранить негде. Надо такое, чтобы впоследствии можно было кому-нибудь подарить и даже – при нужде – выбросить.

К детским сюжетам для Егоркиного развлечения я, очевидно, не приспособлен еще и потому, что подобный жанр не нуждается в интенсивности словесного выражения, а писать абы как – не хочется. Дети вообще, как известно, более предметно, чем взрослые, воспринимают слова, которые на них действуют без художественного подхлестывания – одним названием вещи. Каждое слово для них звучит как имя собственное и вызывает немедленный отклик в виде общения с милым товарищем. В принципе для них любое слово художественно, любое явление празднично и готово пройти по разряду искусства. Достаточно, что название предмета заинтересовывает. Например, довольно фразы: «Однажды кот Ибрагим пошел охотиться на помойку», чтобы ребенок радовался и ужасался предпринятому Ибрагимом походу. Помню, как, выедаЯ манную кашу за маму – за папу, я с особенной старательностью помогал долголетию Бульки, Муськи, Ружья и Велосипеда. Само упоминание этих лиц и вещей было музыкой

и пленяло воображение. Поэтому стихи и рассказы для детей должны быть предельно просты и коротки: не ради детской непонятливости, а в силу того, что в данном случае читатель понимает слишком много, извлекает из слов больше смысла и жизни, чем это доступно нам. Авторская задача (при умении писать просто) таким образом целиком смещается в плоскость фабулы.

А два стихотворения, что ты прислала\*, произвели на меня никакое впечатление (хотя они лучше и искреннее предыдущего). Они, мне кажется, сотворены житейским, а не поэтическим способом и лишь в этом – житейском – плане могут рассчитывать на сочувствие. Просто иногда человеку (это понятно и простиительно) хочется поговорить с близкими в возвышенно-эмоциональном тоне, хочется, чтобы «дошло» то, что «волнует грудь». Словом, у него лирическое настроение. Или отсутствие собеседника. Или чувства переполняют. Очень трудно (и даже, вероятно, недопустимо) отговаривать в этих случаях изъясняться стихами: все равно что отговаривать плакать. Но такие стихи не изумляют, не переворачивают.

Одна строчка меня откровенно шокировала: «непутевый, хмельной, захлебнувшийся плотью земной». Ох уж эти мне языческие переживания в связи с дамским полом и закусоном. Тянешь стопку и радуешься: а я – язычник. Опять же любимая всеми мужчинами песенка из кинофильма «Бродяга».

*17–18 июля.*

Ах, вы мои детыньки! Что-то с вашими письмами опять полоса перебоев. Где-то в начале этого послания получил три грустных штучки, а потом (и это после грустных-то) вы сразу затихли, и только дней через шесть появилось коротенькое (№ 64) с фотографией, отправленное давным-давно (и что ему понадобилось шататься по белу свету – такому маленькому и так долго?!). Сегодня уже 20-е, но затягиваю отправку до завтра в надежде все-таки получить от вас к вечеру что-нибудь более определенное.

А чудь белоглазая мне очень-очень. Хотя она больше чудь, чем белоглазая, с притихшим и таинственным выражением на лице, как в кинокартине «Дорога»\* тот мальчик в пустой комнате (знала бы ты, как я по тебе вздыхаю...).

По старым твоим вопросам-заботам: рукописи военной главы\*

можешь выкидывать полностью и хронику тоже (но оставь один экземпляр *рукописной* хроники). Горьковские статьи – о сатире, о худ. структуре «Жизни Клима Самгина» и общую обзорную (в самом последнем варианте 65 г.) – оставь по одному экземпляру. У меня нету изданных книг с этими статьями (а последняя только собиралась к печати, и там было несколько важных страничек) – а они могут когда-нибудь пригодиться – кто знает? Но если уже выкинула – тоже не беда.

Письмо Бориса Леонидовича\* лежало в пестро-зеленой (темноватой) папке, которая, кажется, была тощей и год тому назад (!) лежала внизу на столе с левой стороны. Все эти ориентиры теперь – прошлогодний снег, но всё же. В крайнем случае – с письма в свое время была снята копия Зоей Аф.\*

А книжечка Мандельштама издания 28 г. стояла наверху над письменным столом, и я ее никому не давал.

А на последних фотографиях ты получаешься интереснее Егорушки и удачно, даже когда сидишь на заднем плане – в той же самой юбке и кофте (это я про ту, где Егор с кислым видом озирает сад). Столько произошло с нами, столько стряслось – и эта милая сохранный юбка меня страшно растрогала и вернула реальность существования. Нужны иногда такие достоверные приметы.

А еще ты очень красивая.

До этого места я писал рано утром, встав в половине пятого, и в обеденный перерыв. А сейчас – вечером – и не зря старался и ждал – целых три письма (№№ 65–67)!!! <...>

Машечка, не впадай. Роденькая, выживи. Мы же еще с тобой жутко как хорошо и нежно жить будем. И никогда не расстанемся. И я тебе еще докажу свое невыразимое отношение. И залижу все обиды и все болезни. И мы будем целыми сутками смотреть друг на друга, слегка отвлекаясь на Егора, бегающего по полу, и везде ходить вместе, взявшись за ручку.

Я тебя люблю как не знаю как. И очень жду к себе в августе, чтобы хоть немножко за тебя подержаться. И ты мне часто снишься. И во сне я тебя люблю тоже совершенно ужасно.

А еще в нашей здешней библиотеке есть полный Диккенс. Хочется перечитать, но все руки не доходят. И хочется написать про Диккенса и Гофмана вместе. Два писателя открыли нам, что юмор – это любовь. Это Гофман и Диккенс. Они показали, что

Бог относится к людям с юмором. В юморе есть снисходительность и ободрение: «ну-ну». У Гофмана в «Серапионовых братьях» есть одна фраза, которую мне хотелось бы подарить Егорушке как цветную картинку: «На пригорке, покрытом зеленой травой, лежал красивый молодой человек по имени Фридрих. Заходящее солнце обливало его розовыми лучами. Вдали ясно вырезывались на вечерней заре башни славного города Нюрнберга...»

На эту фразу я наткнулся в тюрьме и долго жил под ее мелодию, как под шарманку.

Целую и обожаю.

А.

20 июля 66 г.



**...«Пошел на грозу»...** – Кинофильм «Иду на грозу» по роману Д.А.Гранина.

**В скором...** – Здесь шифровка: «Срочно вышли посылку с одним кофе Григорьеву Николаю Михайловичу обратный адрес Алтайский край город Алейск Григорьевой Вере Ивановне».

**...озадаченность Юрия Карловича...** – Юрий Карлович Олеша.

**...Анфиса с Ибрагимом...** – Знакомая кошка с приبلудным котенком.

**А два стихотворения, что ты прислала...** – Лагерные стихи Ю.Даниэля.

**...как в кинокартине «Дорога»...** – Фильм режиссера Ф.Феллини (1954).

**...рукописи военной главы...** – Вскоре после процесса у меня стали отбирать нашу подвальную комнату – кабинет Синявского. И я попросила А.С. распорядиться некоторыми бумагами, которые в ней находились. «Военная глава» – плановая работа Синявского для «Истории советской литературы», которую готовил сектор советской литературы в ИМЛИ.

**Письмо Бориса Леонидовича...** – Письмо Б.Пастернака Синявскому. Позднее А.С. написал об этом письме и знакомстве с Пастернаком в статье «Один день с Пастернаком»: «В самом конце 57-го года Борис Леонидович пригласил меня к себе в Переделкино. Поводом послужила моя статья о поэзии Пастернака, предназначавшаяся вначале для трехтомной *Истории советской литературы*, которая подготавливалась инсти-

тутом, где я тогда работал. Написав статью, я был в ней не уверен; я сомневался, насколько мне удалось войти в поэтический мир Пастернака, насколько я угадал его образ. Я шел непосредственно от стихотворных текстов Пастернака – и не знал, правильно ли я их понимаю по сравнению с авторским замыслом. Серьезной исследовательской литературы на эту тему не имелось, а критические статьи, появлявшиеся изредка на протяжении всей его жизни, носили большей частью именно критический в дурном смысле, то есть проработочный или погромный характер. Но вот в короткое время оттепели, после XX-го съезда, появилась возможность издать о Пастернаке более объективную работу, и я за нее схватился, хотя шансов на опубликование было очень мало. Мои сомнения в себе кончились тем, что, еще никому не показывая статьи, я решил послать ее по почте на суд самому Пастернаку. К моему удивлению, к моей глубокой радости, очень скоро пришел ответ Бориса Леонидовича, весьма для меня лестный, а в письме – предложение как-нибудь приехать к нему в гости в Переделкино» (Boris Pasternak. 1890–1960: Colloque de Cerisy-la-Salle, 11–14 septembre 1975. Paris, 1979).

Статья Синявского 1957 года в переработанном виде была опубликована в качестве предисловия к однотомнику Пастернака в «Библиотеке поэта» (Большая серия), изданному в 1965 году.

**...снята копия Зоей Аф.** – Зоя Афанасьевна Масленникова, скульптор, автор мемуарных книг о Пастернаке и священнике А.Мене.



## ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Милая моя жена и возлюбленная – Маша.

Постарайся договориться со своими болячками, точнее – с членами твоего тела, подвергшимися недомоганиям. Уговорить их, призвать к порядку, растолковать, что всем нам – и им в том числе – будет лучше, если они перестанут болеть и, собравшись с духом, начнут постепенно выгонять из себя всякую заразу.

Приведу пример из своей жизни.

Неделю назад я наступил на гвоздь, который торчал в доске и, пропоров тапочек (-чку?), вонзился в мясо. Противный, рыжий гвоздь, наводящий на мысли о столбняке и других последствиях. Обращаться в санчасть с такой мелочью не хотелось, тем более что ранка от гвоздя была почти не видна, а мое юридическое положение заставляет сторониться косых взглядов на тему, что просто-напросто мне надобно получить освобождение от работы, и пару дней я бегал, стараясь поменьше наступать на ногу.

Тут я вполне оценил твои переживания с пяткой: ужасно неудобная вещь, которая все время натруживается и выступает вперед, тогда как ее место последнее. И тут мне волей-неволей пришлось вступить в переговоры с собственной ступней, терпеливо и ласково разъясняя ей нашу безвыходную ситуацию. Звучало это примерно так:

– Ну, милая, ну, постарайся! Крепись, выжимай гной, не зуди, подсыхай! у нас сейчас с тобой трудное время, и мы должны сами справиться. Будь другом, нога, вытяни, не подведи, я на тебя очень возлагаю, моя нога...

И тому подобное.

Вскоре я почувствовал, что нога ко мне прислушивается и за-

стенчиво соглашается и, вздохнув, берется за дело, а я ее тем временем все направлял и ободрял. И в результате совместных усилий она быстро вылечилась, и я поминаю добром ее сговорчивость.

А теперь повел воспитательную работу с зубом, который второй месяц не дает надежного успокоения, вспыхивая по временам и даже будя среди ночи. Перспективой вылечить его медицинским путем я не обольщаюсь, поскольку сам зубной техник, исполняющий заодно роль зубного врача, развел руками. Но это отсутствие помощи лишь заставляет более уверенно и твердо полагаться на то, что есть в наличии, т.е. на самый зуб. И мне кажется, нам удалось с ним установить кое-какое взаимопонимание, ибо он ведь тоже должен сознавать, что ему ничего другого не остается, как перестать ныть и хныкать и запастись благоразумием, может быть, на все шесть лет с гаком. <...>

И твое пассивно-беззащитное настроение я тоже как-то не так. Тоже мне выдумала: «если одному ребенку суждено съесть другого!» А как же встреча двух йогов со слоном по пословице «сам не плошай»?! Фаталистами мы должны быть лишь при последнем исчерпании, когда сделали все от нас зависящее. А пока изволь быть нашей хозяйкой и домоправительницей. И если придется – воительницей. Не потому что «поле сражения» (эк, куда метнула!), а – когда нас с тобою кто-то пробует на разрыв, надо давать отпор.

Мои советы тебе по различным препятствиям жизни могут быть удачными или неудачными в тактическом отношении. Но они не могут содержать что-то в ущерб тебе или в обход тебя, и не смей их поворачивать мысленно в обиду нам обоим. Мы – вместе, только вместе, и нет у меня никакой другой линии:

*С тобой, тебя, по тебе, к тебе, в тебя!*

В учебниках есть такие грамматические упражнения: отдельно даются местоимения и отдельно глаголы и предлагается их правильно расставить. Расставь, пожалуйста. К сожалению, нет возможности привести все глаголы, и тебе придется самой найти производные и дополнительные формы. А вот основные:

*держаться, любить, фваться, целовать, путешествовать, хватать, бредить, гладить, сходиться с ума, жить, пить, не выпускать из объятий, терзаться, умирать и воскресать.*

Образец: «Я за тебя цепляюсь руками и ногами» (как в сказке Киплинга «Однорукий флейтист»).

Если таково начало, то нетрудно представить себе все остальное.

А про зуб и ступню я не иносказательно написал, а буквально. Попробуй так же обращаться со своими болячками и делай это часто и старательно. По дороге в магазин или за варкой обеда. И вот увидишь, они тоже мало-помалу всё поймут и урезонятся.

25 июля.

Очень у меня мало свободного времени. А то бы я тебе все время писал письма – ежедневно и ежечасно, прерываясь лишь на еду и спанье. А так – прыгаю от случая к случаю и всё вразнобой, про всё вместе.

Получил новую партию твоих писуличек (№№ 68–72). Хорошо, что пришли кучно, и первый номер с твоим терзанием по поводу отсутствия моего письма – я уже воспринимал на светлом фоне других, весьма обаятельных и обольстительных. А представляешь, каково бы мне было – наступи большой перерыв (как это часто бывает) сразу после 68-го номера?! Но дело не в этом. А в том, родная Машечка, что не надо так впадать, если от меня нету обещанного письма – даже длительный промежуток. Нужно быть готовым и к таким эпизодам. Ведь нужно учитывать мое подневольное состояние, на которое не влияет моя решимость писать тебе аккуратно, по твердым датам. Ведь меня, рассуждая абстрактно, могут, например, посадить в изолятор, и тогда перерыв в письмах может увеличиться, опять же к примеру сказать, на пятнадцать суток и я тебя, конечно, не сумею предупредить и успокоить. И подобных случайных вариантов с затяжкой моего письма может быть несколько, и заранее их предвидеть невозможно. Говорю тебе об этом в самом гипотетическом – в порядке чистого допущения – плане, который мы с тобою тоже должны иметь в виду. Что же тебе – вешаться из-за подобного казуса, а мне тут делать тоже нечто аналогичное – от мысли, что ты там дошла до точки?! Давай-ка будем чуточку мудрее и в дополнение к настоящим невзгодам не станем гибнуть по причинам, недостойным того и, в сущности, пустяковым.

Из Егоровых фотографий последнего урожая самая блестящая –



где он сидит на ступеньке с петровской Машей в обнимку и страшно похож на дедушку в веселом настроении. А Машка и там, и в других снимках, хотя и смотрит красоткой, смахивает на куклу с открывающимися глазами (не рассказывай это родителям). <...>

Еще Егор очень смешной, получив подзатыльник. Но вы там его не очень щелкайте. А вид у него всегда такой понимающий, что кажется – все ему можно на словах объяснить. А как он слушает, когда с ним разговаривают? вертится или внимателен? и что он слушает – смысл или интонацию? и любит ли, когда с ним разговаривают?

Объяснением про Мурзика остался удовлетворен. К тому же Мурзя звучит не в пример милее и подходящее (по типу Лаптя): в нем нет нисколько того немного официального оттенка, какой можно приметить в более книжном (что ли) и стереотипном Мурзике. А как Егор относится к своим разным прозвищам? откликается ли на них или воспринимает в виде эпитетов?

Еще и еще скучаю, что не вижу детства Егорушки, его первых шагов по земле и тихого роста.

*29 июля.*

Возможно, мне все же придется уйти в отставку со своей упаковочной должности: я, кажется, скоро останусь в бригаде в единственном числе, да и специальность эта всем дырам затычка, и всегда в ответе, в накладе – вроде Золушки. Все спрашивают, все понимают (как в искусстве для искусства), и профессия считается несерьезной, необязательной, за которую и зарплату иметь даже как-то неловко, несолидно.

Сложная квалификация токаря или электромонтера мне, разумеется, не по силам. Скорее всего попрошусь опять на какую-нибудь черную, полугрузовую работу. Но все это пока весьма туманно: в своем трудоустройстве я с самого начала занял позицию невмешательства и всецело полагаюсь на волю вышестоящих лиц: им виднее, куда меня рекомендуется ткнуть, а самому принимать в этом участие и стараться что-то выгадать – противно и глупо.

Облизываюсь издали на книжки, про которые ты рассказываешь. Хочется даже не читать эти новенькие издания (что явно не укладывается в мой суточный распорядок), а просто потетешкать

в руках, полистать, понюхать. Кстати: кто составитель и автор предисловия в сборнике А.Белого и сколько в нем страниц? (Второе кстати: при случае стребуй зажатого «Котика Летаева»\*.)

Присылать эти книги не надо. Разве что когда-нибудь пришли Кафку – стоило бы постепенно обдумать. (Да-да, пришли Кафку. 5 авг.)

Понемногу читаю сейчас «Преступление и наказание» – давно хотел, еще с тюрьмы, да все не удавалось заполучить. Некоторые коллеги считают в такой обстановке эту книгу неподходящей, способной довести, добить. На меня же лично ее удушливая мрачноватость действует в обратную сторону: по принципу – клин клином. Вообще, мне сдается, в отстранении от подобного рода художественных впечатлений, будто бы отягчающих удрученное состояние узника, – много предвзятого, голословного. Гнетущим образом действуют не унылые мелодии, а – например – разухабистые рязанские частушки по радио или преизбыточное количество ярких цветов на клумбах. Очень уж неуместно. Особенно тягостно жить под непрерывный шум громкоговорителей. Никогда мне так не хотелось полной тишины. Приходится отключаться (местный термин) и ходить немного в абстракте (тоже термин).

*1 августа.*

А еще, Маша, – ты мой кирюха. Это не от знакомой собаки, а из старой цитаты, про которую я раньше думал, что кирюха – имя собственное, оказалось же нарицательное. Тепло живого бока, родного ватника, общей кружки, перешедшее в тесные семейные отношения, почти в брак (безо всяких дурных ассоциаций).

Пришла, наконец, та самая (!!!) онежская фотография. Гляжу на нее и по новой в тебя влюбляюсь. Смотри у меня!

*2 августа.*

День добрый, родная наша жена и мать. Твои\* письма сегодня (№№ 75–77) пришли в сопровождении телеграммы, из которой явствует, что опять ты ничего от меня не получила в назначенный срок. Известие это – увы, не новое – я встретил с каким-то холодным оупением, как и многие другие рогатки, рассыпанные вблизи и поодаль, о которые то и дело спотыкаюсь, а споткнув-

шись, не произношу ни слова: пусть! И я не знаю, чем тебя поддержать и утешить, кроме как любовью и верностью, не зависящих, слава Богу, ни от каких препон и разлучений.

А то, что ты последнее время слишком часто плачешь, – никуда не годится. Льешь слезы то по одному, то по другому поводу – побереги глазки, они нам с тобою еще пригодятся в жизни. Не развинчивайся, Машка. В сегодняшнем положении нельзя сходить с рельс и терять всякое управление над собою. В любом варианте нам надо быть немного стойками.

Никакой обузы от фотографий нет и не будет – одна радость и счастье. В поощрение тебе сообщаю, что у многих заключенных имеются даже большие и тяжелые альбомы с ворохом разных родственников, знакомых и просто чужих девиц смазливой наружности. Можешь смело иллюстрировать ваше с Егорушкой пребывание (учтя мою просьбу не забывать за сыном себя). Взамен же послать свою фотографию у меня нет близких надежд, и сие от меня никак не зависит.

Я в общем теперь довольно редко смотрюсь в зеркало. Но говорят, я несколько поседел, а борода приобрела откровенно ржавый цвет. Для консервации, вероятно, следовало бы садиться в более юном возрасте. А я-то уж навряд сумею хорошо сохраниться и выйти без новых морщин и потерь. Сейчас на меня в зеркало обычно смотрит такой старый хрыч (вдобавок в прекоmicнейшем виде и антураже), что я только диву даюсь. В таких же летах другие здесь выглядят гораздо свежее.

Все-таки ты меня не считай окончательным старцем (один остроумный товарищ дал мне такое прозвище – старец, – но оно не привилось широко). Никаких одряхлений души (как это случилось раньше) я пока что не замечаю в себе, а испытания меня даже несколько подмолодили. И тому причиной скорее всего была необходимость вместе со сроком начать новый период жизни. Ну а тебе, надеюсь, я еще постараюсь понравиться и окучу, не смотря ни на что. Так что будь умницей и веди себя хорошо и жди меня спокойно и сколько придется.

В целом-то я не сомневаюсь в тебе. Ни капельки. А я опасуюсь лишь каких-нибудь досадных промахов и проклятых случайностей, которых быть не должно.

*3 августа.*

Когда поедешь ко мне, захвати две пары новых носков. Только желательно не безразмерные, а самые обычные, и чем дешевле и проще, тем лучше. Это в дополнение к списку, который я тебе составил в прошлом письме. А вообще никакого большого груза из вещей и продуктов не надо. Самый минимум.

И ты правильно решила не привозить Егорушку. Ты не думай – я его ни за что не забуду и не разлюблю. При всей невероятности перемен, с ним происшедших за год, я его очень как чувствую и понимаю внутри. Вы с ним (вместе и в отдельности – считай, как нравится) мне ценнее жизни. Вот как.

Если опять потянешь в поездку Петрова (хотя, наверное, можно без него обойтись – но как знаешь), не старайся добиваться для него свидания. Просто не хочется, чтобы ты на эту малость лишние нервы тратила.

(Попутно: слышал хорошую фразу: «у меня мать умерла на почве нервной системы».)

Перечти перед поездкой письмо Вивы (захватывать не стоит) – чтобы рассказать мне во всех интонациях.

Когда-нибудь потом, без связи с поездкой, найди для меня цитату из гоголевского «Ревизора», где речь идет о дружбе Хлестакова с Пушкиным, и перепиши мне в письме. Там должна быть занятная фраза – типа: «Ну как, брат Пушкин? – Да как-то все так...» Ее-то мне и надо. Хочется написать о Пушкине что-нибудь неакадемически веселое, легкое (в соответствии с его стилем жизни) и в то же время вполне серьезное. Пожалуй, этим и займусь в ближайшие месяцы. Ах если б у меня была в запасе хоть парочка лишних часов!

Недавно прочел в «Литературной России» (29 июля) неплохую статью Вл. Левина «Дуэль Лермонтова. Еще одна гипотеза». Со множеством осторожных и ненужных оговорок автор высказывает предположение, что в «Княжне Мери» Лермонтов напророчил свой конец. Что в дуэльной истории он сам повинен: затеял печоринский эксперимент психологического свойства и погиб во время опыта. Звучит интересно и убедительно. Но зря автор старается объяснить это каким-то подсознательным влиянием Печорина на Лермонтова, избегая предопределенности.

Помнится, в письмах Бориса Леонидовича к Кулиеву\* намече-

но в том же плане одно опасение: работая над переводом «Фауста», Пастернак боялся текста, способного выкинуть с ним какой-нибудь магический фокус и устроить новую Гретхен.

А у самого Гете есть другого рода интересная гипотеза о том, почему многие выдающиеся люди, преуспевавшие в юности, во вторую половину жизни начинают терпеть несчастье за несчастьем и рано погибают: «Человек должен быть снова разрушен», для того чтобы, выполнив свою миссию, дать место другим.

Не подумай, что эти вещи относятся и к нашему теперешнему состоянию. Как раз наоборот. По инстинктивному ощущению – я только еще жить собираюсь. Потому смотрю в будущее без боязни, с верой в добро, на манер пушкинских «Стансов».

Целую тебя, милая, и жду в свои объятия.

Пока пишу это, по радио поют «Вот мчится тройка почтовая», а я слушаю и представляю тебя и всю нашу жизнь. Подваливает приятель и удивленно спрашивает: «Ты кейфуешь на эти вещи?» Отвечаю – да.

*4–5 августа 66.*

P.S. <...> При встречах с состоявающимся товарищем мы обычно кричим друг другу: «Какой счет?»

Его письма начались с 1-го апреля, и теперь он меня потихоньку догоняет.

Это совсем не значит, что ты должна специально торопиться с письмами – ради дистанции. Пусть все будет естественно, а к Новому году мы с ним подытожим все номера и посмотрим, кто выиграл. В настоящий момент счет – 78:73 (в мою пользу).

А я тебя очень люблю и шепчу разные нежные имена и прозвания.

Со свиданиями на будущее: как будто бы исчисление существует в пределах года и в новом году мы сможем планировать заново. Но это нужно еще и еще раз проверить. Поэтому, когда приедешь и будешь меня поджидать, поинтересуйся со своей стороны на эту тему тоже.

А женский день в марте мы празднуем. Я как раз приехал сюда 6 марта и следующие два дня не работал. На последние же воскресенья каждого месяца лучше не полагаться.

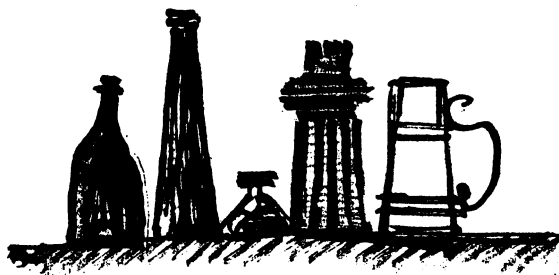
*5 августа (вечер).*



**...стребуй зажатого «Котика Летаева».** – Книгу А.Белого «Котик Летаев» с пометами автора у нас выпросил незадолго до ареста А.С. известный книголюб и собиратель автографов С.Григорьянц, пообещав найти для нашей библиотеки другой экземпляр, без авторских заметок. Ищет до сих пор.

**Твои...** – Здесь шифровка: «Взять если позволяет ситуация». Речь идет о присланных из Франции деньгах.

**...в письмах Бориса Леонидовича к Кулиеву...** – Письма были в самиздате; опубликованы в журнале «Дружба народов», №2 за 1990 год. Здесь на с. 265 помещено письмо Пастернака к Е.Д.Орловской (находившейся с К. Кулиевым в ссылке), написанное в январе 1950 года и содержащее упоминание об аресте О.Ивинской 9 октября 1949 года: «Я оттого так быстро и легко перевел первую часть Фауста, что в это время у меня в жизни все делалось, как в Фаусте; я переводил его «кровью сердца» и очень болел за эту новую кровь, как бы в числе всего прочего, повторившегося с нею по Фаусту, не повторилась с ней последняя сцена, как бы не попала она меж таких же стен. Осенью это случилось. Вот мое огорчение, вот горе мое. Если Вы ничего не поняли, то тем лучше».



## ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

Ах, Маша-Машечка-Машуня-Маня!

До чего ж трудно писать письма впрок, в расчете на то отдаленное и печальное время, которое наступит после твоего свидания со мной, когда ты одна-одинешенька вернешься в нашу Москву и когда, наконец, эти строки попадут в твои золотые ручки и в изумрудные глазки. <...>

Но, оказывается, еще труднее писать, зная, что ты не получаешь моих писем, что они залеживаются до неизвестно какого срока, а ты там тем временем воображаешь всякие ужасы, а я не могу объяснить тебе, что у меня все в порядке и что пишу тебе регулярно, и только до тебя это никак не доходит. Похоже на дурной сон, прогнать который нет сил, и не хватает воздуха, чтобы крикнуть, чтобы услышали.

Не понимаю, кому и зачем понадобилось в дополнение к существующим ограждениям устраивать новые искусственные преграды, способные разве что озлобить, довести человека до белого каления и вызвать реакции самые нежелательные. У меня покамест все еще теплится мысль, что подобные эксперименты единичны, случайны и происходят либо в силу обычной неразберихи, волокиты, неумения четко работать, либо по указке какого-нибудь промежуточного чиновника, закосневшего в старомодных обычаях и просящегося на пенсию. Если же это окажется более авторитетным и систематичным методом «воспитательного воздействия», мне, очевидно, предстоит обратиться с жалобами, адресуясь в различные высокие должности. Впрочем, эту тему мы лучше обсудим при встрече... Пока же, Машка, заклинаю тебя всеми способами не впадать в безысходность и писать мне,

несмотря на то что мои письма опаздывают. Слыхала, небось, в старину иные несчастные имели право писать два раза или один раз в год. А иные вообще не имели права переписки. Так что им было еще труднее, чем нам.

Только не думай, что я не думаю о тебе поминутно как о самом лучшем и близком мне естестве. Что меня можно отлучить и отучить от тебя.

*8 августа.*

Выяснилось, что поздравительные открытки можно посылать лишь к самым большим праздникам. А таковых в году три: новый год, май и ноябрь. Вот как – вот как.

Очень мне понравилось про Вивальди\* и его тоскующую жену. Так держать! <...>

*10 августа.*

Наконец-то ты удосужилась получить мое письмо и ответить. Слава Богу. Я тоже вышел из штопора и парю на высоте в прекрасном расположении духа. Все-таки как мало человеку надо: толкни – упадет. «И спичка серная меня б согреть могла»\*.

Живу в ожидании твоего приезда, и дни несутся стремительно к этой дате. Воспользуюсь-ка моментом (все равно ждать, а рассказывать про то, что скоро надеюсь пересказать тебе самолично, не имеет смысла) и перейду на литературные темы довольно случайного свойства. Из того, что помечают маленьким нотабене, в виде заметок на полях. «При наличии отсутствия энергии», как выразился один производственник (правда, хорошо?!), – займемся слегка эстетикой. Тем более ты сетуешь, что в последних письмах я исключительно увлекся любовью и совершенно забросил словесность.

В «Записках сумасшедшего» Гоголя психология Поприщина основана на том, что он конструирует мир по своему желанию. Главная (гениально подмеченная писателем) черта: сидит спокойно и ждет, ничего не предпринимая или почти ничего. Ожидание с уверенностью в свершении безумной мечты, которая потому и безумна, что ради ее достижения – королевской власти в Испании – ничего не предпринимается: настолько она для героя превратилась в реальный факт, не требующий ни усилий, ни вол-



нений борьбы. Волнуются другие, окружающие здоровые люди, поставленные в тупик этим спокойствием сумасшедшего, не сомневающегося ни минуты в своем торжестве. В какой-то момент приходит подозрение, что он более уравновешен и нормален, чем они, сходящие с ума от его непробиваемой самоуверенности. Точно они опасаются, что он окажется правым и кому-то предстоит не его, а их урезонивать, приводя в соответствие с фактом его существования. Ср. аналогичные мотивы в художественной литературе («Красный цветок» Гаршина и др.)

По-иному в «Дон-Кихоте» Сервантеса. В психологии Дон-Кихота несгибаемое упрямство, героическая принципиальность сочетается с какой-то робкой тихостью взгляда и вида. Старик (в чем душа держится?), полусогнутая фигура, бабий, никого не пугающий голос, подслеповатость (все это прекрасно изображено в рисунках Доре). Ему б сидеть на завалинке да греть на припеке свои дряблые развалины. Но лишь почует зов – встает и идет на подвиг, шаркая ногами. От него отмахиваются и разбегаются, не тронув ответным ударом, ибо силен он не силой, а закоренелой слабостью, пришибленным упрямством в повторении пройденного. И по бледным его губам еле-еле скользит улыбка.

В Дон-Кихоте явлен поэт. За качество его образов трудно поручиться. Но образ жизни говорит о поэте, о рыцаре-виршеслагателе с незаметной смущенной улыбкой на помертвелых устах.

Проблема изображения невидимого, «запредельного» мира в драматургии Метерлинка («Синяя птица», «Слепые», «Незванная гостья» и др.) решается таким оригинальным путем. Где-то за сценой слоняются привидения, появляясь из-за кулис время от времени и приглядываясь – куда бы вмешаться. Но почти не вмешиваются в сценическое действие (сюжет развернут в реальном плане). Это зависит от зрителя: поскольку мы, люди (те же зрители), являемся главными участниками пьесы, призраки оттеснены на задний фон, в позицию закулисных статистов. Жизнь протекает вне их и по сути независимо от них. (Ср. пьесу Л.Андреева «Жизнь человека» с бездействующей фигурой в углу; или в «Анатэме» роль ангела.) Такое амплуа незавидно, непрезентабельно: на них не обращают внимания и, даже пугаясь, не очень-то верят в реальность их существования. Поэтому и в оформлении спектакля (постановки Художественного театра, Комиссаржевской)

этот разряд персонажей был как-то выделен внешностью в сторону небытия. Печать отсутствия в лицах, в костюмах. Взгляд выражает присутствие, формальную заинтересованность, но уже в самом появлении есть что-то отсутствующее. И еще вопрос – кто от кого зависит: люди от призраков или наоборот. Согласно мировоззрению Метерлинка, все вершат призраки. Но на самом-то деле (если мы взглянем в материальную ткань его произведений) люди не думают, чем заняты у себя дома их «незванные гости» (характерно название этой пьесы Метерлинка, может быть наиболее для него принципиальной); те же, напротив, льнут к людям, засматривают им в глаза, заговаривают – с сознанием полноты жизни, которую им довелось наблюдать, и неосознанной завистью к судьбе человека, более интересной, чем их роль посетителей, захребетников человеческого рода.

Кое-что о *Горьком* и горьковском интеллектуализме.

В русском изобразительном искусстве 19 века особенно близка Горькому картина «Кочегар» Ярошенко. Содержание этой картины в трех словах: топка внутри человека. Вопрос: кто заложил уголь? Красное лицо, красные отсветы на стене, чумазы. Вот уж кто горяч. Всего проще, всего честнее. Воистину: пролетарий у горна. Готовый. И лишь ропот ожидания: доколе?! (в потенции приход будущего как исполнение этого ропшущего «доколе»). Не эмоции – дух, идеи, пылающий интеллект.

Разрешив проблему интеллектуального героя применительно к простонародной среде, Горький опрокинул представление о том, что мысли, учения, теории, философии – достояние умственной аристократии, книжных и ученых людей. Он показал, что в так называемой «необразованной среде» идеи не отсутствуют, а набирают плотность и яркость, что здесь думают и умствуют напряженнее интеллигентов, что идеи не вычитываются из книг, а растут из почвы, где придется, как придорожная травка.

Ни у кого из писателей человек не интеллектуален, не духовен так круто и солено, как у Горького: густой замес. (Само имя Горького говорит нам не только о горечи, но о крепости, о разгоряченности горна.) Один из персонажей его рассказов цикла «По Руси» даже в материальной оболочке вещей видит проявление духа. То есть идеи стали материальны, телесны, обросли у него мясом, железом, а тела сделались их орудием и одеянием. Духовная

интенсивность переходит в материальное сгущение некогда бесплотных начал и сил.

«Малахитовая шкатулка» Бажова как вариант интеллектуализма. Центральный стержень: умелец. Хитровато-спокойный взгляд рассказчика и ловкость героя, который ладно скроен, хотя сутуловат, кривоног, тяжел телом. Есть что-то от премудрого мастера-механика в самой постановке темы.

Образец логики – догадка: «а может, у него порошок в кармане?» Наука, техническое отношение к огненной колеснице (ракета в первообразе). Усмешечка многознающего. Отрицание заведомо «нереальных свойств» природы, – например всемогущества (когда бы все могла, не так бы устроила). Проблема устройства – первостепенна. Недоверие к слову, к абстракции, к книжным данным. Ясно: спрятали, исказили, надо докопаться до истины, то есть до хитроумной пружины. Не развенчивает – развинчивает. Волшебная сказка рассказывается у Бажова как быль – именно потому, что в сказке все понятно устроено. Тайна воспринимается штукой, фокусом. Чудо – проделка, маневр. Вкус к золотым яблокам, к коврам-самолетам образует в итоге научно-фантастический жанр. Превосходство не святости, но знания и мастерства. Знаем, как было сделано, и всё тут. Герои Бажова – посвященные – наученные, владеющие техническим секретом производства. (По сравнению с образами умельцев у Лескова («Левша» и др.) здесь характер приближен к типу современного механизатора.) Миром (в его представлении) как бы управляют состояющиеся умельцы, «маги» (мастера своего дела), заменившие неправдоподобных «богов». Что-то от олимпийцев, вовлеченных в земные дела (например, в сказании о Хозяйке медной горы). Язычество на технической основе.

Любовь к Уралу: с Урала все началось. Горы – пристанища высших сил, долины – напротив. Урал приравнивается к Синаю, к Фавору.

Проблема устного сказа: в отличие от других повествователей-сказочников, ведущих тему от первого лица (ср. Рудый Панько у Гоголя, персонажи лесковских рассказов типа «Очарованный странник», «Запечатленный ангел»), здесь небольшая сравнительно склонность к монологическим формам речи. Не воздушные наития (превратившие даже Чичикова в непостижимого ре-

зонера во 2-м томе «Мертвых душ»), не разгоряченность мысли (как у горьковских героев), а фабульная увлекательность, авантюрная сила интриги, постепенно приоткрывающей колесики механизма и оставляющей про запас нечто, не подлежащее ведению простых смертных. У бажовских героев начисто отсутствует «чувство греха», располагающее к юродству персонажей Лескова. Отношение к духу как к электричеству – с уважением, но кто же станет молиться на электричество? Возможно, поэтому в 19-м и в начале 20-го века подобный типаж не был распространен, и лишь Бажов сумел его нащупать в своих стилизованных сказах старого Урала.

*12-14 августа.*

У нас уже много-много дней стоит ясная, сухая, ровная погода. Не зной, но печет изрядно. А недавно по ночам начались холода, и утром-вечером влезает в ватник, а днем – хоть в трусах (жаль – не полагается). Старожилы говорят, лет пять здесь не было такого чудесного лета.

От сухости рано пошла желтеть и опадать листва и уже шуршит по дорожкам, и уже получается в воздухе осеннее осязание. Когда играет радиола – кажется: это поют сферы.

Все-таки летом хорошо: не холодно. Интересно, как это будет – осень и зима, по рассказам, самое тягостное и унылое время. А осень подходит так же тихо, как было весной: в какую-нибудь неделю незаметно зазеленели леса.

Работы на солнцепеке переносу сносно. Вначале боялся обгореть – обошлось, и недавно сослуживец заметил, глянув на мою спину, что я здорово загорел.

Видишь, как летит время и как я ничего не успеваю? Конец лета, скоро годовщину справлять будем, а я только-только про загары собрался рассказывать.

Да, Машка! Вскоре после этого письма ты сможешь вычеркнуть год из нашего срока и мы разменяем второй. Все-таки ужасно много еще остается. Но ты не робей.

И не очень настраивайся на еженедельные письма и вкусные посылки, про которые ты пишешь. Это не доступное всем право, а *льгота* заключенному, когда тот отбудет половину. И хорошим трудом, поведением и участием в общественной жизни эту льготу надо заслужить, и она дается далеко не каждому, так что не бу-

дем о ней мечтать. А за прошлый месяц я опять не получил ни копейки и обхожусь без ларька. Вполне терпимо.

Мне все-таки жаль немного синюю куртку: единственная одежда, воспринимавшаяся моей и пришедшаяся по мне. Что-то вроде толстовки Толстого или чеховского пенсне (всё в уменьшенных размерах). Наверное, ты зря с ней поторопилась расстаться. Но это ерунда, конечно, и не об чем тут разговаривать, тем более теперь, когда столькое (включая раменные пейзажи\*) отрезано и я открыт будущему, как юнга. И не в упрек сказал, а просто потому, что привык писать тебе всю правду-истину, включая пустяки.

*16 августа.*

Вот тебе в подарок несколько чудных фраз:

– Этот кофе уже потерял свое «я».

– ...Питаюсь одними шпротами, ем угрей... (рассказ о шикарном прошлом).

– И все отправления текут по фарфоровым дорожкам, и ни одна капля не пропадает!.. (рассказ о зарубежных клозетах).

– ...А в тот бокал пол-литра влазит!

– ...Невыносимые наши удары им отразить было нечем.

А от кошек почему-то есть ощущение, что у них голубая кровь. В буквальном, окрашивающем значении слова.

*17 августа.*

«...» Стихи из новых\* опять недоступны моему пониманию. Романтика молодящегося мужчины – до чего это общее место. И все это чуть не каждый, достигающий крупного возраста, себе в утешение, женщинам в ободрение («ну иди сюда, баловник»), кокетство лысеющих («а я такой озорной»), умирающих («а я еще живчик»). Мне лично это чуждо не только литературно, но физически. Чего там разыгрывать романтического юнца, когда жизнь дана человеку как время на обдумыванье. Ах, Маша, уволь меня от автобиографичных стихов!

*18 августа.*

Смешно получается: послезавтра ты должна приехать (телеграмму еще вчера получил), а я все никак не могу расстаться с

этим письмом тебе, потому что наверняка знаю, знаю заранее, что не успею всего высказать, и все тороплюсь утолить эту жажду разговора и пребывания с тобой, и все не успеваю. Это прекрасно, но и грустно тоже: неужели мы друг другом никогда вдоволь не напитаемся и так и останется в остатке невыясненной и непоглощенной масса замечательных вещей, которые мы должны выразить друг другу? Или: я все время боюсь, что не сказал тебе самого главного в жизни, и это главное растет и растет, и вот уже годы нужны полной и безмятежной отдачей, чтобы охватить эти запасы любви и мысли.

Потому-то, в частности, ты не смеешь и не должна сметь от меня уклоняться.

А я рад, что тебе понравилось про киплингского флейтиста.

Интересно, время несло по направлению к 22 августа, но за неделю, примерно, притормозилось, и дни стали тянуться с утомительными зевотами, еле-еле переваливая с одного числа на другое. Не такой же ли феномен происходит с людьми за несколько месяцев до освобождения, по всеобщему мнению, наиболее тягостных?

Стихи Аллы\* пропустил, хотя просматриваю «Литературку» регулярно, но после твоего сегодняшнего письма (№ 86) выкопал и опять изумился: те самые. Жалостно мне стало.

А в «Лит. России» за 19 августа перепечатана статья Мандельштама «Армия поэтов», актуальная и на сегодня. Иные строки ну просто в глаз, и есть даже еще более прямые совпадения. Поинтересуйся при случае.

Еще захотелось мне прочитать новый роман Катаева в «Новом мире» № 5\*, чем-то меня заинтриговавший в откликах. Сделай одолжение – добудь номер и пришли как-нибудь.

Наверное, кое-что из этого письма прозвучит тебе повторением после свидания-то. Но я же сейчас все еще не знаю, что и как мы встретимся и что успеем, а чего не успеем сказать.

*20 августа.*

Что-то мои бедные зубы никак не заговариваются и продолжают усиленно ныть вопреки здравому смыслу. Скорее это не зубы, а десны, и боль перемещается с челюсти на челюсть, по временам захватывая всю ротовую полость, точно держишь во рту го-

рящий уголь, так что есть и пить тяжело и даже вдыхать воздух не доставляет удовольствия. Возможно, это рецидив моего гингивита, а лечиться – целая проблема: где, чем и когда? Сегодня ночью то и дело просыпался от мерзкого жжения во рту и больше всего беспокоюсь за завтрашний день: было бы совсем глупо разболеться к моменту свидания и встретить тебя в недолжном виде. Но вообще-то ты не пугайся. Я думаю, в крайнем случае найдутся и здесь способы оказать мне медицинскую помощь.

Заинтригован твоим рассказом про Колино открытие\*. Попроси, когда расчистят и начнут делать фотокопии, – прислать и мне одну штучку небольшого размера. А неужто в самом деле XIII век?!

Занимается ли он все еще своими змеевиками?\* Кстати, известно ли ему, что змея в христианской символике, помимо злого начала, означала – воплощение (приспособление к земной обстановке), в том числе и доброе, благое? Отсюда и прообразный смысл истории с медным змеем, взиранием на которого исцелялись от змеиных укусов.

А онуфриевская эпитафия\* вызывает нежелание быть «выдающимся» и именоваться «чистой души человеком».

Ну вот, Машечка. Кажется, я сделал все, как ты велела: написал письмо и оставил пустое место для послевстречных дополнений. Теперь дело за тобою. Тебе остается только приехать. С замиранием сердца шепчу: до завтра.

*21 августа.*

Вот уже ты и уехала, и уже следующий вечер настал, а я прожил ночь, почти не уснув, и день работы в тумане, и, подкрепившись чашкой растворимого кофе, добрался-таки до письма.

Ты очень похорошела, Машутка, и я тобой люблюсь и завидую людям, имеющим право видеть тебя каждый день. И ты сильно помогла мне в этот свой приезд, хотя нам не дали поговорить по-человечески.

Я спокойно обдумал все, что ты мне рассказала о деньгах\*, и остался при убеждении, что ты должна их забрать и потратить на семейные нужды. Прошу тебя сделать это. Я не вижу оснований в нашем нынешнем положении отказываться от них. У меня, к сожалению, отнята вакансия вашего кормильца. Нет и не предви-

дится возможности помогать тебе материально хотя бы так, как это делают многие другие заключенные, посылающие своим семьям иногда и по 50 руб. в месяц. Я же теперь даже собственный пятирублевый ларек не в состоянии выкупить.

Моральных причин воздерживаться от денег я не нахожу. А просто делать услугу лицам, относящимся ко мне и к моей семье хуже, чем это можно было ожидать, у меня нет расположения. Последняя ситуация с нашим свиданием, обставленным столь исключительно и унизительно, меня в этом мнении лишь укрепила. Короче говоря, мое решение, которое тебе и надлежит выполнить, – получить деньги.

У меня сейчас мало времени и места, чтобы обсудить другие впечатления от разговора с тобой, – в частности, касающиеся возмутительного поведения М.З. Сделаю это вдругорядь.

Я при свидании забыл тебя попросить еще об одной мелочи, которую надо бы мне прислать в бандероли. Это пара пакетиков питьевой соды, которой я только и спасаюсь от раздражения десен, полоща рот несколько раз на день. В санчасти этого медикамента не имеется, и я вынужден попрошайничать у стариков, страдающих своими изжогами.

Возможно, мне не выдадут соду, ибо все яснее и яснее становится исключительная «предупредительность», проявляемая ко мне там, где другие ничего подобного не знают. Но все же попытайся прислать: у меня нет других средств укрощения гингивита.

А еще, Машка, хочу сказать, что ты самая замечательная женщина. <...>

Будь здорова, мое счастье. На целую жизнь – назад и вперед – благодарю тебя. Храни Егорушку. Жутко он похож на своих фотографий, которые я сейчас разложил вокруг себя. Большущее спасибо Петрову за верную помощь. Как-то вы там дошагали и доехали?..

А.

23 августа 1966.



**...понравилось про Вивальди...** – Ответ на строчки из моего письма: «Вот сейчас по радио сказали, что сегодня уже 225 лет, как умер Антонио Вивальди. Двести двадцать пять лет... Какой это большой срок! А



у нас – семь... Двести двадцать пять – как, должно быть, тоскует сейчас его жена. Впрочем, он был аббатом... И, конечно, тут же заиграли что-то из “Времен года”».

**«И спичка серная меня б согреть могла».** – Строка из стихотворения О.Мандельштама «Кому зима – арак и пунш голубоглазый».

**...раменские пейзажи...** – Рамено – деревня под Сызранью, где был дом дедушки Синявского и где А.С. с детства проводил лето.

**Стихи из новых...** – Речь идет о лагерных стихах Ю.Даниэля. Цитирую свое письмо: «Мне кажется, что время сентиментальных поддакиваний прошло и мы сейчас пребываем в ситуации гамбургского счета. Поэтому:

### СОРОКАЛЕТИЕ

Как славно знать, что был ты несерьезен,

Что ты плевал на важные дела

И что беспечность, как смола у сосен,

Свободно и 'естественно текла.

Пусть рот кривят солидные мужчины

С высот сорокалетия своего –

Как славно знать, что не было причины

И что тебя кружило озорство».

**Стихи Аллы...** – Алла Григорьевна Зимина (1903–1986), мачеха Ларисы Богораз, теща Ю.Даниэля, наш большой друг. Была актрисой, в 1936-м попала на три года в воркутинские лагеря, после чего долгие годы жила на Крайнем Севере. Автор и исполнительница песен. «Литературная газета» 13 августа 1966 года опубликовала ее стихи «Земля и небо» в рубрике «Творчество молодых».

**...новый роман Катаева в «Новом мире» № 5...** – «Святой колодец».

**...Колино открытие.** – Речь идет о редкой иконе XIV века «Спас нерукотворный на убресе», обнаруженной экспедицией Государственной Третьяковской галереи в Пошехонье Ярославской области в 1966 году. Икона была расчищена реставратором Н.Б.Кишиловым и показана на московской выставке «Ростово-суздальская школа живописи» (1967).

**...своими змеевиками?** – Змеевики – древние византийские или славянские амулеты в виде каменных или металлических литых медальонов с изображением на одной стороне святых, а на другой – гнезда змей.

**...онуфриевская эпитафия...** – На Ваганьковском кладбище на надгробии зам. директора Института мировой литературы, погромщика Онуфриева было написано: «Выдающийся советский литературовед» и, курсивом, «*Это был чистойшей души человек.*»

**...что ты мне рассказала о деньгах...** – Элен Пельтье-Замойска, героиня автобиографического романа А.С. «Спокойной ночи» и наше до-

веренное лицо во Франции, присылала в Москву кое-какие деньги за заграничные публикации А.С. Деньги приходили во Внешторгбанк, и получить их втайне от КГБ было невозможно. В КГБ, естественно, рекомендовали деньги не получать, а отправить обратно во Францию. Это было отличным поводом потребовать взамен дополнительное свидание с Синявским. Таким образом, для меня и для А.С. французские деньги, которые в дальнейшем болтались туда и обратно между Россией и Францией, стали средством давления на КГБ.



## ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

Здравствуй, моя любимая.

Увезла\* ты у нас хорошую погоду: стоило тебе уехать, как полились дожди, да какие – с утра до вечера и с вечера до утра, с холодами, грязью, промозглостью духа, тела и одеяния. Мы сразу переместились в климат конца осени – фр-р-р! К шести утра еле-еле светает. Слипаются глаза, и кушать хочется больше нормального. Зимний период, говорят, располагает к откладыванию жиров. Я только тому и рад, что ты успела проскочить у меня до похолодания и слякоти. Такое времячко надо сидеть под крышей, у печи, по-диккенсовски, в домашнем кругу. В прошлом, таком далеком, что оно кажется мне иногда – за исключением твоей и Егоркиной нити – в каком-то ином человеческом воплощении, подобная погода навевала приятные мысли, сосредоточенные вокруг лампы, тепла, очага. Пожалуй, главный недостаток моего нынешнего быта в отсутствии именно этого старинного уюта и превращении понятия «дом» в жилое помещение. Очень не хватает собственной норки, особенно теперь, когда на дворе сыро, а под крышей тесно, как в поезде дальнего следования. И когда ехать нужно долго-долго и безо всякого предвкушения. Никаких станций, а до ближайшей – снова четыре месяца. Видимо, эти-то четыре и будут наиболее трудными, судя по рассказам пассажиров, которые раньше встречали осень и зиму в здешних условиях и знают, почему фунт лиха.

Не думай, однако, что я слишком унываю. В жалобном тоне моем слышится намерение заранее подготовить себя к худшему – к беспросветной осенней тоске, которая уже облепляет окна и придает фигурам и лицам еще большую отрешенность, скоротечность и уязвленность. Несколько похоже на Гойю.

С момента свидания изменилось мое местоположение в бараке. Перебрался в угол, к стене (тоже на втором этаже), где освободилась койка. В самом деле – это лучше: стена и угол создают относительную независимость. И я перед сном теперь обычно поворачиваюсь к стене, благо она располагается с правой стороны. Очень это настраивает на спокойный душевный лад. А недостаток только один: стена пачкается и каждое утро ватник заметно белеет. Но зимой, когда все чаще придется искать теплого уголка, подобное место – находка.

Получил твою телеграмму о благополучном возврате домой. Ждать письма предстоит теперь долго, так что ты замечательно поступила, успокоив меня телеграммой. Она, впрочем, тоже в своем роде установила рекорд долготы: пришла ко мне на четвертые сутки. Ругаюсь мысленно на чем свет стоит – ведь другие за такой срок письма получают. Обидно встречать на каждом шагу повышенную репрессивность. Мания преследования – только с обратной стороны. Мне это после истории со свиданием\* стало окончательно ясно.

Однако ты вела себя бесподобно. Держалась так,<sup>1</sup> что даже, кажется, превзошла меня в способности не реагировать на окружающее. Уровень высшего пилотажа. Молодец, Машка! Главное же, своим появлением и поведением ты ужасно меня утвердила в жизни, а мои нежные чувства к тебе получили самое зримое подкрепление. Пью кофе за твое здоровье и не устаю радоваться, что у меня такая жена. Все время вспоминается твоя похорошевшая рожица. В подтверждение же этого мимолетного виденья имеется набор фотографий, для которых отныне заведена специальная папка. Разглядываю их так и сяк и иногда – очень редко – показываю некоторым избранным лицам. А почему редко и мало – чтобы, во-первых, не огорчать покинутых и забытых, во-вторых, не пробуждать дурные рефлексии у иных засидевшихся зрителей. Вид женщины, даже и не такой обольстительной, иногда способен вызвать слишком прямолинейные реакции. Вроде, например, – когда какой-нибудь ищущий сочувствия мужичок демонстрирует фотографию своей престарелой мамы и слышит реплику соседа: «Да она у тебя еще вполне!» Вот чтобы этого не было – я и прячу тебя. И созерцаю украдкой.

На некоторых фотографиях у тебя жутко грандамная внеш-

ность. И мне забавно, что ты у меня такая взрослая и величественная. Ни дать ни взять – государыня. Никогда не скажешь (но это видно по другим портретам, которые я все-таки люблю больше), что на самом деле ты еще сущий ребенок, чем-то похожий на сурка («и мой сурок со мною...»). В самых удивительных это детско-сурочье выражение сливается с материнским...

Никак не ожидал – и это ты очень хорошо поступила, что привезла много старых фотографий, где ты с яблоком или на Севере. И где ты в Раменском лесу, возле Ореховой горы. На этом экземпляре ты до слез укороченная получилась. В раннем-то варианте было куда больше пейзажа. Несмотря на такой урон – помню-то я полностью и люблю целиком, до самой травки.

А твоя редакция моей бороды, против ожидания, произвела слабое впечатление. Даже мало кто заметил: просто здесь достаточно часто стригутся и внешний вид не играет особой роли. В мой адрес только один знакомый сказал, что я разительно изменился, потеряв мужицкую дикость, и притом ему показалось – что в худшую сторону. Видимо, вышел чересчур квадратным. В данном случае в такой оценке много субъективного, и я ей не придаю значения. В отношении человека здесь больше чем где-либо понимаешь, что видимость обманчива.

А после твоего отъезда я вскоре был приглашен на день рождения. И я, и другие гости сделали подарки: носки (мой), трусики, общая тетрадь и просто пачка папирос. В торжественно убранной обстановке пили кофе и ели огурцы, поступившие в ларек и, увы, мне недоступные, от запаха которых щемит сердце и почему-то вспоминаются поездки с тобой, полустанки, леса, леса, зеленые как тело матери, и свежий запах огурцов в вагоне. В настроении прострации, в позах падших ангелов (почти по Врубелю), слушали дешевую полуджазовую эстраду. Такова лирика (может быть, в ее изначальной природе). В другой раз, в мой день рождения, наверное, так же будет.

В целях зубной профилактики недурно было бы, чтобы Эмиль прислал мне свои советы по части гингивита и подручных, знахарских методов его лечения, более надежных и доступных, чем медицина. (Как только расстался с тобой после свидания, мои десны взныли, словно дожидались этого рокового мгновения. А тогда, когда находился с тобой, организм сам принял меры, и

все его части подтянулись и подобрались вокруг моей злосчастной личности, являя образ взаимной дружбы и понимания. Видать, им было не до капризов.) В порядке другого рода профилактики он же может поделиться своими впечатлениями, касающимися нашей общей знакомой. Расскажи ему, если случится, об этом моем пожелании. И чем меньше он будет церемониться, тем лучше. Нечего ему вставать в благородную позу. В качестве стилового эффекта все равно не забываем его эпитет «упойтельный» со слегка измененным фасадом. С тобою-то он вряд ли поделится своим слогом упоительного рассказчика. Но со мною пусть будет прям и по возможности красочен.

Зря тебя огорчает история с Кафкой\*. В горячке разговора и по внезапности этой темы я забыл тебе сказать, что ведь не сам же я выдвинул предложение на такую рецензию и получил на это санкцию. Согласие было получено без меня и первоначально не на меня, а мне, уже постфактум, предложили соавторство и с оговоркой, что скорее всего в дальнейшем я останусь в единственном числе и мне будет оказана лишь помощь переводчика. И возможность взяться за столь интересную тему заставила меня согласиться. Безо всякого энтузиазма выступить в паре и даже с расчетом на полную самостоятельность. А ценность такой темы, я думаю, ты понимаешь. И как я мог отказаться или заявить прямо, что берусь один, когда не сам добился, а вроде бы для меня добились? Подобные случаи бывали и раньше (Смирин и т.д.)\*. И мне сама работа всегда казалась важнее имени. Думаю, что я был прав с такой «неразборчивостью». И нужно ли доказывать, что случай с Кафкой как раз говорит о непрочности иных отношений. Никогда бы я не согласился – рассчитывай я на переход соавторства в специфический план, в демонстрацию, что ли, союза двух любящих существ. Если ты вникнешь в эту ситуацию с учетом моего характера, тебе хорошо известного, то все твои сомнения улетят. Больше того, – ты увидишь, что, соглашаясь на Кафку, я просто не мог и помыслить о развитии или огласке этого сочетания. Мне ли (с такой щепетильностью относившемуся даже к соавторству с тобой\*) публиковаться вдруг под ручку с дамой сердца? Ну сама рассуди – похоже ли это на меня...

Я фактически и теперь так болезненно воспринимаю некоторые сплетни, потому что меня доводит до бешенства публич-

ность того, что не имело права вылезать на обозрение. Как же может женщина допускать такое? Ей-то ведь, кажется, самой природой предписано быть еще скромнее? (Твержу мысленно: «он знал и боялся женщин, имея на то основания», – и тем слегка утешаюсь.)

Теперь по поводу Егоровой влюбленности в Петрова за счет расположения к маме. Плохо ли это? Не думаю. Твои опасения преждевременны. Дитя (за исключением каких-то патологических случаев) в конце концов всем на свете предпочтет любящую мать, если уж придется выбрать. Очень хорошо помню, как к ужасу матери я привязался к случайной няньке, чем вызвал чуть ли не ревность, хотя никакой измены тут не было. Пускай все это тебя не расстраивает. Гораздо труднее переживать родителям более серьезные перемены, когда появятся разные девочки. Об этом, к счастью, нам еще рано тужить.

Просьбу твою о Лядинах\* лучше всего реализовать вот каким образом. Начало статьи «Земля и небо в искусстве Древней Руси»\* имеет разделчик под названием «Храм». (Я только не помню, осталось ли это в рукописи или уже перепечатано на машинке.) В нем подробно излагается гипотеза, согласно которой здание храма в средневековом представлении зачастую служило макетом вселенной и в этом смысле вбирало вселенную. Пытаясь это обосновать, я, кажется, ссылался и на более широкие аналогии между вселенной и домом («на небе солнце – в тереме солнце, на небе звезды – в тереме звезды» – из былины о Дюке Степановиче, кажись) и приводил другие примеры в статье. Ей, возможно, недостает завершенности, но для характеристики звездного крыльца в Лядинах материала там вполне хватит. Также имеется большая папка с древнерусскими конспектами. Где-то в ней ты найдешь кучу примеров в том же храмово-вселенском плане (по боковым названиям все это легко разобрать и выловить). Трудно мне сейчас восстанавливать по памяти этот сложный предмет. Не проще ли тебе воспользоваться готовым текстом? Все равно валяется без дела. А мы когда-нибудь вдвоем напишем об этом более интересно и обстоятельно.

Во всяком случае подоплека звездного крыльца заключается в том, что оно имитирует небо. Если сам храм (возможен здесь и такой вариант) символизирует так называемое «небо невиди-

мое», то крыльцо в качестве подхода, вступления или сеней воссоздает небесную видимость. В какой-то мере эта звездная картина на потолке крыльца порождает ощущение вселенского богатства, творческой роскоши. У входа уже мы проникаемся чувством полноты и мощи. Такое чувство в особенности присуще Лядинам с их непомерным ростом. Будто небо прямо с порога открывается нам. Плывет на нас, по мере того как мы поднимаемся по ступеням крыльца, словно ступаем по сферам (резкий подъем лестницы, упирающейся в потолок, усиливает эту иллюзию).

Писать об этом в книге, вероятно, нужно по следам того впечатления, какое – помнишь – было у нас впервые, когда черный огромный остов на золотом закате. В целях занимательности можно этому куску придать более фабульный характер. Даже можно использовать совсем другой мотив, из Кулиги Дракованной, когда колокольня росла в лесу, по мере того как мы к ней подходили. А близко – громада из бревен, впотьмах (уже собственно лядинский материал). Также сюда можно подключить Красную Лягу\* с теми тучами, с той фотографии. Сходство первого чувства «встречи» позволит объединить все эти мотивы в один узел. И разве обязательно все раскладывать по полочкам? Лучше дать Лядины одним большим ударом, а Красную Лягу упомянуть где-то в скобках, попутно. Ошибочно поступают авторы, стремящиеся рассказать все, что они знают, и повесить каждой сестре по серьгам. В итоге читатель спотыкается об эту дробность изложения, тонет в обилии дат и названий. А нужно ли ему «все знать» – еще вопрос. Надо главное – крупным планом, а прочее скороговоркой или вообще опустить. Тогда будет интересно следить за ходом сюжета.

Жду от тебя более подробного отчета о твоих искусствоведениях. Пиши мне какие-нибудь свои мыслишки и просто фактики. И нам тогда будет легче подавать друг другу реплики, развивая эту северную тему. Вдвоем лучше придумаем. Кроме того, я не очень сейчас ориентируюсь в том, что ты пишешь о Севере. Подробности же повлекут и новые мысли, и дальнейшие повороты. Общий-то замысел ведь мне известен, а не хватает конкретных пунктов, опоры на материал. Бьюсь в абстракциях и повторяю, по сути дела, то, о чем думал раньше (так что подбрасывай материал для большего моего оживления).



№ 7 «Нового мира» – по твоей подписке – я наконец получил. Скучновато, но, в общем, полезно. Я все-таки не хотел бы отстать от появления разных книг, освещаемых в разделе критики и библиографии. Например, хорошо бы нам кто-нибудь подарил недавно изданные книги – Шовена «От пчелы до гориллы», Штоля «Шлиман» (мечта о Трое) и сборник «Города феодальной Руси». Кроме собственного интереса забочусь о Егорушке, которому все это когда-нибудь пригодится. От таких книжек – прямая дорога в историю и археологию. Биологическая же книга Шовена – про психологию зверей – кажется, жутко занятная.

При случае подпиши меня, пожалуй, на «Новый мир» и дальше. Кажется, на новый год уже началась подписка. Я, правда, не уверен в твоих ресурсах, и с моей стороны бессовестно к ним подключаться. И я, говоря откровенно, предпочел бы поэтому, чтобы меня подписал на журнал кто-то другой. Этим кто-то могла бы стать, например, сама редакция «Нового мира»\*. Лышу себя надеждой, что такой солидный журнал не оставит без внимания скромных потребностей своего бывшего сотрудника. В добрых журналистских традициях подобные эпизоды известны. Не запрещаю тебе воспользоваться этой шуткой. Если бы у меня были более широкие права переписки, непременно послал бы в «Новый мир» этого рода новогоднюю телеграмму. И я, возможно, пошлю туда открытку на Новый год. А ты как считаешь? В декабрьскую встречу мы это обсудим – ладно?

Твое послесвиданное письмо тоже получил. Раньше обыкновенного – представь, – и я ликую, как маленький. Машка моя! Обнимаю тебя, не дожидаясь конца этого послания. И радостно констатирую еще и еще совпадение наших мыслей, ибо за все, что ты спрашиваешь, я уже выше написал. За бороду, за фотографии и за прочее твое поведение на пять с плюсом. И мне сдается, мы обо всем этом думали с тобой одновременно и беседовали по воздуху или во сне. Должно быть, именно поэтому звучим в один голос.

Твой же вопрос, почему я отверг какую-то одну фотографию, – мне невдомек. Так нервно и психованно себя чувствовал, что упустил эту деталь. Я, может быть, как-то не очень воспринял на ней твою улыбку (хватал же интуитивно самые лучшие). Даже какая-нибудь черточка могла не понравиться или показаться не совсем

нашим общим достоянием. Среди выражений твоего лица есть некоторые, к которым я, как тебе известно, отношусь хуже. Никаких объективных причин для этого нет, а просто это так, и всё тут. И я сейчас не хочу об этом распространяться. Видимо, ты сама все прекрасно знаешь или узнаешь потом.

Явственно и подробно на эту тему я буду с тобой объясняться через шесть лет. Так чтобы тебе тоже было интересно дожидаться моего возвращения. В нашу первую встречу на воле мы усядемся с тобою за стол, ты зажаришь яичницу с колбасой, купишь армянский коньяк и поставишь музыку Моцарта. Вот тогда я расскажу про тебя много всяких удивительных вещей. Свежий сентябрьский ветер будет летать над нашими лицами. А наш Егорушка будет спать или читать книжку с картинками. Давай же этот интересный разговор пока отложим.

27–30 августа.

Вот, Машуня, некоторые забавные выражения по типу наших милых «энтузаистов»\* или в ином роде

– Стоит мне поговорить с человеком полчаса – и я о нем составляю беспринципную *резимю*.

– Устал как конь.

– Я им открыл большую Америку.

– Шизофроник.

– В ближающее время.

– Иисус Давыдович Назарейский.

А можешь ты представить татуировку на тему: бой Руслана с Головою?!. Или чтоб на коленных чашечках росли цветы?

1 сентября.

А вот совсем другие цитаты, внушающие ужас и сострадание, потому что они искренни и субъективно правдивы (обращайся с ними осторожно, это как ножик, который режется):

«Боже мой, да если даже тебе предстоит крестный путь, то ведь не на моей же крови. Это, кажется, никому не позволено. И разве ты не знаешь, что ты за меня в ответе – перед совестью своей или Богом, считай как хочешь, но от этого никуда не уйти. Поздно».

«Так или иначе, даже если выживу, все равно пропала, погибла окончательно. Потому что чем же мне жить, если уж ничему

нельзя верить, если даже ты можешь предать меня? Но ты – как же ты сам сможешь после этого жить?»

«Или ты думаешь, что тюрьма все спишет? Не надейся: пока мы живы, нам за все нести ответ».

«Если бы я верила в бога, то потеряла бы веру».

А вот приблизительный ответ, который стоит за моим молчанием:

Я знаю. И не придумываю себе оправданий. С меня за все спросится. Ничего не спишется. Но я не могу иначе. Это не я выбрал: кого любить.

(Второй голос (обращенный к судьбе и только лично для твоего прочтения): Пронесите мимо. Не добавляйте крови. Неужели ко всему еще и *это* обрушится?!)

3 сентября.

Добрый день, Машенька!

Немного\* прошло дней, а сколько случилось. Всех-то событий раз, два и обчелся, да в однообразном фоне моей жизни и они значительны. Главное из этих событий – меня перевели на другую работу. Никакой я больше теперь не упаковщик, а зачислен «на шнеках». Шнеки – это такие большие трубы с винтами внутри. Техническую сторону, как обычно, я плохо представляю и покамест выступаю в роли смазчика, что ли. Обязанность моя – ходить и смазывать солидолом (по-научному это называется консервацией) концы валов, торчащие в огромном количестве из разбросанных всюду труб. Нехитрая и нетрудная работенка, хотя, конечно, грязная и унылая. В руке у меня доска с кучей солидола, во второй – тряпка. Легче и лучше, чем прежняя моя упаковочная должность. Вместо подъема тяжестей и разнообразных мускульных упражнений – только ходи и нагибайся. И физический неразвитый человек справится с подобной задачей.

Правда, еще не известно вполне, как будет дальше. Навсегда я прикреплен мазать или придется выполнять что-то еще, более металлическое. Мне бы, естественно, предпочтительнее первое. В качестве смазчика я вроде бы не связан ни с каким конвейером и работаю в одиночку, сам себе хозяин. Никакой особой ответственности на мне не висит. А пребываю в основном на открытом воздухе. В раздумьях о мироздании циркулирую по трубам. Вот

только мыться надо много после работы и закуривать неловко слипшимися-то ручищами. Все это, однако, в сравнении с прежними тяготами – сущие пустяки.

Писать о зарплате пока воздерживаюсь. Я знаю лишь, что хуже не будет: на упаковке в последние месяцы ничего не получал. На новом же месте сложилась гораздо более спокойная и деловая обстановка. А этого мне и нужно было. В точности, конечно, невозможно предугадать всего дальнейшего производственного прохождения, но наличными данными я доволен.

Только жаль, что не досталась мне другая, более интересная работа, на которую безуспешно пытался поступить. Светила слегка должность переплетчика. Мне туда страшно хотелось. Не заводская обстановка, тишина, бумага, конура, больше свободного времени. Хотелось освоить эту полезную специальность и в расчете на мирное будущее. Очень бы она пригодилась для нашей библиотеки. Переплетчик в нашем доме – это царь (в сочетании с петровским художеством). Кроме того, я всегда бы смог заработать кусок хлеба нелитературным путем. Не выгорело: инвалидности, что ли, не хватило. В денежном отношении – говорят – переплетчик имеет мизер. Зная об этом, я тем не менее среди прочих предложений выбрал бы здесь именно эту профессию. Но не будем стремиться к недостижимому. Неплохо, надеюсь, будет и на шнеках.

Следующее событие – хорошая сравнительно погода. Типичная золотая осень установилась у нас после холодов и дождей. Очень я люблю эту полосу года, ясную и грустную. Мне, правда, в последнее время и дожди уже приобьиклись. Больше того, я научился находить особый вкус в этом соответствии колорита. Дескать, так и надо, и пусть льют дожди, бьет озноб, мокнут ноги, ноет душа... А солнышко, понятно, лучше, но это, так сказать, уже роскошь, сверхпрограммное удовольствие. (Сколько таких удовольствий я променял бы за одно то, чтобы свидание с тобой прошло прилично...)

Новость третья – твои жизнерадостные и любящие письма (получил по № 93). К ним я вернусь в след. письме. Льну к тебе душою и телом за такое хорошее настроение и обращение. А я-то, признаться, думал, ты нос повесишь. Оказалось, ты – умница и красавица. Получай за это от меня карту бляншу в смыс-

ле стрижки и косметики. Смотри только (жест, сводящийся примерно к фразе: «доверие – доверием, а контроль – контролем»)!

Письма твои в стилевом и содержательном отношении безусловно блестящи. Я боюсь только, что Егору до совершеннолетнего возраста (а может, и позже) читать их придется с некоторыми купюрами, предусмотренными родительским глазом. Нельзя же ему раньше времени узнавать, что мама иногда бывала несправедлива к папе, а папа тоже не всегда оказывался безупречен.

А знаешь, что твоя эпистолярная непринужденность и живость речи вызывают у меня зависть? Твой дар – рассказывать интересно даже о чепухе (с помощью самой этой чепухи) и наполнять письмо воздухом, в котором хочется жить и гулять. Ты обладаешь той редкой способностью естественной болтовни, которую я встречал у Пушкина (!). И в пушкинских письмах к жене я уловил, читая их в тюрьме, подобие твоей непосредственности. Только Пушкин был несчастлив в браке. В данном отношении тебе явно повезло по сравнению с ним. Так-то вот, друг мой Маша.

*5 сентября.*

<...>



**Увезла...** – Здесь шифровка: «Вышли тапочки и ежемесячно одну бандероль с папиросами и сигаретами до пятнадцати пачек Торговецкому Нисону Файвелевичу обратный адрес Москва улица Бахрушина один дробь 7 квартира пятьдесят два Абрамова Мария Ивановна».

**...после истории со свиданием...** – Свидание было омрачено подчеркнуто хамским поведением лагерной obsługi.

**...история с Кафкой.** – М.З. распространяла по Москве слухи о своей предполагаемой совместной работе с А.С. над Кафкой.

**Подобные случаи бывали и раньше (Смирин и т.д.).** – И.А.Смирин – алма-тинский исследователь Бабеля, в соавторстве с которым А.С. писал перед арестом статью о «Конармии» для «Литературного наследства» (см. примечание к письму 20).

**...даже к соавторству с тобой...** – Несмотря на общность интересов, до ареста Синявского мы всегда старательно разделяли: «это мой текст, это твой текст». И только когда А.С. попал в лагерь, мы стали работать вместе.

**Просьбу твою о Лядинах...** – Лядины – деревня на Севере, в Архангельской области. Мы с А.С. много раз путешествовали по северным деревням, и я обдумывала книгу об этих путешествиях.

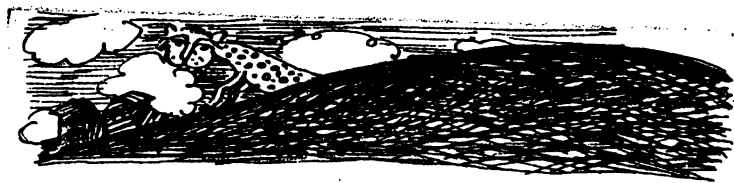
**...«Земля и небо в искусстве Древней Руси»...** – Неоконченная работа А.С., фрагменты которой через много лет вошли в книгу «Иван-дурак» (Париж, 1991)

**...из Кулиги Дракованной... подключить Красную Лягу...** – Кулига Дракованная, Красная Ляга – деревни в Архангельской области.

**...редакция «Нового мира».** – Естественно, я не стала обращаться в «Новый мир» с такой просьбой, не желая ставить хороших людей в неловкое положение.

**...наших милых «энтузаистов»...** – Словечко «энтузаист» мы услышали на Севере от какого-то старика. Оно нам очень понравилось и стало домашним.

**Немного...** – Здесь шифровка: «Если не берем франки проси внеочередное личное с коньяком и без вывода» (см. примечание к письму 12).



## ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Нерадостные письма пришли от тебя, Машка, к моей и впрямь не очень веселой дате\*. Я решил ее не справлять, не отмечать, как это здесь делается иногда, а только долго и серьезно думаю о тебе.

У Пушкина можно встретить самые порой неожиданные стихи, имевшие для него значение бокового хода, пробы пера, оговорки, оказавшихся затем сердцевинной какого-нибудь отделенного литературного слоя. Среди прочих прошлой зимой я наткнулся на такие – из отрывков 1821 г. (говорит неизвестно кто, скорей всего – ведьма):

– Молчи! ты глуп и молоденок:  
Уж не тебе меня ловить!  
Ведь мы играем не для денег,  
А только б вечность проводить!

Эти строки поразили меня явной интонацией Хлебникова и показались прямым эпиграфом к его поэме, написанной совместно с А.Крученых. Очень может быть, они-то и послужили закваской в хлебниковской теме, были первым мотивом, на который она настраивалась.

Удивительна здесь идея бесцельного провождения вечности (как всегда у Пушкина, лишь от постановки – от подстановки одного слова /в данном случае перевернутого вверх ногами – «проводить время»/ – играет вся строфа, весь большущий кусок текста). Вечности как неизбывной, дрящейся и при всем том замкнутой в пространственных размерах, пустующей среды. Вечности, где время застыло и о которой много-много лет спустя сказал

Свидригайлов как о «бане с пауками». «Предчувствовалась какая-то вечность “на аршине пространства”», – повторяет Достоевский по сходному поводу.

Между прочим, перечитывая Пушкина той зимой, я нашел и другие выходы в дальнее будущее. Так, стихотворение Пастернака «Рассвет» («Ты значил все в моей судьбе...»), вопреки отсутствию совпадений, неуловимо тянет «Подражанием Корану» («Нет, не покинул я тебя...»), которое вело в свою очередь к пушкинскому «Пророку». Не исключено, что само «Подражание» навеивалось «Надеждой» Батюшкова («Мой дух! доверенность к Творцу!...») или общим для них обоих Жуковским с его «Певцом во стане русских воинов». Вот бы когда-нибудь свести всех этих авторов вместе и попробовать вывести общий знаменатель из их решительных интонаций...

А у Мандельштама бесподобное сплетение зимней стужи, оркестра, театра, расставания, прощальных женских прелестей и наклонов – по всей вероятности – подготовлено (предсказано) молодым Пушкиным («Друзьям», «Н.И.Кривцову»), – возможно, в сочетании с «Пиром во время чумы».

Богам вам еще даны  
Златые дни, златые ночи,  
И томных дев устремлены  
На вас внимательные очи...  
...И толпою наши тени  
К тихой Лете убегут.  
Смертный миг наш будет светел,  
И подруги шалунов  
Соберут их легкий пепел  
В урны праздные пиров.

Все эти перекрестки и встречи страшно глубоки и значительны. Какие-то колодцы смысла.

*8 сентября.*

А сегодня мой конкурент догнал меня и поравнялся на 95-м номере.

---

У меня все время такое чувство к природе – к воздуху, листьям, дождю, – точно она все видит, понимает и хочет мне помочь, очень хочет, но только не может.



А вы, хоть и жалуетесь на проказы Егорушки, все же не забывайте: детство, ребенок! – да ведь это же царство Божие на дому. Оно у них из глаз смотрит.

*9 сентября.*

Что-то ты, моя Маша, опять мне мало пишешь, а я тем временем освоился на своей новой работе и занимаюсь уже не только смазкой, но и прикручиванием проволокой разных железок к своим трубам, а также – когда не хватает рабочих – погрузкой и перевозкой тоже разных железок. Смазывать-то теперь мне реже всего приходится, и это занятие стало самым приятным. В общем, – не мед, но вполне терпимо и значительно лучше упаковочных дел, где все время висел дамоклов меч невыполнимой нормы и кажущегося нежелания ее выполнить.

Десны тоже начали постепенно улучшаться и болят мало. Должно быть, от твоего «Поморина» или нервочки пришли в равновесие. Так что, если ты еще не послала мне соду, то и не посылай до особых распоряжений.

Начал – по две фразы в неделю – придумывать про Пушкина\*, и получается хорошо, и это я тебе напишу отдельным блюдом через несколько месяцев, если будет возможность развить эту тему по способу Робинзонады. (Кстати, цитату из Хлестакова тоже не присылай – я ее здесь нашел.) А пока, чтобы не вовсе упускать из виду литературной специальности, буду тебе рассказывать про что-нибудь еще – только в самом первичном и невозделанном стиле. А ты, как дойдешь до этого места, – можешь (по первому разу) пропустить и перейти к более интимным и читабельным местам, что последует, надеюсь, через несколько дней, когда я получу от тебя письмо и выберусь с его помощью из моего нынешнего сумрачного состояния. Пока же не пришло письмо, буду пичкать тебя чистой литературой, которая все же полезнее и содержательнее, чем мои тоскливые возгласы, – а ты терпи.

Угадай, Машенька, про что я собираюсь сейчас тебе рассказать. Ни за что не догадаешься. А хочу я слегка затронуть непонятную нам античность (!). Вот я до чего докатился в своем одиночестве. И даже намерен снабдить эти домыслы несколькими цитатами, которые могут когда-нибудь пригодиться.

Вероятно, идея «рока», «воли богов» и т.д. играла в античном

мире совершенно другую роль, чем в христианстве с его бездной таинственного и непознаваемого. Там, в античности, «знаки судьбы» выглядели куда более определенно, четко, доступно и расценивались не как исключения из повседневных житейских правил, а в качестве их твердого графика, конкретного расписания, нуждавшегося в постоянном узнавании и вычислении. Быть в курсе своей судьбы почиталось делом простым и естественным и составляло главное содержание обряда, в котором важнейшее место принадлежало оракулам, предсказаниям и гаданиям, осуществлявшимся множеством способов. К явлениям, по которым точно, как по радио, узнавали волю богов, относились сны, голоса, приметы, жертвы, вещие птицы, и весь этот гадательный аппарат содержался не в тайне, а на виду – в центре и на поверхности античного общества. Посмертно защищая Сократа от обвинений суда, Ксенофонт, например, заявлял («Воспоминания о Сократе», кн. I, гл. 1): «Что касается первого пункта обвинения, будто он не признает богов, признаваемых государством, какое доказательство этого они привели? Жертвы он приносил часто как дома, так и на общих государственных алтарях: это все видели; к гаданиям прибегал: это тоже ни для кого не было тайной».

Уже отсюда мы видим, что гадание было признаком благонадежности и входило в обязанности гражданина, занимая в системе культа центральное положение. Бытовой «контакт с богами» достигал такой степени, что их советами руководствовались не только в начинаниях мало-мальски ответственных (в торговле, на войне, в путешествиях), но буквально на каждом шагу, даже иногда в разрешении вопроса, по какой улице идти, чтобы не столкнуться со стадом свиней и не выпачкать свою античную тунуку. В нашем языке само слово «гадание» предполагает что-то неясное, темное, двусмысленное, как и «судьба», которая то ли исполнится, то ли нет и теряется где-то вдаль, в тумане неизвестности. А там гадание было сбором информации, не подлежащей отмене и кривотолкам. В результате религия, приближенная к земным делам и заботам каждого человека (при равнодушии к его позднейшей участи), принимает позитивистический вид и характер. В ней преобладают рассудительность и практицизм, спокойно-деловое отношение к «справочному бюро», действующему безотказно, в строго установленном и вполне постижимом, поч-

ти научном порядке. В «Пире» того же Ксенофонта (гл. 4) благочестивый приятель Сократа – Гермоген рассуждает следующим образом (образец античной логичности, здравомыслия):

«И эллины и варвары признают, что боги все знают – и настоящее, и будущее; это вполне очевидно: по крайней мере, все города и все народы через оракулов вопрошают богов, что делать и чего не делать. Затем, мы верим, что они могут делать и добро и зло; это тоже ясно: по крайней мере, все молят богов отворотить дурное и даровать хорошее. Так вот, эти всеведущие и всемогущие боги так дружественно расположены ко мне, что, при своем попечении, они никогда не забывают обо мне, – ни ночью, ни днем, куда бы я ни шел, что бы ни собирался делать. Благодаря своему предвидению последствий каждого дела, они, посылая в виде вестников голоса, сны, вещей птиц, указывают мне, что необходимо делать и чего не должно делать; когда я следуя этим указаниям, никогда не раскаиваюсь; но бывали случаи, когда я им не верил и был наказан.

Тут Сократ сказал: В этом нет ничего невероятного. Но мне хотелось бы вот что узнать от тебя: каким образом ты им служишь, что они так дружественны к тебе?

Клянусь Зевсом, отвечал Гермоген, очень дешевым: я славлю их, ничего не тратаю; из того, что они даруют, всегда часть воздаю им; насколько могу, говорю в благочестивом духе; в делах, в которых призываю их в свидетели, не лгу добровольно».

Знаменателен этот минимализм требований, предъявляемых Олимпом к благочестивому человеку, эта легкость и дешевизна в приобретении благодати. По уверению Сократа, богов следует чтить «сообразно со средствами», т.е. с естественными возможностями и склонностями нашей природы. Как не вяжется такая доступность божества (доступного лишь потому, что оно сведено до земного уровня) с непомерными претензиями и порывами средневековья, стремившегося переспорить человеческую природу и выдвигавшего заведомо сверхъестественные задачи в подвиге благочестия. Но античности неведома святость, и в качестве высшего уровня нравственности она ставит умеренность. Характерна в этом смысле фигура Сократа, утилитарного мудреца, озабоченного практическими нуждами общества. Его воздержанность умеренна и расчетлива (воздержанный человек, – учит

Сократ, – ест, пьет и любит женщин с бóльшим аппетитом и небольшими затратами); его добродетель выражается в обычной расположенности к людям и желании помочь им полезным советом; в философии он пользуется искусством диалектики, т.е. старается мыслить рассудительно, расчлененно, взвешивая все pro и contra, и в результате достигает образцово-уравновешенного отношения к жизни и смерти.

В античной культуре особенно развиты понятия места и меры, сливающиеся с судьбой – ибо что же такое судьба как не уготованное человеку положение и отмеренная в жизни дорога? Величайшие произведения эпоса и повествуют первым делом о восстановлении (нахождении) положенного места.

Троянская война в «Илиаде» вызвана нарушением предустановленного распределения мест: в борьбе за Елену греки стремятся водворить ее на место и тем восстановить утраченное равновесие (а совсем не ревниво-любовные переживания: бедняга Менелай почти не виден). «Одиссея» строится на усилиях героя вернуться к исходному пункту. Все путешествия позднейшей Европы – уход, отъезд из дому, а в античности путешествие – возвращение на место. В «Энеиде» разбитые троянцы в поисках, где бы им обосноваться, не ищут нового места, а возвращаются назад, на свою прародину в Италию, откуда были выходцами их предки. Это – поиски своего единственного, санкционированного положения в мире (и об этом писал Мандельштам: «не город Рим процвел среди веков, а место человека во вселенной»).

Давно замечено, что античный человек не самостоятелен, а управляется роком, судьбою, которая не создается богами, а лишь торжествует и осуществляется при их благотворном посредстве.

Юпитер в «Энеиде» (кн. X, ст. 111–113):

...Пусть всякий и горе и счастье  
Как при начале несет.  
Для всех одинаков Юпитер  
Рок дорогу найдет.

Геракл (X, 471–472):

...Ожидает также и Турна  
Собственный рок: он достиг меты положенного века.

Поэтому и Эдип, по воле рока ухлопавший папу и употребивший маму, совсем не злодей и не грешник, а несчастный, исполнивший предписание. Я не знаю даже, есть ли в античном искусстве хоть один злодей.

Предустановленный характер событий ведет к такой объективности изображения, что борющиеся стороны показываются почти с одинаковым сочувствием, ибо они равны перед роком. Тенденция заложена в самом роке, т.е. *над* ними. Битва напоминает спортивное состязание:

...С голой главы у него на голые плечи  
Русые кудри бегут, и раны его не пугают;  
Весь он оружием открыт; ему в широкие плечи  
С дрожью вонзилось копье, и согнулся он вдвое от боли.  
Брызжет черная кровь отовсюду; множат железом  
Группы борцы и от ран домогаются смерти прекрасной.  
(XI, 643–647)

Последняя строка позволяет понять бои гладиаторов в Риме, являющих театрализованный образ сражения, как и состязания, носившие, очевидно, вначале священнодейственный смысл. Не отсутствие страха смерти, а покорность «воле богов», жажда судьбопроявления и сознание своей уместности двигали человеком. Описание боя похоже на жертвенные таинства, и одновременно в них чувствуется любование мясника выставленным товаром (ближайшая аналогия античной мускулатуре) – демонстрация рассеченных членов, воинская анатомия, заставляющая с одинаковым удовольствием описывать кровавую операцию и «своего» и «чужого» борца.

Брошенным ловко копьем он пронзает, где позвоночник  
Надвое ребра делил, и в костях застрявшую пику  
Он вынимает.

(X, 382–384)

Душу пурпурную он изрыгает и, умирая,  
Кровью блюет и вином...

(IX, 349–350)

(Отсюда начинается Гоголь в «Тарасе Бульбе»...)

Однако, моя бедняжечка, ты, наверное, совсем соскучилась от этих рассуждений, и пора мне прерваться, перенеся их до другого раза (совсем немножко осталось про античность-то). По длине этих страниц ты можешь судить о том, как давно я не получаю известий от тебя и сижу все с теми же печальными 94-м и 95-м номерами, с которыми начинал, тогда как иные уже обогнали меня на одну штуку. Да не в этом ведь дело – а была бы ты здорова и хороша и с Егором все было бы хорошо.

Отправил тебе денежный перевод, оставив на счету что-то около 20 руб., которые, по уверению старожилов, могут еще мне пригодиться, если, к примеру, в текущее шестилетие доведется лежать в больнице или мыкаться по пересылкам и переезжать на новое место. Мне вообще не рекомендовали расставаться с деньгами, но это было бы уж слишком запасливо, да ведь не исключено же и такое, что когда-нибудь я заработаю что-то своими силами. <...>

В твоём долгом отсутствии несколько меня подбодрил журнал «Простор», по которому можно было узнать дату отправки. Поздравь от меня Вику\* с долгожданной статьей, в которой достаточно сказано правильного и умного. К сожалению, ей пришлось слишком часто заниматься простой демонстрацией незнакомого материала, но на первых порах и такое ценно. Хотелось бы только (этого можешь не передавать), чтобы в решении темы каким-то дальним прицелом *стиля* больше стояло что-то вроде «эпоса и лирики современной России»\*. Все-таки для искусствоведа задача «как сказать» имеет в идеале почти такое же значение, как и для художника. В широком смысле – не все ли равно, какой предмет мы описываем, – закат над рекой или писателя, пишущего про этот закат?

(12–14 сентября).

А у Пушкина и еще есть неожиданные попадания. –

В Ахматову, чья строка «иноземцы ходили вокруг», не имея ничего общего, все-таки, мне кажется, восходит к «Графу Нулину»:

Себя казать, как чудный зверь,

В Петрополь едет он теперь.

В «Страшную месть» Гоголя, который, по всей вероятности,

не читал «Газита», но, возможно, почерпнул из одного источника с Пушкиным:

Чтоб вечно ждал ты грозной встречи,  
Чтоб мертвый брат к тебе на плечи  
Окровавленной кошкой сел  
И к бездне гнал тебя нещадно...

Наконец, в известную народную песню «Весело было нам», сложенную на мотив «Братьев-разбойников»:

Ах, юность, юность удалая!  
Житье в то время было нам,  
Когда, погибель презирая,  
Мы все делили пополам.

Или мне все это кажется?

А помнишь пушкинскую ложку\* 1837 года и как я однажды за супчиком, сам того не желая, попал пальцем в небо? Не свойство ли это всех вещей, связанных с Пушкиным, или при всяком жесте мы непременно куда-то тыкаем?

*15 сентября.*

Любимая и родная моя женщина!

Вчера с утра безо всяких на то видимых причин у меня появилось хорошее настроение, а потом на работе я встретил маленького паучка, а за обедом – божью коровку, которая улетела. И вот в итоге всех этих магических действий вечером – после восьмидневного перерыва – я получил от тебя сразу пять писем – по сотое включительно (итак, мы выиграли все-таки со счетом 100:99). И весь вечер, как гурман, предавался этому увесистому и увлекательному (по уши) чтению, так что даже больше ничем другим не занимался. <...>

Год без тебя, про который тебе хочется услышать, оказался на самом деле годом прихода и припадания к тебе, которое с первых же дней все растет и возрастает, и невозможно представить, чем это кончится ко времени окончания срока. Наверное, я буду тебя любить как Ромео и Джульетта (вместе взятые).

Я по тебе жутко изголодался, Машка, – и физически, и духовно, и всяко. Вот ты говоришь – профессионально поговорить не с кем. А я вообще ничего не представляю из вещей, для меня желанных, кроме как с тобою и для тебя.

Но, конечно же, серьги на твоих фотографиях остались незамеченными (я все занимался тем, что промеж них расположено), пока ты не спросила, и тогда я посмотрел еще раз и увидел и сейчас могу с уверенностью сказать, что серьги, в самом деле, тоже очень красивые.

А сотню писем я получил целиком и в полном составе, без пропусков.

А про кино мне было читать очень занятно, тем более что давно не видел новых кинофильмов и плохо представляю, какие они из себя.

А старенький роман Саянова\* тоже, скорее, привел меня в веселое расположение (точнее – в состояние веселого ужаса, как в старинном романе с привидениями), настолько фраза заслоняет в нем содержание и вызывает невольную улыбку своей мнимой значительностью и несоответствием, хоть в малой степени, чему-то реальному. О, когда бы тут были неумение выразить мысль, безграмотность, провинциальность! Нет, тут маска-фраза прирастает к лицу – вот в чем ужас, а человек доволен и думает – так и надо. Вдобавок я не смог уловить даже оттенка страдания (пускай – выдуманного, ошибочного) за этой мертвой внешностью. Теперь ясно – и ты права – здесь остается только раскланяться и пожелать счастливого пути.

Мне все-таки на расстоянии кое-что трудно вообразить и, видимо, нужны какие-то живые, конкретные детали в твоих письмах и рассказах, чтобы я ощутил реально поведение людей, течение месяцев и кинофильмов. Я, например, до сих пор не умею понять некоторых вещей в позиции Ларки и ее друзей, желающих оставаться моими добрыми знакомыми и в то же время все делающих навыворот, «по-своему» в отношении тебя и меня. Как будто я говорю в пустое пространство или я слабоумно-больной, которого надо перетолковывать и поправлять. А я говорю, прямо обращаясь к ним, что строить свои догадки и версии – нелепо; а то, что я пишу своей жене, то и есть правда и искренняя просьба и, если угодно, завещание.



Я не знаю другого более близкого мне человека, чем Марья, и не только в общеупотребительном значении «жены», но в качестве наиболее понимающего меня существа, наиглавнейшего друга (включая весь мужской пол), способного с полуслова и ниточнее всех выразить мою волю. У нас разница характеров, темпераментов, но это ничего не меняет в *существе* дела. Поэтому и просил и прошу в ее лице принимать меня и мои пожелания, а коли «не нравится» – я не навязываюсь, но только, очевидно, друзьям, не согласным с этим фактом, придется перестать быть друзьями. И обращаясь персонально к Ларке, я еще вот что хочу сказать: как могут второстепенные вещи заслонять главное и как можно заниматься спором на тему, кто кого любит – не любит, когда надо просто помогать друг другу, не обижаясь на какие-то не так произнесенные фразы?

17 сентября.

За эти дни еще получил 3 твоих письма, и вот уже время отправлять это, а надо еще многое высказать, и я, как водится, опять не поспеваю.

В толковании снов, Машечка, надо знать, что воскресные сны – пустые, а у тебя как раз (я высчитал) сон с неприятностями был этого рода. А действительные сны – с четверга и на четверг. И потому не будь душой.

Когда я уговариваю тебя быть терпимее и сдержаннее, я забочусь не о других, а только о тебе. Например, я считаю, ты просто *не имеешь права* в спорах с матерью допускать такую остроту, что она произнесет «крайние слова» и в результате ты не сможешь обращаться к ней за помощью и на всю зиму запряжешь себя полностью в домашнее хозяйство. Не ясно ли, что в подобной ситуации лучше – стерпеть.

Я очень обрадовался, что ты надела мои часы: мне показалось, как будто это я взял тебя за руку и держу все время и не отпускаю.

А у меня – несчастье: потерял при погрузке шариковую ручку, которую я очень любил и лелеял. Вывесил объявление с обещанием награды нашедшему – но пока безуспешно. Если когда-нибудь тебе представится возможность добыть еще такую милую

ручку, – добудь. Главное – трубочек еще полно, а вставлять некуда. И вот корябаю самопиской.

Мне по-настоящему, по большому счету понравилось в твоём письме про Север, где ты говоришь о тесноте и связанности древнерусской культуры (особенно здорово про сны с Кириллом Белозерским). Эти мысли мне очень родные и главные, мои любимые. Теснота и связанность структуры Древней Руси символически видна в формах старинного города, где бревно к бревну, клеть с клетью. Хорошая и маленькая книжка\* с какими-то параллельными идеями – Забелина – О древнерусской архитектуре (забыл точное название, но есть в подсобном каталоге Ленинки, кроме того, среди моих древнерусских конспектов). Непременно развей эту идею связанности. Я аж подпрыгнул, когда прочитал это в твоём письме.

А Платонова я еще не читал – руки не доходят. Но я постараюсь прочитать в ближайший месяц.

Моя новая работа на самом деле лучше и легче прежней. А выражаюсь я не совсем ясно лишь потому, что мне еще не вполне ясен круг моих обязанностей, который в принципе может как-то расширяться, видоизмениться, а может и застыть на смазке и прикручивании крышек, к чему я лично более склонен и расположен. Тут существует идея, что было бы еще лучше, если б я смог зарабатывать хорошие (разумеется, относительно) деньги и помогать тебе материально. Конечно, это хорошо было бы, но заработок обычно связан с трудоемкими или квалифицированными технически работами, к которым я мало способен. И потому я не рвусь за заработком. А ты как считаешь?

Администрация проявила ко мне большое внимание, и мне чуть ли не предлагали любую работу по моему выбору и усмотрению. Я выбрал в первую очередь переплетное дело, а когда в этом отказали – остановился на шнеках, где и нахожусь сейчас. И это меня устраивает. Видишь ли, в заводских условиях трудно найти что-то «по мне» в полном смысле слова. Приходилось выбирать между более-менее чуждыми мне занятиями.

Мне предлагали также заведовать библиотекой, но – с условием в этой должности проводить читательские конференции по книгам, имеющим воспитательное значение, и т.п. Я отказался, потому что не считаю себя способным в этих условиях выступать

в роли воспитателя. Кроме того, мои литературные вкусы достаточно своеобразны и даже в былые времена встречали нередко несогласие и вызвали кривотолки, которые в нынешних обстоятельствах чреваты самыми разнообразными осложнениями. Конечно, если б можно было заниматься собственно библиотечным делом, – я бы согласился. Но этого, очевидно, не требуется.

Словом, я доволен, что состою при шнеках и занимаюсь своей смазкой-подвязкой. (А это дождик капает на страницы.)

⟨...⟩ Еще напиши, не скучны ли и не слишком ли длинны экскурсии в античность. Это мне надо для личной ориентировки, и поэтому не церемонься. А еще я очень люблю Егорыча. И тебя опять же, по новой.

А.

19–20 сентября 66.



**...к моей и впрямь не очень веселой дате.** – Синявский был арестован 8 сентября 1965 года.

**...придумывать про Пушкина...** – А.С. начал писать «Прогулки с Пушкиным».

**Поздравь от меня Вику...** – Виктория Абрамовна Швейцер – литературовед, специалист по творчеству М.Цветаевой, в те годы литературный секретарь в Московском отделении Союза писателей в секциях критики и переводчиков. Именно она была автором идеи взять Синявского на поруки и инициатором сбора подписей под соответствующим, ею сочиненным, письмом. За это она была уволена со службы. Кроме того, она принимала активное участие в составлении стенограммы процесса Синявского и Даниэля. Синявский просил поздравить ее с выходом статьи «Маяковский и Цветаева» в журнале «Простор», № 8 за 1966 год.

**...что-то вроде «эпоса и лирики современной России».** – Название статьи М.Цветаевой о Маяковском и Пастернаке.

**А помнишь пушкинскую ложку...** – Среди ложек нашего дома две были именными: пушкинская с клеймом 1837 года (год смерти Пушкина), и лермонтовская с клеймом 1841 года. Однажды у нас в гостях была работавшая вместе с А.С. в ИМЛИ Светлана Сталина. А в ее присутствии обычно все боялись каким-то неосторожным словом («тирания», «Сталин», «лагеря») создать неловкую ситуацию. И вот я усаживаю Светлану за стол и приговариваю: «А Светлане мы дадим пушкинскую лож-

ку». Естественно, Светлана интересуется: «А почему пушкинскую?» У меня наготове ответ, но тут Синявский вступает в наш разговор: «Это ложка 37-го года!» Гробовая пауза. И тогда Синявский, чтобы исправить ситуацию, с нажимом говорит: «Тысяча ВОСЕМЬСОТ тридцать седьмого!»

**...старенький роман Саянова...** – Как уже было сказано в примечании к письму 4, сестра А.С. Вива прислала мне письмо, в котором отреклась от брата. Не желая посвящать цензоров и Лубянку во все проблемы нашей семьи, я послала Синявскому текст письма сестры как цитату из несуществующего романа писателя Саянова (надо сказать, что Дэдик – детское имя Синявского):

«Развлеку я тебя длиннющей цитатой из повести Саянова «Братья», на которую я наткнулась в старом комплекте журнала «Огонек». Сюжет прост: два брата – врачи; старший – педиатр, а младший – ученый-онколог, работает над противораковым препаратом в большом городе. И вот на каком-то международном съезде онкологов тщеславный младший, расхваставшись, раньше времени разглашает формулу нового препарата, а также позволяет некоторые двусмысленные реплики. Все это сопровождается каким-то должностным проступком, и в результате младший осужден.

Да, а оба брата – дети известного революционера, ко времени событий покойного.

И вот старший брат пишет жене младшего:

Здравствуйте, Даша!

Письмо Ваше получил давно, а вот отвечаю только сегодня. Слишком трудно писать. Человек я прямой, поэтому хочу, чтобы было все ясно в моем отношении к Дэдику.

С того момента, как Вы мне прочли свое письмо в ЦК партии и доклад Дэди, мне совершенно стало ясно, что случилось очень страшное в нашей семье: Дэдик совершил предательство.

Он предал все то, за что боролся его отец всю свою жизнь, начиная с февральских дней 17-го года, а то и раньше, предал все те идеалы, которые нам передавала наша мать, предал всю Советскую Родину. До сих пор не могу понять, как он мог до этого докатиться, чтобы стать трубадуром мировой Реакции. Всякому человеку ясно, что буржуазия всего мира будет превозносить и писать о гениальности всех, кто обливает грязью Советскую Россию. Так было еще со времен первых дней Революции, когда в «гении» выдвигался любой белогвардеец, который побольше обливал грязью нашу Родину. Неужели Вы не понимаете, так же как и Дэдик, что беспартийной науки не существует. «Вообще» ученым быть нельзя, каждый ученый чьи-либо интересы выражает. И ужасно, что Дэдя стал нужен самым реакционными кругами мировой буржуазии,

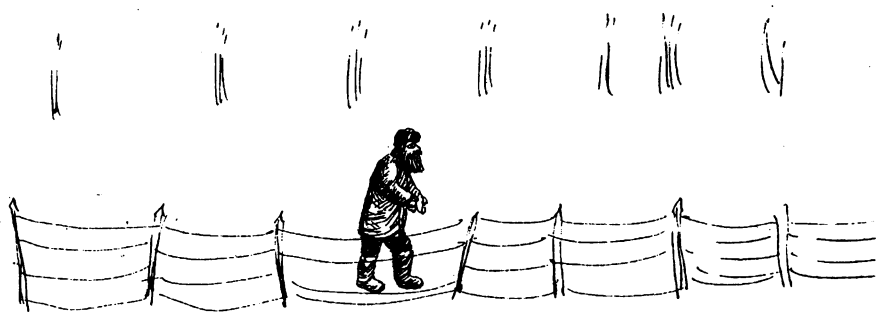
которой он своей наукой вложил в руки оружие против всех нас, в том числе и против своего сына.

Ведь как-никак Петька – гражданин своей страны.

Испортил жизнь себе, испортил, еще в большей мере, жизнь своему сыну. Как он ему ответит на вопрос: «За что он был осужден?» Каким темным пятном покроется его отношение к отцу. Как бы вы не старались это сгладить, этот вопрос все-таки выплывет. Дело это получило слишком большой резонанс, и не думайте, что за пять лет все забудется. Предателей народ не забывает.

Ну вот, пожалуй, и все. Простите за резкость. Очень бы хотелось, чтобы Дэдэ понял свою ошибку. Но, судя по Вашему настроению во время наших бесед, вряд ли это произойдет скоро».

**Хорошая и маленькая книжка...** – Иван Забелин. Русское искусство. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. 1900.



## ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Это очень хорошо, родная моя и любимая жена – Маша, что ты в меня опять понемножку влюбляешься, и я тебя за это так не оставляю и отвечаю такой взаимностью, что ты даже удивишься. Вот увидишь. И какая ты сейчас бедная-несчастливая, с детишками на плечах, в безвыходном и одиноком состоянии, после гриппа, при холодной погоде, – я тоже очень как представляю и жалею тебя и стараюсь поддержать мысленно всеми силами.

А что из тебя получается (помимо того, что я знал раньше) интересный искусствовед, – я уже писал недавно, да и сейчас все еще нахожусь под впечатлением мысли о связанности древнерусской культуры, за которую (мысль) держись обеими руками. Думаю об этом с нежностью, и вспоминаются почему-то твои первые – для меня – шаги по коридору, когда впервые возникла идея мне на тебе жениться, хотя мы не были еще знакомы. Такие несвойственные идеи мне никогда не приходили в голову – и это при взгляде на один твой вид, поразивший воображение и продолжающий это делать со мной до сих пор. Совершенно отчетливо помню тот образ жены-искусствоведки, осуществившийся впоследствии как по-писаному.

Твои письма последнее время (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!) идут довольно-таки регулярно и сравнительно скоро, дней пять, так что я не слишком запаздываю и тоже сравнительно скоро подключаюсь ко всем вашим переживаниям. Особенно меня волнуют нынешние холода, наступившие раньше срока (а есть ли запас дров на петровской даче?! – я так и не знаю). У нас тут на днях даже снег падал, и у вас – наверное. И ледяная крупа. Мнечто ничего, я даже удовольствие нахожу в такой дурной погоде:

все-таки соответствие. А вот вы-то как и здоровы ли – не вообще, а вот сейчас, конкретно – здоровы ли? – вот об этом тяжело постоянно.

Влез в привезенное тобою теплое белье и наслаждаюсь его бархатистостью и каким-то старомодным, домашним, непонятно откуда взявшимся запахом. Перед сном понюхать и то приятно, и так спокойно становится, и засыпаешь с доверием к судьбе, ласково поеживаясь в угревшейся ямке. Днем из ватника не вылезаю и не устаю хвалить это славное изобретение (жаль только – ватные брюки пропали, но, может, еще сыщутся), представляющее род походной постели, спального мешка, одеяла, приспособленного ко всем случаям жизни. Что-то в нем есть от скатерти-самобранки, самовара и паровоза.

А табак ты тоже хороший привезла. Докуриваю и удивляюсь, что про это все еще не успел написать тебе: эвон куда докатывается давешнее свидание.

25 сентября.

Получил, Машенька, почтовый набор и тотчас подарил, облизнувшись на красивые конверты, потому что это было уже давным-давно обещано и так надо было. Ты же примерно через месяц-полтора, уже для меня персонально, пришли обыкновенных, и тогда я стану слать письма в хорошо тебе знакомых и сплошь одинаковых конвертах, чтобы тебе зря не нервничать, стоя у почтового окошка (а сейчас у меня еще есть штук семь). Ручки тоже получил, и напиши мне поскорее, сколько стоит дамская ручка с карандашом, чтобы мне знать твои затраты.

К сожалению, я никак не могу перестать тебя эксплуатировать. И первым делом это касается переводных романов, которые мне нужны *до зафезу*, и я никак не могу заменить их Кафкой, потому что Кафка слишком сложен, непонятен и может только все испортить. Так вот, как только получишь это письмо, незамедлительно иди в магазин и *срочно* вышли мне два иностранных романа (перевод современных западноевропейских авторов – с французск., немецк., английск., итальянск., испанск.). Ориентируйся на подарок среднеинтеллигентной даме пожилого возраста, уровень твоей мамы, даже, наверно, немного ниже, книги должны быть солидного вида (толстенькие, в хорошей обложке

и стоимостью рубля полтора-два каждая, не дешевле), желатель-но про любовь или что-то семейное (или про какие-то приключе-ния), не слишком сложное, не скучное и не философское. Типа Ремарка (Белль будет, пожалуй, чересчур высок). Какой-нибудь современный Поль де Кок, Вальтер Скотт, «Консуэло» или современная же «Сага о Форсайтах» – было бы самое лучшее. Если не найдешь ничего или не будет времени, пришли вместо них ма-ленькую или тоненькую (у нас где-то стоит) книжечку Ахматовой образца 62–63-го года, что ли (которая вполне заменит романы). Или купи такую же Ахматову у Саши\* или где еще и сообщи мне цену. (Но не вздумай тратиться на ранние книги Ахматовой типа «Из шести книг», «Белой стаи» и т.п.) Главное – это сделать бы-стро, чтобы не опоздать к дате, а для этого я все должен иметь никак не позже 12–15 (крайний срок!) октября. Но если просро-чишь, все равно высылай: у меня тогда, по крайней мере, будет хоть какое-то оправдание.

Ты прости, что лезу со всей этой чепухой. Но для меня она важна; кроме того – обещал и не могу подвести. Обещанное – здесь железно, не то что на воле.

А толстую бумагу можешь уже не высылать, а когда-нибудь по-том, месяца через два, пришли тонкой для меня лично. А то та пачка кончилась. А черные чернила – по уверению знатоков – в одной почте не берут, в другой можно. Но это тоже уже не срочно, потому что один пузырек без меня получен, и я, как ви-дишь, ими пользуюсь.

Извиняй меня, Машка, но мне сдается, я тебе совсем голову за-крутил этими бандеролями и повторяю поэтому предложение: перепоручай подобные вещи кому-нибудь из знакомых. И делу польза, и тебе легче. А я тебя из-за этого не перестану ценить и лелеять (покамест в душе). И поскольку Карфаген заткнулся, можно понемногу снимать осадное положение. То есть если кто-то *очень* хочет мне написать – пусть напишет. Я не жажду переписки и не скучаю без нее. Но какие-то обязательные и неукосни-тельные преграды вокруг себя создавать мне нету смысла. А то получится странное, неестественное положение: начнут прихо-дить письма от здешних знакомых, которые уже освободились или освободятся, а от старых друзей – ни строчки. Короче гово-ря, регулируй это дело с уклоном на изредка и постепенно.



Не знаю, Машенька, правильно ли ты отказалась от Кропоткинського варианта в обмене. Район-то уж больно сладкий. И сколько можно тебе скитаться без собственного угла?! <...> Но не хочу ни в коей мере уговаривать тебя на противное твоему самочувствию. (То же относится и к сказанному выше о письмах и бандеролях: ты наш главный регулятор и распорядитель, и тебе карты в руки – как виднее и лучше, соображай сама.)

А новых писем с того переулка я не получал – с того последнего момента, про который тебе рассказывал, то есть что-то около 2-х месяцев, если не больше. Есть надежда, что больше их и не будет: очевидно, мое нежелание оказалось достаточно доходчивым и красноречивым.

Не бойся меня огорчать разными неприятностями, произносимыми по моему адресу, и по возможности извещай про все, стоящее внимания, ничего не смягчая. На меня сейчас все это слабо действует. И если какая-то дама меня поносит на салонных перекрестках, мне это доставляет моральное удовлетворение: совесть спокойнее становится, когда узнаёшь, что обидел женщину, способную так смачно ругаться. А хитрый разум подбадривает: ну вот видишь, как хорошо, что между вами «все кончено» и ты вне поля достижения.

Ну а за репутацию, несколько страдающую в результате таких поношений, я меньше всего беспокоюсь: репутация меня не подведет и сама себя покажет. Главное в жизни – не показаться выше и лучше, чем ты есть, как это случилось, к примеру, на похоронах Фетисова\*, превращенных в позор пышностью речей, произнесенных в честь человека, вероятно вполне порядочного, но далекого от тех заслуг, которые ему приписывали усердные поклонники. А если нас кто-то недооценит – не беда: правда или время внесут поправку, и это будет нам подарком.

А ты знаешь, Машенька, как я тебя люблю, или не знаешь? Так вот – знай.

*27–28 сентября.*

Срок мой, милая Маша, течет обычным порядком, а работа не изнуряет (всё привязываю крышки к трубам да изредка пыхчу на погрузке), но больно уж скучная, не про что рассказывать. Поэтому продолжу слегка ту тему, которую в прошлом письме немного

не завершил. В качестве смягчающего обстоятельства учти, что сейчас над одним моим ухом разговаривает радио, а под другим кричат биллиардисты, так что трудно сохранять логическую и стилистическую выправку, и слова пишу как попало, кое-как.

Итак, нравственный минимализм античности, ее любовь к умеренному, идея определенного и познаваемого в гаданиях рока, объективное равновесие в живописании «наших» и «ваших» – получают развитие и подкрепление в античной симметрии. В основе древнегреческого канона лежит понятие пропорциональности частей тела, воспринятое скорее всего не с натуры, а в виде божественного закона и указания, склонного, как и всё на свете, блюсти меру и место.

«Весьма вероятно, – пишет по этому поводу Винкельман, – что у греческих художников большие и малые пропорции были установлены точными правилами, что для каждого возраста и положения были точно определены меры длины, ширины и окружности и что все эти правила излагались в сочинениях, трактовавших о симметрии. Этой точностью определения объясняется вместе с тем и сходность художественных систем, проявляющихся даже и в посредственных фигурах древности. Ибо, несмотря на различие в приемах выполнения, которые уже древние замечали в произведениях Мирона, Поликлета и Лизиппа, все произведения древности кажутся как бы вышедшими из одной школы. ...В тех случаях, когда встречаются изредка отклонения от общепринятых пропорций... следует предполагать, что фигура создана с натуры...» (Иоганн-Иоахим Винкельман. Избранные произведения и письма. М.; Л., «Academia», 1935, стр. 310–311).

Возникает вопрос – откуда явились пропорции? И нет ли у греков того следования подлиннику, какое мы, несомненно, имеем в христианском искусстве? У того же Винкельмана есть такое рассуждение: «Облик богов был настолько твердо установлен среди греческих художников, что кажется, будто он предписан каким-то законом. Голова Юпитера, отчеканенная на монетах Ионии или у дорийских греков, совершенно сходна с Юпитером на сицилийских монетах. Головы Аполлона, Меркурия, Вакха, юного и пожилого Геркулеса выполнялись все, как на монетах и камнях, так и у статуй, согласно одной и той же идее. Законом служили созданные величайшими художниками прекраснейшие

изображения богов, о которых думали, что они были явлены им в особых откровениях. Так, например, Парразий похвалялся, будто бы Вакх являлся ему в том виде, в каком он его изобразил». (Стр. 302.)

Дурак-Винкельман не делает отсюда никаких выводов. Для него канон происходит от совершенных творений искусства, а не наоборот, что естественнее и понятнее. А почему бы не допустить субъективную или объективную явленность всех этих Вакхов, почему не поверить Парразию? Мог же, в самом деле, кто-то на минуточку явиться Парразию? Или хотя бы спустить инструкцию, согласно которой строение человеческого тела (включая голову и конечности) должно иметь в основе число три? Был, был у них вначале какой-то общий ориентир, обладавший таким могущественным авторитетом, что все послушались и стали ему следовать. А для античных богов, склонных к земным воплощениям, увлечениям и интригам, это было нетрудно сделать, и в качестве своего местожительства и сосредоточия они избрали именно идеальное человеческое тело, наиболее близкое законам равновесия и симметрии...

Замечательна последняя фраза, из которой явствует, что идеальные пропорции не могли родиться от обыкновенной, земной природы, что пропорциональность греков была уклонением от «реализма», а «реализм» вел к нарушению пропорций (Винкельман здесь опрокидывает себя же). Итак, во всяком случае мы можем считать, что точные пропорции у греков в гораздо большей мере проистекали из их общедуховных склонностей, из их «системы мира», чем из наблюдений над окружающей их жизнью.

И столь же равноправной системой стала средневековая диспропорция, когда человек отказался от минимальных к себе претензий и умеренного равновесия, начав искать реальности в неизмеримом, сверхместном – всегда и везде максимальном.

Особенно интересно задуматься – почему в иконописи фигуры такие длинные или такие коротенькие, но никак уж не пропорциональные в античном смысле? Была у меня тут одна лазейка, соблазнительная, скажу я тебе, лазеечка. А именно, согласно версии тех же древних, у призраков рост выше нормального человеческого роста. «Выше знакомого образ» – такова представшая Энею тень его покойной жены Креусы («Энеида», кн. II, ст. 773). (Надо ког-

да-нибудь еще у Данте посмотреть, наверняка у него есть соображения на этот счет.) Опять же мне вспомнилось, что мальчишки и просто бездельники, пугавшие встречных ночными привидениями, использовали для этого дела ходули, стремясь, очевидно, воспроизвести подлинную привиденческую высоту. А в средневековом искусстве изображали ведь не посю-, а потусторонние фигуры, и длина их могла обосновываться живыми наблюдениями (или общественным мнением, что одно и то же).

Но от этой приятной гипотезы все же приходится воздержаться. Мало подтверждений, во-первых, а кроме того, что-то узковато получается с этим чересчур натуральным подходом к теме. Здесь, по-видимому, действуют более глубокие и тайные пружины, которые пока что едва нащупываются.

Об этом есть у Дворжака хорошие и вполне научные слова (я все еще, начиная с «Земли и неба», верчусь над загадкой удлиненности иконописных фигур, и вот, сидя в тюрьме, проштудировал Дворжака, откуда и выписываю эту полезную цитату, которую не хотелось бы потерять или забыть):

«Оно (движение) представляет их (тела и линии) как бы схваченными широким потоком мощного двигательного стремления, по отношению к которому тяжесть так же, как и действие механических и органических сил, должна была потерять всякое решающее значение.

Это стремление к движению вначале воплощалось, как и в архитектуре, в вертикализме и в пропорциях фигур и форм, которые – в противоречии действительным соотношениям тел – вытянуты в высоту. Их стройность и их изящность, избегающие всего давящего и всякого указания на землю, представляются преодолением материальной связанности духовными силами» («Очерки по искусству средневековья», стр. 101).

В готическом искусстве движение вверх сообщалось либо изогнутой линией, либо по-иному: многие изображения, говорит Дворжак, «лишены плавного легкого изгиба, который заменен сильным вертикальным положением, производящим, однако, впечатление не тяжеловесности (подобно прочному и уверенному стоянию, как в родственных античных мотивах), а, наоборот, неудержимого роста вверх, порою кажущегося прямолинейным воспарением. Это впечатление поддерживается противоестест-

венным контрапостом верхней и нижней половин тела фигур, представленных с ногою, выставленной вперед в диагональном направлении по отношению к зрителю. Контрапост так мало бросается в глаза, что он едва воспринимается при беглом наблюдении в качестве несоединимого с органическим движением тела. Вместе с тем его хватает на то, чтобы слегка сдвинуть все формы из их спокойного, определенного естественной игрою сил положения и превратить выявление господствующих над фигурою вертикалей в выражение независимого от этих сил, свободно развивающегося движения. В связи с тем, что фигуры стоят на узкой базе или часто на концах ног, в связи также с незначительным подчеркиванием телесного, античный мотив статуарного, твердого или эластичного стояния на земле превращен в иллюзию парения в свободном пространстве» (стр. 102).

Прекрасно-прекрасно, хоть и сказано с ученым косноязычием (или перевод такой неуклюжий, что нужно продирается сквозь слова, чтобы их свободно и внятно расположить в голове). И про выдвинутую ножку – очень похоже. А все-таки не отстает загвоздка: откуда все это, в чем первопричина этих прекрасно описанных результатов?..

Я так и не решил окончательно. Но некий первоначальный свет на все эти феномены пролило известие, что в древнеиудейском обряде существовал обычай приносить в жертву ягненка (как и любую другую живность) непременно здорового и пропорционально сложенного, за исключением так называемой *жертвы от усердия* (т.е. сверх программы), при которой ягненок мог иметь удлиненные или укороченные конечности (но никакие другие изъяны не допускались), что символизировало, по-видимому, необычность, максималистический характер приносимого дара.

Так не есть ли – вопрос! – все искусство катакомб и средневековья – своего рода «жертва по усердию» и не есть ли, таким образом, фигуры-коротышки и фигуры-длинноножки – знак того, что вся культура этого типа пронизана духом непропорционально-усердного, неумеренного служения, асимметрического устремления к сверхреальным задачам?!.

На этих вопросах-восклицаниях (на которые, прямо скажу, у меня нет полного и вразумительного ответа) я и закончу, извиняясь за длинные цитаты и рассуждения, занявшие столько места.

А по поводу античности – наверное, она тоже несет свою гиперболу (ибо всякое искусство – гипербола), но только гиперболу в сторону умеренности и преувеличенно-правильной пропорциональности, которую мы ошибочно принимаем за свойство самой природы под влиянием позднейших, реалистических тенденций. И только с учетом той или иной «гиперболизации», выявляющей таинственную доминанту какой-либо культуры, она – эта культура – становится интересной. Это я к тому, что и античность может быть интересной, ежели к ней подойти с гиперболическим вопрошанием.

1–2 октября.

Как приятно, детки, мне было узнать, что наш Егорушка проявляет деловую самостоятельность и не лезет к чужим взрослым. Это просто превосходно. И ты его, Маша, не очень шлепай, хотя я понимаю и про нервочки, и про тяжелую руку, и про нелегкую жизнь. Помни: будь я при вас – я бы старался тебя удерживать и уладить дело миром, и пусть эта мысль иногда над вами витает в сердитую минуту.

Помимо жалости, не хочется, чтобы Егорка привыкал к физическому воздействию как единственному страху, способному его урезонить, при отсутствии которого хоть ходи на голове. Не ставлю себя в пример – но должен напомнить, что на меня в детстве действовал уже один отцовский «бум-бум», произнесенный спокойно, тихо, но с нахмуренным видом, и этого было довольно, чтобы повергнуть меня в самое искреннее отчаяние и душевный трепет. Я думаю, в наказании всегда важнее *символ*, принимаемый всерьез, совестливо, чем принесенный материальный ущерб. При ущербе-то мы чувствуем себя оправданными и превращаемся психологически в невинных страдальцев.

Про один такой «символ» мне недавно хорошо рассказали. Сын взял в привычку чуть что рыдать и биться всем телом, требуя своего. Так в ответ на этот ультиматум родители завели для него специальный капризный коврик и, едва мальчишка завеньгается, – кладут его на тот коврик и спокойно, на цыпочках, выходят из комнаты: буйствуй как хочешь. От этого коврика все выкрутасы вскоре как рукой сняло.

А Егорову шкурку стоит лечить, опуская в слабый и теплый раствор борной. А с ногтем надо посоветоваться с врачами.

Очень мне вас жалко и очень любимо.

А коротенькие твои письма про домашнее житье-бытье мне ужасно как заняты и интересны. Просто не могу начитаться и хочу еще и еще.

*2 октября.*

Удивительную картинку ты приложила, Машечка, к 9-му письму\*: этот заоблачный город словно сон – притом из тех снов, про которые хочется, чтобы в руку...

В три-четыре присеста прочел «Хранителя древностей»\*, присланного тобою, и пожалел, что не сделал этого в свое время, чтобы засвидетельствовать автору тихое изумление от этой книжицы, прошедшей как-то мимо меня, вероятно, потому, что никто о ней не рассказывал и, что ее надо прочесть, было невдомек. Она из таких – не слишком ярких, но по-тихому оригинальных явлений, возрождающих давно не испытанное ощущение настоящей беллетристики в самом хорошем смысле слова. Взявшись за нее, я не ждал ничего хорошего: вместо археологических записок – опять роман, да и портрет не понравился. Но сразу же привлек язык внезапной правдивостью естественно струящейся, живой интонации. А потом – сама манера рассказывать о том, что не обязательно, не принято, а интересно и вкусно. В выборе предметов, на которые книга отвлекается с таким захватывающим вниманием, что сюжет вихляет туда-сюда и рыщет повсюду, автор идет против шаблонных представлений о главном и второстепенном и создает в итоге роман мнимодетективный, антишпионский, внепроизводственный, роман, ухитряющийся в постоянном соприкосновении с актуальными схемами не пойти на компромисс ни с одной из них.

Конечно, многое написано «просто так», много посредственного текста. А превосходны – начало – гуляние по Алма-Ате (ставшее гулянием по вещам, о которых хочется говорить), и финал, написанный на лирической ноте, с каким-то, я бы сказал даже, снисходительным состраданием к виновникам наших несчастий, – дух возвышенности, широта мысли. Вообще роман хорош атмосферой самостоятельности и пренебрежения к тому, что «вменя-

ется». А жанровое смещение, в результате которого все дорожки ведут не туда, куда ожидает читатель, говорит об истинности всей художественной задачи-загадки. Ведь многие замечательные вещи рождались именно на преодолении жанра, на его раскачивании и опрокидывании в неожиданную сторону конкретного произведения. Если представится когда-нибудь случай, пришли мне и его – «Обезьяна приходит за своим черепом».

А каково твое впечатление от этой книжки?

*3 октября.*

Ох, Машка. Внезапная болезнь Егорушки и твое последующее напряженное молчание – нож в сердце. Деточки вы мои. Выбирайтесь вы, пожалуйста, из этой ямины, ну поднажмите, ну еще, еще немножко. Очень я с вами и за вас и люблю вас пуще всего на свете. <...>



**...купи такую же Ахматову у Саши...** – Саша – московский книжный жучок.

**...на похоронах Фетисова...** – Фетисов – сослуживец Синявского по ИМЛИ.

**...к 9-му письму...** – Чтобы проследить, как ходят письма, мы договорились, что Синявский отправляет письма 5-го и 20-го числа каждого месяца, а я нумерую свои с 1-го по 100-е. То есть это письмо было уже из второй сотни.

**...прочел «Хранителя древностей»...** – Роман Юрия Домбровского.





## ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

Золотая моя Маша.

Сегодня мой день рождения, а вчера меня на несколько дней определили уборщиком в цех подметать металлический мусор, и сегодня я пойду на работу только в третью смену, так что до ночи свободен, а сейчас утро – нежное, с солнцем, с морозом, с киварью – и я начинаю с письма тебе – вот и получается праздник. А я тебя люблю.

По финалу моего прошлого письма можешь судить, как мне было, когда заболел Егор и от тебя перестали поступать известия. И так продолжалось до вчерашнего вечера, но вчера – вероятно затем, чтобы мне не умереть в собственный день рождения – пришло твое письмо, и представь – сразу № 13 <...>. А то с 3-го по 7-е октября я совсем дошел: каждый день жду, и ничего нет. Ты догадываешься, что я навоображал в ходе этого перерыва в письмах, наступившего следом за твоим отчаянным зовом о помощи...

Случай? Совпадение? Не знаю – не знаю. Что-то слишком много таких совпадений, позволяющих предполагать, что кто-то специализировался на том, чтобы довести меня до чего-то, дергая за ниточки и забавляясь этой опасной игрой. Ну-ну.

Но не будем сегодня об этом думать. С утра некоторые знакомые меня уже поздравили (основное торжество вечером). Уже подарили «Дон-Жуана» Байрона (мне он интересен, поскольку под его влиянием Пушкин писал «Евгения Онегина») в переводе Т.Гнедич. Об этом переводе мне еще Пахомов рассказывал\* с восхищением: он принадлежит заключенной (впоследствии, кажется, оправданной), которая в условиях тюрьмы впервые взялась за эту работу и показала блестящие способности. Вот как иногда удастся человеку употребить свои силы с пользой – даже в обстанов-

ке *того* времени. Но этой Гнедич, кажется, попался отзывчивый начальник тюрьмы, которому русская культура обязана наилучшим переводом Байрона. Чего только не бывает в жизни.

Твое поздравление я, наверное, получу вечером или через несколько дней. Это не беда. Были бы вы здоровы.

Знаешь, Машечка. Беды, нас постигающие в последние годы, имеют то положительное, что через них мы лучше чувствуем драгоценность вещей, над которыми нависает угроза. И начинаем сильнее любить и лучше понимать. Это и к тебе относится: когда приспичило – сразу уразумел все, что ты для меня значишь.

*8 октября.*

Заботы мои просты, радости безыскусны: вчера постриг на ногах ногти.

А письма от тебя все еще идут.

Вот еще интересные слова:

– Голова не болит ни грамма.

При погрузке тяжестей не следует чересчур напрягаться, и по этому говорят:

– Сама ляжет. Как баба.

– Купите туфли, и вы сразу себя почувствуете Королем Лиром.

– ...Да что вы – никого пальцем не тронул. Исключительно – игрой.

(Вариант «Господина Прохарчина».)

– ...Смотрю, фалует, чтобы явился в прокуратуру.

– ...А ему уже четвертак карячился.

– Позируя ногами.

– Писателю и умирать полезно.

– Я не хотел жить, когда впервые услышал о смерти.

– Сорвал нарезку на сердце.

*10 октября.*

Получил от тебя сегодня сразу четыре письма и три телеграммы. Если все это будет – это будет лучший подарок в истории человечества.

Неужели ты приедешь?! И без вывода! И с передачей! Не верится.

*11 октября.*

Ну вот, душа моя Маша, я уже без тебя, но полон твоими чудесами в решетке и люблю тебя ужасно, как на крыльях. Продолжаю разговаривать, словно три дня не кончились. Ем и разговариваю. Закручиваю проволоку и улыбаюсь тебе. Невозможно ни читать, ни заниматься английско-французским языком. На все, абсолютно на все накладывается текст нашей непрекратившейся беседы. А у тебя?

Финал ни в коем разе не погасил твоего сияния, но послужил той ложкой дегтя\*, которая, как известно, одна портит бочку меда. На это он, очевидно, и был рассчитан. Вот нам с тобою наглядная иллюстрация – урок на тему доверия-обещания. Передача сама по себе меня не так расстроила, как способность этим уроком отнять у нас последнюю копейку. Как будто не видно, что в твоём нынешнем положении сооружать передачу, а потом ее выбрасывать – почти разорение. Я полагаю, что теперь, после такого экивока ты не только можешь с легким сердцем, но просто обязана воспользоваться моими деньгами.

А прекраснодушие мое как рукой сняло. Я только надеюсь, что с тобою по крайней мере не поступили столь грубо и унижительно, как это было со мною через минуту после нашего прощания.

Ничего, детка: чем хуже – тем лучше.

*17 октября.*

...Чудеса продолжаются! Вчера вызвали на вахту и беззвучно вручили кешер (мешок). Ура! ура! но ничего не понимаю. Вероятно, из твоего письма все же появится разъяснение этой странной истории. А пока что – вчера вечером созвал гостей, и мы одним взмахом уничтожили всю корейку. Ели и приговаривали восторженные слова, адресованные тебе. Меня даже просили написать их тебе персонально, как будто эта корейка была приготовлена твоими руками, что и верно в известном смысле. Словом, твой образ доброй хозяйки и славной подружки моей жизни витал над нашим столом, точнее над кроватью, на которой мы сидели, разложив вокруг всю эту красоту. Вечер получился отменный, если учесть, что в придачу мы имели головку чеснока, банку повидлы, пожертвованную из ларечных запасов, и бадью кофе. Сегодня утром один из гостей даже не пошел завтракать – настолько он проникся благоуханными специями вчерашнего угощения и не пожелал их заглушать ничем иным.

А мед я оставил на личное потребление, и такой дежеж добычи показался всем справедливым.

А кофе буду растягивать в общем котле, из которого безвозмездно питался многие недели.

А растворимые баночки сохраню в тайне и буду к ним прикладываться перед каким-нибудь интересным занятием или письмом к тебе – для повышения тонуса жизни и воссоздания недостающей домашности, по которой я так скучаю.

А шоколадку я слопал сам, а яблоками поделился.

В общем, такое чувство, что мой день рождения все еще не кончился, тем более что от тебя получил сегодня нежное 17-е письмо, датированное этим днем. Оно пришло после 19-го и было доставлено очень скоро после твоего отъезда вместе с телеграммой, на которую ты молодец, что расстаралась и скрасила мою грусть. А 18-е еще не получил, и ужас как мне интересно, чего ты там такое понаписала, что оно никак не доедет. Наверное, опять какой-нибудь «маленький мальчик Егорушка», способный своим титулом повергнуть в изумление малообразованных и плохо осведомленных читателей. Ох, уж этот маленький мальчик Егорушка. И всюду он пролезет. С этаких-то лет!.. Ах, проказник!

По всему ты можешь видеть, до чего у меня сейчас веселое настроение и как я тебя обожаю. А сказочные три дня – я никак не расстанусь с ними, и все тетешкаюсь, и все ласкаюсь об них, не переставая восторгаться дарами и разевать на них мысленно рот и все переживать сначала: как вошел, как тебя увидел и т.д. Раменская травка\* совсем околдовала, и очень счастлив, что ты к ней вернулась. Ну и все прочее было на лучшем уровне романа о Тристане с Изольдой.

Знаешь, Машка, мы с тобой до того богаты судьбою, что, наверное, многие люди за всю жизнь не получали такого, что мы имели за эти три дня.

*20 октября.*

Письмо мое скачет – каждый день в новую сторону, но я не стану его переписывать и приводить к одному знаменателю. Во-первых, нет времени. Во-вторых, – вот тебе представление о том, как я живу и как меняется настроение в зависимости от поворо-

тов фортуны. А она, фортуна, вертится, так что только поспевай, и до соблюдения ли тут единства места и действия.

Из твоего нового письма – № 20, – отправленного с Потьмы (оно пришло сегодня вместе с 18-м), не очень-то прояснилось случившееся с передачей. Что, пришлось взвешивать, что ли, и половинить кешер? – потому что я не нашел в нем многих приятных вещей – как то: мясо, сыр, виноград, тетради, бумага и т.д. Это я не от жадности спрашиваю, а по примеру Робинзона, который жутко учитывал и переживал на тему, что удалось спасти, а что унесло волнами.

Но дело-то, в конце концов, не в количестве жратвы, а в символическом жесте, который дорог и мил («В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла...»). И взорвался я не с горя по утраченным продуктам (хотя и это меня задело как самого обыкновенного зека), а от невозможности постоять за тебя и за себя, от превратности случая, который крутит как хочет, а ты изволь выполнять его капризы.

Вероятно, отсюда оттенок неврастении, который ты во мне заметила как что-то новое в характере, в мирное время более склонном к спокойствию и флегматичности. Это не потому, что «нервы испортились», а естественная реакция организма, стремящегося сохранить свое зерно и форму. Явление не частное, а родовое. Недавно рассказали анекдот: чем шизофреник отличается от неврастеника? Ответ: шизофреник считает, что дважды два – пять, а неврастеник признает, что дважды два – четыре, но это его раздражает. Так вот, повышенная раздражимость, по-видимому, свойственна человеку, когда у него все отнимается; и хотя он отлично знает, что правильно, а что неправильно, что возможно, а что невозможно, его психика, помимо сознания, сопротивляется нивелирующей очевидности и придирается к фактам. Человек держится за мнимость ради самосохранения. Мне рассказывали, например, как некогда, в отдаленные времена, один упрямый товарищ отвернул немного голенища сапог, и, когда ему это запретили, он начал их отворачивать нарочно, «из принципа», за что и попадал регулярно в карцер. Смешной принцип? И стоит ли за него держаться? Вероятно, не стоит и глупо. Но если взглянуть на это чуточку глубже, мы поймем, что, может быть, это было упрямство самой природы человеческого существа,

ищущего своих индивидуальных проявлений и, в отсутствии таковых, готового придраться к самому факту бытия, ежели оно вообще не хочет с ним считаться и пренебрегает им начисто.

Это я не в оправдание собственной «нервозности» (в сущности, мне кажется, я не изменился, а изменилась обстановка, в которой бытует мое жалкое «я», и вот оно выглядит уже немного по-другому). Просто склонен задумываться над психологическими проблемами. Гипертрофия собственной ущемленности неизбежна в неволе, и вот почему я спрашиваю: а где сыр? (который, как тебе известно, не очень люблю) и где мясо? (которое за длительный срок выдержки все равно бы протухло).

А еще интересно, что срок, истекший с 5-го октября, т.е. с отправки моего последнего письма, сейчас мне кажется невероятно длинным, как будто масса времени улегалась в эти две недели, обычно пролетающие быстро и незаметно. А все благодаря полноте событий – столько всего было за эти две недели, что глаза разбегаются.

Твой приезд не только центровое событие года, но знамение жизни, и не могу от него оторваться. Как заяц, всегда прибегающий, по рассказам, на исходную поляну. Ну, тут опять пошла любимая травка, и поэтому прервусь до завтра.

*21 октября.*

Прочел Федора Кузькина\*, и не понравилось: «Иван Денисович в деревне», и можно в подобном роде продолжать до бесконечности, по примеру Василия Теркина. Поэтому и не думаю, что это старый автор, – вещь явно подражательная, притом не воспринявшая первоначальную метафизику, которая делала всю музыку, и сохранившая одно беспросветно-критическое направление. К тому же скучно написано, методом связки баранок: а вот еще одна баранка на тему, как Кузькин выкрутился из безвыходного положения. Попахивает Григоровичем и народнической беллетристикой прошлого столетия. И язык неживой, несмотря на все «пинжаки».

Кстати, в «Огоньке», № 41 за 9 октября, помещена статья нашего знакомого эксперта Ал. Дымшица\*, ведущего полемику с Лакшиным. Вчера стал читать – и вдруг – смотрю – намеки, и так шикарно, размашисто, мимоходом, как нечто само собой разуме-

ющеся, – правда, без фамилий. Посмотри непременно: давно не было. В том же номере демонстрируется Глазунов и до стыда обтекаемый Пименов о Таирове (тоже посмотри).

А статеечка Гастева ничего, хотя во многом обратная тому, что я писал тебе недавно про ту же античность. Видно, что автор штудировал Шпенглера. Самое же милое – картинки с греческих ваз, а я так отвык от картинок. Вспомнилась книжка, что когда-то была у Петрова. И снова вопрос: почему эти гончарные рисунки приятнее греческой классики? Не потому ли, что в них присутствует явное нарушение правильности и этим они живы. Опять утрировка как условие реализма. Небрежность как знак действительности.

22 октября.

Вот еще чтобы не забыть – у Дворжака в «Очерках по искусству средневековья» хорошая мысль, немного подводящая к загадке обратной перспективы. Речь идет о стремлении исключить пространственное углубление и придать изображению вид плоской декорации: ««...» Фигуры, по меньшей мере те, которые являются наиболее важными в изображаемом событии, – по правилу не размещаются на горизонтальной поверхности уходящего вглубь отрезка почвы, а стоят на самом внешнем краю изображения, пересекая внутреннюю рамку изображенной сцены, таким образом они кажутся находящимися не сзади, а перед данной живописным фоном картины плоскостью. Они как будто подчиняются силе, которая выдвигает их из глубины картины навстречу зрителю, тесно приближая к нам и находящиеся за фигурами предметы» (стр.104).

В занятиях «Землею и небом» мне тоже приходило в голову: фигуры выталкиваются, вылезают, и мир, запечатленный в иконописи, не втягивает зрителя, а спускается на него. Там в принципе – не мы смотрим, а *на нас* смотрят, и в этом смотре отсюда сквозит идея *явленности* того, что перед нами находится и по отношению к чему мы оказываемся объектом наблюдения и оценки и удалены в глубину перспективы, кажущейся нам обратной, тогда как она прямая для тамошнего Глаза.

У Олеария насмешливо говорится о таком обычае XVI века, имеющем, конечно, давние корни: перед тем, как ложиться

спать, образа прикрывали занавеской, дабы не оскорбить их непотребным зрелищем. Вот оно, народное чувство «обратной перспективы», чувство окна, в которое мы видны и на нас смотрят.

*23 октября.*

Еще очень приятно иметь карманы, которые ты пришила. Помимо удобства в распределении предметов первой необходимости, не слепляя их в один тугой комок, я наконец-то нашел, куда девать руки во время прогулок, и это тем более по душе, что всякий раз наворачивается: «а это Машечка сделала», и шлю тебе всякие нежные обращения. Когда ничего нет, очень многое в жизни зависит от пустяков. Например, в косяк двери, возле которой расположена моя кровать, вбит хороший гвоздь, сильно облегчающий мое существование, потому что есть куда повесить одежду на ночь, и вот от одного гвоздя исходит великое преимущество.

А мне полюбилось спать на втором этаже, хоть он и считается хуже нижнего. Какие-то ассоциации со второй полкой в вагоне дальнего следования, и я редко засыпаю в унынии. Просыпаться менее привлекательно, и утренние часы теперь, пожалуй, самые тоскливые.

А как тебе понравилась наша беседа на искусствоведческие темы по северному маршруту? Мне-то – кроме пользы дела и душевного с тобою контакта – была важна и другая сторона: все-таки на что-то еще способен, и физический труд не полностью меня деквалифицировал. А тебе как показалось? Только – откровенно, чтобы мне лучше ориентироваться – сбоку ведь виднее, и не бойся меня задеть или обидеть.

А еще меня тревожит твоя бытовая неустроенность, бросающаяся в глаза на каждом шагу – и в отсутствии собственного угла, и в заношенности пальтишка, и в зависимости от каких-то случайных заработков и вспомоществований, про которые я даже не решался тебя расспрашивать – настолько эта тема для меня болезненна. Мое убеждение: необходимо тебе купить и новое пальто, и шубу (которая еще год назад каши просила), и, если возможно, жилплощадь, и вообще жить, как люди живут, и одеваться и питаться нормально, – используя для этого самым законным путем и образом мои деньги, в которых нет ничего позорного. Не о роскошествах речь – о наличии твердого прожиточного минимума, об элемен-



тарном обеспечении матери и ребенка, о возможности тебе жить, не хоронясь от соседей в ожидании ихней очередной выходки.

Я думал раньше, что высокие инстанции заинтересованы в приличии твоего положения, в том хотя бы, чтобы ты не выглядела со стороны затравленной и оборванной. Но раз это никого не трогает, пора самим о себе позаботиться. Мне надоело трепетать за тебя, Машка; я хочу тебя видеть нарядной, ухоженной, и, если ты меня не стыдишься (а ты ведь не стыдишься, что ты моя жена), нечего жаться-мяться вокруг этой материальной проблемы и вести себя как деликатная нищенка. И доколе ты мой представитель, единственный и уполномоченный, абсолютно по всем линиям, изволь в первую голову наладить свой быт и хозяйство, внешний вид и собственный дом, где бы Егорка мог бегать без опасения, что на него выльют кастрюльку с супом.

*23 октября.*

Пишу это письмо весь день-деньской и все никак не успеваю все тебе выразить и объяснить. К тому же частенько отрывают. То приглашают послушать пластинки, чего не было очень давно по причине сломавшегося проигрывателя – и отказаться нет возможности. То являются с прошением проверить школьное сочинение – и опять-таки нельзя отказать. Так и мотаюсь туда-сюда и возвращаюсь назад к этим листикам, которые непременно нужно завтра отправить, потому что ты, наверное, уже давно грустишь и волнуешься без моих писем.

А из Москвы от тебя после побывки я еще ничего не получал, и очень мне важно и интересно узнать про твои впечатления от жизни со мною и от моего вида и умственного состояния, и не разочаровалась ли ты во мне, и как ты нашла Егорушку после возвращения, и как ты себя чувствуешь физически и морально, и здорова ли ты, моя радость?

За всеми заботами, одолевающими меня с утра до вечера (так что вот наобещал тебе написать про Пушкина, а – совестно сказать – с тех пор не брался ни разу: всё руки не доходят), некогда дух перевести. И казалось бы – скучать некогда. Ан глядишь – одолевает-таки иногда проклятушая скука – не от безделья – от бессмыслицы очень многих телодвижений, которые мне приходится делать. И тогда мне даже хочется, чтобы мне было еще хуже и злее, чем

сейчас, и потенциальные тяготы и унижения рисуются естественным выходом из этого мертвого, никому не нужного штиля.

Конечно, я далек от намерений искусственно создавать или искать подобного рода эмоциональные разрядки. А пишу об этом лишь ради пояснения моих слов тебе о том, что для меня теперь некоторые, выражаясь казарменно, могущие иметь место неприятности не так ужасны, как это может показаться снаружи, и чтобы ты не слишком беспокоилась за мою сладкую жизнь в нынешнем моем положении. Она все равно не сладка. После того как у меня отняты ты, Егорка и возможность заниматься любимым делом, – понятие моего «благополучия» стало чрезвычайно условным и не настолько нужным, чтобы для него пускать носом кровь и кого-то просить-уговаривать, чтобы мне полегчало.

А еще я ценю и ставлю твои качества и заслуги очень высоко и веряюсь тебе полностью, о чем пускай знают все друзья-знакомые и все завистники-критиканы. Ближе нет никого на свете, и это в дополнение к пережитому блистающим образом доказала наша последняя встреча. А если тебя кто отвергает, то и от меня ему не будет ни доверия, ни привета.

Сегодня Егоркин день, и он почти в три раза старше по сравнению с тем видом, в каком я его оставил. Легко сказать...

А еще мы сегодня перевалили за половину со дня нашего общего свидания.

Люблю тебя во все глаза, губы и руки. И целую тоже со всех сторон.

Передай мои признания и благодарности всем, кто меня поздравил давешней телеграммой. А также – кому сочтешь нужным. <...>

И не кручинься обо мне. И береги себя как зеницу ока.

А.

23 октября 1966.



**...еще Пахомов рассказывал...** – Виктор Александрович Пахомов, следователь КГБ.

**...послужил той ложкой дегтя...** – Финал свидания был омрачен грубым обыском и запретом на какую бы то ни было передачу. И Синявский опять стал настаивать, чтобы я не отправляла обратно во Фран-

цию деньги (см. примечание к письму 12). Правда, через день какую-то часть передачи Синявскому все-таки вернули.

**Раменная травка...** – Не наркотик, а интим.

**Прочел Федора Кузькина...** – Борис Можаяев. Из жизни Федора Кузькина (Новый мир. 1966. №7).

**...нашего знакомого эксперта Ал. Дымшица...** – А.Л.Дымшиц, литературовед и литературный критик, который делал для КГБ экспертизу произведений Синявского, опубликованных за границей.



## ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

Родная моя жена и подруга жизни! Трудновато было все эти дни без твоих писем – расплата за твое появление. А сегодня пришли первые два (21–22-е), но такие малюсенькие и безвоздушные про нынешние дела, что ничего не поймешь. Я так и не разобрал, как ты доехала, что случилось с передачей и почему она заметно облегчилась, каков из себя Егорушка и какова ты в духовном и физическом своем качестве. А у меня за дни свидания и окружающих треволнений накопилось столько долгов-обязанностей, что сейчас все свободные часы уходят на их покрытие: тому обещал проверить ошибки, этому – просто поговорить, и вот сейчас за все расквитываюсь, и поэтому особенно скучно.

Еще скучно мне жить без тебя. За *то* время успел привыкнуть, что до тебя рукой достать, а теперь пробавляюсь чистейшими воспоминаниями. Они великолепны, но этого мало.

Очень ты мне нужна, и я безнадежно в тебя вторгился. Что тут поделаешь?! – ничего не поделаешь.

*26 октября.*

Идут сплошные дожди: это нам отливается за сухое, хорошее лето. Целые дни и целые ночи – дождь. Представляешь – как мокро?..

*27 октября.*

Моя дражайшая Манечка. Получил сразу 24-е письмо, из которого опять ничего не понял. Только то, что тебе плохо. А вся суть затормозилась в предыдущем письме и, вероятно, надолго: так всегда бывает, когда есть что-то пикантное.

Если б я надумал изображать кривизну своих переживаний – от письма до письма – в виде кардиограммы, она бы представляла собою одни зигзаги – острыми пиками вверх и вниз. Но и так мое прошлое письмо состояло из сплошных колебаний, и потому беру себя в руки и постараюсь придерживаться более спокойного тона.

Да плюнь ты на них! Ничего не понимаю, не ведаю про эти очередные выходки Ларкиных ублюдков\*, но заранее призываю тебя послать их ко всем чертям и распрощаться навовсе. Они твоего ногтя не стоят, а что до меня – то я сторонник, чтобы ты, пользуясь моментом, вообще прервала с ними дипломатические отношения.

Если бы ты решилась потерпеть две недели без письма, я бы направил им соответствующую энциклику (так, кажется, назывались эти милые штучки), в которой бы разом предал их всех анафеме. И дело с концом. Потому что в письмах, адресованных тебе, соответствующие места скорее всего воспринимаются ими ослабленно – как способ задобрить и урезонить тебя. И начинаются комментарии! Не то будет, если я напишу Ларке непосредственно, в глаза, и выскажу все, что я думаю об этих зехерах\*.

А? Ну соглашайся. И санкционируй подобную меру хоть телеграммой. Иначе их не примешь.

Ну, я посмотрю, что ты еще напишешь разъясняющего, и тогда буду действовать.

А пока гони всю эту мелочь – вместе с дурными мыслями – и верь тому, в чем недавно самолично убедилась, так что после всего опять сомневаться – Машка – просто грешно. Ты же видишь! Ты же все знаешь!

*28 октября.*

Шел-шел дождь и перешел в снег, и вот пришла зима, и стало по-рождественски снежно, а на запотевшем стекле кто-то написал «сука», а я переделал «скука», и было мне муторно целый день, потому что очень жду писем в дополнение к происшедшему, а сегодня они не придут, потому что воскресенье, и еле дотянул до вечера, а вечером достал в углу ваши с Егорушкой фотографии и немного пошептался с вами, и

стало мне получше, и вот пишу про все это и про то, что вас люблю.

*30 октября.*

Здравствуй, моя ненаглядная девочка.

**Письмами\*** твоими я разжился и могу более-менее реагировать нормально.

Взбешен той настойчивостью, с какой люди, пользовавшиеся долгое время нашим добрым расположением, вываливают нас в пуху и в дегте. Или они не понимают, что твое здоровье, спокойствие, лицо и репутация для меня дороже моих собственных и что заниматься подобными вещами значит воевать со мною. По этому поводу я вчера послал Ларке открытку (вместе с открыткой тебе и взамен нежных слов Петровым – пусть уж они меня за это простят). Ибо мне надоело слушать эту музыку и оставаться безответным. Письмо ей в дальнейшем тоже можно отправить с более обстоятельным изложением. Мне противно и мерзко, что они вмешиваются в предметы, которые их не касаются (не занимался же я никогда их «личной жизнью», и как они смеют!). Во всем этом бросается в глаза чисто бабское восприятие художественного материала. Ей – бабе – всегда мила бракоразводная стихия, но меня-то туда зачем макать?

**Вероятно**, столь настойчивый подход к теме (за которым пропало все – и как это смешно и мелко) подготавливался давней обидой, бессознательным желанием «сквитаться» и получить око за око, поставив другую в то унижительное положение, в котором сама когда-то находилась по вине этой другой (я не могу найти другого объяснения – настолько это выпадает из всех рамок).

Ох уж эти мне сердечные струны! По которым ходят опытные руки. Отмахиваюсь, отхаркиваюсь – не помогает. И я, наверное, кончу тем, что заору, как тот интеллигентный покупатель в аптеке\*, которого довел обслуживающий персонал. Что все уже двадцать раз слышали, но никак не могут осознать и заткнуться.

**Тебя** же прошу изложить Ларке следующие тезисы.

Всеми своими стараниями разъединить меня с женою и сочетать с тем, кого мне не надо, они добились, что я потерял малейшие угрызения совести и смотрю на свое прошлое как

мрачный ловелас. И пускай не надеются пробудить во мне страдание: сами всё съели, всё запаковали. Кроме Марьи, я все равно ни на ком не женюсь и ни с кем не возобновлю прежние отношения. Доколе же судьба допустит мне свидеться с теми, кто сейчас позорит и травит мою жену, – буду бить по морде. А в объяснениях с дамами и детьми, прилагающими усилия на той же ниве, – буду выражаться в самых прямых лагерных выражениях. Пока же могу предложить Марье прибегать для вразумления моих бывших друзей к выдержкам из моих писем – в отцензурованном ею виде. В целом моими делами и намерениями ведает Марья, и вне ее помощи и посредничества я не буду и не хочу ничего делать. Никому не навязываюсь со своей женой – вот Бог, а вот порог, – но принимать нас возможно только вместе и отвергать придется вместе. Нравится – прекрасно, нет – извините, мы пойдем. (Вот пишу это, Машка, и думаю: а надо ли вообще что-то доказывать и кого-то уговаривать? Сворачивай-ка ты на нет эти дружеские отношения. Надоело. И тошнит меня ото всех этих сцен на сексуально-либеральной основе.)

На этой тираде можно, пожалуй, и кончить (продолжив ее, если хочешь, в отдельном письме – см. выше мои предложения): у меня голова разболелась, пока высказывался, – от безразличности ко всей этой ситуации.

В историях подобного сорта меня иногда охватывает такое чувство безразличия и усталости, что если б не ты с Егором – мне, кажись, лучше всю останнюю жизнь просидеть в лагере. Я знаю, что такие фразы произносить кощунственно. И мне неприятно это говорить. Невольно, должно быть, иные из бывших друзей умудрились во мне отравить даже естественное влечение к свободе. Знают ли, понимают ли они – чем занимаются? И уже нету сил отругиваться – просто хочется отвернуться, «не выходить» (можешь передать им это, если будет нужно, – в знак нашего расставания).

Или я сам когда-нибудь объяснюсь на эту тему, поставив надлежащие точки, если с кем встретимся.

Я слишком сейчас оторван и замотан, чтобы подводить откуда итоги и расставлять все знаки препинания в отношениях с бывшими знакомыми. С каждым персонально – тем более затруднительно. Да и срок порядочный есть еще у меня в запасе. В нашем

положении торопиться некуда. А для тебя, Машка, все это виднее, доступнее и проще. Давай отставку – кто заслуживает. И лучше это будет, чем осведомляться, не нужен ли мне развод, и плакать по суткам, забросив даже Егора, – как это можно, мы же все вместе и в беде, и в обиде.

**Будьумницейпожалуйстаилюбименя.**

*2 ноября.*

Получил письмецо от Андрея с Лидией\*: целую и благодарю. Очень нежное, и приятно после долгой разлуки узнавать милые черты – вплоть до уважительного отношения к классикам, и про Егорку очень интересно и хорошо рассказали. Действительно, он очень понятно разговаривает на своем языке.

Больше писем от других лиц я не получал.

А смотрела ли ты журнал «Советская юстиция», № 20, где опубликованы статьи, дополняющие уголовный кодекс\* и отчасти дублирующие 70-ю статью? Полюбопытствуй при случае.

По поводу Никона, запретившего строить каменные шатровые церкви, мне известно только то, что он опасался западного (готического) влияния, и тут вряд ли заключалось что-то более мудрое.

Ведь и Никон в своей реформе психологически стремился к тому же, чего добивались его противники и что всегда лежит в основе подобных перестроек: вернуться к старому, к исконному, т.е. к истинному образцу. Все религиозные реформаторы – убежденные старoverы, и иначе быть не может. И Никон, конечно, не думал, что это старое окажется новым, и боролся с «нововведениями» (как ему казалось) старообрядцев, так же как и с западными влияниями.

А статью Драча\* я давно прочел и только забыл поделиться с тобою моим недоумением. Не по поводу самого Драча, которого достаточно плохо знаю, чтобы судить о его порядочности. Меня другое удивляет: позиция редакции и вообще такое понимание преданности и патриотичности, которое оборачивается порой неожиданными сторонами и дает главным образом отрицательные результаты, позволяя расценивать подобного рода заявки как что-то вынужденное или заведомо предвзятое, фальшивое. Происходит это потому, что иные молодцы (как в данном случае



Драч) почему-то считают, что чем шибче они вываливаются в грязи, тем лучше они доказывают свою лояльность. Этим они дискредитируют самые высокие понятия и дают противнику лишний козырь в упреках на тему невежества и подхалимства. Употребив в своей полемике несколько раз кряду «мушиный помет», Драч добился того, что вся его статья стала дурно пахнуть. Это еще полбеды. Но ведь теми же руками он принимается обнимать дорогих соотечественников... Как его не удержали более опытные мастера?!

*4 ноября.*

У нас началось что-то вроде каникул – четыре дня гуляем. А еще у нас зима, и я уже обновил валенки с галошами. Очень тепло и удобно, и трудность только в одном: где держать сапоги, когда влезая в валенки, и наоборот, так чтобы не было нареканий? Всё проблемы, проблемы...

За праздники надеюсь наверстать запущенное. Например, предстоит прочитать «Фауста», потому что уже месяц за мной ходит один товарищ и требует разъяснений по этой книге, которую он изучил раньше меня, а мне все недосуг.

«Вот будут праздники – тогда сделаю! Вот будут праздники – поговорим!» – обещал я давным-давно, и вот теперь откладывать не на что, и кредиторы обступили со всех сторон, уже заранее обижаясь...

Конкурирующую организацию мы догоняем во все лопатки\*, но она все равно покамест бежит впереди на семь номеров (я в последний прием получил 29-е, и теперь надо ждать конца праздников). А финишем у нас установлен Новый год, говоря по большому секрету, потому что конкурент просил не объявлять женам о сроках (но я, как видишь, хитрю, ловчу и ставлю тебя в известность даже про эти тайны, поскольку не намерен секретничать и хочу, чтобы ты во всем и перед всеми оказывалась первой). <...>

*5 ноября.*

Из приобретений последнего времени: я тебя все явственнее чувствую как собственное тело – что ты из меня соткана, по клеточкам, в самом материальном соотношении вещества, ну почти

как Егор, а может быть, и ближе, потому что не по наследству, а более прямо и просто – как растение.

В дополнение к теории о чистоте породы – мне недавно рассказали, что жена уподобляется мужу не фигурально, а буквально, и не в силу – только – духовных токов, но даже ее естество постепенно замещается в составе его молекулами, и в этом смысле «плотская жизнь» значительно сложнее, чем подозревают. В этом смысле муж рождает жену, пропитывая ее насквозь, так что и получается «едина плоть».

Потому, наверное, и зверинец получился, из сферы интересной экзотики перейдя в витье гнезда и дома, семейной конуры, где все настолько родное и кровное, что проходит по разряду кормления, с навыками младенца и матери в одном лице.

Аналогичные родинки имеются в нескольких видах, только им еще нет имени, а когда придумаем? Разве что сошлемся на рассказ пожарников о единстве противоречий, но – в отличие от них – не разное, а одинаковое.

Во всяком случае, в будущем нам предстоит решить массу полезных вещей, и, мне кажется, тут возможен не только возврат к гармонии, но может быть и большее, если все так и будет. А про гармонию ты очень увлекательно рассказываешь, хотя я с некоторыми причинами не согласен в твоей версии, по которой, конечно, подразумевается, что «сам все испортил» и «во всем виноват», ну и виноват, так не во всем.

Говоря же в общих словах – ты мне очень много снишься, и наяву тоже.

7 ноября.

Из мелких нотабене или заметок на полях:

Наудачу выберем трех художников и образуем картину: *Пинтуриккио, Гойя, Пикассо* (ослабленная традиция неприменна в таком сочетании). Неизбежно возникает проблема центра, сосредоточия. Вопрос: где источник? Закон контраста (как гипотетический центр): чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже боль, тем ближе жизнь. Блуждание, перемещение источника, ибо неизвестно, где «ночь темней».

Источник ли культура? Сомнительно. Источник всегда –

жизнь. Культура относится к жизни как провинция к столице. Но столица непостоянна, ибо самосознание каждого (Пинтуриккио, Гойя, Пикассо) говорит: «я не провинция, я – столица». (Я – всегда столица.)

Кто же прав? И можно ли мерить гордостью боли (по тому же закону контраста)? Вероятно, есть боль и сильнее, и гуще (и потому нужны для художника более объективные критерии). Книжки, картинки (им хорошо) – но уберите корень боли, и облетят картинки: вот вам и вся культура.

И все-таки единство: голова Гойи, семья жонглеров Пикассо и мальчик Пинтуриккио. Все вместе (если соединить) слегка напмнит Феллини.

Смотришь: вроде бы жизнь, но – искусство, искусство. Попробуйте снять парики, стереть грим. Вглядишься – и нет париков: проросло: подлинно.

В рассказе *Тургенева «Певцы»* (сходные мотивы имеются у Лескова, Горбунова, Короленко) интересно показана психология состязания. Демонстрация не себя, не умения, не таланта, но – песни. Чья песня сильнее? И признание силы соперника с легким сожалением в голосе. Но не – «хорошо поешь», а: – «песня хорошая». Желание победить «хорошими песнями». И все это рисуется автором в заведомо бытовой обстановке; герои (как в рассказе Горького «Как сложили песню») могли бы стирать или мастерить, но тогда уже отставляя немного в сторону предмет занятий и чуточку начеку, со вниманием к песне. «Побежденный» расплакался. Не от поражения – от песни, подошедшей к горлу. Слишком трогательные слова. Слишком близкое, буквальное восприятие песенных слов. Мотив не так уж важен. Если угодно, эти певцы перейдут на речитатив, на декламацию любимых куплетов, даже – наконец – на пересказ песни: до того важны ее слова, текст, а не «художественное исполнение».

В пьесе И.Сельвинского «*Пао-Пао*», в «*Тарзане*» и «*Маугли*» заметен обратный мотив: человек способен разговаривать с обезьянами и расспросить, произошел ли от них человек? У каждой породы – свой язык, до 10 пород. (Мнимое затруднение.) Акцент гориллы. И сам герой похож на гигантского оранга-самца, с клыками, вдохновенный оранг\*. (Кстати, биологические мотивы во-

обще сильны у Сельвинского: ср. «Рысь», «Пушторг», «Умка-медведь» и т.д.) Мускулы, проблемы дыхания, главное дело – много дышать: дыши больше – выживешь (не потому ли, что воздух – дух?). Беседы со львом (новый Даниил). Ненависть Пао-Пао к кроткой змее: опять же отказ от правил, традиции: бесформенность веяний. Смешные этимологии как попытка уловить дыхание языка.

Характерна встреча Пао-Пао с японцами, которые ему ближе европейцев, и отношение к ним как к «лучшим людям». И в первом же разговоре – открытие: родственники (единство животного и человеческого мира).

Каково состояние, с чем сравнить? – Сельвинский сравнивает «инстинкт» с выпивкой, с дамским полом. Одно дело, когда каждый день, иное – раз в месяц. Потому и сильнее. Вечно-восторженное и при всем том достаточно уравновешенное состояние. (Проблема: как строится человеческий характер в произведении почти всецело биологического содержания.)

Небоязнь грубых слов и образов (Сельвинский прошел школу Маяковского). Ассоциация с титанами, с Самсоном. Все бомбы на одного – вот подвиг. В кульминации «заревел, как паровоз» – руки на все стороны, прилипли к стенам. Космическое сознание.

*8 ноября.*

А ты чувствуешь, как я полон тобою, или нет? Должна чувствовать. <...>

Ну вот и кончаются праздники, а жаль: едва-едва возвратился в интеллигентское состояние. Утешает, правда, что завтра, может быть, получу от тебя письмо – а то эти дни почта не работает, и даже ждать и надеяться было не на что.

Еще вот что: декабрьскую поездку хорошо бы сдвинуть раньше хоть на неделю, чтобы она случайно не совпала и не затерялась в перемещениях. Но этого лишь ты могла бы добиться, как, кстати, и немножко продлить и не в коридоре. Например – чтоб уехала утром. Ну а нет – так нет.

При случае (не спешно) пришли мне зубную щетку, а то моя пропала и чищусь огрызком.

Еще мне очень хочется тебя поцеловать – не по воздуху, а буквально. И очень я тебя полюбил.

Напиши мне, как твои болячки.

Обожаю.

Будьте здоровы и ведите себя хорошо, единственные мои птички и рыбки.

А.  
8 ноября.



**...выходки Ларкиных ублюдков...** – Речь идет о желании Ларисы Богораз и ее друзей развести меня с Синявским. Почему?

Напоминаю читателю, что «приключение», которое потом вылилось в дело Синявского–Даниэля, затеяли мы с А.С. еще в 55-м году. Даниэль примкнул в 59-м к уже поставленному делу, где были и постоянные каналы связи, и французские почтальоны, и разработка дезинформации, и шифрованная переписка. Поэтому А.С., как «паровоз», считал, что на нас лежит ответственность и за дальнейшее. После суда он просил, чтобы я приехала к нему на личное свидание первой, чтобы обдумать дальнейшую тактику и чтобы Лариса Богораз передала соображения Синявского Даниэлю. А соображения были очень простые: А.С. считал, что они с Даниэлем полностью сделали свое дело на процессе. Теперь нужно (во всяком случае внешне) уйти в тень. И героям, и их безутешным женам. Это – как два способа ведения войны: русский и западный. Русский сводится к формуле – «и как один умрем в борьбе за это», а западный построен на том, что, выиграв сражение, полк отходит на отдых, а в бой вступает следующий. Внешних эффектов, конечно, меньше, зато толку больше. Сидите тихо, говорил Синявский, а ежели чего делаете, так чтобы комар носа не подточил. И никаких сражений. Прошу сообщить подельнику.

«Но я ничего не знал, мне Ларка ничего не передавала», – говорил потом Ю.Д., и я ему верю, потому что не мог Даниэль пренебречь мнением Синявского.

В результате такой несостыковки подельников и их жен (фактической и номинальной – см. примечание к письму 5) дружеские компании Синявского и Даниэля круто разделились, и 19 октября 1966 года на дне рождения Ю.Герчука произошло некоторое выяснение отношений, о чем я писала А.С в письме №23:

«Статьей дохода объявил Тошка на именинках у Фаюма мое нынешнее положение, добавив также, что только пока ты сидишь, я могу пользоваться правом называться твоей женой, и поэтому мне выгодно, что ты сидишь, и что я спекулянтка и самозванка...

Оснащалось это «выступление» матерной бранью («извращенная блядь» – как один из начальных тезисов – дословное и самое пристойное выражение). Но когда на меня идут с криками, я цепенею, затихаю и учтивее. Я год с лишним успешно пользуюсь именно этой тактикой и на этот раз – тоже спасалась за ней. И ласковым голосом спросила, разрешается ли мне все это рассказать Андрею Донатовичу Синявскому? Какая здесь поднялась буря и что выкрикивалось! Уши вяли, и в одном я пойду у них на поводу – всего и дословно пока что рассказывать тебе не буду, хотя ты в одном из писем попросил излагать некоторые живописные подробности...

...И самое здесь печальное, что Тошкино нападение – не случайность (неожиданна здесь только матерная орнаментация), да и сам Тошка, по квалификации Козьмы Пруtkова, из тех людей, что подобны колбасе, – чем их начиняют, то они в себе и носят. Вопрос: где начиняют эту колбасу и кто готовит такой пахучий фарш?»

Тошка – это А.А.Якобсон (1935–1978) – друг Даниэлей. Педагог, литературовед, поэт-переводчик. Где-то этими же днями Лариса Богораз мне прямо сказала: «Если б ты была порядочной, ты бы послала Синявскому в лагерь развод», а ее сын Саня Даниэль объяснял мне, что я должна подвинуться – и это жизнь.

Из письма №24: «...Спасибо Меньшутиним, Игорю – сказали, что не дадут меня в обиду... Стремление той компании женить Пушкина на Щеголеве приняло формы настолько изуверские, что я еще и еще раз спрашиваю: хочешь ли ты, чтобы я оставалась твоей женой? А если на этот смешной вопрос ты отвечаешь «да», то следует просьба: защити меня от Ларки и ее друзей.

Одна из деталей имевшей место скандальной сцены: даже Санька (пятнадцатилетний мальчишка!) тыкал мне в лицо рассуждения о моей семейной жизни! Этого еще не хватало!

Весь фокус в том, что та футбольная команда абсолютно не признает, что есть какие-то запрещенные приемы и недопустимые удары. Но я же не могу Саньке ответить рассуждением о его маме и некоем рыжем дяде! И сказать ему: «Заткнись, щенок, не твоего ума книжка!» – я тоже не могу, ибо я помню, чей он сын, и я обязана щадить и его возраст, и его нервы».

...что я думаю об этих зехерах. – Зехер (уголовный жаргон) – обман, шулерский прием, который приводит к неприятным последствиям.

**Письмами...** – Здесь шифровка: «Письмами З... хотят тебя спровоцировать на измену или скандал Будьумницейпожалуйстаилюбименя». Начиная с этого письма, шифр упростился: теперь в одном абзаце зашифрованное слово просто начинало этот абзац, а в следующем абзаце оно складывалось, как прежде, из каждой второй буквы нового предложения.

**...интеллигентный покупатель в аптеке...** – А.С. имеет в виду старый анекдот: «Забегал интеллигент в аптеку за презервативом, выстоял очередь в кассу и, стесняясь, шепчет кассиру: «15 копеек за презервативы, пожалуйста». Кассирша громко орет на всю аптеку: «Зина, презервативы есть?» Ей отвечают так же громко «Есть, есть презервативы!» А кругом народ, очередь в кассу, очередь к прилавку... Пока он выбивал свои три упаковки, осталась всего одна. Интеллигент снова в кассу, и опять крик на всю аптеку. Он пытается перевести разговор на шепот, страшно смущается, но ничего не выходит. И тогда, не выдержав, он кричит: «Ну, что, – кричит, – все слышали? все слышали? ебаться иду!»

**...письмецо от Андрея с Лидией...** – Андрей Николаевич Меньшутин (1923–1981) – университетский товарищ Синявского, потом сослуживец по ИМЛИ, соавтор целого ряда статей А.С. и книги «Поэзия первых лет революции». После суда над Синявским и Даниэлем был уволен из Института Мировой Литературы (ИМЛИ) АН СССР и отправлен «в ссылку» в Институт информации по общественным наукам (ИНИОН). Лидия Ивановна Меньшутина – его жена, крестная мать Егорки.

**...статьи, дополняющие уголовный кодекс...** – В 1966 году в УК РСФСР были внесены дополнения в главу 9 «Преступления против порядка управления», статьи 190-1, 190-2 и 190-3:

Статья 190-1. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.

Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление и распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания – наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до ста рублей.

**А статью Драча...** – А.С. имеет в виду статью И.Драча «О, будьте прокляты еще раз!» («Литературная газета», 30 июля 1966 г.), направленную против украинских «буржуазных националистов». Иван Драч, украинский поэт, имел репутацию диссидента-националиста. В 1966 году Драч, уже делавший партийную карьеру, в составе украинской делегации побывал в США. По поводу этой поездки Ю.Даниэль, любив-

ший и переводивший стихи Драча, написал из лагеря Л.Богораз: «И раздрают нас всех черти знать, что и как говорил И.Драч в США? Он же теперь при ООН состоит и вообще важная персона. Здесь, как ты знаешь, много людей, ему хорошо знакомых, в которых он в свое время принял участие... Что, может, и не стоит мне дорабатывать мои переводы?»

**Конкурирующую организацию мы догоняем во все лопатки...** – Речь идет о соревновании с Б.Зеликсоном в количестве полученных от жены писем. См. письмо 9.

**...вдохновенный оранг...** – И. Сельвинский, Тарзан и Маугли – это маскировка скрытых от цензуры заготовок-заметок о лагерном друге, сектанте-пятидесятнике. Впоследствии эти заметки, уже без Пао-Пао и Сельвинского, вошли в книгу «Голос из хора». Это – реализация идеи «прикрывать свои тексты чужими именами».





## ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Родная моя Машутка!

Получил твое веселое письмо под № 32 и тоже очень смеялся. А твои письма опять запаздывают и, торопясь ко мне в объятия, скачут через голову друг дружке (31-е еще не прискакало), и от этого – когда нет в них чрезвычайно драматичных историй (увеличивающих, с обрывом сюжета, свой драматизм) – получается забавно и заинтригованно, как в пьесах Лопе де Вега и Тирсо де Молина.

А мне тоже последнее время снятся интересные сны про приезд в Москву, в ходе которого (которых) я ругательски ругаю Ларку, прячусь по закоулкам от одной черной дамы и наслаждаюсь твоим обществом. И при этом ужасно тороплюсь, как будто должен вернуться назад в лагерь или проснуться, что в данном случае совпадает.

Иногда одного такого сна хватает на целый день настроения. Хожу и уговариваю себя: «ну, чего тебе не ладно? сегодня ведь во сне виделся с Машкой и любовался ее красотой! А вечером еще, глядишь, письмо придет...»

Хорошо, если приходит.

Бандероль, давным-давно анонсированная тобой, так и не пришла, и я полагаю, ее вернули тебе обратно, а поскольку там были только писчие принадлежности, это, должно быть, сделали просто на всякий случай.

Мои предпраздничные открытки, так удачно и справедливо распределенные тобой, я еще за неделю до этого распределил по-другому, руководствуясь остротой момента, в какой они посылались. Не знаю, дошли ли они по назначению.

Банка чернил при мне. А сосед остался при пиковом интере-

се. А рукавицы частично подарил, а частично себе оставил: уж очень они милы – те, что в двцветную вязку. А сейчас ношу меховые: как сунешь руки – сразу согреваются.

Посмотрел неплохую кинокартину «Женщины», сделанную под влиянием неореализма и, в общем, сравнительно удачно, хотя полно накладок и сентиментальных эффектов. Если у вас идет – сходи, любопытно твое мнение. Хорошо введены и обыграны некрасивые женские лица, что редко случается в кино. И еще прочитал в «Иностранной литературе» «Женщину в песках» одного японского автора\*. Здесь многие восхищаются, а мне она показалась провинциальным подражанием Кафке. Притом литературное умение автора сказалось отрицательно. И так часто бывает: чем совершеннее подражание, тем оно скучнее.

Ведь еще кое-где висащие по захолустным чайным кривобокие копии шишкинских медведей, богатырей и прочих охотников на привале потому и прекрасны, что профессиональная неумелость, безграмотность позволили копировщикам далеко отойти от подлинника и подарить нам вариант своих собственных богатырей-медведей. Неумение, таким образом, стало проводником правды, реальности, признаком художественности, условием искусства. А сколь была бы пуста и ужасна близкая к Шишкину копия. И может быть, в каком-то широком смысле всякое истинное искусство обнаруживает неумение, отсутствие мастерства. Когда автор не знает, «как это делается» – и начинает писать неподражаемо, невпопад с принятым образцом. Во всяком случае, в гениальных созданиях обычно проявляется что-то граничащее с самым элементарным невежеством.

А японская «Женщина в песках» слишком похожа на столичную даму. И все же столичная лучше.

А по поводу женщин своеобразно высказался один молчаливый старичок, отрешенный от суеты:

– Жена! жена! – воскликнул он, всплеснув ручками. – Если она имеет милость – то когда и ляжет с тобою!..

А мое отношение к жене, как ты догадываешься, совсем не такое, и к этому слову я отношусь очень нежно и бережно. Особенно если под ним подразумевается жена-Маша.

11 ноября.

Мне твои письма нравятся и содержательные и пустые. В пус-

тых ты так чирикаешь, что просто заслушиваюсь и легко воображаю тебя сквозь эту интонацию, и очень мне это приятно и полезно. Иногда пустые читать даже интереснее содержательных.

Письмами в тюрьме меня огорчил Чехов и порадовал А.К.Толстой. Чехов огорчил потому, что, при всем его уме, тонкости и обаянии, он в письмах, в общем, топорен, скучен, и создается впечатление, что ему вообще скучно жилось и он заполнял пустоту деловыми заботами и гимназическим юмором. Даже Европа в его письмах оттуда выглядит лишенной чего бы то ни было, заслуживающего внимания. Может быть, это происходило потому, что Чехов, как большинство его современников-писателей, был далек от изобразительного искусства и понимал культуру главным образом как просвещение. Он был «литератором» с ног до головы и зевал, глядя на всякие никчемные соборы, музеи, и, как гимназиста, его тянуло в Африку, в Америку, хотя с тамошней экзотикой ему было нечего делать. Чего стоила его поездка на Цейлон (!), такая же нелепая, не соответствующая его духовному облику, как выходки Шарлотты и Епиходова, как фамилия Чимша-Гималайский у какого-то из его персонажей. Если б он хоть в этих нелепостях находил вкус! А то и жалко его до слез, и обидно, когда видишь, что само писательство не радовало Чехова, а заставляло томиться и смертельно скучать. Вот, к примеру, чеховское признание, настолько делающее погоду, что я его списал: «Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости. Когда я теперь пишу или думаю о том, что нужно писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана, – простите за сравнение» (25 июля 1898 г.).

А его переписка с женой кажется еще вымученнее.

А ты как думаешь?

Конечно, не обязательно писателю быть интересным в письмах. Но жить-то ему все-таки полагается интересно. Чехов же воспринимал литературу преимущественно как умственный труд и поэтому мечтал о праздности как о празднике, не находя ничего праздничного в писательской деятельности.

И это грустно.

12 ноября.

Книги похожи на окна, когда вечером зажигают огонь и он теплится в воздухе, поблескивая золотыми картинками стекол, занавесок, обоев и какого-то невидимого снаружи, запрятанного в сумрак уюта, составляющего тайну его обитателей. Особенно когда на улице холодно или снег (лучше всего если снег) – кажется: там, в этажах, под сенью расписных абажуров играет мелодичная музыка и расхаживают интеллигентные феи. С детства это блуждание по удаленным в ночное окнам сопровождалось фантазиями об отдельной квартире из трех комнат, про которую так страстно рассказывала мама, играя вместе со мною в ту жизнь, когда я вырасту и куплю (либо вдруг мы на облигацию выиграем) эту трехкомнатную квартиру, висящую в небе, словно сады Семирамиды. Мы так и называли: «пойдем посмотрим нашу квартиру», отправляясь гулять перед сном в завьюженные переулки, где имели на примете три-четыре окна на выбор. Они менялись в зависимости от возраста и освещения.

Задача иллюстрации (чуть не вырвалось – иллюминации) состоит в поддержании света, исходяемого непрочитанной книгой. Бессильная имитировать текст, ненужная в виде хромого истолкователя слов, сказанных прямо, иллюстрация призвана возвестить о празднике, с которым является книга в нашу жизнь. Она ближе к ювелирному делу, чем к рисунку и живописи.

Это понимали старые переплетчики, миниатюристы и просто издатели, одевавшие книгу так, что мы ахаем и замираем при встрече с нею. Искусство творить предвкушение, заманивать в гости, снаряжать в путешествие по чудным буквам. Ведь картинки мы смотрим, еще не читая книги, а лишь приглядываясь к тому, как она мерцает.

Да будь труд писателя самым тяжким занятием, вытягивающим жилы и иссушающим душу, он – в идее – развлечение, времяпрепровождение под абажуром, сродни театру и карнавалу. Это забыли Флобер и Чехов, изнывавшие под бременем литературного дела. С тех пор повелось: «труд», «работа». Ну и что ж, что трудно? Трудно – да сладко. Не дрова грузить: Саламбо, Каштанка. Они забыли, что книга всегда с картинками.

*13 ноября.*

Вот, Машенька, книги из тематического плана по редакции

Восточной литературы – на 1967 год, которые надо было бы нам иметь. Издательство всюду – «Наука», предполагаемый год выхода 1967-й. Для этого ты должна как-нибудь зайти в магазин «Академкниги» на ул. Горького и, взяв там в кассе открытки с печатями, заполнить их соответствующими названиями. Адрес можешь пока дать меньшутинский, договорившись с ними (Андрей – аккуратист – всё выкупит, когда придет срок).

Вот что меня заинтересовало:

1) Рассказы об игре Веталы с человеком. (Тибетские народные сказки.)

2) Сказание о Санг Боме. Перевод с малайского.

3) Фукс С. Легенды и сказки Гондваны.

4) Дзеваневский К. Архангелы и шакалы (об открытии византийских фресок в Египте).

5) *Слово о живописи из Сада с горчичное зерно* (об эстетике китайского искусства).

6) *Рерих Ю.Н. Избранные труды.*

Или пускай лучше Лида зайдет в Академкнигу, учтя и наши интересы.

13 ноября.

Милая (милая!).

Получил сегодня бандероль с тетрадками, конвертами и книжкой, а также сразу четыре письма (по № 35), и мысли разбегаются от этого изобилия, дарованного после тоскливого одиночества совершенно пустых дней.

Во-первых, о бандероли, беспричинно тебе возвращенной. Я думаю, это сделали только потому, что ко мне здесь повышенное отношение – в разных смыслах этого слова. Но вот урок: ничего «просто так» не бывает и не может быть (вспомни испорченное свидание в августе, приключения с передачей и т.д.). При наличии общих требований – мне, тем не менее, ставится всякое лыко в строку, даже если лыка нет, – доколе какие-то инстанции что-то не разъяснят.

Поэтому, в частности, отправляясь ко мне в декабре, заручись по крайней мере тем, что ты ставишь об этом в известность соответствующую организацию. Чтобы в случае очередной неувязки (а я теперь ото всего жду неожиданностей) не говорили: «а мы

не знали», и не сваливали на обычаи местного значения. Возвращаясь же к бандероли: не дошедшие до меня шариковую ручку и трубочки к ней – не посылай второй раз, а лучше захвати, когда поедешь на свидание.

Но я не уверен, кстати, стоит ли тебе привозить сюда ватные брюки взамен пропавших (теперь уже ясно, что безвозвратно). Ведь их могут опять не выдать (они такие толстые!), а возить их взад-вперед хлопотно и тяжело, а просить тебе специально, чтоб разрешили из Москвы, уж больно скучно: опять какое-нибудь звено не сработает, и останется одна трепка нервов.

Перебьюсь эту зиму без брюк. Пока я вполне обхожусь теплым бельем. А думать о дальнейших зимах будем потом, когда они подойдут поближе. Словом – не привози. Вообще же из вещей мне по-настоящему очень нужны лишь тапочки, да и то не теперь, а летом.

Материальные мои условия в последние месяцы заметно поправились. Получил что-то вроде больше четвертной (чистыми деньгами!) за тот месяц и за другой месяц столько же (что работаю на шнеках). В дальнейшем, наверное, буду получать меньше, потому что и работы сейчас мало. Но у меня, таким образом, получился золотой запас. Начал пользоваться ларьком и за это время купил маргарину 1 кг, потом съел несколько банок гороха с мясом, а на днях обогатился банкой малинового варенья и банкой сливового. Пишу эти красивые слова и облизываюсь.

На будущее покамест – если можно – заранее позаботься о самосаде.

А ты не совсем права о двоеточии и тире. Тире я тоже люблю. Но его сейчас многие любят. Пильняк, кажется, пользовался двойным тире подряд. А еще я очень люблю скобки. Не то что люблю, а как-то хочется постоянно говорить в скобках, забираясь в какие-то мелочи, забываясь в норку. Иногда даже хочется ставить квадратные и угловые скобки, чтобы вся эта лабиринтия не перепуталась. (Но больше всего на свете я люблю тебя [Боже, как я люблю тебя < у-жа-сно! > ! ] !!) !!! И откуда такая арифметика на мою гуманитарную голову?..

Еще меня радует, что мои сапоги не промокают, хоть я редко прибегаю к щетке и ваксе. Опытные в жизни люди говорят, что необходимо их смазать рыбьим жиром или – еще лучше – кастор-

кой, и тогда они долго продержатся. – Где взять касторку? – В санчасти. – Ну, это мне не по плечу.

Чего это я пишу тебе про всю чепуху? Вероятно, потому что спать хочется, и я сейчас полетусь в свою колыбель. У нее только одно неудобство: когда падает ватник (а это со мной бывает часто), надо слезать на пол, а это далеко.

Приятного сна, моя бесценная.

А почему ты в последнее время мало рассказываешь про Егорушку? Я без этого очень скучаю.

14 ноября.

Мне очень понравилось описание твоей встречи с репортером и расстроила история с карфагенством, которая все никак не может уняться. По поводу нумерованной странички – я почти сделал такую в прошлом письме. Но вот что мне кажется: как мы знаем, художественный прием срабатывает один раз и в случае многократных повторений теряет свою убедительность и компрометирует автора; так и здесь – поношение соответствующей особы *в письмах тебе* с указанием для друзей – может превратиться в комическую деталь нашей жизни и переписки и принести самый отрицательный эффект. Вдобавок вполне логично и естественно рассуждение: если уж так припекло – мог бы пожертвовать одним письмом жене и объясниться прямо и начистоту, а она – если она, конечно, тебе доверяет – могла бы согласиться на такое лишение ради общего спокойствия.

Вот почему я и думаю, что по этим проблемам я должен отписать М.З. или Ларке. Лучше – Ларке (и там я изложу все перечисленное тобою и даже больше). И лучше всего для этого воспользоваться первым декабрьским письмом: в начале декабря у тебя будет литературоведение, в конце – новогодняя открытка, плюс посередине возможное наше свидание. Все это скрасит твою грусть при одном письме.

Пойми, Машуня, это обязательно нужно сделать, и чем быстрее – тем лучше, – чтобы потом не говорили: «Что же ты отмалчивался, прячась за женину юбку, неужели ты не мог ради *такого* случая (если это действительно мучило вас, как вы утверждаете) высказать все в глаза и устранить недоразумение?!»

Итак, я это сделаю. А тебе, если хочешь, изложу более-менее подробно содержание этой петиции.

Все-таки мне хотелось бы до 5-го декабря (а желательно – раньше) получить на сей счет твое согласие и одобрение. Даже было бы неплохо объявить мне об этом телеграммой (сразу по получении этого письма), чтобы у меня было время и спокойствие на душе.

А люблю я только тебя и всегда только.

*15 ноября.*

Как хорошо засыпать, зная, что ты меня любишь, и думать об этом на краю сна. И просыпаться таким же образом. И жить тем же путем.

Меня очень поддержало 36-е письмо, полученное вчера. <...>

Ах, Машка-Машенька, до чего же ты в нем моя, и как мне приятно по этому случаю! И конечно, мне все твои царапины саднят, и я всегда все сделаю, чтобы их заживить, и мы бы с тобою, обнявшись, не разлучались бы и шествовали в будущее неразлучно и навсегда.

Еще мне приятно читать про воспоминания о зеркале, родинке и прочих хозяйственных делах; ты их подбрасываешь, как дровишки, в наш общий очаг, подбрасывай, милая, не забывай, помни, я так тебя за это. А я тут в таком же зеркальном плане обнаружил некоторые упущения в нашем доме, которые, когда-нибудь съедемся, надо будет непременно осуществить – целый ворох интересных занятий, то-то нам будет хлопот и радости.

И еще мне понравилось, когда ты пила сгущенное молоко прямо из банки, и оно потекло по личику, и ты вся-вся стала сладкой.

А потерянный зуб ты можешь покамест оставить как есть, все равно ты красива как никто, а когда-нибудь мы вставим.

Я тоже пока решил не делать коронки на зубах. Зуботехник говорит – через год-два зубы внизу полетят по причине десен и некоторого истощения, но мне что-то неохота с этим сейчас возиться, подожду еще год, а там посмотрим.

Фотографический фон у Егора мне очень-очень пришелся, и, знаешь, очень похоже. Редкое сочетание комического с тоской и драматизмом.

А у нас сейчас опять началась самая-рассамая осенняя слякоть. Ступить некуда. А еще недавно была прекрасная зима с синим не-



бом и огненным солнышком посреди синей белизны в полдень и зелено-розовым перламутром на рассвете и на закате – в сетке веток. Никак не разлюблю каемку леса по-над забором. Мне говорят: «Привыкнешь, и будет как для всех – приевшаяся декорация». Но что-то не приедается: лес то линяет, то отодвигается стеной дождя, а то, глядишь, рядом, рукой подать. (А тут много помарок, потому что писал в полутьме.) И когда выхожу утром на работу, первым делом иду посмотреть на пару берез, растущих к нам ближе всего другого, так что хочется с ними здороваться и называть по имени.

А вот фраза из здешнего сочинения:

«Вдали, смутно окрашивая горизонт, стояло оранжевое дерево».

Там же:

«Человек рождается в единственном экземпляре, и, когда погибает, его никто не сможет заменить».

Это – письменно. А вот устно (с задумчивой, философической интонацией): «Собачье мясо полезно лагерному человеку».

Я никак не поспеваю с этим письмом, а срок подпирает, и пишу все подряд.

Твои рассуждения о том, как обижающий не может простить обижаемому, – очень правильны и глубоки, и мне приятно, что ты у меня такая умная и все понимаешь. Вероятно, поэтому некоторые не терпят нищих, другие не любят евреев, а третьи только и делают, что мстят неповинным людям. Тут действует чувство неполноценности, возрастающее у обидчика по мере наносимой обиды, которая лишь растравляет раны и, требуя утешения, сама себя питает и увеличивает. Отсюда путь к садизму, одержимости и сумасшедшему дому. Надо быть подальше от подобных людей.

А мне в этой связи вспомнилось другое – как толкуют индийские мудрецы известное требование, согласно которому всего лучше подставить левую щеку, когда бьют по правой. Потому – тогда ты «обрываешь карму», и вся она остается на обидчике, не переходя на тебя. Он бьет себе на голову, а ты выходишь сухим из воды, не вступая в предложенную им цепь бесконечных взаимных отмщений.

Это, конечно, сугубо рациональная трактовка нравственных категорий, но в ее свете они, помимо всего прочего, оказываются

ся удачным маневром, с помощью которого человек избегает вражды и живет сам по себе.

Не сочти это за наставление. Ты сейчас себя ведешь слишком деликатно, и упаси тебя подставлять им что-нибудь дополнительно. Но и не принимай близко к сердцу всякие выпады: я же тебя люблю ну не знаю как, и пускай ихняя злоба кусает себя за хвост и лопнет от зависти.

И поменьше порти слезами свою кожуру на личике. Лучше мы будем тебя поливать из банки со сгущенкой. Целую тебя в ту самую рожу и вокруг.

А сейчас, в самом конце, получил 37-е письмо и еще раз ликую, что ты у меня такая прекрасная. Но продолжать ответ буду когда-нибудь дальше: все лимиты исчерпал, а намеков хоть куча, но нету времени.

Рисунок Пушкина – хорош\*. Я как раз собирался писать о нем в этом духе.

Расскажи Егору еще что-нибудь про меня.

А мне – про него.

Люблю вас, как в сказке.

А.

17 ноября 1966.



...«Женщину в песках» одного японского автора. – Кобо Абэ.

Рисунок Пушкина – хорош. – Мои письма к Синявскому частенько украшались картинками. До мая 1968 года – картинками А.Петрова и моими. Потом – только моими.



## ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Манечка! Друг мой бесценный!

То ты мне не пишешь, потому что нет моего письма и ты его ждешь и мучаешься, то потому что оно есть, а ты уморилась ждамши. А конкурент тем временем с помощью своей неистощимой супруги (справка: а) работает, б) есть ребенок, в) письма длинные. Итого: приходится соревноваться на равных условиях, хоть я и знаю, что ты меня все равно больше любишь, не говоря уже обо мне. Мы-то знаем, но курица-то ведь не знает) неизменно бежит впереди на 5–7 очков, и только я его догоню до пяти, он опять поднажмет и обгонит на все семь. Так что к Новому году мне придется выставлять банку варенья или еще какой-нибудь ценный приз, как мы уговорились. И я, на свою голову, настоял, чтобы приз победителю, а не в утешение побежденному, как вякал конкурент, не надеявшийся на первых порах на свою удачу.

Но не в проигрыше беда и вообще беды нет, если ты все равно по-прежнему ко мне расположена.

Даже когда твои письма состоят из одной строки, в которой значится, что ты хороша и здорова и относишься ко мне положительно, – они делают погоду (см. № 41). Поэтому, пожалуйста, пиши чаще. И про любовь тоже систематически объясняй, потому что очень интересно об этом читать и каждый раз заново радоваться и удивляться.

А без этих объяснений мне ничего не понятно.

И такие письма не наскучивают.

Физзарядкой можешь не заниматься до моего возвращения, когда мы все обдумаем и решим совместно, и еще вопрос, будем ли мы тебя ею заряжать. Но вот что мне требуется от твоей

внешности за срок моего отбытия – так это чтоб ты следила за личиком и перестала бы кусать себя то за одну, то за другую губу, вся искривившись, так чтобы это не превратилось в настоящий тик, которого я очень боюсь, а ты как начнешь кусаться, так вспоминай, что я не велю, и переставай это делать, так чтобы у тебя не создавалось врожденных искривлений, способных сразу испортить всю красоту.

К тому же таким своим нервическим видом ты даешь повод нашим недоброжелателям, видящим в твоей взвинченности корень всех дрязг. Я им ни вот столько не верю, но давай их опровергнем, и в частности тем, что будем ходить со светлыми и ровными лицами и их не замечать. А то они рады зачислить нас в психопаты, а пусть лучше сами понемногу лечатся.

Седые же волосы на тебе меня вполне устраивают, и я на них согласен, и даже интересно, как они к тебе пойдут. Лучше ты сверху седей, а внутри сохраняйся.

Еще тебя умоляю обратиться к медицине и наладить всю свою внутреннюю секрецию. Это тебе задание № 1, и если ты не успеешь вовремя создать какую-нибудь статью про искусство, я не огорчаюсь, уверенный, что это наверстаемо потом. А вот со здоровьем ты обязана выполнить план немедленно, да так надежно и прочно, чтобы и через пять лет, девять месяцев и семь дней вручить мне себя в объятья, как переводную картинку, без единого пятнышка, в соответствии с достигнутой в нашей жизни гармонией, которую мы не будем терять, а только беречь, лелеять и всесторонне увеличивать, и ты должна об этом заранее позаботиться. А ты согласна?

*1 декабря.*

У нас тут наметились маленькие каникулы: два дня праздников плюс один отгул, и если бы их не было, я не представляю, как бы и когда сумел написать тебе это письмо. А сейчас еще первая половина первого дня каникул, и можно не спешить, можно вздохнуть, оглянуться вокруг и подумать, про что я тебе еще не успел рассказать. Вроде бы про все основное уже рассказывал в прежних письмах, а вокруг, как известно, ничего не происходит\*, и даже снег не при солнечной погоде, а просто снег, но и то приятно, что кругом белым-бело, и глаз отдыхает, и всё, наконец, при-

няло зимний вид, издали готовясь к рождественской елке, в чем, наверное, и состоит большая прелесть зимы, особенно хорошей в первой ее половине, предновогодней и новогодней, пока не наскучило, и лес приблизился, странно, что зимой он здесь выглядит гораздо ближе, чем летом.

И так как нет никаких событий и мало сейчас читаю, а про нежные чувства к тебе, моя раденька, без конца пересказывать получится уже совсем неприлично, – займусь немного сплетнями про наших общих знакомых.

Очень меня порадовало недавно полученное письмо Игоря\*, и спасибо ему за добрые слова, действительно меня утешившие и поддержавшие. До того доброе письмо, что я даже удивился – не его отношению, в котором всегда был уверен, а счастливой найденности интонаций, снимающих боль от разных житейских вывихов. Хотя я вроде бы считаюсь семижилым, но иногда тоже что-то вывихивается и бывает трудно вправлять, а Игорь мне подсобил.

Кстати, если вы в самом деле начнете с ним работать над Босхом\*, я с удовольствием выскажу тебе какие-нибудь мыслишки по этому случаю. Про Босха у меня уже несколько соображений копышется, и ты дай знать, когда их тебе изложить. Только сообщи при этом кратко его анкету (в смысле даты и места жизни), чтобы мне было легче связывать кошкам хвосты. Можешь глянуть: о Босхе имеется статья в нашем «Аполлоне».

Открытку Ларке я послал про то (цитирую почти дословно), что прошу ее помочь (я именно так выразился) прекратить травлю тебя со стороны некоторых знакомых. Что это бессовестно делать – особенно сейчас. Что ты мой наилучший друг и представитель и люблю только тебя. Что тех, кто этого не поймет, мне придется перестать считать своими друзьями. «Или мои слова для вас ничего не значат?..» (финал).

Ответ (передаю конспективно, но излагаю мысли более логично и внятно, чем в тексте, из которого вообще многого не поймешь, а о многом нужно догадываться, ломая голову):

1) Она, конечно, готова выполнить мою просьбу, даже если бы этой просьбы и не было, но не представляет себе, как это можно предъявлять ультиматумы людям.

2) Ей достался в наследие миллион знакомых с разными харак-

терами и взаимными обидами, которых примирить очень трудно и сложно.

3) Ты чрезмерно взвинчена, и отсюда твоя обидчивость и агрессивность (сказано очень туманно, без конкретизации, настолько, что можно лишь предполагать, что речь идет о тебе, а не о ком-то еще).

4) Мое «бессовестно сейчас» применимо не только к тебе, но и к ней, и нехорошо спекулировать «особым положением».

5) Уверения в любви (к тебе) не нужны, поскольку ей дела нет до моей интимной жизни и она хочет быть справедливой ко всем и чтобы никого не обижали – в том числе и тебя, но на общих основаниях.

6) У нас должно быть взаимное доверие и взаимная доброжелательность.

Все это я сейчас извлек, положив перед собою листочки, а так бы, по памяти, не смог бы восстановить. Повторяю, в письме начисто отсутствуют факты, имена, детали, а лишь расплывчатые и уклончивые общие места. О М.З., например, ни намек. И мне еще до твоих писем с телеграммой расхотелось писать, хоть что ни слово, можно схватить за руку – но, спрашивается, зачем?

В итоге у меня сложилось такое ощущение: 1) определенная цель достигнута именно открыткой, в которой высказано мое требование, после чего необходима пауза, а там – как хотят; 2) пускаться в дальнейшие объяснения – все равно что разматывать «клубок змей» и самим переступить тот порог молчания, неприкасаемости, который сейчас является наилучшим барьером от всякого рода дружеских поползновений; 3) мне надоело выступать неглиже перед обществом друзей и знакомых (даже), и потому прошу тебя по возможности обрывать интересующихся погнуться в чужом белье.

Еще о письмах. Растроган и утеплен заботой из Алма-Аты\*. Вот бы прочесть глазами. И очень улыбался на карфагенную предупредительность: не знаком я с этой достойной женщиной и даже не бывал – представь (!) – в тех чудесных краях. А девушку с виолончелью\* я тоже что-то не помню.

<...>

3 декабря.

Немного злобно и отрешенно распознаю воронье\*, слетевшее на добро, оставленное в нашем доме. Рукописный отдел я понимаю. Ты им правильно ответила. Но они не виноваты: у них профиль такой. Кладбищенский. По вдовам промышлять, по сиротам, пока частники не налетели. Профессия.

А Гачев?! Ай-да Гачев\* (хочется каркнуть). Откуда такая отпетая бесцеремонность? Босячество. Все, что плохо лежит, – урвать. И себе кусок, и себе – от доступного пирога. Когда был в силах, снисходительно пропускал: стыдился важничать. А надо бы еще тогда дать по рукам, как ты и сделала – по очкам. Воронье. Я им покажу 25% воды. Обтекаемого нашли. Узнают они Доната Евгеньевича\*.

При случае спроси (удивленно и от моего имени): «Может, он Розанова намерен купить, чтобы для меня сбереечь?» Я из ехидства спрашиваю. Но это был бы естественный ход. Задатки порядочности к этому б побудили. Знаю-знаю, нет никаких задатков. Разбазарил в процессе выращивания самобытного интеллекта. Ну и вырастил возрожденную личность, посматривающую, где бы урвать, черненькими глазками. Парвеню. Как это называлось: эпоха первоначального, что ли? когда легким пиратством вылезали в люди? Да знает ли он, как эти книги добывались – по штучке, годами, сколько в какой переплет души вложено! Вахлак. То же мне нашелся: «земля». Не земля он, а дерьмо. Держись подальше. А то он еще чего-нибудь разложить попробует на составные части. Любитель. Ну и покажу я им, Машка, если когда-нибудь свидимся. Мне иногда кажется, что даже ты удивисься, увидав такую перегруппировку в моем процентном составе...

Кстати, пусть отдает «Аврору»\*, – откуда, видать, и позаимствовал теорию о четырех стихиях. Не очень я уверен в этой теории, а тем более в конкретном их распределении. И в твой мужской характер не очень. Разве б я тебя тогда б так полюбил? И мои водяные качества – дураки! – совсем всё не так.

Еще кстати: Бамдаска\* пусть гонит книжечку Вас. Вас. А то им всем захочется сувенирчик иметь от меня на память. Растащат. Я им дам: «покойник».

Вот будет смешно, когда мы поменяемся ролями: я буду рывать, а ты улещивать. Иногда и говорю тебе: пока не очень свирепствуй: оставь мне тоже кого-нибудь за бочок ухватить.

4 декабря.

P.S. А то, что я уполномочиваю тебя цензурировать мои высказывания, – об этом было написано в позапозапрошлом письме – там, где я выдал свечку, а ты почему-то не заметила, но я точно помню. Конечно, ты мой цензор. Как же *иначе*?

Ну, как тебе нравится, Машенька, как я провожу каникулы\*? За столом, за письмом сижу почти все время, потому что его маловато у меня получилось на сей раз, и то, что раньше растягивалось на полмесяца, нынче стискивается в несколько дней, и пишу неотрывно, благо нашелся угол и можно зарыться в личное более-менее свободно. Ну а мыслями-то витаю вокруг да около тебя постоянно и все прочие дни, так что ты, вероятно, должна чувствовать мое присутствие на своей шкурке. Во всяком случае чувствуй – не ошибешься.

Очень было приятно читать, когда ты счастлива посреди бедствий, и очень ты хорошо про это мне рассказала. И вождение к кусочку элементарного спокойствия разделяю обоюдно, и мне бы тоже такой кусочек, и только ты и ты только можешь мне это дать, и никто иной. И все люблю и люблю. Еще и еще. И опять сначала. И еще.

А почему ты мне ничего не ответила про свой новый почерк?

А насчет того, что ты иногда отлеживаешься часами, хотя надо работать, – это мы понимаем, и это ничего. И у меня бывает: не идут на ум ни книги, ни разговоры, ни – тем паче – английская грамматика, которую жую через силу, – и я все бросаю и просто хожу по снегу и вспоминаю о тебе разные разности.

А тебе наверняка надо отказаться от некоторых обещаний по части изящных искусств и немножко облегчить свое существование.

А петровский портрет\* на письме очень похожий.

А не поздравил я его, потому что не помнил, когда у него день рождения, и как же это ты меня заранее в письме не предупредила, это же твоя обязанность, Маша, и неужели ты думала, что я помню, если даже на воле ты мне всегда напоминала.

Попутно вспомнил, что скоро пойдут именины, и я поздравляю Колю от всего сердца. И наверное – Андрея (?)...

А телеграмм не было и не будет, потому что для этого надо подавать специальное заявление и обивать пороги, а это так неприятно, что ты уж меня прости, но я никого не буду поздравлять телеграммой, чтобы не портить себе настроение и не связывать



это плохое с такими хорошими вещами, как именины и дни рождений. К тому же я не уверен, что эти затраты дадут эффект. В общем, это мне виднее, как надо делать (фырчу в бороду). Ладно?

Ну, пойду поужинаю и скоро вернусь.

*4 декабря.*

Все думаю-гадаю, приедешь ты или нет в декабре, и если да, то когда и как это произойдет. Ничего непонятно и все неясно. И сны даже пошли сплошь какие-то недальновидные, не рисующие никакой перспективы. Правда, судя по ним, мы друг друга ужасно любим, но это же и так ясно.

Про сны мне рассказали забавную и полезную притчу – на тему, что не всем снам следует верить. А было так. Один видел сны до того точные, что всё сразу сбывалось тютелька в тютельку. И он привык им верить и поступать соответственно. И вот после тысячи таких безошибочных снов он видит тысячепервый: будто все православные сидят в аду. Таким хитрым маневром искуситель пытался совратить гражданина в какую-нибудь секту. О судьбе несчастного ничего не известно. А вывод напрашивается сам: к вещим снам тоже необходимо подходить с осторожностью.

А вот как один незнакомый рабочий выразился, когда какой-то кран мне чуть по голове не заехал:

– Ты, Синявский, смотри! На железо – надежда слабая.

– Какая на железо надежда! – откликнулся я согласно и подумал в который раз, насколько дерево дружественнее к человеку, нежели железо.

Еще есть слова: намастырился, волокешь (в смысле понимаешь), дать отмазку, давай дзюбнем.

Возможно, не помню, что-то из этого и в миру бытует.

А о какой-то бабе (из прошлого) было сказано – через запятую: «пьяница, красит губы».

«Я, говорит, сегодня пить не буду. Я, говорит, вчера аборт сделала».

– У человека на пузе жира бывает больше, чем у свиньи.

Недавно в журнале видел красивую фотографию: «Беатриса Лаврова и Роза Шафран».

А о древних иконописцах стало окончательно ясно: человечес-

кую плоть они писали главным образом охрой потому, что понимали, что тело сделано из земли.

*4-5 декабря.*

У меня пропал Кафка\*. Уже больше месяца, как он пропал, и очевидно – безвозвратно. Очень жалко Кафку. Тем более что, пока другие читали, сам я едва успел в него заглянуть. Отсюда следует, что нельзя мне здесь заводить редкие книги.

А Аввакума мне предстоит подарить, так уж получилось, и что ты на это скажешь? Зато есть и прибыль. Недавно мне подарили ватные штаны, и это до того ценное приобретение, что хочется петь о нем на все лады. Они хотя и старенькие, но еще отнюдь не рваные, приятного выцветшего цвета, не грязные, со следами доброй ухоженности, должно быть, от какого-нибудь чистенького старичка, отбывшего свой срок с аккуратным сознанием выполненной повинности, погашенного греха, штаны, полюбившиеся мне с первого взгляда и пришедшиеся впору, будто на меня шились, и я с ними не расстанусь. У них глубокие и абсолютно целые карманы и есть тесемочки с пуговицами, чтобы затягивалось на щиколотках, а общий вид изящен и не очень толстит. Словом, я в восторге. И могу теперь сколько угодно присаживаться на железо и вставать на колени, когда надо подлезть под какую-нибудь бездарную крышку. В сочетании с начавшимися морозами (сегодня 20°, а у вас, по радио, только 9) это клад.

Интересно, как некоторые предметы одежды, независимо, в общем, от их качества, либо льнут к нам, либо остаются равнодушными или враждебными. Помнишь мои туфли, которые скушал Осичка, о чем мы не жалели. И синяя куртка, которую я оплакиваю до сих пор, а вот черный свитер и красив, и тепел, и связан с дорогими воспоминаниями, но остается при мне полезным слугой, а не интимным другом. Это наводит на мысль, что существует душа вещей, которую мы бессознательно чувствуем, и, оглядываясь назад, я могу перечесать по пальцам вещи, душу которых я любил, как в детстве любишь игрушки – беспричинно и безраздельно. В их число, кажется, попали и эти ватные брюки.

И, наверное, такое же беспричинное тяготение-отталкивание существует у нас по отношению к людям, которых мы даже никогда не видали. Только сегодня, например, узнал, что царица

Елисавета, к которой я давно питаю маленькую слабость, по собственному обету (ее никто к этому не вынуждал, а Синод даже требовал отказаться от обета) отменила в России смертную казнь, и в течение ее двадцатилетнего царствования никого не казнили (даже тех, кого она скинула с престола, – не то что Екатерина). Елисавета жила в золоченой нищете, была капризна и ленива, но умела совмещать понятия Запада и родной старины, обожала французские спектакли и строго соблюдала посты, «от вечерни шла на бал, а с бала попевала к заутрене», и «с правления царицы Софьи, – говорит о ней Ключевский, – никогда на Руси не жилось так легко». Это «была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня XVIII в., которую по русскому обычаю многие бранили при жизни и тоже по русскому все оплакали по смерти».

Какой литературный блеск у психологических характеристик Ключевского! И вообще весь он какой-то добротный, надежный.

Знаешь, Машка, есть добротные книги, которые непременно следует читать с детства или в юности, чтобы они улеглись, уkladись в памяти и послужили основой знаний и нравственности, наподобие классиков. Я страшно жалею, что при отсутствии ориентиров упустил в свое время ряд книг и познакомился с ними значительно позднее, а это совсем не то, уже не то, потому что их следует знать «с самого начала». В их числе – беру наугад – Ключевский, Иосиф Флавий о Иудейской войне (не Фейхтвангер, а сам Флавий), Флоренский о Загорском заповеднике...

Надо, чтобы в будущем Егор учел эти ошибки, заминки, пробы в нашем образовании, которое, к сожалению, трудно назвать классическим.

А ты как думаешь?

Распиши мне, пожалуйста, в красках еще раз, что делает Егор целыми днями, и умеет ли он играть самостоятельно, и как это делает, и бормочет ли что-нибудь при этом себе под нос, и как он слушает, когда с ним разговаривают, вертится ли, постоянен ли он в своих интересах, занятиях?

Очень я люблю читать твои рассказы про Егора. И люблю вас ужасно. И целую, и глажу...

А.

5 декабря 1966 г.

P.S. Перечитал недавно в «Иностр. лит-ре» Беккета «В ожидании Годо», и мне показалось, что Беккет вышел из пьес Чехова.  
 <...>



**...ничего не происходит...** – Разбросанная по фразе цитата из песни Высоцкого.

**...письмо Игоря...** – Игоря Голомштока.

**...работать над Босхом...** – Игорь Голомшток предложил мне присоединиться к работе над книгой о Босхе для издательства «Искусство». Общий проект не состоялся, а книга И.Голомштока о Босхе вышла в издательстве «Искусство» под псевдонимом «Г.Фомин» в 1974 году, уже после его эмиграции.

**...заботой из Алма-Аты.** – Вот отрывок из моего письма А.С.: «Получила письмо от какой-то женщины из Алма-Аты, которая выражает участие, и надежду, и желание помочь, и нельзя ли тебе послать из Алма-Аты хотя бы сухие фрукты? А начиналось оно словами:

«Уважаемые товарищи! Пишу кому-нибудь из близких Андрея Донатовича Синявского, хоть и нет никакой уверенности, что его семья живет по адресу, указанному в справочнике Союза писателей».

Еще ей хочется, чтобы мы узнали об «откликах» на это дело не только из официальной прессы, и эти слова участия и приветов были мне приятны».

**...девушку с виолончелью...** – Незнакомка из нашего дома, которая стала здоровать со мной после процесса Синявского–Даниэля.

**...распознаю воронье...** – Из моего письма: «На днях от отдела рукописей библиотеки Ленина через тридесятых знакомых поступило предложение: не продам ли я им чего-нибудь из древностей?.. Предложение сделано с самыми добрыми чувствами и намерением помочь (!), но это было так горько – напоминает тонущий корабль, с которого спасайся, кто может, а кто может – тащи что попало: им уже больше не надо.

И я ответила, что ни в коем случае, и совсем наоборот, сама бы у них чего-нибудь охотно купила, говорят, у них уже давно валяется без дела Остромирово евангелие...»

**Ай-да Гачев...** – Досадная ошибка Синявского. Я писала не про Гачева, я писала про искусствоведа Алексея ГАСТЕВА. Цитирую: «Подобные же заходы были и про Егория, и даже Гастев сказал, что ежели буду распродавать библиотеку, чтобы имела его в виду по части Розанова, Шпенглера и прочих. Отупели они все, что ли? Или это я стала излишне ранима?»

Мы просим прощения у нашего друга Георгия Гачева. Ошибка произошла, наверное, потому, что Синявский получил одновременно несколько моих писем, и в соседнем письме был такой текст: «На днях меня навестил Гачев, с которым мы долго рассчитывали составы человеческих душ, размещая там в процентном отношении четыре стихии: землю, огонь, воздух и воду. Причем он считает, что идеальная женская душа должна состоять в основном из воды (нежность, мягкость) и воздуха (одухотворенность), недаром Афродита родилась из пены морской, то есть на границе воды и воздуха.

В себе он насчитывает 40% земли, 30% огня и по 15 воды и воздуха. В тебе 30 огня, 30 воздуха, 25 воды (да-да, говорит, мягкости и обтекаемости в нем много) и 15 земли. А во мне 40 огня, 30 земли, 20 воздуха и 10 воды. И тут же нашел, что у меня самый мужской состав души. И что ты на такой расклад скажешь?»

**Узнают они Доната Евгеньевича.** – Отец А.С., Донат Евгеньевич Синявский, славился резким и прямым нравом.

**...пусть отдает «Аврору»...** – «Аурога, или Утренняя заря в восхождении» Якоба Беме (М., 1914).

**...Бамдаска...** – Таня Бамдас (в замужестве Корзинкина), одна из любимых студенток Синявского.

**...как я провожу каникулы?** – В 1966 году 4 декабря было воскресенье, а 5 декабря – день Конституции, то есть два нерабочих дня.

**...петровский портрет...** – В одно из моих писем А.Петров врисовал свой автопортрет.

**У меня пропал Кафка.** – Ф.Кафка. Роман. Новеллы. Притчи. М., 1965.



## ПИСЬМО ДВАДЦАТОЕ

Еще не знаю, родные мои, когда и откуда отправлю вам это письмо и когда оно до вас дойдет-доедет, но уже понемногу живу лучами семейных праздников, нашей святой недели\*, по которой, как на санках с горы, мы скатываемся с Егорова рождения в твой сияющий день и затем – прямо в распахнутые объятия Нового года!

Легко сказать, а ведь мы еще никогда не жили вместе всю эту неделю: сперва не хватало Егора, потом мама задержалась за получением сына, а потом папа уехал в странную командировку, и в итоге мы только раз попроздновали втроем Новый год\* заодно с вхождением в дом, и помнишь, как это было светло и страшно?..

Ах, дети вы мои, дети!

Нет у меня теперь никаких подарков и угощений, но поздравлять вас все равно буду по порядку.

С днем рождения, Егор!

Егор! Ягор! Маленький мальчик Егорушка! Если бы ты уже умел читать, я бы написал тебе письмо большими-большими буквами. А пока что пусть тебе прочитает мама это письмо, а ты, пожалуйста, послушай и постарайся меня понять.

Я по тебе, Егор, очень сильно скучаю, и, когда я приеду, мы с тобой будем играть в разные интересные игры и пойдем вместе с тобой, со мной и с мамой в Зоологический сад смотреть диких зверей, какие водятся только в жарких странах. А еще мы поедем в лес. А еще мы пойдем в музей. И побежим со всех ног в цирк на цирковое представление и в Театр кукол.

А еще мы попросим маму нам почитать вслух волшебные сказки и будем ее слушать.

Скажи, Егор, есть ли у тебя санки? И умеешь ли ты на них кататься?

А тебе нравится, когда идет снег? Расскажи мне про это, а мама пусть напишет.

Я тебя прошу – пока я не приехал, помогай маме и бабушке, чем можешь, и слушайся их, и будь здоров.

Папа.

*7 декабря 1966 г.*

Маленькая моя Маша.

Поздравляю тебя с Егорушкиным двухлетием, и напиши мне со всеми подробностями, как его отмечали, и разобрал ли наш именинник, что к чему, и радовался ли он сколько-нибудь своему юбилею?

Объяснили ему заранее или был сюрприз? И что подарили, и догадалась ли ты сделать ему подарок от меня, а если не догадалась – восполни к Новому году, к елке. Дескать, «папа прислал».

Сегодня у меня что-то вроде праздника, потому что накануне, вчера, получил твои письма. Ты спрашиваешь про №№ 52 и 53 – пришли они вместе или отдельно? Так вот. Я вчера получил №№ 52–58 (!!!) плюс одно меньшутинское и радовался, как дикарь, такому счастью и целовал тебя за это со страшной силой.

А до этого пришлось выдержать исключительно невеселое время расстоянием в пять дней (а по моим расчетам, в первый же из них я должен был получить от тебя письмо), и каждый вечер уходил от подушки, думая, что завтра с утра предстоит снова вытерпеть целый-целый длинный морозный день. Лидина бандероль с журнальчиками, вокруг которой («Мастер и Маргарита»\*) оттаивал по вечерам, к которой удирал от меланхолии, одновременно меня встревожила, наводя на догадки: а не потому ли мне кинута спасительная бандероль, что им известно, что ты мне почему-то не пишешь, и, значит, это только слабая помощь в разрастающейся беде и лишний довод в пользу увеличивающегося во мне опасения, что ты в самом деле мне не пишешь, а не то чтобы письма не доходили...

Сейчас это кончилось, и потому можно немножко тебе об этом рассказать.

А потом пошел снег, и в воздухе потеплело до уровня обычной, в  $-10^{\circ}$ , среднерусской зимы со всеми ее сладостями и украшениями, и пришли твои письма, и мы одним прыжком настигли конкурента и идем теперь с ним ноздря в ноздря.

За это же время переехал на первый этаж в пределах той же кровати и теперь имею в бараке самое шикарное место: в углу, без соседей сверху или снизу, а с соседями лишь в ногах и прямо перед собой. Также установил опытным путем, что внизу спать холоднее, но обратно не улезаю, а так я один хозяин на целой койке.

Настроение малостабильное. Дни проходят в проводах\* и легком ажиотаже, имеющем более глубокую психологическую подоплеку, чем непроясненность ситуации. Я сам о себе не могу сказать с определенностью, хочется мне уехать или нет. Некоторые удобства, здесь насиженные, начиная от рабочего места и кончая столом, за которым сейчас пишу тебе и которым, не без усилий, мне довелось одалживаться в последние месяцы, – располагают к отрицательному ответу. С другой стороны, отсутствие впечатлений влечет к новизне даже в таких скромных формах, к перемене, сулящей при всех неудобствах несколько нерабочих дней.

Говорят, при этом и срок проходит быстрее. Что ж, посмотрим. Все равно ничего от меня не зависит... Волнует во всем этом пока что лишь свидание с тобой. Есть несколько стоящих вариантов, ну да нечего их и излагать: все равно мое письмо опоздает... Остается уповать на судьбу и Машечкину прозорливость.

А до хозяйственных упущений в нашем доме\* я сам додумался. Но ликвидацию их придется отложить до лучших времен моего возвращения в дом, где надо все показывать и объяснять вещественно, предметно, а не пустыми буквами, что совсем не интересно и никак не объяснимо.

*11 декабря.*

Несколько дней болел, точнее – полуболел малопонятной заразой, а теперь пошло на поправку. Что-то вроде сочетания гриппа с внутренним отвращением. При невысокой, должно быть, температуре, со слабостью, ломотой и общей апатией, от которой тянет – где только можно и нельзя – присесть и задремать, надвинув поглубже шапку. Терпимо. Только для погрузочных работ, на которых частично используюсь последнее время, не очень полезно. Лечусь кипятком с малиновым вареньем путем усиленного потения и заметно выздоравливаю.

Твои письма всегда перечитываю по несколько раз (считая до десяти), но делать это – на людях, при сутолоке и неустроенности –



мне менее удобно, чем тебе, и потому я обычно много-много читаю новые и недавние, а в старые редко когда удается заглядывать. «...»

Я, кажется, повторяюсь, но мне почему-то кажется, что я тебе все еще не объяснил как следует и не рассказал до конца, как я тебя люблю, и это чувство недосказанного в нашей жизни по временам мучит меня и заставляет переноситься мечтами в ту прекрасную обстановку, где я, наконец, сумею рассказать тебе «все по порядку» и передать все настолько полно и убедительно, что только тогда ты все поймешь и узнаешь.

Вероятно, это смешно – так думать и говорить, но и – хорошо тоже: знаки «продолжение следует», и всё дальше и дальше, и много-много чего еще...

*13 декабря.*

Подошел момент поздравить тебя, Машечка, с нашим любимым днем твоего рождения и сказать: здравствуй, моя радость и загляденье, с добрым утром тебя!

Хочу сперва ответить на твои накопившиеся вопросы.

А в первую очередь – про то, как ты мне понравилась в феврале.

Тебя, Машутка, я просто не думал найти такой похожей, красивой, свежей и такой спокойной, и твое появление в этом блестящем виде было для меня наилучшей охранной грамотой, и ты заметила, вероятно, как я был счастлив в твоём присутствии.

Видишь ли, я вообще, говоря между нами, счастлив, что ты у меня имеешься, а с некоторых пор ты превзошла мои надежды и стала значить столько, как еще никогда – даже ты – не воспринималась.

На этом-то хотя бы мы с тобой определенно выиграли в итоге всех вычитаний и можем переносить разлуку с верой в друг друга и взаимным упованием.

О твоих же печалях, заботах, обидах и неполадках я должен быть всегда полностью информирован, и продолжай, пожалуйста, ставить меня в известность по части всех твоих ушибов-царапок. Не пугайся, что я иногда даю свечку по тому или иному поводу, – это естественно и справедливо, и было бы жестокостью ко мне утешать меня иллюзиями и оберегать недомолвками. Я более твердо себя чувствую, когда знаю, чего надо ждать, а чего не надо. И я тогда могу не предаваться худшим скорбям с помощью развитого воображения.

Спускать же твоим обидчикам я не намерен, и в результате ты можешь не так уж болезненно реагировать на их укусы и можешь относиться к ним с той презрительной снисходительностью, которую позволяет тебе твое положение в моей душе и жизни.

*15 декабря.*

Ну, а теперь поздравляю тебя с Новым годом и опять начинаю целовать сначала и шепчу вам с Егором на ушко про свою преданность. Жаль всех сразу поздравлять в одном письме – не разгуляешься с этим лимитом. Но вы все равно знайте, что вы мои ненаглядные, и любите меня, невзирая на мою скудость.

Очень я сейчас вспоминаю, Машка, как мы с тобой обычно встречали Новый год. Когда ты в первый раз предложила это сделать вдвоем, без никаких гостей, знаешь, как я подпрыгнул и весь просиял изнутри такому верному попаданию в цель. Точно всю жизнь стремился к тому же самому, а наверно так и было в действительности, только я как следует не сознавал до твоего прихода, и не было где, и не было с кем.

От встреч Нового года и начинается наш дом, и когда я сейчас думаю о доме в его метафизическом смысле, перед глазами первым делом рисуется твое убранство под Новый год, от которого всякий раз исходило очарование.

Все время хочется писать: а помнишь? а помнишь? а мы еще будем с тобою так делать? Кроме всех прелестей в жизни ты мне, Машенька, подарила чувство дома, до этого времени не утоленное и существовавшее в виде тоски, и я тебя за это благословляю.

*17 декабря.*

Недавно я видел крысу, которая чапала прямо по снегу и очень, видать, торопилась и смешно проваливалась то одной, то другой ногой. Крысы находятся в панике и носятся как сумасшедшие посреди голого железа, суля перемену места. Мне рассказывали, что свинья примерно за двое суток чувствует, что ее собираются резать, и отказывается от пищи, дичает. А корова, которую ведут на базар, если бежит резво – не продается, а если упирается и тянет назад – непременно посчастливится сбыть. Значит, у коровы тоже есть своя записанная судьба. <...>

Нежно благодарен Меньшутиным за журналчики и письмо.

Мне было очень интересно узнать про институтские заботы и новости. Кстати, не собираются ли включать в новые издания (без указания фамилии, разумеется) мои тексты про поэзию начала XX века и про романтику 20-х годов? Эти статьи сделаны очень добротнo, и я не желал бы, чтобы их прикарманили подобно статье о Бабеле\* и выпустили под чужим именем. На всякий случай пусть Андрей это учтет и в случае надобности расскажет о намерении автора в дальнейшем самому использовать эти тексты. И что в истории со Смириным я настроен возбудить дело о плагиате, если подлинное авторство не будет восстановлено. А то, что я писал о Блоке, Брюсове, Тихонове и т.д., – мне в самом деле дорого.

А в статье С.Васильева\* ты обратила внимание, что соответствующие два места находятся друг с другом в вопиющем противоречии и исключают одно другое: либо в одном, либо в другом случае автор определенно соврал. И как это редактор не заметил такую несообразность?!

А еще пускай Левик или кто другой\* подарит нам недавно вышедшую книгу переводов Бодлера.

Несколько дней подряд упивался Булгаковым и очень за него радовался, что наконец появилось. Великолепные сюжетные сальто. Может быть только – если брать по самому-самому высокому счету – кое-какой перебор в повторении обмороков, падений с лестниц и перманентных схождения с ума. И еще мне чуток недоставало атмосферы (в том смысле, как о ней выразился Пастернак: что все можно вынуть – сюжеты, характеры, описания, диалоги: она останется). Но не берись окончательно судить по половине и, приплясывая от нетерпения, жду январского номера с обещанным окончанием.

До чего беспросветно-мрачная книга! Даже какое-то сияние черного глянца (возможно, это и есть атмосфера – безвоздушных пространств, черного неба?). Читала ты ее? Мне хочется слышать твое впечатление.

*18 декабря.*

Опять повернуло на большие морозы. Но самочувствие хорошее: я, кажется, избавился от своей отвратительной слабости. Про Егорушку: радуюсь, что ему начали делать прививки. А когда привьют оспу? Не откладывайте, пожалуйста. А как он отнес-

сы к этим мерзким уколам? Плакал? Боялся? И как их потом перенес? И водят ли его гулять по зиме?

О «Батьке» страшно занятно\*. Значит, он еще оценивает себя как явление родового, а не индивидуального порядка. Он еще не знаком с этой фикцией: «я». А показывает он на себя, если спросить: где Егор? И как относится к своим фотографиям?

А откуда – в звуковом выражении – взялось это миленькое слово «Батька», которое мне очень нравится? Из чего оно произошло?

А молодчики вы, что сняли кинофильм про Егорушку. Когда будете делать еще – постарайся сняться вместе с ним – в роли центральной героини. Скажи, что я просил, что мне хочется иметь кино про тебя тоже.

А когда Егор станет болтать – запишите магнитофоном. Я все никак не пойму: разговорчивый у нас ребеночек или нет?

А то, что он отсталый – это даже хорошо. И нечего ему стремиться в вундеры.

Еще смотрите, чтобы летом Егор, научившийся подставлять стул к подоконнику, не вывалился на улицу. А он когда-нибудь остается один в комнате (а также – в квартире) или всегда кто-нибудь есть рядом?

А ты, Машка, отвечай на мои вопросы, не игнорируя. А то я тебе отвечаю – а ты мне нет.

Еще поздравляю с Новым годом Тамару Константиновну\* и всю ее семью. Это не считая тех поздравлений, которые ты сама раздашь от меня нашим друзьям и знакомым. И передай матери мою глубокую благодарность за внимание к ребеночку, спасительное для нас.

Еще я совершенно не знаю, как получится наше свидание. По сравнению с предыдущими какая-то сплошная неясность, томительная пустота. Хоть шаром покати. От морозной погоды, что ли, это порожнее ощущение?

*18 декабря.*

Холод усиливается. Двадцать два. И как ты поедешь ко мне, детынька?! Господи, хоть бы утеплилась получше. Утеплять тебя надо, укутывать. Чтобы не простудилась. Посмотреть бы на тебя...

А писем опять нету. Должны были быть: понедельник. И нету.

Завтра, может. С горя выпил кофе. Стараюсь развлечь себя, занятая, чтобы он (я) дотерпел до завтра. Потом – до твоего приезда. Потом – еще...

Я-то потерплю, потяну. Была бы ты хороша и здорова. И любила меня. И рассказывала про это.

*19 декабря.*

Я часто берусь за письмо не потому, что имею намерение написать тебе нечто серьезное. А – просто прикасаюсь к листику, который ты будешь держать и улыбаться, как прикладываюсь к тебе. Поделаю что-нибудь – и опять. И опять. Возвращение. Целование в щечку. Поцеловал, потерял носом – убежал – прибежал – потрогал. Вращаюсь вокруг тебя. Ах ты моя красавица, гарантия, залог существования. Милость. И потому – единственная. Самое главное в мире всегда должно быть в единственном виде.

*19 декабря.*

Морозы я, оказывается, переношу гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. Имею в виду не физику, а психику. На воле, бывало, очень тосковал в предвечерние холода, когда солнце неживое, и кругом пустыня, и на сердце смерть. А здесь – не очень. Или соответствие выручает. Как и слякоть осенью. Клинок клином. Как-то весь напрягаешься с утра, чтобы пережить день.

А зрелище в самом деле холодное, и вокруг луны большая-большая слепящая сфера. А звезды дробятся, как льдинки, и никак не уцепишься за них. Но я при этом необнадеживающем спектакле почему-то приободряюсь. Ах так? – так вот!

*19 декабря.*

«...» Сейчас немножко покопался в чемодане. Извлекал твои ранние письма из конвертов для уменьшения объема. Прибирал, навел порядок. Не то чтобы потребовалось, а захотелось порываться. Петровская афиша. Егорова книжка про зайца. Родной угол. Вот еще ключики нашел в чемодане. А думал – не запирается.

Жаль, уже скоро отбой. А то бы я еще чего-нибудь поделал и тебе бы написал, и мы бы поговорили.

*19 декабря.*

Письмо не пришло. <...> Завтра с утра отсылаю это. Машка! Еще долго ждать до Нового года, и, может быть, мы успеем повидаться до этого, но все равно отсюда – туда, к 31-му декабрю кричу тебе:

С Новым годом! С новым счастьем, милая. Дай нам Бог, чтобы новый был посчастливее старого.

Сокровище мое. Детик. Любимица. Не печалуйся. Я с тобой. Особливо сейчас – и в день рождения, и в Новый год.

За твоё здоровье, родная. За нашу встречу – до смерти. Ну, а теперь поцелуемся. На новую жизнь.

А.

20 декабря 1966.



**...нашей святой недели...** – 23 декабря – день рождения Егора, 27 декабря – мой день рождения, 31 декабря – встреча Нового года.

**...мы только раз поспраждновали втроем Новый год...** – 31 декабря 1964 года Егора Синявского принесли из роддома.

**...«Мастер и Маргарита»...** – Журнал «Москва», №11 за 1966 год.

**Дни проходят в проводах...** – Началось расформирование лагпункта № 1 на станции «Сосновка».

**...хозяйственных упущений в нашем доме...** – Простите, интим.

**...прикарманили подобно статье о Бабеле...** – В том 74 «Литературного наследства» (Из творческого наследия советских писателей. М.: Наука, 1965) в разделе «И.Бабель. Новые материалы» была опубликована статья «На пути к «Конармии» (литературные искания Бабеля)», написанная совместно И.А.Смириным и А.Д.Синявским. Несмотря на то что том был подписан в печать, согласно выходным данным, более чем за месяц до ареста Синявского, его фамилию успели снять, и статья вышла за подписью одного И.А.Смиринна.

**...в статье С.Васильева...** – Сергей Васильев. Заметки о поездке по Америке (Октябрь. 1966. № 11).

**...Левик или кто другой...** – Вильгельм Левик (1907–1982), поэт-переводчик, литературовед, художник.

**О «Батьке» страшно занятно.** – Маленький Егор вдруг стал называть себя Батькой и говорить о себе в третьем лице.

**...с Новым годом Тамару Константиновну...** – Тамара Константиновна Розанова, моя мать.

1967





## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Два дня после тебя слушал твои лепеты, лепестки, мотыльки, пока, наконец, не возвратился к действительности и не сказал ей весело: «А ко мне Маша приезжала!»

После чего начал жить дальше.

Окружающие сочувствуют, полагая, что после свидания (такое и со мною бывало) наступает депрессия и человек усиленно тоскует по утраченному идеалу. На сей же раз мне почему-то не чересчур тоскуется и я больше тихо радуюсь твоему виду и отношению. Мне ты очень понравилась – не только в том смысле, что я тебя люблю, а в том, как ты выглядишь и что собой представляешь. Как-то я очень неразлучно себя почувствовал с тобой и осознал себя надежно и хорошо женатым на тебе и устроенным в жизни. Хорошо мне с тобой, Машка. И ты в самом деле выглядела (тьфу-тьфу!) ясной и румяной, и я очень-очень на тебя надеюсь.

Еще, может быть, потому не раскис, что через день получил шесть писем с дома ожиданий и семь с Москвы, и они дружно пришли и легли на сердце.

И мне очень пришлось по душе, как ты разговариваешь со мной и с Егором разом, совместно, и почувялась опора семьи, которая не подведет. Ведь в письмах ко мне ты одновременно шлешь письма Егору, который сидит в больнице, и, знаешь, я с удовольствием отзываюсь и откликаюсь: не себя узнаю в Егоре, а Егора в себе.

А мы устроим, когда съедемся (съедемся же мы когда-нибудь!), трехсуточное свидание, не считая всех остальных и дальнейших лет жизни, и чтоб без вывода и с передачей?!

И потом – мы будем с тобою дружить? Мне очень почему-то хочется с тобою дружить.

*25 декабря.*

А сегодняшний день – и какой! – я провожу что-то тускло, хоть вчера пришла телеграмма, еще раз меня в тебе укрепившая и усилившая. И кажется, даже электричество горит тусклее обычного, и вся эта тусклость откладывается на организме, и тянет, и тяготит. Ничего не клеится, и я переносюсь мысленно в вальсе танца на ваш бал, который, надеюсь, все же будет не таким печальным.

Оказывается: каждый год каждый зек получает характеристику, и вот какую приятную и в общем правильную характеристику мне зачитали недавно за истекающий год. В ней сказано, что сперва, до сентября, я работал на упаковке и проявил трудолюбие, а нормы не выполнял не по своей вине, а по иным обстоятельствам. А потом – перевыполнял. Характер у меня спокойный и вежливый. И какие-то еще другие поощрительные или нейтральные фразы. Среди них – цитирую почти дословно: «Вины своей не признал. Отрицает антисоветскую направленность своих произведений. К современной советской действительности относится положительно». Общий вывод (как того требует форма): «На путь исправления еще не встал».

Все это вместе звучит несколько странно, хотя в целом мне понравилось.

А тебя я люблю и поздравляю. На дворе луна сияет ярче огня и снег искрится по-елочному сказочно и роскошно.

*27 декабря.*

С Новым годом! С Новым счастьем!

Вообрази, как я его встретил. Намеревался-то я (и была такая возможность) совсем по-иному: за этим письмом, которое последнее время не было времени продолжать, а очень хочется и очень стремлюсь к тебе со всякими нежными разговорами. Но случилось вместо того идти на завод, вечером, после дневной работы, и делать двойную порцию. Ну-ну. Иронически посматривал на звездочки, ударенные крепким морозцем, вспоминая, что в прошлом году, в тюрьме, было великодушнее: я спал.

В последний момент все же провидение сжалилось надо мной и отпустили, и успел-таки выпить чашку кофе ровно в 12 часов, думая о тебе, моя радость. После чего лег спать, и снились не то сапоги, не то валенки: всё правильно.

А письмо пишу уже днем и со всей очевидностью допишу его не скоро и отправлю тебе на прочтение, вероятно, позже обычного. Потому что потому, окончается на у.

Твое последнее пришло за № 80 при 74-х у противника, и я доволен, что мы его обставили почти без твоих подорожных воспомоществований. Итак, состязание кончилось, и мы больше не будем, но ты мне все равно регулярно пиши.

Про Егорову косину считаю как и ты, и жалко такому маленькому мальчику превращаться в очкарика. Только спроси у врачей, не может ли его косоглазие увеличиваться с возрастом?

А где «Разнотык»\* – не знаю и не помню, чтобы я его давал кому читать. Во всяком случае, я не мог его никому дать вне дома. Поинтересуйся у ближайших знакомых.

На душе у меня что-то холодно и грустно. Стараюсь тем временем сообразить, как обещал, про народное творчество и думаю, что там, на фольклорной почве, особенно ощутимо, что искусство всегда вторжение. Не отражение красоты, а ее вторжение в жизнь в качестве нежданного гостя и в согласии с известной устюжской формулой\*. И потому петух переселился на полотенце, а цветы на печь, а лев на дверь. И сама эта перестановка уже фантастична и настраивает нас на сказочный лад.

Еще я думаю, что, возможно, важнейшим признаком реализма в народном творчестве является верность не столько природе, сколько материалу, из которого сделаны вещи. Иначе говоря – не природе копируемой, а природе возделываемой. <...>

Мы не то что хотим заручиться научной гипотезой, а лишь – проникнуться атмосферой старинного народного быта и напомнить о его забытых магических истоках. Они, эти истоки, давным-давно заглохли и заместились чистым искусством, забавой, игрой, фантазией, получившей столь великолепное развитие в фольклорном творчестве именно потому, что оно оторвалось от своего утилитарно-ритуального прошлого и парит посередине между истиной и забвением. Фантастическое – либо послед некогда реальных понятий, потерявших в значительной части

свою достоверность и верховенство, но сохранивших по традиции силу прелести и притягательности; либо оно – попытка обновить и отыскать потерянную реальность путем догадок и вымыслов, заменяющих знание. В этом смысле фантастическое в народном искусстве усиливается по мере иссыхания мифа, переходящего из состояния были в состояние сказки, до тех пор пока она окончательно не завянет и не свалится в музей, подобранная фольклористами. Когда процветал миф, он не нуждался в фантазиях и все вокруг него утверждалось как факт. С утратой магии его остатки воспринимаются уже не вполне всерьез, но вызваны к жизни игрой воображения, которой со страстью предается фольклор, справляя поминки о прошлом. Фантастика прогрессирует в ходе расставания с ее реальным источником. И мы вслед за нею слегка фантазируем, чтобы не забыть об утрате.

Тем временем первый день года склонился уже к вечеру и наступило утро опять очень холодного дня.

*1–2 января.*

Ну вот, любимая Машечка, я и на одиннадцатом\*, и адрес мой почти такой же самый, только надо писать: 385/11 и отряд 5.

Первое чувство такое, как если бы из деревни переехал в город, в столицу. Много цивилизованнее, люднее, теснее, хотя место на широкую ногу, бесприютнее и тоскливее: некуда деться. Старое обиталище кажется отсюда милой патриархальной провинцией, которая при всех недостатках имела уже те преимущества, что я к ней притерся и притерпелся и знал, где и что можно ожидать. Здесь надо все начинать сначала, а я устал. И первые же минуты начались с того, что у меня отобрали конспекты, письма, фотографии, и когда вернут – неизвестно.

Вторая потеря: нет своего угла уже в самом полном смысле этого отсутствия. Койка – узкое и высокое сооружение, с которого боязно сверзиться, – в одном месте, кусок тумбочки – в другом, вещи – в десятом, и живу я главным образом в воздухе, потому что часто и присесть не на что. А ведь там, на первом, у меня в последние месяцы имелся по вечерам даже собственный столик!.. Ко всему этому я, конечно, скоро привыкну и пишу тебе не для того, чтобы ты огорчалась, а в порядке информации.

Есть также и плюсы: например, шикарная баня. Но ведь я не любитель. Мне бы главнее – столик...

Еще, говорят, здесь хуже дело обстоит со свиданиями: общие свидания дают преимущественно на два часа всего, и поесть не всегда позволяется, за личными – длинные очереди, и т.д., и т.п.

Возможно, у меня все это слишком свежие впечатления, которые в дальнейшем улучшатся; возможно, многое просто еще не утряслось – не уселось, как это бывает в первые дни на новом месте. Но радоваться пока нечему.

Вчерашний переезд – при всей простоте кругозора – все же слегка повеял наружной жизнью, в виде поселка хотя бы, по которому шли-шагали, и даже встретился магазин с интригующим названием «Книги», в который у меня по привычке мелькнула мысль заглянуть, в виде детишек, всласть играющих со щенком на снегу, и деревьев, растущих высоко и стройно, не обрезанных ни забором, ни проволокой, да и в виде ничем таким не изолированной земли, по которой куда как мягко ступать валенками.

А Юльку я не встретил\*: его за несколько дней до меня увезли на семнадцатый.

*4 января.*

Пишу, лежа на спине, и потому, может быть, получится слегка кривовато.

Вчера был на заводе, который делает мебель и понравился мне больше наших прежних железок. Особенно пилорама произвела впечатление. Машина со специальными шупальцами хватает, как кузнечик, бревно, соразмерное слону, и пилит его сразу на много досок. А также много просторнее, разнообразнее, и видны кое-где издали прекрасные лесные пейзажи. Вообще рабочая зона выигрывает по сравнению с Первым. Только вот развод длится страшно долго и обед осуществляется там же, на заводе, так что в итоге свободного времени здесь меньше.

Работать меня направили в Машинный цех – подвозить детали. Это, конечно, не сахар, но для меня лучше, чем стоять за станком, к чему я отношусь с большей неохотой, нежели, например, дрессировать тигра. Перед станком я совершенно беспомощен, а таскать разную кладь хоть, по рассказам, и тяжелее,

но мне понятнее и доступнее. Сегодня пойду в ночную, тогда увидим.

*6 января.*

Поблагодари от меня Азбеля\* за проявленную заботу к Егору, за его хлопоты – они исключительны и говорят о той деятельной доброте, которая, вероятно, и есть самое достойное в людях.

А о Бурасе я помню\*, как в свое время действительно говорил тебе о промелькнувшей мимоходом версии инспиратора и как был удивлен в результате. Больше ничего. И вообще это не мое дело, не наше дело, и я не собираюсь предъявлять по этому поводу детские требования. Пускай все это имеет свое логическое течение, а я не намерен в отношениях с бывшими знакомыми устраивать ажиотаж и вести дебаты. Ну их, ну их! Мне кажется, многое нынче отошло в сторону, и нечего к нему возвращаться.

А от тебя перед самым отъездом пришло письмо № 81, такое нежное и согревающее, что я им все это время встряхивался и приободрялся.

И очень я люблю тебя за то, что ты так меня любишь. И я совсем твой.

*6 января.*

Вчера к вечеру наконец приехало на новое жительство твое первое письмо (за № 83), и значит, дорога между нашими сердцами проложена, ура!

По первому санному пути хочу еще выразить тебе свое восхищение перед новой знаменательной датой, к которой ты, Бог даст, и получишь мое письмо. Да, Мария. Двенадцать лет\*. Довольно круглая цифра, и я тебя поздравляю и целую-милую с нашим счастьем. Все-таки срок, а я все как подумаю о тебе, так и захочу от неожиданности изумления... Понятное дело: любовь. Но дополнительное удивление в том, как она окрепла и расцвела теперь, потому что с некоторой поры я познал в тебе некоторые вещи, про которые раньше только мог мечтать и бояться, что их нет.

Между прочим, как раз отсюда произошла моя мнительность, если тебе угодно это слово...

Мне не хочется сейчас все это разматывать. Потому что мне не

хочется ни в чем тебя упрекать, хотя упреки получились бы самые нежные. Потому что потом ты все мне возвратила, и даже с надбавкой, и было б грешно сейчас поминать прежние недостатки.

Когда-нибудь мы об этом поговорим рассудительно, долго, глубоко и серьезно и в один длинный присест выясним все отношения за все двенадцать лет плюс сколько-то еще. А сейчас я могу только тебя целовать и расцеловывать и расписывать, какая ты у меня прелесть. А ты – прелесть.

*7 января.*

Это я писал, вернувшись с ночной смены, когда не мог заснуть от любви к тебе. А теперь, слегка поспав, продолжаю это делать. Спать вообще приходится несуразно, пунктиром, с постоянными перерывами. Помимо ночной работы виноваты койки, очень шаткие (сядет кто-то внизу, а я наверху раскачиваюсь), узкие и плоские (в отличие от прежних сетчатых), образующие подобие общей с соседом полки. А он в довершение имеет обычай спать на левом боку и дышит, и сморкается, и лезет в лицо. Ты знаешь – я не брезгливый, а все же поташнивает.

Но ты за меня не бойся. Потому что мне стало уже полегче, чем в первые дни. Сегодня, например, мне вернули все мои бумаги. Нашел дорогу в читальный зал, который здесь прекрасен, и, если вовремя занять место, можно читать и писать с удобствами.

Словом, начинаю обживаться. А больше всего твое сияние помогает. Я так счастлив знать, что ты моя вполне (но только чтоб полностью вполне), что все прочее сейчас мне кажется пустячным.

Работу сегодня попробовал, и она рисуется выносимой. Все-таки дерево – не железо. И в цехе очень тепло, и перед началом работы хорошо пахнет. Потом, естественно, пыль и скрежет. Но палочки на ощупь ласковой проволоки. И пыль опилочная чище.

И зима стоит самая рождественская.

Еще мне очень понравилась книжечка «Алхимист»\*, про которую ты хорошо рассказываешь. <...>

Прости, что пишу меньше обычного и все равно опаздываю. Люблю-то я тебя все равно больше обычного. Замотался с этим переездом и кругом задержался.

И поэтому кончаю и целую тебя очень сильно и повторяю снова все, что сказано к дню рождения. И еще, и еще, и много-много чего еще.

А.

7 января 1967 г.

<...>



А где «Разнотык»... – «Разнотык» (М., 1923) – сборник рассказов М.Зощенко.

...в согласии с известной устюжской формулой. – На стене одной из церквей города Великий Устюг в 1955 году мы обнаружили следующие слова: «Искусство вносит в жизнь красоту и радость».

Ну вот... я и на одиннадцатом... – Из маленькой зоны в поселке Соновка Синявского перевели в большой 11-й лагерь в Явас.

А Юльку я не встретил... – 31 декабря 1966 года Ю.Даниэль был этапирован из 11 лагпункта на 17-й, в глухой поселок Озерный.

Поблагодари от меня Азбеля... – Марк Азбель, известный ученый-физик, друг Ю.Даниэля, помогал мне во время болезни Егора.

А о Бурасе я помню... – Михаил Бурас (1925–1993), друг Ю.Даниэля со школьных лет. Ненавидел Синявского и во время следствия и суда давал против него крайне негативные показания.

Двадцать лет. – Наша семейная жизнь отсчитывалась с 23 января 1955 года.

...понравилась книжечка «Алхимист»... – Книга «Алхимистъ» была подарена мне писателем А.Сергеевым и женой его Людмилой Георгиевной.

АЛХИМИСТЪ  
 без  
 маски,  
 или  
 открытой обманъ  
 умовообразовательного  
 золотоделания  
 взятой  
 из сочинения  
 г. профессора Гилбоа  
 перевел с немецкого  
 Иванъ Флореновъ  
 —\*—  
 Москва  
 В Ун-верситетском типографике  
 1789



## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Ну вот, мои родненькие, я, кажется, постепенно привыкаю к новому месту, и мне не так муторно, как вначале, по приезде сюда. Только ужас как мало времени – так мало, так мало... В половине восьмого – на завод (это если первая смена), а возвращаюсь не раньше шести – начала седьмого. Пока поужинаешь – семь. А в девять уже закрывается читальный зал, где так удобно работать и единственное место – за столиком на двоих, – так что настоящего, чистого времени получается два часа, и то это когда не отрывают, а это редкость.

На Первом у меня полчаса утром и в обед полчаса отводились английскому, а остальное, с 5 до 10, было, в общем, мое. Здесь же все это сжато и урезано до слез. С испугом думаю: когда же я тебе стану письма писать при таком распорядке?! Но ты не пугайся: я все равно буду писать – по фразе здесь, по словечку там: потому что это моя главная забота и забава, а ты – существо, о котором мечтаю днем и ночью, перебирая в уме все твои достоинства и недостатки, прожилки и завитки, и на каждый завиточек дышу и не могу надыхаться.

Только я теперь за стиль не отвечаю. И литературные отступления, наверно, уменьшатся. Потому как – ни на что нету времени, кроме как на любовь, которую и на работе продолжаю чувствовать, и в разговоре с кем-нибудь, когда сам киваю, а мысленно опять-таки занят той же возлюбленной переборкой.

Работа у меня неплохая. Называется «подвозка деталей», и заключается она в том, что я везу из сушилки (такое парное отделение во вкусе Алигьери) и частично механически, частично самоходом вывожу по рельсам Вагонку. Это такая большая-большая платформа, доверху уложенная всевозможными чурками, палками, брусками, дощечками, и они горяченькие, как пирожи-

ки, немного поджаренные и слабо припахивающие каким-то керосином, который на самом деле выжаренная смола. Но основная проблема не привезти Вагонку, а разгрузить эту махину, распределив деревяшечки по сортам и тележкам. Занятие похоже на игру в кубики, и отношусь я к нему терпеливо, даже почему-то с оттенком нежности и мягкой иронии, как относятся к детским играм: ну, если вам непременно требуется, мне что, я пожалуйста...

Работа мне нравится, и я лично не настроен переходить на другую (разве что вдруг откроется переплетная мастерская, о чем слегка поговаривают). Чурки не тяжелы и приятны на ощупь, и потеешь главным образом от их количества и быстроты, с какой надо их вынимать, и складывать, и кидать, и подбирать, и подхватывать. Я думаю, Егорке было бы интересно.

Тебя бы тоже поразило изобилие отменного дерева, из которого можно построить, что хочешь. А работаю я налегке – потому что в цехе жара – и даже в тапочках, от которых уцелели преимущественно подметки, и приходится каждый раз поправлять пальцем. Между Вагонками есть возможность передохнуть, посидеть, и это мне тоже нравится.

Также и весь завод производит на меня впечатление чего-то реального, настоящего – не то что какие-нибудь вспомогательные жестянки, от которых не тепло и не холодно, или абстрактный «продукт», а вполне достоверные, всамделишные стулья, шкафы, диваны. Завод имеет в себе некую занимательность: очень уж фокусно, почти виртуозно закладывается простое бревно с одного конца и вылезает мебель с другого. А посередине вереница промежуточных звеньев в виде раскройки, полировки, кишок, по которым летит сжатый воздух, образующих целый Конвейер...

Стоит призадуматься (и я над этим думал в последнее время): что являет собою Завод? Не этот, конкретный, а вообще, как таковой, в метафизическом содержании слова. Ведь не может быть, чтобы такая большая и мудреная затея ничему не учила, не служила прообразом, не имела бы аналогий в природе мира и человека. Зачем-то нужен этот процесс, обеспечивающий, как здесь говорят, «выпуск стула»?..

Аналогия с живым организмом, с произрастанием зерна напращивается мгновенно. Кровообращение, пищеварение, мета-

морфоза вещей и веществ, проходящих эмбриональные стадии... Но сходство тотчас нарушается, как вспомнишь, что все перемены осуществляются извне, в виде стороннего, снаружи, воздействия и потому не содержат в себе ничего таинственного. Вот если бы стул вырос из бревна, как плод, формируясь в силу своих, скрытых внутри, древесных соков!..

Скорее процесс производства воссоздает известную схему биологической эволюции, примем ли мы за основу Ламарка с его влиянием внешней среды (сушилка сойдет за пустыню, пилорама с бассейном – за земноводный период) или остановимся на естественном отборе, устраняющем из примитивной доски все лишнее, нежизнеспособное в породе стула. Теория эволюции принимает в этом образе несколько пародийный оттенок и наводит на опасение, не зародилась ли она под впечатлением фабрики, откуда и получила первые уроки-примеры и заручилась идеей прогресса-конвейера?..

А в машине есть прямое напоминание о животном, но это тоже не самый зверь, а его карикатурный скелет.

*11-12 января.*

Твои письма, Машечка, хорошо до меня доходят. А плохо то, что ты подумала, что они пропадут на Первом, и пишешь реже обычного в ожидании нового адреса, но я-то знаю, как он еще не скоро к тебе попадет – и вот как ты теперь будешь беспокоиться, и когда ж я от тебя начну все получать???

Вот еще: ты ждала и думала, какие слова ко дню рождения, а, получив, молчишь: или они не то, что тебе хотелось, или что?..

А я все вспоминаю. Например, про то, как мы катались на лодке (еще до байдарочных рейсов) и – в той же связи – как ты залезла на мельницу под Ферапонтовом. А ты помнишь?

И еще хорошо бы нам поскорее с тобою свидеться, и, по-видимому, февраль – наилучший вариант, а когда поточнее, в начале или в конце февраля, – сообразуйся с обстоятельствами и со здорьем. Только вот что надо непременно иметь в виду.

Во-первых, возможно, продолжатся очереди, хотя в феврале их должно быть меньше, чем сейчас, и, если не будет гарантии, надо запастись временем и терпением.

Во-вторых, часто бывает, что дают на два дня, а иногда – всего лишь на одни сутки.

В-третьих, я знаю, что ты за все это время, приезжая ко мне, не допускала никаких нарушений, но тем не менее учти, что здесь очень строго и любая оплошность может повлечь прекращение свидания.

А я по тебе совсем истосковался. <...>

Кроме тебя, мне больше никто не пишет. И даже с Новым годом никто из друзей не поздравил, я даже удивился. Но я совсем не в обиде: потому что все это необязательно.

А ты – обязательна и абсолютна. И здесь с моей стороны не может быть сюрпризов. И ты про меня все знаешь, и, может быть, единственное, о чем не вполне догадываешься (догадываться-то ты, конечно, догадываешься, но не совсем сознаешь), это про то, как ты любима и каким сиянием окружена.

И как теперь у вас со здоровьем? Господи...

14 января.

Так как следующее письмо к тебе доберется только в середине февраля (!), а ты вдруг надумаешь приехать ко мне раньше (!!), – я сейчас перечислю некоторые предметы первой необходимости, что было бы неплохо мне привезти:

- 1) *трусики 2 пары* (совсем оборвался);
- 2) майка без рукавов (по пословице, что сани готовят с лета, а телегу зимой), желательно потемнее;
- 3) *тапочки* (тем более, что уже сейчас мне просто невтерпёж работать в сапогах или в валенках);
- 4) *кофе растворимый* (хорошо бы не меньше, чем в прошлый приезд);
- 5) кофе в зернах (желательно уже смолотый);
- 6) папиросы-сигареты;
- 7) табак позапрошлого типа, душистый, один мешочек.

Остальное – по ситуации.

Из еды на время встречи: очень мне почему-то захотелось (ты извини эту блажь, но иногда, понимаешь, организм просит какой-нибудь деликатности) сметаны (хорошо бы рыночной) и к ней пирожного. А из существенного, конечно, – яичница с колбасой и курчонков. Но ради всего этого не расточай ни денег, ни сил. Сложно везти сметану – ну ее к лешему. Безо всего я обойдусь, проживу. Только не без тебя. И потому очень хочу, чтобы приезжала скорее.

15 января.

Случаются трогательные эпизоды. Встречаю одного знакомого, а он со смущенным видом вдруг говорит:

– Я очень извиняюсь, А.Д., но мне никогда не случилось видеть вас голым...

– ?!

– Да тут вы по приезде, говорят, мылись в бане, и мне рассказали, что вы очень худой.

Ничего себе рассказы.

А бывают люди, настолько себя уважающие, что не верится, когда слышишь от них такие, например, рассуждения:

– В моей жизни и биографии нет ничего, кроме заслуг перед человечеством...

– Таких людей, как я, везде только награждают...

– Беру на себя смелость заверить вас, что с таким бескорыстным человеком, как я, вы еще не встречались...

Эта откровенность до того беззастенчива, что разеваешь рот и давишь смех и не раздражаешься, пока не вспомнится, что подобные люди даже в троллейбусе стараются рассесться пошире и занять места побольше. И тогда злишься.

А вот из породы мечтателей:

– Почему Москва не в Сухуми?! Вот если б в Сухуми Москва была!.. Красивейшее место!..

Странные проблемы волнуют иногда человека. Например, верблюд – о котором и речи не было в разговоре, но кто-то вдруг вспомнил:

– Верблюд! До чего некрасивая животная, а вот мясо – вкусное...

*16 января.*

И есть еще хорошие обороты: «Я снова и снова, тысячу раз заявляю», «распутать заколдованный круг».

А тебе известно, что в австрийской коммунистической газете «Volksstimme» 27 ноября 1966 г. было опубликовано что-то вроде интервью В.Аксенова, который ездил недавно по Австрии и высказался как противник нашего приговора?

А еще очень мне скучно жить, когда ты не пишешь. А ты не пишешь и не пишешь...

*16 января.*

Ты мне теперь так мало и скудно пишешь, что только мое общее к тебе обожающее отношение заставляет продолжать это письмо и не поставить точку и не отослать его немедленно, сопроводив горькими воплями...

Почему-то пришло в голову, что поэзия Анны Ахматовой похожа на пруд или озеро, отороченное лесом, или, по крайней мере, на зеркало, в котором все кажется менее реальным, но более выпуклым, чем в действительности. Отражение яркого неба и блистающих облаков, которые от этого становятся еще ярче, – в черной заводии, где черти водятся, но на поверхности ни зыби, ни плеска: все в невидимой тишине, в озарении темного, подводного света. Заливка. Белое на черном, черное в белом. Зависимость от фона, который по-зеркальному гладок и глубок, траурен, на котором контур предмета резок, и в нем посверкивает пронзительное, магическое, непонятно откуда берущееся, потому что «ничего нет».

То же: низкий, бархатный фон ее голоса, и рокошущая манера читать, и ахматовское платье, глухое, закрытое. То же: традиционность Ахматовой, ее пристрастие к классическому зеркалу стиха, в которое она смотрится пристально и где, как в лучших венецианских затонах, отражается и нынешний день, и живая мелодия речи, торжественно, авторитетно – на неподвижном фоне Лирики прошлых столетий. «Там Дант прошел и воздух пуст», – передал это ощущение Клюев, производимое Ахматовой: как в зеркале, когда взглянешь, кажется – кто-то только что был и вышел и вещи настороженно прислушиваются к отсутствию.

Зеркало у Ахматовой появляется как формула ее поэтического стиля. Жест застылости, знак почета и немоты, величия. А цвет ее всегда черный. Каждого спросите: какого цвета Ахматова? И каждый скажет: черного.

В переводе из Терьяна, наиболее сродного ей в армянской поэзии:

Звонит покой полей, и льет небесный свод  
 Неистошимый свет печали и молчанья.  
 В алмазном зеркале немотствующих вод  
 Сияют облаков живые очертанья.

Последние две строки – экслибрис Ахматовой. И когда она в каком-то стихотворении вызывающе произнесла: «Из мглы маги-

ческих зеркал», – ей, разумеется, не мог не припомниться Пушкин с его «магическим кристаллом», сквозь который все ясно видать, а вот у Ахматовой – зеркальная мгла, откуда никто не выглядывает, а только скользят по поверхности титулованные отражения. Таков аристократизм Ахматовой – алмазное зеркало в обрамлении Санкт-Петербурга, Царского Села (Версаля) – под стать ее чопорной позе, всегда позе, тоже играющей роль фона. Вернее, роль и фон, на котором она играет, медлительная, важная, чтобы не потревожить эту замороженную воду, – слились в ее позе, в неподвижном, зеркальном состоянии Королевы.

*17 января.*

Дни – каждый в отдельности – бойко проскакивают по образцу чурок, которыми каждый день занимаюсь, а все вместе повторяется и тянется нескончаемо. Слегка побаливает голова: на лбу – дуля: «боевое крещение», трахнуло палкой. Мороз, вчера доходило до 37-ми, и столбы дыма, сверхъестественные, как на детском рисунке, упираются вертикально в пунцовые небеса и так стоят часами – не растекаясь. Похоже на извержение Везувия, а к печкам больше подошло бы название – «топка».

Читальный зал временно закрыт, и деться некуда. Вспоминается почему-то дом отдыха, куда посылали на каникулы примерно в 38-м году или в 36-м. Холод, койки, одиночество, приставания и возня мальчишек, но тогда до темноты уходил в лес на лыжах.

В бараке и в цехе очень тепло. Монотонное, тирзаящее гудение пил.

Почитываю журналы. В «Записных книжках» Тынянова\*, напечатанных в «Новом мире», наткнулся на фразу, очень рассмешившую: «Наибольшее впечатление в западной литературе за последнее время произвели на меня Фейхтвангер и Хемингуэй». Никогда не подозревал. Случайное звуковое сочетание подтверждается. Действительно, как подумаешь: самые модные тогда были писатели. И даже – Тынянов!..

Еще прочел «Комедиантов» Гр.Грина, заметно припахивающих Хемингуэем. Все о действии скучает – западная болезнь.

Смотрела ли ты новомирскую (№ 8) статью «Помощник-промысел»?\* – полезна и любопытна, и отчасти касается прикладного искусства, и отчасти решает в твоём вкусе.

А ты даже не пишешь, получены ли мои новогодние открытки. И вообще что-то мне последнее время неприятно и одиноко.

Ходит грипп, грозный, азиатский, со скачками температуры в 40° и очень повальный. Берегитесь, деточки.

*19 января.*

Нет сил откладывать еще на день, и пошлю это письмо завтра утром: пусть быстрее придет ответ.

Молю, чтобы вы не разболелись. <...>

Будьте здоровы, будьте здоровы! Слышите?

Смотрите у меня, любимые и неделимые.

Целую.

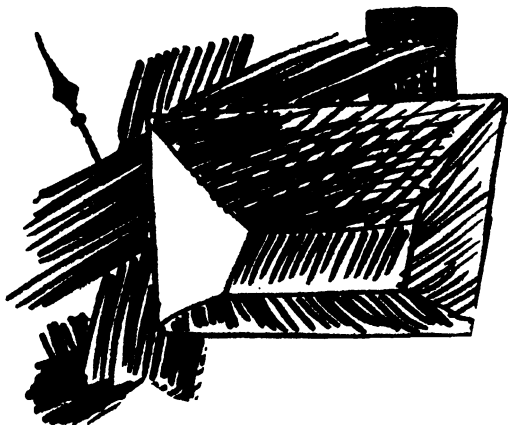
А.

*19 января 1967.*



В «Записных книжках» Тынянова... – Ю.Тынянов. Из записных книжек (Новый мир. 1966. №8).

...новомирскую (№ 8) статью «Помощник-промысел»... – В статье Ю.Черниченко «Помощник и промысел» (Новый мир. 1966. № 8) шла речь о том, что народные промыслы могут помочь развитию интуризма и возрождению колхозов.





## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Машечка милая!

Что же это происходит?! Вы там, оказалось, болеете страшными болезнями, начиная с Нового года, а я ничего не знаю... Как твоя нога теперь, и носила ли ты ее по врачам, и почему не проходит? А с Егором самое грустное, что опять – легкие. Как бы их не испортить. Поговори с доктором Любошицем, как сделать в дальнейшем, чтобы обезопасить, и какие имеются методы укрепления легких? У меня такое впечатление, что Егор эту зиму даже и не гулял ни разу по улице – так ли это?

Очень жду от тебя полноценные письма, – в том смысле, что вы поправились, в первую голову, и подробные – во вторую. Я тут все перенесу, только вы для этого не болейте – нельзя, невозможно вам болеть.

У нас тоже свирепствует грипп, меня же пока миновало. Может быть, потому что подарили несколько луковиц и каждое утро на завтрак я в течение недели заправлялся этим знаменитым лекарством. А насморк утихомирился тем, что когда разгружаю вагонку, то дышу деревянным жаром, исходящим от сушеных дощечек, и это тоже благотворно влияет. Грипп же зверский, с высокими температурами.

Может, я еще и заболēju, но ты все равно не волнуйся: с гриппом сейчас сразу кладут в постель.

Я тебя люблю самым глупым образом и, воображая твою фигуру, мысленно скачу и прыгаю вокруг и произвожу массу восторга и нежных ласк. Очень хочется не отрывать от тебя глаз.

*22 января.*

Перед сном, когда гасят свет, в кусочек окна, расположенного супротив, мне со второго этажа видна картинка в духе Брейгеля: какие-то уютные домики с толстыми ломтями снега на кровлях – в тонком переплете веток. Полюбовавшись, засыпаю с умиротворенными мыслями. Вообще здесь довольно красиво, а было бы поменьше народу – эта зима с ее возвращением к традиционной погоде была бы неотразима. Вдоволь снега, инея, и даже морозы имеют резон как нормальное, устойчивое дело зимы. А морозы у нас сильнее московских. Когда у вас 20° – здесь 30.

*25 января.*

Наконец-то ты получила мое письмо отсюда и можешь, наверстывая упущенное, писать мне почаще. Правда, покамест после этого пришло от тебя только одно.

Эту неделю работал во вторую смену – с пяти до часу, – и такое распределение времени, при котором свободным получается почти целый день, гораздо приятнее.

Только все еще трудно переносу не выключаемое ни на минуту радио, висящее как раз над моей кроватью, где я обычно и занимаюсь, сидя по-турецки. И когда слишком пристают с разговорами, покудова я «новичок», а многим делать нечего. Или, бывает, уставится какой-нибудь тип, а я читаю или просто думаю, а он стоит, как бык, и разглядывает меня, будто витрину или афишу, и жутко я завожусь в результате таких долгих рассматриваний, а сказать нельзя.

Егорушкина фотография у елки очень нежная и мечтательная и очень по мне, а почему вторую не шлешь, а также те две, которые ты привозила, а я просил прислать и ты обещала? Вообще что-то ты в январе совсем меня забросила.

Мне же сняться и прислать – теперь совершенно исключено, нечего и думать. <...>

А вот какую историю недавно рассказали. Шлет один своей старухе письмо и просит привезти побольше кофе в зернах. Ну, она и привезла 36 кг. Пять выдали, а остальное старуха повезла обратно. И потом пишет деду, что они дома измучились с этими зернами. И суп из них варили, и лепешки пекли – всё горько. <...>

Зато смотри, какую фразу мне довелось услышать:

– Бей в глаз – делай клоуна!  
Какова артикуляция! Гениально.

*27 января.*

А «Простор» я получил. Стихи чудесные\*. И еще мне понравилось, как Надежда Яковлевна сказала про Оську\* – просто и навсегда. И я хочу, чтобы в далеком будущем ты так же бы ко мне относилась.

Начали поступать от тебя длинные известия, и я начал малопомалу узнавать круг твоих печалей и забот за этот тяжелый месяц – январь.

Относительно просьбы о восстановлении дружеских отношений\* – мне кажется, что дружба, как и любовь, вещь не восстанавливаемая на договорных началах и тут никакими – даже самыми разумными и горячими доводами – не поможешь. Да я и (говоря между нами) не уверен, что к этому надо стремиться. Что конечно – то кончено. И может быть, все это к лучшему. Но пока что, в целях удобства, я за наличие дипломатических отношений, пусть самых минимальных. Объяснительное же письмо писать я тебе не советую.

Я тоже никаких писем не получаю, и это меня вполне устраивает.

Гораздо больше меня волнует твоя больная нога, к которой ты обязательно должна употребить всю существующую медицину, чтобы ликвидировать этот прорыв. Хотя, на худой конец, я и на хрому согласен, если это будешь ты, все-таки было бы приятнее иметь тебя с двумя ногами. Не говоря уже о том, как же мы втроем будем ходить в кино, гулять и путешествовать?..

Кстати, знаешь ли ты, что в «Неделе», в каком-то январском номере, был помещен гороскоп, для нас с тобою довольно неблагоприятный на этот год? Очень я огорчаюсь таким плохим гороскопом, требующим много внимания и энергии. И так от нас уже ничего не осталось. Но все равно будем держаться и крепиться. Да, Машечка? Да, мой друг? Да, моя крошечка? Ну вот.

*28 января.*

А из хороших гороскопов – я недавно прочел в «Библейских холмах» Церена (книжка про археологию, вроде Керама), что 23 декабря родились Шампольон и Жан Франсуа – знаменитейшие археологи, и этой дате автор придает особое археологическое значение в смысле благоприятной звезды.

Вот еще какое дело, доставшееся мне, так сказать, по наследству. Одному молодому человеку, помешанному на 18-м веке, Юлька обещал узнать некоторые факты и даты русской истории и даже как будто обращался с этим запросом к Фаюмам\* или кому еще, но не успел получить ответа. Если эта просьба выполнена – пусть пришлют на мое имя. Или – будет оказия – передай Фаюмам, если они ничего не получали, но – не в пример Желябову – все это в достаточной мере фуфло, и в крайнем случае вопрошатель подождет до лучших времен в своей жизни. Ты сейчас увидишь почему: вопросы вот такие:

- 1) от каких Долгоруких (Голицыных) происходят.
- 2) когда родились.
- 3) список литературы о:
  - а) фельдмаршал кн. Василий Владимирович Долгорукий (умер 11/II 1746).
  - б) фельдмаршал кн. Мих. Мих. Голицын (умер 1730).
  - в) генерал-адмирал (с 5/IX 1756) кн. Мих. Мих. Голицын.
  - г) был ли в то время еще генерал-лейтенант Михайла (кажется Михайлович) Голицын?
  - д) (по тем же трем пунктам): кн. Алексей Григорьевич Долгорукий, кн. Василий Лукич Долгорукий (оба члены Верховного Тайного Совета).

Навести справки удобнее всего по Русскому Биографическому словарю, где в конце каждой статьи должна быть и литература.

Если возникнут затруднения, ничего не предпринимай и не трать понапрасну время. Много тут людей с разными пунктами, и на всех не угодишь.

Кстати, к великой радости, меня переложили на другую койку, которая имеет сетку и лучше расположена, а главное – я ушел от своего соседа, о котором забыл сказать, что он того. Давнее мое любопытство в этой области удовлетворено сверх меры, и больше не хочется. Очень я доволен своим новым местом, оно тоже на втором этаже, но подальше от радио, и сплю,

не просыпаясь по несколько раз в засып («в ночь» – не скажешь).

А еще я получил письмо от Игоря, в котором тот спрашивает, что я думаю на тему – не запросить ли соответствующие инстанции о переквалификации нашего дела по новому указу\*? Скажи ему: не надо. Предоставим инстанциям думать, разбираться и выносить соответствующие решения.

Тут я столкнулся с еще одной категорией – жалобщиков, и проникся ощущением древнерусского слова «ябеда». Существуют написавшие по несколько сот, а то и тысяч (если они не врут) бумаг – во все инстанции. Иногда после 1674 однотипных отказов 1675-я жалоба вдруг срабатывает почему-то и проситель освобождается. Но на эту рулетку угроблены годы, да и в итоге – психопат, умеющий разговаривать лишь на тему собственной мании: «При Вашей высокой занимаемой должности Вам, через имеющиеся у Вас каналы...»

– Ты бы лучше исчез, как привидение!..

А еще имеется термин «йогнутый» – главным образом на почве Хатха-йоги. Мой сосед был из таких.

*31 января.*

Надоели морозы. Или это какой-то феномен природы, но таких долгих холодов здесь никто не помнит, а они у нас всё не проходят, колеблясь в пределах 30–40–46°. При довольно скученном образе жизни такая погода – наказание. В первое время было забавно, а теперь только и ждем, только и разговоров что о весне.

И письма от тебя приходят мало – хоть я и всё понимаю – болезни одолели – а все равно плохо.

Одна у меня сейчас отрада и утешение – твоя новая фотография, которую сразу поместил в записную книжку, и всегда при ней. В том же блокноте у меня лежит курительная бумага, и, когда курю – на работе ли, где ли, – уж непременно приоткрою и люблюсь. Фотография из удачных и своим выражением очень меня обнадеживает и усиливает во мне разные хорошие чувства. Уж очень ты на ней победоносная и красивая...

Так, поглядывая на нее то и дело и потихоньку вздыхая, поджидаю твоего приезда (получил телеграмму).

С работой – благополучно, и я не желаю ничего другого – по пословице «от добра добра не ищут». Выполняю все наличные вагонки и, если в общей сумме они не составят нормы (еще неизвестно), это уже не моя вина: мы-то свое делаем и, сколько приходит вагонок, – все успеваем выгрузить.

А ларек в данный момент меня не беспокоит: в конце прошлого года неплохо заработал и на этом запасе смогу просуществовать достаточно долго.

Ты спрашиваешь о Юлькиных друзьях и как я тут пришелся. Конечно, судить обо всем пока еще рано, и опять-таки на всех не угодишь. Но мне кажется, что моя флегматичность и склонность к некоторой обособленности позволили мне установить достаточно естественную и в то же время не очень обременительную форму общения с окружающими, проявляющими подчас бурную навязчивость, обидчивость, панибратство, взаимную нетерпимость и т.д. В общем, стараюсь иметь ровные и не слишком короткие отношения и, при взаимном доброжелательстве, держаться на известном расстоянии и быть самостоятельным, без чего мне было бы просто трудно прожить. Поэтому и с Юлькиными приятелями у меня состоялось обычное, но не слишком близкое знакомство, и я не чувствую себя обязанным проводить с ними много времени или превращать это знакомство в постоянную дружбу. Вдобавок, в результате пересменок, получилось так, что когда я свободен – иные работают или спят – и наоборот, и в итоге волей-неволей общение даже со старыми знакомыми стало более разреженным и бывает, что я по неделям не вижу тех, с кем раньше сталкивался каждый день. И это меня вполне устраивает: хочется иметь больше свободного времени, да и вечное пребывание на людях изматывает. Сильно надеюсь на весну и лето, когда появится место для прогулок и занятий и, следовательно, легче будет располагать собою.

С местной администрацией у меня, кажется, тоже устанавливаются довольно ровные, нормальные отношения. Подводя некоторые итоги, можно считать, что я здесь устроился не хуже, чем на Первом, – за вычетом – пока что – одного пункта, остающегося под вопросом, – это как будут здесь проходить свидания с тобою (?!)... Очень я тебя жду в гости!

(Кстати – немного жалею, что написал тебе только про один

мешочек табаку, а он тем временем тает и тает, и если успеешь – неплохо было бы два мешочка, и самосад тоже можно, а не обязательно душистый.)

*3 февраля.*

Получил письмо от Меньшутиных, но на их вопрос о Булгакове я хочу дождаться, когда появится роман целиком.

Вокруг много интересных книг, и я за все хватаюсь. Например, в настоящий момент читаю «Дон-Кихота» (здесь имеется в библиотеке 1-й том), «От пчелы до гориллы», статьи Ключевского, «Марию Стюарт» Цвейга и несколько журналов. И все никак не доберусь до Пушкина, по поводу которого хочется написать легко, весело и далеко от академической сухости – что-то вроде «Прогулок с Пушкиным»\* по пушкинским текстам. Эпиграфом я бы поставил:

«Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» – «Да так, брат, – отвечает, – так как-то всё...» Большой оригинал».

Н.В.Гоголь, «Ревизор».

При всей нашей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе. Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, за которыми его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами, – трудность заключается в том, что весь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего особенного: «да так... так как-то всё...» (жест неопределенности). Позволительно спросить, усомниться (и многие усомнились): да так ли уж велик ваш Пушкин и чем, в самом деле, он знаменит за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес, про которые ничего не скажешь, кроме того, что они ловко сшиты?

...Больше ничего

Не выжмешь из рассказа моего, –

резюмировал сам Пушкин это отсутствие в его сочинении чего-то большего, чем изящно и со вкусом рассказанный анекдот, спо-

собный нас позабавить. И быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей – словно бы в ответ и в отместку на его громкую славу.

Отбросим не идущую к Пушкину и к делу тяжеловесную сальность этих уличных созданий, восполняющих недостаток грации и ума простодушным плебейским похабством. Забудем на время и самую фривольность сюжетов, к которой уже Пушкин имеет косвенное отношение. Что останется тогда от карикатурного двойника, склонного к шуткам и шалостям и потому более-менее годного сопровождать нас в экскурсии по священным стихам поэта, без того чтобы они сразу не настроили на возвышенный лад и не привели прямым каналом в Академию наук и художеств имени А.С.Пушкина с упомянутыми венками и бюстами на каждом абзаце? Итак, что останется от расхожих анекдотов о Пушкине, если их немного почистить, освободив от скабрёзного хлама? Останутся всё те же неистребимые бакенбарды (от них ему уже никогда не отделаться), тросточка, шляпа, развевающиеся фалды, общительность, легкомыслие, способность попадать в переpleты и не лезть за словом в карман, парировать направо-налево с проворством фокусника – в частом – по-киношному – мелькании бакенбард, тросточки, фрака... Останутся вертлявость и какая-то всепроникаемость Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, приняв на себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов, миссию козла отпущения, ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего, универсального человека Никто, которого каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается.

– Кто заплатит? – Пушкин!

– Что я вам – Пушкин – за всё отвечать?

– Пушкиншулер! Пушкинзон!

Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хилять в рифму.

– Ну что, брат Пушкин?..

Но причастен ли этот лубочный, площадной образ к тому прекрасному подлиннику, который-то мы и доискиваемся и стремимся узнать покороче в общении с его разбитным и покладистым



душеприказчиком? Вероятно – причастен. Вероятно, имелось в Пушкине, в том настоящем Пушкине, нечто, располагавшее к позднему панибратству и выбросившее его имя на потеху толпе, превратив одинокого гения в любимца публики, завсегда-тая танцулек, ресторанов, матчей...

Легкость – вот первое, что мы выносим из его произведений в виде самого общего и мгновенного чувства. Легкость в отношении к жизни была основой мирозерцания Пушкина, чертой характера и биографии. Легкость в стихе стала условием творчества с первых его шагов. Едва он появился, критика заговорила о «чрезвычайной легкости и плавности» его стихов: «кажется, что они не стоили никакой работы», «кажется, что они выливались у него сами собою» («Невский Зритель», 1820, № 7; «Сын Отечества», 1820, ч. 64, № 36).

До Пушкина почти не было легких стихов. Ну – Батюшков. Ну – Жуковский. И то спотыкаемся. И вдруг откуда ни возьмись ни с чем, ни с кем не сравнимые реверансы и повороты, быстрота, натиск, прыгучесть, умение гарцевать, галопировать, брать препятствия, делать шпагат и то стягивать, то растягивать стих по требованию, по примеру курбетов, о которых он повествует с таким вхождением в роль, что строфа-балерина, строфа-кобылица становится рекомендацией автора заодно с танцевальным искусством Истоминой:

...Она,  
Одной ногой касаясь пола,  
Другою медленно кружит,  
И вдруг прыжок, и вдруг летит,  
Летит, как пух от уст Эола;  
То стан совет, то разовьет  
И быстрой ножкой ножку бьет.

*5 февраля.*

Это, конечно, еще не тема, а пробная преамбула к ней – один из возможных способов начать непринужденную беседу о Пушкине путем использования, подключения комедийного хлестаковского образа, который только для этого нам и нужен, а после его вытолкать в шею и перейти – в том же тоне – к более серьезным вещам, т.е. к Пушкину непосредственно.

Машенька, радость моя. Сейчас посмотрю еще раз на твое миловидное изображение и заключу его мысленно в свои объятия.

Посмотрел и заключил. Письмо это я задержал на один день, потому как вчера было воскресенье, а я жду твоих писем, которые приносят в половине пятого, перед самым моим выходом на работу (продолжаю пока работать во вторую смену), а сейчас полдень. А то вдруг понадобится сказать тебе что-то срочное, а следующее письмо пойдет к тебе нескоро, уже после нашей встречи, надеюсь. Поэтому целую тебя со всех сторон и оставляю немножко места на возможную приписку.

Будьте здоровы, мои светики!

А.

6 февраля 1967.

<...>



**Стихи чудесные.** – Стихотворения О.Мандельштама в журнале «Простор» №11 за 1966 год.

**...как Надежда Яковлевна сказала про Оську...** – Надежда Яковлевна Мандельштам (1899–1980) – вдова поэта. Синявский отвечает на мое письмо. Цитирую: «Была вчера у Надежды Яковлевны. И встретила она меня вопросом: – А вы знаете, что сегодня Оськин день рождения? – Знаю, – сказала я, – и даже принесла вам картинку для кухни».

**...о восстановлении дружеских отношений...** – Лариса Богораз попросила о восстановлении дружеских отношений, поставив, однако, условие: никогда не вспоминать прошлое. В этом ей было отказано.

**Фаюмы** – это прозвища моих университетских друзей: искусствовед М.И.Домшлак называлась Марина Фаюм, а искусствовед Ю.Я.Герчук назывался Юра Фаюм. Им ничего не оставалось, как пережениться.

**...о переквалификации нашего дела по новому указу?** – Имеется в виду новая статья УК, 190-я, которая мягче статьи 70-й.

**...что-то вроде «Прогоулк с Пушкиным»...** – Не что-то вроде, а именно «Прогоулки с Пушкиным» начинаются в этом письме.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Милые мои мальчики и девочки, Машенька и Егорушка!

Что мне нравится в рассказах о вас – это как Егор тихо любил вался на елку, как слушал сказку про козу и играет в Уска\*, и даже как слушает дядин транзистор, что вполне невинно, а просто из коробочки льются загадочные звуки, и получается сплошное загляденье и удивленье. Я тоже в далеком возрасте любил радионаушники (тогда еще не изобрели громкоговоритель), в виде исключения имевшиеся у тети Наташи\*, и, как сейчас помню, даже не жалел, что у нас нету таких, настолько это было недостижимо и сверхъестественно. Боже, какая безобидная старина, какая брэнность, но и величие техники в этих наушниках, висящих на волоске, на соплях, неуверенных, первых, как бумажный шар братьев Монгольфье!.. <...>

На своей новой фотографии, лежа на пузе, Егор очень трогателен и, пожалуй, наиболее похож на мои детские портреты (где, например, я, стоя на роллере), но мне почему-то дороже он под елкой.

Музыкальные пластинки пришли, но, выдавая, сказали, что впредь больше не выдадут. Еще не слушал: туго с проигрывателем и пока не можем добиться; хоть тут есть и ростовские звоны, и другие приятные реквиемы – в частности, оставшиеся по наследству от Юльки.

А еще мне ужас как надоело смотреть на скучающих мужиков, которые, томясь бездельем, не знают, чем бы развлечься. «Покажите картинку», – пристал один недавно, едва я успел развернуть твое письмо. Отказал довольно сердито, а он как будто и не обиделся.

Самый тяжелый день – воскресенье, когда никто не работает, и барак набит, и лезут с разговорами. А в будни хорошо, пока ра-

ботаю (четвертую неделю) во вторую смену. При ней удастся создать что-то похожее на мой обычный, старый распорядок: ложусь в половине второго, встаю в восемь, а в главную человеко-нагрузку удаляюсь трудиться, и лишь в воскресенье приходится отдуваться за все мирные и тихие дни.

*10 февраля.*

Жизнь все больше налаживается: к примеру, возле меня на нижней койке поселился знакомый мальчик, и, когда он в другую смену, можно сколько угодно сидеть. Опять открылся читальный зал; но сейчас я туда не стремлюсь: днем спокойнее заниматься в полупустой жилой секции, и с кровати меня вытащить сложнее, чем из общего зала.

После долгого перерыва (с конца декабря) возобновил занятия иностранным языком. Только теперь – по воскресеньям два часа, ну и кое-какие домашние уроки. Очень я бездарен к языкам. А тут есть полиглоты, включая португальский, арабский, персидский, древнееврейский, японский (!).

Ты сетуешь, радость моя, на четырнадцать страничек, а сама меня покинула в письмах, но я не нарочно, а не всегда поспеваю, а также трудно в безответности, вот и несколько сократился.

Очень я сейчас кусаю себя за локти: самое тебе время приехать: поток навещающих резко уменьшился, и есть свободные комнаты. Убеждаю тебя не откладывать и лелею на все лады.

*11 февраля.*

Вот я какую цитату встретил тебе в объяснение некоторых женских странностей из романа с привидениями. Тебя удивляет, как можно так врать. А Стефан Цвейг в «Марии Стюарт» правильно пишет: «...Одним из самых примечательных свойств истеричных или склонных к истерии натур является способность не только к искусному обману, но и к самообману. ...Елизавета, очевидно, верит в свою искренность, когда клянется направо и налево, что ни делом, ни помышлением не виновна в казни Марии Стюарт. Действительно, одной половиной души она не желала этой казни, и теперь память, опираясь на это, постепенно вытесняет у нее сознание соучастия в казни, которой она все-таки желала исподтишка. ...Елизавета так истово внушила себе, что казнь

произошла помимо ее воли, что в словах ее отныне слышится прямо-таки святая убежденность».

И вообще, наверное, люди гораздо реже врут, чем обманывают себя. А книга Цвейга мне понравилась больше ожидания, и там для тебя тоже есть разные интересные психологические наблюдения.

А читала ли ты «Письма из Русского музея» Солоухина («Мол. гвардия», № 9 и 10)? Много прописного, преподносимого как откровение; кстати, он сообщает секрет расчистки икон, и теперь начнут любители драть нашатырем. И все же им сказано нечто верное и полезное про памятники старины (имеющее к нашему Северу прямое отношение), и я никогда не думал, что он окажется столь решительным и даже интересным.

Тебе непременно надо познакомиться с этими статьями: это, видимо, нынче крайняя точка в отношении к древнерусским традициям.

*13 февраля.*

Существуют простые проблемы, над которыми только дурак ломает голову, но как я в дураках обретаюсь, они меня порой ужасно занимают. Откуда, думаю, произошла у человека физиономия плача и смеха, так что, когда ему плохо, губы съезжают вниз, а когда весело – вверх, и все лицо перекашивается и прыгает – вибрирует, и вот роковой вопрос – зачем оно вибрирует и что за этим кроется? Не есть ли – допустим – такое передергивание лицом способ балансировки, поиски спокойствия, из которого мы выведены причиной смеха и плача и к которому возвращаемся, минуто-другую подергавшись, покачавшись в разные стороны, наподобие канатоходца, восстанавливающего равновесие? И не являются ли гримасы плача, ужимки смеха, столь похожие друг на друга, защитной реакцией, художественной пантомимой нашего организма, предпочитающего имитировать предсмертные судороги, а не испытывать таковые?.. Вслед за профилактической гимнастикой лицевых мышц и соответствующего сотрясения тела наступает облегчение: игрою физического покрова мы уняли дрожь души, внешней встряской предотвратили внутренний взрыв...

А еще я понемногу учусь распознавать на небе созвездия –

один товарищ показывает, пока ночью ожидаем развода, и уже знаю Льва, Возничего, Близнецов, Орион и некоторые другие.

А еще на вагонках большими буквами написаны названия, как на кораблях, – «Лолита», «Гертруда», «Сюзанна» и сплошь в этом роде.

*14 февраля.*

Не помню, имеем ли мы новую книгу о Византийском искусстве, выпущенную в 1966 году роскошным изданием в 11 рупчиков, и стоит того, с уклоном в прикладную область. Недавно сюда одному прислали, и я играл в нее целый день, и очень в этой книге прелестные цирковые сцены, а также Иона с китом и Авраам на тарелке. Надо бы нам этой книгой обзавестись – самое шикарное, что издавалось у нас в последние годы об искусстве.

Давно не видал я картинок, а тут вдруг попался Шагал и немножко Клея, и я с ними встретился как с родными.

А еще я поместил в записную книжку для ежечасного наслаждения тебя и Егора в нескольких дополнительных ракурсах. Это – Онега на тему следа Тарасова\*, а из новых – ты в очках, с поднятыми ручками, от которых, как известно, мужчины гибнут и внутри у них все холодеет, а также ты с Егором («сурок») и Егор из смешной серии, где он (на другой фотографии) – ушастик.

И подряд на вас люблюсь, и очень это приятно – иметь вас всегда под руками.

*15 февраля.*

Может быть, я ошибаюсь и зря тебе об этом пишу, и все неправильно и не так, но только я недавно перечитал разом все твои письма в этом году, чтобы еще убедиться и проверить одно смутное ощущение, и оно у меня не исчезло. Мне показались они менее полными, чем прежние, за тот год. Возможно, здесь повинны болезни или то, что ты на сей раз решила меня в недостаточной степени извещать об этих болезнях. Или некогда, или устала. <...>

Чувствую, что этот год начался тяжело, что тебе, может быть, теперь не до этого, много забот и трудов, и приходится откладывать, даже иногда отписываться для моего поддержания, и я понимаю такой оборот и не обижаюсь, но не перестаю тревожиться, пока что-то разладилось или увязло и не пускает.

Зная, как тебе нелегко сейчас с Егоркиным и своим здоровьем, я не решился бы тебя дополнительно огорчать этими строчками, если бы не сознание все-таки, что мы скоро увидимся, и все вернется и разъяснится, и это письмо пойдет уже после того. Просто трудно говорить о чем-то еще, когда на сердце камень, а молчать в ожидании новых писем (которые опять прекратились) или до твоего спасительного приезда было бы нехорошо – тем более что время идет, а мое письмо за такими вот ожиданиями не двигается, и что же я тебе пошлю к концу месяца, в котором к тому же дней меньше обычного и ничего не успеешь?..

А ты тоже на меня за это не обижайся. Потому что я тебя безмерно люблю и очень беспокоюсь.

*15 февраля.*

Сегодня мне сказали, что увижу тебя не раньше чем послезавтра, и только послезавтра меня «запустят», и очень это тоскливо – и что воскресенье (целый день!) нам не удастся провести вместе, и что тебе ждать так долго, а я не знаю, как там Егор и как сама ты себя чувствуешь. И что ты делаешь сейчас, и где ночуешь, и как обходишь это ненужное время. Я-то привык ждать, а вот за тебя расстройство, и ведь ко всему больше недели не получаю писем и, если б ты не приехала, не знал бы, что и думать.

А издали ты выглядишь бледненькой и печальной, и у меня сердце разрывается от жалости и любви к тебе, моя деточка и девочка.

*18 февраля.*

Ах, родная моя жена-Маша, Ах!

Пребываю в умиротворенно-разнеженном состоянии после нашей совместной жизни и кратковременного счастья. Вчерась, как расстался, пошел на работу, но ребята не допустили к вагонке, а приказали отдыхать и переживать свидание. А теперь работаю, продолжая переживать. Это уж так устроено, что, наверно, февраль пройдет, как спущусь на землю. А то, что не допустили взять малую толику питания, пускай тебя не угнетает. Не чувствовать себя обязанным – тоже имеет определенное преимущество.

По возвращении к своей холостяцкой койке нашел два письма от тебя, в которых с удовольствием перечитал иные из твоих рассказов, и совсем не скучно было их перечитывать. В первый че-

ред – про Егора, которым проникся еще и еще в эти дни, и очень хочется побыстрее узнать, как он выздоровел, и гуляет ли, и что делает, и о чем говорит.

А как мы с тобой хорошо смеялись в наш последний вечер, и удивительно, что можно так смеяться, сидя в лагере и накануне разлуки, и это замечательно, потому что, значит, нам есть о чем поговорить и чем порадовать друг друга и дышать не надыхаться – словом, у них было много дела\*.

И как ты все ловишь с воздуха и все улавливаешь – например, пушкинское «позады забора» – просто надо расцеловать тебя за это в обе щечки.

А ты как считаешь?

А сейчас я пью растворимый кофе, и он заметно поубавился: угощаю тех, кто раньше потчевал, и с лимоном так приятно, и вкусом и запахом напоминает романтическую вольную жизнь. Кстати, интересно узнать, продается ли нынче такой кофе или как исчез, так и нет его и в помине?

Кроме твоих писем за № 4 и 5 обнаружил на той же койке в отпечатанном виде письмо, которое собираюсь приложить\* сюда – для твоей ориентировки. Дамские шпильки-булавки, естественно, причинили легкое раздражение, но уколы, в общем, достаточно вздорные, чтобы на них реагировать, и поэтому я прошу тебя не махать этим письмом и не применять в связи с ним никаких противодействий и объяснений, как и сам на все подобные укусы не намерен огрызаться, но – придать отстранению и молчанию. Особенно же не следует пускаться в дальнейшие объяснения с Ларой, что неизбежно повлечет новые попытки доказать нашу непривлекательность и свою красоту. Незачем возобновлять дискуссию на тему, которая, как видно даже из этого послания, давно уже выдохлась, и разговаривать не о чем.

Очень надеюсь на твой разум и спокойствие. Со своей же стороны, как ты догадываешься, я не настроен отвечать.

Кстати, за несколько дней до свидания я получил телеграмму от Лары поздравительного содержания и весьма недоумевал: как-то уж очень невпопад. При сложившихся отношениях столь внезапные знаки внимания выглядят слишком демонстративно и кажутся мне лишними.

*23–24 февраля.*



Говоря между нами, в том же послании, пожалуй, меня больше всего задела вульгарная манера клятвы, на которую нет права, и разве знаем мы в точности, что было и будет, чтобы браться с такой яростью рискованными словами?.. Ну, хватит об этом.

А еще я все вспомнил про Эдгара По\*, и ты права, и я очень обрадовался, что ты мне это рассказала, и у меня теперь в голове все всплыло и прояснилось. Вот видишь, как нам нужно с тобой много разговаривать, чтобы ничего не упустить. А ты тоже иногда забываешь хорошие вещи – например, ветряные мельницы, и я тебе тоже могу пригодиться и все припомнить.

А вот какие приятные слова сказаны в жизнеописании Василия Полозова, который (в XVII веке) двадцать пять лет провел на чужбине (Палестинский сборник. Выпуск 15 (78). История и филология стран Ближнего Востока. М.; Л., 1966): «И он, турецкой салтан, по их извету, уведав, что живу я, Васка, у него, салтана, а в их бусорманскую веру не бусорманюсь...», стр. 220. Он был в Иерусалиме, а потом «через пешчаное море на верблюдах» отправился в Египет: «И в старом Египте был, где родился Моисей пророк. И зыбочка каменная и доднесь его цела», стр. 224.

А я тебя люблю. И ты мне очень понравилась. И уже повсюду капель, предвесенняя погода, и при ватных брюках я перелез в трусики, и работать стало вольнее. А интересно, какая будет погода, когда ты приедешь в апреле, и сойдет ли к тому времени снег?

*25 февраля.*

Машенька, детка моя и светик ясный. Уже пора отправлять письмо, а времени совсем не осталось, чтобы его дописывать, и потому приходится быть кратким, а тебе придется поверить мне на слово, что я в тебе души не чаю и все восхищаюсь свиданием с тобою и никак не могу опомниться от этого избытка чувств и мыслей.

Надо срочно отослать поздравительные открытки к 8-му марта, и я это сделал – тебе, Петровым, Нине Казаровцу\*, Лидии. А еще написал твоей маме, но до сих пор не могу найти адреса, перерыл твои письма и совсем в них заплутался, запутался и опять влюбился в тебя, а адреса все не найду и вспомнить не в си-

лах, потому что тогда было слишком много переживаний и я заблудился, так что не знаю, пошлю ли я поздравление Тамаре Константиновне.

Тапочки (не мои) в одном случае ошиблись размером: нужен был 43-й.

А еще я сегодня слушал, наконец, пластинки и среди них твои цыганские романсы, и, помимо восторга, мне было интересно, какая больше понравится, а я не помнил имени понравившейся тебе исполнительницы, и это было вдвойне интересно, и я сразу и решительно предпочел Волшанинову\*, а потом, ища тещин адрес, нашел в письмах твое мнение, и вот оказалось – мы опять совпадаем, и я без ума от этой меткости всех наших с тобою, душа моя, совпадений и просто не представляю, что бы мы делали в жизни – не найди друг друга, и к кому бы я тогда обращался – абсолютно не к кому. А другая пластинка, не Волшанинова, а другая, немного треснула от всех передрыг и плохо играет. Но та, что лучше, играет прекрасно, и не только я один пришел в восхищение, но и все, кто слушал, и в том числе совсем не опытные в музыке люди вздыхали и повторяли мечтательно роскошные фразы о женской любви, и Волшанинова в самом деле своей утрированной манерой и откровенной душевной раздерганностью хватает за сердце и ласкает слух русского человека.

Еще я тебе завтра пошлю перевод на 50 рублей.

А пока до свидания, моя любимая и счастье мое, и опять сначала и можно до бесконечности, засыпая и просыпаясь, только ты и ты только, ну вот, ну вот совсем, целую тебя и обнимаю.

А.

26 февраля.

Прилагаю письмо на 2-х стр. машинописного текста.



...играет в Уска... – Уском называли куклу-варежку, которую подарила Егору Ира Усок, одна из любимых студенток Синявского.

...у тети Наташи... – Тетя Наташа Всеволожская – двоюродная сестра Доната Евгеньевича Синявского, которая жила в Москве на Собачьей площадке.

**...Онега на тему следа Тарасова...** – Имеется в виду фотография из нашего с Синявским путешествия по Северу.

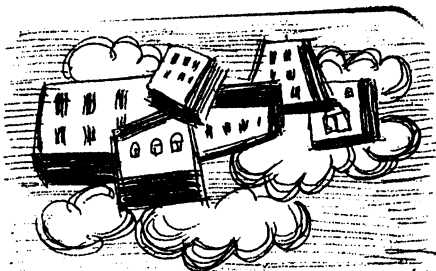
**...словом, у них было много дела.** – Это цитата из первого литературного произведения А.С., написанного им в пятилетнем возрасте и сохранившегося в бумагах матери.

**...письмо, которое собираюсь приложить...** – Речь идет о письме одной из подружек Ларисы Богораз на тему «Марья тебе не пара». Это письмо до меня, к сожалению, не дошло, так как было изъято цензурой.

**...я все вспомнил про Эдгара По...** – Синявский вспоминает наш разговор на свидании о том, как создавался его псевдоним «Абрам Терц» и какое фонетическое сочетание лежало в основе: протяжное слово – «Эдгар», и удар кинжала – «По»! Мечтательное слово – «Абрам»... и нож в спину – «Терц».

**...Нине Казаровцу...** – Нина Казаровец – жена Игоря Голомштока. Ее фамилия в нашей семье склонялась.

**...решительно предпочел Волшанинову...** – Рада Волшанинова – известная исполнительница цыганских романсов.



## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

Детки в клетке!

Не удивляйтесь: пишу вам на обрезанной бумаге, для того чтобы она лучше влезала в конверт. А то приходится погибать, и все топорщится.

Получил еще две Егорычевы фотографии, из которых наипрелестнейшая – с пальцами, считающими Козлят, на уровне – в умывальнике, а может, и краше. И несмотря на отросший возраст, все равно похож на себя и на того, что я еще видел собственными глазами. Узнаю и радуюсь сходству, и росту, и продолжению, и выражению доверчивого простодушия на лице, совершенно сиятельного.

Длинные волосы на Егоре мне весьма по душе, но, может быть, потом будет ему слишком жарко в таком оперенье, и все же не вздумайте тогда стричь наголо и обнажать головку. А то, что бант, – почему бы мужчине, когда есть такая счастливая возможность, тоже себя чем-нибудь не украсить? Пока не дразнят и не обижают.

Егоркина ревность мне тоже нравится. И не потому что он считает себя наилучшим, а потому как Мама в единственном числе и «я» у нее главный, и какие тут могут быть сравнения в худшую или лучшую сторону, когда все это несравнимо, абсолютно и уникально? Тебе бы, небось, тоже было обидно, если б Егорушка начал распространяться на тему, что вот тетя Анна\* знает два иностранных языка, французский и английский, а мама ни одного, и хотя она, конечно, самая любимая мама, в играх ее веселее Тятя-тятя\*.

И еще, Машечка, пожалуйста, постарайся подольше не разговаривать с Егором тем роковым тоном, который ты слышала на

улице и еще не применяла, слава Богу, к нашему ребеночку. Ведь подобные объяснения в частом виде теряют смысл и ведут к полнейшей детской разболтанности, а в редком – запоминаются на всю жизнь и носят характер душевных травм. Моя мать, к примеру, ни разу со мной не разговаривала в подобном духе, и я ей благодарен за это, а отец – два раза в жизни, и я эти разы преотлично помню и не уверен, что они были нужны, и даже до сих пор они производят болезненное впечатление.

Но я думаю, и без того у тебя с Егоркой сложился вполне взаимный язык и вы на нем хорошо объясняетесь и слушаетесь друг друга.

А то, что ты в такое время проявляешь терпимость к матери и к другим людям, – это ты золотце, и я тебя ужасно как за это хвалю и уважаю и награждаю самыми нежными именами.

*10 марта.*

Машенька, я заболел. По всем признакам – грипп, но без температуры или с небольшой, и потому хожу на работу, а в свободное время стараюсь чаще лежать. Ломит суставчики, да меня дня четыре назад угораздило поскользнуться, сходя с крыльца, и стукнулся спиной – ребром о ребро ступеньки. От этого ушиба, видимо, и грипп меня одолел, да и сейчас спина сильнее всего беспокоит. Но раз двигаюсь и работаю – ничего серьезного быть не должно. И потому ты тоже не смей волноваться.

Пишу о своих болезнях с таким расчетом, чтобы до отправки письма успеть поправиться и на этих же листиках отписать тебе весело про свое выздоровление. Пока же – что есть – то есть, а выдумывать неинтересно, и ты за меня не бойся, потому что в душе я ничуть не паникую, а переносу хворобу тихо и мирно, а тебя люблю глубоко и на всю жизнь, и напиши мне поэтому, зажила ли твоя нога, а также про все прочие свои составные части, все ли здоровы и нет ли какого изъяна в моей Маше?

Чегой-то скушно жить, а когда все болит, и того скушнее, и я, лежа на койке, развлекаю себя письмом к тебе и вот жалуюсь по праву больного на все подряд, как это бывало у нас всегда, когда ты меня лечила, и как это получалось прекрасно – спокойно лежать в кровати на твоём попечении, и чувствовать заботу, и даже капризничать, больше для виду, как ты, вероятно, догадыва-

лась, – для того чтобы видеть отчетливой, как ты порхаешь, и сознать, утешаясь, твое внимание.

Ты знаешь, существуют случайные узнавания в словах, которым мы, болтая, не придаем значения в полном его объеме, а иногда оно вдруг проступит, проскочит, и удивляешься, как в мироздании все хорошо устроено. Например, безо всякой связи, мне пришло недавно на ум, что сила и страсть восклицания «И ты, Брут!» так ясно звучит по-русски потому, что в его строе нам бессознательно слышится: «И ты, брат!» А римляне этого, наверное, не слышали.

Но это я просто так. К делу же имеет отношение другая фраза – которую мы нынче используем по большей части с иронией, настолько она стала фразой из романа: «Я умираю от любви». Но если в нее взглядеться, то выяснится поразительная цепкость выражения, обозначающего не просто степень чувства, но его окраску и содержание метафизического даже свойства.

В любви мы испытываем (я имею в виду то самое простое и первичное самоощущение, которое позволяет дать нам себе отчет в том, что мы любим, и воспринять это событие как психическую достоверность) – так вот в этом вот качестве мы настолько проникаемся и поглощаемся нашим предметом, что переживаем восторг самозабвения, вытесняемся из себя и наполняемся светом и воздухом персоны, которую возлюбили, переходя в состояние растворения, потерянности, исчезновения, протрации, ставшей образом жизни, и он, этот образ, – в замещающих нашу личность приятных переживаниях – чем-то сродни умиранию.

Человеческая физика в этих случаях ведет себя соответственно, и мы вздыхаем так, будто душа отделяется, а сердце – «замирает», а чувство подъема странным образом соседствует с расслабленностью естества, готового, кажется, испариться в приближении к источнику обожания. «Ах, я умираю!» (произношу я мысленно, думая о тебе).

Подобную философию издавна принято украшать лирическими стихами, и вот тебе цветок альбомно-эпистолярного жанра. Для экономии места и времени я решил подчеркнуть слова, которые мне особенно понравились. А ты оцени!

Я никогда бы, слышишь? никогда!

С письмом таким к тебе не обратился,

Если б душой не чувствовал тебя  
И образ твой ночами мне не снился.

Если б не жил надеждою в любовь,  
Если б тобой я просто развлекался,  
Я бы нашел другую себе вновь,  
А над твоим молчаньем посмеялся.

И образ твой я выкинул бы прочь  
Из головы, как сор, как кучу хлама,  
*И спал спокойно каждую бы ночь,*  
Не жгла бы сердце ноющая рана.

Любимая, я все хочу узнать,  
Что тебя сегодня побудило  
*Пылающую лифу оборвать?*  
Ведь ты вчера еще меня любила!

В расцвете смяла сердца алый цвет,  
Растерла в пыль *безжалостной ногою.*  
Я не прощу тебе за это, нет!  
Я буду жить, чтоб встретиться с тобою.

Запомни то, что иногда любовь,  
*Отвергнутая будучи, не тает,*  
В кипении измученная кровь  
Любовь мужчины в страсть перерождает.

Не я пишу изношенным пером  
Слова письма, *рифмуя предложения,*  
Диктует сердце бедное мое,  
*Это его простое сочиненье.*

Это оно молчало до поры,  
Переноса все горести и муки,  
Это оно, желанью вопреки,  
*Писать письмо удерживало руки.* (Какой галоп!)

Это оно сегодня так стучит,  
Это оно кровь в жилах возбуждает,  
Это оно, родная, не велит  
Забывать тебя и, мучаясь, страдает...

...Не знаю я, каких ты убеждений  
Придерживалась в те былые дни.  
Я от тебя *не слышал возражений,*  
Которые мешали бы любви.

Бессилен я потребовать ответа,  
Различен быт у каждого из нас:  
Ты дорогими *тканями* одета,  
А я в бушлате *временно* сейчас.

Но я такой же в лагерном бушлате:  
*Что во мне было, то во мне и есть.*  
А ты в своем нарядном, новом платье  
Не замечаешь, как теряешь честь.

...Что ждет письмо, я этого не знаю.  
Возможно, ты *для практики* прочтешь,  
А может быть, конверта не вскрывая,  
Ты бросишь в печь и *стичкой* подожжешь.

Сгорит конверт, листы и эти строки,  
С золою пепел в мусор отнесешь...  
*Но ты не можешь быть такой жестокой,*  
И мне ответ, я верю, ты пришлешь!

Ниже – афоризм: «Если женщина отдала мужчине сердце, она отдаст ему и кошелек. Бальзак».

Ай-да Бальзак!

13 марта 1967.

Очень грустно, Машенька, читать твою телеграмму с недоумением об отсутствии писем от меня и не мочь поскорее ответить и объяснить, что я пишу, как всегда, но тоже последнее время получаю твои письма с большими паузами и опозданиями. Надеюсь, к тому моменту, когда эти строки дойдут, – все обрзается...

Во всяком случае за меня не волнуйся. В человеческом терпении, очевидно, есть что-то резиновое, и это меня сейчас выручает. И когда бывает плохо и физически, и душевно, вдруг приходит спокойствие и за «критической точкой» появляется способность продолжать тем же способом существовать дальше.



Продолжаю болеть, но уже меньше. Вот если бы еще письма от тебя приходили!..

Интересно, почему ты послала телеграмму именно 12-го. В тот день я заболел и видел сон, что заболēju. А сегодня тоже видел сон и, когда проснулся, с удивлением узнал, что видел во сне образы начавшегося поутру разговора. Еще немножко, и я стану ясновидящим.

На эту тему тоже имеются смешные стихи фольклорного происхождения:

Когда вокруг бушует снег  
И тундра стонет, продрогая,  
Как хорошо в тревожном сне  
Тебя увидеть, дорогая!

...

Пускай века полярный снег  
Тоскою белой сердце гложет,  
С тобою видеться во сне  
Мне запретить никто не может.

<...>

*14 марта.*

Лапа моя!

Все же есть на свете добрые люди, и с их участием и старанием легкое мое недомогание заметно убывает.

В первую очередь помогли чудесные угощения, которыми меня время от времени дарят, а как больного – в особенности. Ломтик лимона, например, или конфеты с неслыханным названием «Кофейный аромат» великолепного вкуса. К лекарствам такого же сорта можно причислить и настоящее сливочное масло, соприкосновение с которым оживляет и даже, я бы сказал, кружит голову. Нужно добавить, что и на работе мой напарник эти дни стремился основной груз взять на свои плечи. Очень я ему признателен за это, и, если будет возможность, выполни при случае просьбу о родословных 18-го века, которую я тебе как-то излагал подробно в одном из писем. Личность нелепая, отчасти комическая, но за его доброту как-то хочется отплатить. Главным же тутошним удовольствиям в виде кофе я пока стараюсь не слишком предаваться, экономя сердце, и ты похвали меня за такую осмотрительность.

Спасибо и погода сохраняет весеннее направление, и с ней веселее жить, а то уж очень не хочется повторять все холода нынешней зимы.

15 марта.

Сейчас у меня праздник: получил твою бандероль с журналом и твои 4 (четыре – ЧЕТЫРЕ) письма и не могу натешиться.

Про Егорушку все подробности – прогулки, помарки, слова, игрушки – всё жутко по вкусу. И я его люблю по-прежнему, и люблю, и разделяю, и угадываю в нем личные и наши общесемейные черточки. При всем том, конечно (и ты тут права), для непосредственного ощущения мне очень недостает нынешнего, всамделишного Егора, и я все время связываю твои новости про него с тем образом, который живет в памяти, а ведь он вырос с тех пор больше, наверное, чем в три раза, и это трудно постичь. (Почему-то наиболее взрослым, понимающим и родным рисуется мне он – знаешь в каком виде? – а в том, когда с веранды позвешь, а он, стоя в коляске, раскачивается и хитро старается углядеть и вроде бы углядывает и во всем преотличнейше разбирается (и вообще это чувство *вспонимающего* Егора, который только не считает нужным слишком явственно показывать свою осведомленность и даже несколько притворяется маленьким несмышленишем, а на самом-то деле умнее нас всех, – меня не оставляет и поныне, когда читаю про него разные разности – и глупые, и мудреные).) В таких оглядках на прошлое, позволяющих мне более прочно укрепиться в живом представлении о нем, он – нынешний и настоящий – неизбежно проигрывает, нечто теряет, сдвигается с фокуса. И этот разрыв «того» и «этого» Егора будет расти и мучить, пока не увижу... И все же, по-моему, что-то связать и составить, состряпать мне пока еще удастся.

И совсем он для меня не «забавный малыш вообще», а родной кусок и отросток: потому и читаю о нем рассказы с неослабным вниманием и интересом и ни разу, ни разу (а ведь ты достаточно много о нем пишешь, и, вероятно, ему в твоих письмах уделяется наибольшее место) не проскальзывало во мне подсознательное желание, ну, сократить, что ли, или пробежать побыстрее это детское чтение и перейти к чему-нибудь более взрослому. Это, между прочим, показатель того, что делается на сердце...

И очень я доволен, что Егор любит зверей и не доверяет машинам и попутную муху зовет по ее литературному имени.

От ключевой эстетики\* я в восторге. Помимо изящества и всяких тихих радостей, найдена опорная мысль о значении заклинания, которое и служит источником невидимой (замечательно, замечательно) и как бы изначально подразумеваемой красоты. Вот эту мысль чуточку бы (ну совсем чуть-чуть) усилить, сказав, что в данном предмете есть что-то от народной загадки (две разъединенные части должны в ней совместиться, чтобы что-то дельное открылось), которая всегда метафора, иносказание и вот здесь расцвела иносказанием железных отростков (куда какой зубчик – знающий угадает), уподобляясь магическому жезлу и волшебной палочке. И запоры-то с пружинистой музыкой, и дедовский сундук, когда отмыкался, звенел, как заводная игрушка, шарманка (в том же ряду лежит та золотая готическая ручка, отмыкающая дедушкину музыку, и тот нотный ключ, содержащий в своей изысканной и запутанной фигуре ту же идею пластического заговора-заклинания, прекрасного секрета, доступного лишь посвященному), и такое сопровождение усугубляло таинственную притягательность инструмента, извлекающего чудные звуки и увенчанного короной нежных выпуклостей или грубых зазубрин. Вспоминается и песенный Ванька-ключник – злой разлучник, который потому и сумел обвести бедного князя, что «владел секретом».

Ну это уж я пустился по самому максимуму, а главное сделано и отперто, и я пребываю в умилении и ликовании. И ты еще спрашиваешь – вместе ли? Как же еще: ведь зубчик в зубчик.

А с кобылицей не знаю\*, может быть, ты и права, она появилась по звуковой аналогии с балериной, а потом первоначально стихотворный текст об Истоминой сопровождался параллельным текстом о скакуне Ратмира, но я совсем не настаиваю и согласен отпустить кобылицу.

А шариковой ручкой писать очень удобно, в особенности когда этим занимаешься лежа на спине. Только рисунок фраз на бумаге получается каким-то нейтральным, скучным и одинаковым, безо всякого нажима, и я боюсь, в результате ты не вполне ощущаешь мои нежные чувства и обо всем судишь по этому бледному и бесстрастному списку.

*17–18 марта.*

Пришла твоя милая телеграмма, слегка удивившая (почему вдруг?) и много обрадовавшая меня веселым и бодрым тоном, а еще того своим сообщением: узнать, что вы хороши и здоровы, – самое приятное.

Я тем временем тоже окончательно излечился от гриппа, и лишь заднее ребро немножко побаливает при кашле и резких телодвижениях, но скоро, думаю, тоже пройдет.

Также получил меньшутинское письмецо, немало меня развлечшее яркими описаниями балов и приемов. Презанимательный бы из А.Н. получился бы летописец. А насчет «Поэзии первых лет»\*, про которую он спрашивает, еще раз подтверждаю, что он может использовать текст в каком угодно разрезе-объеме-плане-горизонтали, а за собой я бы хотел оставить только некоторые разделы *сузубо* монографического характера (типа Брюсова, Хлебникова, Мандельштама, «Двенадцати»), которые вряд ли ему могут пригодиться для обзорной главы.

А идея романа Булгакова\* (в продолжение давешнего разговора) – при всех неожиданностях – очень в духе своего времени и имеет параллели – «Иван Грозный» Эйзенштейна, а еще раньше одно малоизвестное стихотворение Пастернака\*, где соотнесенность мастера с его покровителем выражена приблизительно так:

Как в этой двухголосой фуге  
Он сам ни бесконечно мал,  
Он верит в знание друг о друге  
Предельно крайних двух начал.

Под мечом и щитом этого знания чувствовал себя Булгаков.

Машка! А получила ли ты 50 руб., которые я выслал 6-го марта?

И видала ли в «Литературной газете» (№ 11) красивый портрет общего знакомого\*, наводящий на размышления о том, служит ли физиономия зеркалом души?

И не знаешь ли ты, Маша, что за древнерусские повести написала В.Панова\* в книге с таким названием: «Лики на заре»? Она недавно выпущена издательством «Сов. писатель» и получила хвалебный отклик Копелева\*, хотя какой-то неопределимый на ощупь. Если стоит того и нетрудно достать – пришлите когда-нибудь: уж очень любопытно увидеть княгиню Ольгу и Феодосия Печерского в современной литературе.

А когда поедешь ко мне на свидание в апреле, табак не вези, а только среднее количество папирос-сигарет: запас табаку у меня имеется. И вообще много ничего не привози: хватит тратиться, а у меня и так хорошо. Тем более кашу получать продолжаю, и это весьма поддерживает. <...>

К тебе отношусь по самому высшему и удивительному пилотажу, что явствует из контекста всего письма, и не буду повторять, когда на лице написано и торчит из каждой буквочки, как к тебе льну и целую и обнимаю.

А.

19 марта 1967.

&lt;...&gt;



**...тетя Анна...** – Жена Николая Кишилова Анн Каррив-Кишилова.

**...Тятя-тятя.** – Так Егор называл А.Петрова.

**От ключевой эстетики...** – Речь идет о статье «От вора нет запора», над которой я работала для журнала «Декоративное искусство» (опубликована в № 2 за 1967 год).

**А с кобылицей не знаю...** – Это реакция на мои замечания по поводу «Прогулок с Пушкиным».

**А насчет «Поэзии первых лет»...** – А.Меньшутин просил у Синявского разрешения использовать для своей институтской работы тексты Синявского из их общей книги «Поэзия первых лет революции» (М.: Наука, 1964).

**...идея романа Булгакова...** – «Мастер и Маргарита».

**...одно малоизвестное стихотворение Пастернака...** – Речь идет о стихотворении «Художник» (редакция 1936 года).

**...портрет общего знакомого...** – В «Литературной газете» от 15 марта 1967 года было напечатано поздравление Аркадию Васильеву, общественному обвинителю на процессе Синявского–Даниэля, в связи с 60-летием.

**...что за древнерусские повести написала В.Панова...** – Повести Веры Пановой «Сказание об Ольге», «Сказание о Феодосии», «Феодорец, Белый Клубучек» и «Кто умирает» были опубликованы в ее книге «Лики на заре» (Л., 1966).

**...хвалебный отклик Копелева...** – Лев Зиновьевич Копелев (1912–1997) – писатель, публицист, принимал активное участие в кампании в защиту Синявского и Даниэля.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

То лепит снег безо всякой пользы, превращаясь в чавкую грязь, а то – как сейчас – начинается такое приволье, что все течет и резвится, и птички чирикают как бешеные, и небо ломится от солнца, и все выкатываются на воздух и стоят часами с блаженной улыбкой, не понимая, что такое. Иной герой норовит уже и одежонку скинуть и попробовать холодными ребрами первый загарчик. А мне тоже хорошо, и на душе волшебное к тебе отношение.

Только, думаю, надо тебе погодить стричься до меня, потому что будет завидно и интересно и хочется лично в этом участвовать и всё примерить – и первому посмотреть, и не хочу, чтобы другие без меня любовались, а я согласен и даже собирался тебе сам предложить, но вот именно теперь ты потерпи, чтобы мне не было обидно, а потом мы вместе всё-всё сделаем, и будет замечательно. И вообще такую перемену надо приурочить к тому времени, когда все вернется и мы начнем всё вспоминать и превосходить в любви то, что было, и дружить, взявшись за ручки, и сиять, как маленькие.

Согласна ли ты на мои предложения?

*26 марта.*

Мне очень весело и приятно за Пушкина, про которого как раз непрерывно думаю все эти дни, хотя всё это еще присказка, а сказка будет впереди. А ты, Машечка, поступай и дальше, как в случае с кобылицей; потому что мне важна каждая мелочь, тем более – пока не пишу всерьез\* на пушкинскую тему, а примеряюсь с разных концов. Итак, вернемся к нашим прогулкам.

...И быстрой ножкой ножку бьет.

Но прежде чем так плясать, Пушкин должен был пройти лицейскую подготовку – приучиться к развязности, развить гибкость в речах заведомо несерьезных, ни к чему не обязывающих и занимательных главным образом непринужденностью тона, с какою вьется беседа вокруг предметов ничтожных, бессодержательных. Он начал не со стихов – со стишков. Взамен поэтического мастерства – каким оно тогда рисовалось – он учится писать плохо, кое-как, заботясь не о совершенстве своих «летучих посланий», но единственно о том, чтобы писать их по воздуху – бездумно и быстро, не прилагая стараний. Установка на необработанный стих явилась следствием этой «небрежной» и «резвой» (любимые эпитеты Пушкина о ту пору) манеры речи, достигаемой путем откровенного небрежения званием и авторитетом поэта. Этот первый в русской литературе (как позднее обнаружилось) сторонник чистой поэзии – в бытность свою дебютантом ставил ни в грош искусство и демонстративно отдавал предпочтение бранным дарам жизни.

Не вызывай меня ты боле  
К навек оставленным трудам,  
Ни к поэтической неволе,  
Ни к обработанным стихам.  
Что нужды, если и с ошибкой,  
И слабо иногда пою?  
Пускай Нинета лишь улыбкой  
Любовь беспечную мою  
Воспламенит и успокоит!  
А труд – и холоден, и пуст:  
Поэма никогда не стоит  
Улыбки сладострастных уст!

Такое вольничанье со стихом, освобожденным от каких бы то ни было уз и обязательств, от стеснительной необходимости – даже! – именоваться *поэзией*, грезить о вечности, рваться к славе («Плоды веселого досуга не для бессмертья рождены», – заверял молодой автор – не столько по скромности, сколько из желания сохранить независимость от навязываемых ему со всех сторон тя-

желовесных заданий), предполагало облегченные условия творчества. Излюбленным местом сочинительства сделалась постель, располагавшая не к работе, а к отдыху, к ленивой праздности и дремоте, в процессе которой поэт между прочим, шалаяй-валяяй, что-то там такое пописывал, не утомляя себя излишним умственным напряжением.

Постель для Пушкина не просто милая привычка, но наиболее отвечающая его духу творческая среда, мастерская его стиля и метода. В то время как другие по ступенькам высокой традиции влезали на пьедестал и, прицеливаясь к перу, мысленно облачались в мундир или тогу, Пушкин, недолго думая, заваливался на кровать и там – «среди приятного забвенья, склоняясь в подушку головой», «немного сонною рукой» – набрасывал кое-что, не стоящее внимания и не требующее труда. Так вырабатывалась манера, поражающая раскованностью мысли и языка, и наступала свобода слова, неслыханная еще в нашей словесности. Лежа на боку – оказалось – ему было сподручнее становиться Пушкиным, и он радовался находке:

В таком ленивом положении  
Стихи текут и так и сяк.

Его поэзия на той стадии тонула и растворялась в быту. Чураясь важных программ и великих замыслов, она опускалась до уровня застольных тостов, любовных записочек и прочего вздора житейской прозы. Вместо трудоемкого высиживания «Россиады» она разменивалась на мелочи и раскодилась по дешевке в дружеском кругу – в альбомы, в остроты. Впоследствии эти формы поэтического смещения в быт лефовцы назовут искусством в производстве. Не руководствуясь никакими теориями, Пушкин начинал с того, чем кончил Маяковский.

Пишу своим я складом ныне  
Кой-как стихи на именины!

Ему ничего не стоило сочинить стишок, приглашающий, скажем, на чашку чая. В поводах и заказах недостатка не было. «Я слышу: пишешь ты ко многим, ко мне ж, покамест, ничего, – упрашивал его тоже в стихах, по тогдашней веселой моде,



Я.Н.Толстой. – Доколе ты не сдержишь слово: безделку трудно ль написать?» И получал в подарок – стансы.

Пушкин был щедр на безделки. Жанр поэтического пустяка привлекал его с малолетства. Научая расхлябанности и мгновенному решению темы, он начисто исключал подозрение в серьезных намерениях, в прилежании и постоянстве. В литературе, как и в жизни, Пушкин ревниво сохранял за собою репутацию лентяя, ветреника и повесы, незнакомого с муками творчества.

Не думай, цензор мой угрюмый,  
Что я беснуюсь по ночам,  
Объятый стихотворной думой,  
Что ленью жертвую стихам...

Все-таки – думают. Позднейшие биографы с вежливой улыбочкой полицейских авгуров, привыкших смотреть сквозь пальцы на проказы большого начальства, разъясняют читателям, что Пушкин, разумеется, не был таким бездельником, каким его почему-то считают. Нашлись доносители, подглядевшие в скважину, как Пушкин подолгу пыхтит над черновиками.

Нас эти сплетни не интересуют. Нам дела нет до улик – будь они правдой иль выдумкой ученого педанта, – лежащих за пределами истины, как ее преподносит поэт, тем более – противоречащих версии, придерживаясь которой он сумел одарить нас целой вселенной. Если Пушкин (допустим!) лишь делал вид, что бездельничает, значит – ему это понадобилось для развязывания языка, пригодилось как сюжетная мотивировка судьбы и без нее он не смог бы написать ничего хорошего. Нет, не одно лишь кокетство удачливого артиста толкало его к принципиальному шлопайничеству, но рабочая необходимость и с каждым часом крепнущее понимание своего места и жребия. Он не играл, а жил, шутя и играя, и когда умер, заигравшись чересчур далеко, Боратынский, говорят, вместе с другими комиссарами разбиравший бумаги покойного, среди которых, например, затесался «Медный всадник», восклицал: «Можешь ты себе представить, что меня больше всего изумляет во всех этих поэмах? Обилие мыслей! Пушкин – мыслитель! Можно ли было это ожидать?» (Цит. по речи И.С.Тургенева на открытии памятника Пушкину в Москве.)

Нынешние читатели, с детства обученные тому, что Пушкин – это мыслитель (хотя, по совести говоря, – ну какой он мыслитель!), удивляются на Боратынского, прошедшего мимо таких глубин. Не ломая покуда голову над глубинами, давайте лучше вместе, согласно удивимся силе внушения, которое до гроба оказывал Пушкин в роли беспечного юноши. Современники удостоверяют хором: «Молодость Пушкина продолжалась во всю его жизнь, и в тридцать лет он казался хоть менее мальчиком, чем был прежде, но все-таки мальчиком, лицейским воспитанником... Ветреность была главным, основным свойством характера Пушкина» (М.М.Попов – «Русская Старина», 1874, № 8).

Естественно, эта ветреность не могла обойтись без женщин. Ни у кого, вероятно, в формировании стиля, в закручивании стиха не выполнял такой работы, как у Пушкина, слабый пол. Посвященные прелестницам безделки находили в их слабости оправдание и поднимались в цене, наполнялись воздухом приятного и прибыльного циркулирования. Молодой поэт в ампула ловеласа становился профессионалом. При даме он вроде как был при деле.

Тем временем беззаботная, небрежная речь получала апробацию: кто ж соблюдает серьезность с барышнями, один звук которых тянет смеяться и вибрировать всеми членами? Сам объект воспевания располагал к легкомыслию и сообщал поэзии бездну движений. В общении с женщинами она упражнялась в искусстве обхаживать и, скользя по поверхности, касаться запретных тем и укромных предметов с такой непринужденной грацией, как если бы ничего особенного, а наша дама вся вздрагивает, и хватается за бока, будто на нее напал щекотунчик, и, трясясь, стучает веером по перстам баловника. (См. послание «Красавице, которая нюхала табак», который, помнится, просыпался ей прямо за корсаж, где пятнадцатилетний пацан показывает столько энергии и проворства, что мы рот разеваем от зависти: «Ах, почему я не табак! Ах, почему я не Пушкин!»)

На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох. Эротика была ему школой – в первую очередь школой *верткости*, и ей мы обязаны в итоге изгибчивостью строфы в «Онегине» и другими номерами, о которых не без бахвальства сказано:

Порой я стих повертываю круто,  
Всё ж видно, не впервой я им верчу.

Уменье вертеть стихом приобреталось в любовных коллизиях, требующих маневренности необыкновенной, подобных той, в какую, к примеру, попал некогда Дон-Жуан, взявшись ухаживать одновременно за двумя параллельными девушками. В таком положении, хочешь не хочешь, а приходится поворачиваться.

Или – Пушкин бросает фразу, решительность которой вас озадачивает: «Отечество почти я ненавидел» (?!). Не пугайтесь: следует – ап! – и честь Отечества восстановлена:

Отечество почти я ненавидел –  
Но я вчера Голицыну увидел  
И примирен с отечеством моим.

И маэстро, улыбаясь, раскланивается.

\* \* \*

*27–29 марта.*

Свет очей моих, Машенька!

Ежедневно и поминутно переживаю к тебе такие приступы любви и жалости, что хочется все оставить и повторять нараспев: Маша-Машенька-деточка – и прочие имена, воркованье и причитанье, не поддающиеся записыванию. Сдвуть пушинки, носить на груди, сажать в грядку и выводить на прогулку, кормить-поить-одевать-обувать. И еще и еще, и все мало и мало.

А все-таки, при всех затмениях в нашей жизни, как прекрасно, что мы имеем в лице друг друга такое счастье, что трудно поверить.

А знаешь: «Свет, зримый в лицах» Ивана Хмельницкого, по свидетельству С.П.Жихарева\* (Дневник 1805 года, 18 июня), некогда составлял – «отраду детей от 7 до 10-летнего возраста и мою».

Надо будет это учесть применительно к Егору.

*30 марта.*

Пока писал тебе про Пушкина, шли дни за днями, и я их прожил за этим милым занятием и так дождался апреля и твоих пи-

сем и телеграммы с ворохом новостей и вопросов. Из них наиболее хватает за сердце и дразнит любопытство, конечно, известие об обмене\*, про который еще не успел узнать никаких подробностей, и с нетерпением тороплю тебя рассказать, как и что, и нарисовать, где что расположено, и особенно – есть ли соседи, и какие, и как это вообще так все внезапно произошло?

Представляю твою захлопоченность и молю не надорвать свои слабые силы с этим жутким переездом.

А по Хлебному не плачь. Это даже странно в двадцатом веке жить все время в одном месте, так не бывает, и я сейчас с радостью переезжаю в мыслях на нашу новую квартиру и ничуть не жалею о старой, слишком для меня омраченной многолетними соседскими ужасами. И думаю, что, если бы теперь моя мать видела наш переезд, она бы с облегчением вздохнула.

А я к тебе настолько прилеплен, что совершенно не трудно, в какое окно входить и где зажигать выключатель – где ты покажешь, там все и будет, и где заложишь наш дом, там он будет стоять красиво и крепко.

Еще меня радует район и этаж, а больше пока ничего не знаю и очень жду всех разъяснений.

*1 апреля.*

И еще получил родословные\*, и мой псиша в восторге, а я удивляюсь, как ты угадываешь: по подсчетам, ты еще не могла получить моего письма с напоминанием.

А 41-му номеру нашлось применение\* и без меня: обменен на 43-й, все в порядке. Еще мне интересно узнать, что за Музей прикладного искусства XVII в. открылся недавно в Кремле (читал в газете) и ходила ли ты в тот музей. Это постоянный музей или временная экспозиция?

Еще я узнал, что недавно в серии «Большая библиотека поэта» вышла «Поэзия начала XX века»\*, которую надо бы иметь в нашем доме.

Немного нервно с твоим приездом – как получится. Кстати, ты, наверное, не знаешь, а по здешним обычаям сумку с едой на общее свидание, кажется, не всегда вам разрешают, а позволено в карманы, но какие же карманы у бабы – так, бутербродик какой-нибудь. Но пускай эти пустяки тебя не расстраивают.

Совсем не представляю, когда ты приедешь и каким образом все успеешь.

Эту неделю (3–8 апреля) должен ходить во вторую смену, а как дальше – не знаю. На прошлой неделе пришлось поработать в третью, и на меня с непривычки напали затяжные бессонницы. Спал часа по три-четыре в сутки, а больше не выходило; сколько ни силился под радио и прочие звуки: то ли нервочки, то ли что. Но настроение в результате оставалось повышенное, даже несколько сказочное, только от сигареты отключался и прислонялся к чему-нибудь, чтобы не упасть.

С апреля, говорят, наш цех будет действовать лишь в две смены, но неизвестно, буду ли я меняться. Для меня-то лучше всего вторая: и ритм сна нормальный, и народу меньше вокруг.

А в созвездиях мне показали еще одно – под названием Дракон, довольно сложное и неясное, но когда я разглядел, то поразился сходству с фигурой в композиции «Чуда о змие» и подумал, уж не с неба ли взяли древние живописцы этот чертеж? <...>

*3 апреля.*

Золотая моя жена.

Получил еще два твоих письма (№№ 24 и 25 – последнее в этот отрезок) с Егоровой фотографией, с портретом Пушкина в рост, очень похожим (точь-в-точь), и эскизом новой квартиры, который только что у тебя попросил, и вот он приехал.

Воображаю тревоги и мучения переезда (подавай мне красочные рассказы в лицах!) и качаю головой: невообразимо. Памятуют, что это второй переезд, начиная с подвальной эвакуации, и что два переезда в сумме производят один пожар, рисую в уме твое нынешнее погорельское состояние и ужасаюсь и восхищаюсь твоим мужеством и находчивостью, которые – при всех жизненных минусах – все-таки, кажется, хорошо увенчались, и я очень тобою доволен и благодарен за весь этот труд по сохранению и продолжению нашего домика.

Жутко интересно. Не могу удержаться от вопросов чисто риторического свойства, поскольку ты, догадываюсь, сама все это распишешь, но все равно не могу. И вот каких: 1) высота потолка (с учетом, что я не помню нашу прежнюю высоту); 2) пейзаж из окна (жажду длинных и картинных описаний); 3) не собирают-

ся ли этот домик в скором времени ломать, и есть ли при нем какой-нибудь двор с палисадником, и куда выходит подъезд, и что за движение нынче на Пятницкой, и если есть движение – как долетает шум, и где это расположено поточнее в смысле ориентировки на какие-нибудь дома и предметы (а то я не помню местности Балчуга), и какие окна и подоконники, а из чего полы, и нужен ли ремонт, и нет ли клопов, и как ты все там сумеешь расставить-расставить, и вообще все надо бы посмотреть собственными глазами, и чтобы ты водила меня на экскурсии по всем местам, а еще больше с тобою жить повсеместно и постоянно – хоть в доме, хоть на улице?

Ну и Маша. Ну и ну (продолжаю удивляться обмену). И в этой связи целую тебя подряд, все вместе и в отдельности. <...>

Еще пришел от тебя журнал «Наука и жизнь»\*, опять-таки очень уместный. Но и мы не ударим лицом в грязь. А твоими глазами смотрю не меньше твоего и всем говорю открыто и нисколечко не стесняюсь, и трудно теперь разобраться, где кто из нас начинается. Хотя я помню отдельные конкретные вещи, на которые смотреть научился именно через тебя (занесем это пока в общий список воспоминаний, про которые ты не ответила, затронуло ли мое предложение твои мечты и звуки или показалось скучным или далеким), дело не столько в них, сколько в том, что ты вся сидишь у меня в глазу, а не одними частями, и теперь свою сетчатку я воспринимаю как наше общее достояние (тут опять требуются длинные разъяснения с интересными поворотами в разные стороны, которыми мы с тобою потом займемся).

А Егор с котлетой во рту мне не слишком – в том смысле, что я не считаю необходимым сохранять подобные вещи на будущее. То есть мне-то лично полезно и важно сейчас знать все, и ты правильно прислала, и сам Егорушка мне чрезвычайно понравился (какой он взрослый и стриженный), но я говорю не про него, а про фотографию, которая, в принципе, как жанр, должна носить избирательный характер, а не фиксировать человека в любом виде. Пушкин (и всякий другой), сосущий грудь кормилицы и восседающий на горшке, вовсе не обязателен. И в принципе некоторые фотографии, поимев их некоторое время, близкие люди или сам прототип должен бы ликвидировать, ориентируясь отчасти

и в этом новейшем изобретении на старинный портрет, который ведь не был обзорением всего человека.

Рассуждение это, как ты поняла, не должно иметь практических выводов, хоть в какой-то мере ограничивающих мое ознакомление с вашей без меня жизнью. Поэтому, друзья, снимайте покудова все подряд, а избирательный метод будем осуществлять после.

Итак, целую тебя, моя любимая Машенька. И – до свидания.  
<...>

Будьте здоровы, миленькие.

А.

4–5 апреля 1967.



**...пока не пишу всерьез...** – Это конспирация. Изо всех сил А.С. старался скрыть от бдительных глаз цензоров, что пушкинские заметки – это уже сложившаяся книга.

**...по свидетельству С.П.Жихарева...** – См.: С.П.Жихарев. Записки современника. М.:Л., 1955. С. 253.

**...известие об обмене...** – В апреле 1967 года я переезжала с Хлебного переулка на Пятницкую улицу. Это был уже второй переезд, первый – это когда у нас отбирали подвальную комнату, и надо было перевозить библиотеку.

**...получил родословные...** – См. письмо 23.

**...41-му номеру нашлось применение...** Речь идет всего-навсего о тапочках (см. письмо 24).

**...вышла «Поэзия начала XX века»...** – Ложный слух.

**...журнал «Наука и жизнь»...** – В мартовском номере «Науки и жизни» за 1967 год, посвященном 50-летию Февральской революции 1917 года, была помещена подборка «неортодоксальных» стихов Хлебникова, Пастернака, Сельвинского, Луговского и Зенкевича.



## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Ангел мой, Маша.

⟨...⟩ Наслаждаюсь твоими рассказами про новый дом, который мне нравится уже заочно. Потерей можно считать лишь высоту потолка с точки зрения красоты экспозиции. А нельзя ли бесполезную печку\* впоследствии сломать или сделать из нее что-нибудь интересное? И нет ли возможностей как-нибудь задобрить новую соседку, чтобы с самого начала установились с ней добрые отношения?

Из описаний мне особенно понравился пейзаж из окна. А легкий шум не смущает. Название и номера тоже приятно запоминаются и хорошо звучат.

А жизнь моя последнюю неделю тянется прозаично, и первая смена тому способствует: времени остается в обрез, и всякий вечером ловит и не дает ни читать, ни писать. Одна надежда: кажется, мы будем чередоваться, и одна неделя так, а другая – сяк.

А на дворе при солнышке в ватнике уже жарко, и скворцы прилетели в свои скворешницы, а я все смотрю на березовый (или какой-то там еще, не знаю) подлесок вдаль, и чудится, что он уже еле-еле зазеленел. Но зеленеть ему еще рано. А это, говорят, ветки такие.

*11 апреля.*

Вот, моя крошечка, моя любимица, – и все другие задыхающиеся слова, которые не сумел произнести при встрече, – вот я уже и на месте. Пошел поужинал и тяпнул кофейку с горя. Но умонастроение в общем хорошее и здоровое по причине любви и преданности к тебе. Ты была дивно хороша. И еще очень приятно знать, что у нас есть свой дом. А то последние годы он как-то ис-



парился, и я не совсем точно представлял, куда к тебе лететь во сне. А теперь представляю.

Ну, а то, что нам свидание на сей раз устроили по тюремному образцу, – что ж, будем мужественны, а чувства мои в этой связи тебе известны, и поступай соответственно.

Вот жалко – в последний момент забыл на твои резиновые сапоги посмотреть. А издали не было видно. А солдат с вышки спросил: «Эй, старик, это к тебе дочка приезжала?» Вот видишь – всё как надо.

Обнимаю тебя, Машка. Ну просто очень я тебя обнимаю. Очень.

13 апреля.

Имею от тебя три письмаца, вышивающие узоры по тому самому рисунку, который ты мне слегка успела порассказать, а теперь по нему же все получается сначала, но с оттенками и вариантами, и ничуть не скушно, а напротив – приятно узнавать и радоваться находке, словно еще раз на тебя взглядывая. И про Фелицу, и про собачку\*. И ты мне очень нравишься в домостроительной роли. И я вообще об этом всегда мечтал. Потому и о Хлебном не тужу, что дом там последние годы слишком мало был домом – от вечного страха перед соседями.

А больше всего было его в жизни, наверное, в Рамене, в детстве\*, а потом, когда ты поселилась в подвальчике и повесила из платка такой цветной абажур, что все сразу пришло в чудесный вид. И потому, может быть, мне послышались интонации счастья в словах, что новый угол несколько похож на подвальчик.

Только ничего «нашего» я не собирался ни с кем другим делить. И никаких реформ в голове не было. А только горе от неприкаянности и отсутствия тебя, которой так мало, а много других людей, мне никчемных, хотя вполне достойных и милых, и женщина с веером\* сброшена на пол и разбилась, а на это как-то с небрежной усмешкой, дескать ему все равно, и вот от этого перехода в третье лицо, от затаенной печали, от развала – пошла беда...

Не стоит, Машка, сейчас, когда все вернулось, и не просто вернулось, а ожило и расцвело и оказалось самым главным и самым последним, когда я тебя снова узнал и удивился своему счастью с тобой, – подозревать какие-то задние мотивы, которые немислимы.

А я сейчас сильно думаю о доме, способном произрасти из тебя, как ты умеешь устраивать его даже в поезде. И уже новое местожительство, чувствуется, тобою насижено и ухичено, и очень мне потому хорошо, и, пожалуйста, пиши поподробнее про все наше домохозяйство и про любовь, без которой я не могу жить.

А как это – шумоизоляция со стороны коридора? Стенка, что ли, тонкая, или я чего недопонял?

А моему конкуренту, имевшему свидание через два дня после нас, повезло больше нашего: разрешили вволю поесть и сидеть рядышком. Других же с общего, случается, вообще оставляют на ночь. Так что пусть тебя не обманывают всякими обещаньями и ссылками на чью-то нерасторопность, – не верь.

На проволочку с Сименом\* не сердись: последовало возмездие, и на почте, посылая Сименона, украли сумочку с 56 рублями и паспортом. Представляешь, какой хипеш – надо ехать к мужу, а паспорта нет. Хорошо – в последний момент подкинули. Вот как бывает.

*16 апреля.*

Машка, я тебя – люблю.  
(в виде заявления)

*17 апреля.*

После твоего отъезда у нас сильно похолодало. Дождик каждый день. Ветер. Но главным образом тучи, похожие на дымовую завесу, и зябкость в небесах, просвистанных безнадежным, сиротским провинциализмом.

Из Егорычевых снимков в трех письмах, что я говорил, мне милее всего – с пальцем во рту, во вкусе Ренуара. А принц почему-то до меня не доходит. А стриженный выглядит не по годам печальным и взрослым – лет на пять тянет, по крайней мере, и мне его очень жалко.

Голомшточыё письмо\* тоже пришло вместе с теми тремя. Умное и приятное. А что Булгаков писателю отвел среднее место забвения, так Цветаева, например, еще хуже его помещала. И Василий Васильевич тоже. У них интересней и глубже написано на ту тему, что писателем вообще быть стыдно. Может, я чего не разобрал в Игорева интонации (о многих вещах в этой книге на-

до, вероятно, беседовать подолгу и подробно, чтобы сколько-нибудь уловить взаимные точки), но все равно пускай он, когда будет время, расскажет про кинофильмы и вообще – новости культуры. Мне это будет подарком. А фильмов Бергмана я никаких не видал.

Все-таки ужасно мало мне тебя дали на этот раз. До бесчеловечия мало. И все-таки одно твое звенящее «не соскучишься» гремит музыкой, которой я жив и здоров, а без нее даже не знаю, как сумел бы существовать.

*18 апреля.*

Живу меж тобою и Пушкиным; все остальное происходит настолько механически, что кажется нереальным и чреватым в один миг исчезнуть бесследно. Как проваливается декорация – в пустоту.

А лишение кашей\* довольно ощутительно. Странно: такая малость, а туда же – влияет.

Хорошо ко мне относящиеся сослуживцы дают мне хорошие книги – со словами: «Прочтите вот это, посмотрите то, вам будет интересно». А я, как идиот, благодарю и складываю их на тумбочку или куда еще и не притрагиваюсь: нет времени. Мне очень со-вместно.

*18 апреля.*

Прежде чем слушать про Пушкина что-нибудь забавное, я прошу тебя взять ручку (немедленно) и в прошлом моем письме исправить своею рукой (обязательно!) одно слово, случившееся по ошибке памяти. А именно – в конце разговора о Пушкине надо вычеркнуть определение «пушкинский» применительно к Дон-Жуану и вместо него вставить «некогда», получив в итоге: «...в какую, к примеру, попал некогда Дон-Жуан...»

А теперь попробуем вникнуть в любовный орнамент юного Пушкина, как известно, не слишком целомудренный, но что делаешь: шалун.

Но что это: егозливые прыжки и ужимки, в открытую мотивированные женолюбием юности, внезапно перенимают крылья ангельского парения?.. Словно материя одной страсти на лету

преобразовалась в иную, непорочную и прозрачную, с тем, однако, чтобы следом восстановиться в прежнем качестве.

Эротическая стихия у Пушкина вольна рассеиваться, истончаться, достигая трепетным эхом отдаленных вершин духа (не уставая попутно производить и подкармливать гривуазных тварей низшей породы). Небесное создание, воскресив для певца «и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь», способно обернуться распутницей, чьи щедроты обнародованы с обычной шаловливой болтливостью, но и та пусть не теряет влекущей надежды вновь при удобном случае пройти по курсу мадонны.

Не потому ли на Пушкина никто не в обиде и дамы охотно ему прощают нескромные намеки на их репутацию: они – лестны, они – молитвенны...

Пушкину посчастливилось вывести на поэтический стриптиз самое вещество женского пола в его щемящей и соблазнительной святости, фосфоресцирующее каким-то подземным – чтоб не сказать – надзвездным, свечением (тем – какое больше походит на невидимые токи, на спиритические лучи, источаемые вертящимся столиком, нежели на матерьяльную плоть). Не плоть – эфирное тело плоти, ея Психею, нежную ауру поймал Пушкин, пустив в оборот все эти румяные и лилейные ножки, щечки, персики, плечики, отделившиеся от владелиц и закружившиеся в независимом вальсе, «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты».

Пушкинская влюбчивость – именно в силу широты и воспламеняемости этого чувства – принимает размеры жизни, отданной одному занятию, практикуемому круглосуточно, в виде вечного вращения посреди женских прелестей. Но многочисленность собрания и любвеобилие героя не позволяют ему вполне сосредоточиться на объекте и пойти дальше флирта, которым, по существу, исчерпываются его отношения с окружающими. Готовность волочиться за каждым шлейфом сообщает поползновениям повесы черты бескорыстия, самозабвения, отрешенности от личных нужд, удовлетворяемых между делом, на бегу, в ежеминутном отключении от цели и зевании по сторонам. Как будто Пушкин задался мыслью всех ублажить и уважить, не обойдя своими хлопотами ни одной мимолетной бабенки, и у него глаза разбегаются, и рук не хватает, и нет ни времени, ни денег позаботиться о себе. В созерцании стольких ракурсов, в плену впечат-

лений, кружащих голову и повергающих в прострацию, он из любовников попадает в любители, в эрудиты и виртуозы амурной науки, лучшие блюда которой, как водится, достаются другим. Старое правило: сапожник – без сапог.

Читая Пушкина, чувствуешь, что у него с женщинами союз, что он свой человек у женщин – притом в роли специалиста, вхожего в дом в любые часы, незаменимого, как портниха, парикмахер, массажистка (она же сводня, она же удачно гадает на картах), как модный доктор-невропатолог, ювелир или болонка (такая шустрая, в кудряшках...). С такими не очень-то церемонятся и, случается, поскандалят (такой нахал! такая проныра!), но не выгонят, не выставят, таких ценят, с такими советуются по секрету от свекрови и перед такими, бывает, заискивают. Специалист! Какая техничность! Какое редкое понимание!

– Одну секунду, сударыня! Поверните вашу талию...

Ну и, естественно, таким не отказывают. Еще бы: *Пушкин* просит!

Он так же проник в дамские спальни и пришелся там ко двору, как тот улан, переодетый в кухарку, обживал домик в Коломне, правда – с меньшим успехом, чем Пушкин, в игривом стиле здесь описавший, безусловно, собственный опыт, свои похождения в мире прекрасного. В своей писательской карьере он тоже исподтишка работал под женщину и сподобился ей угодить, снуя вокруг загадок ее прельстительности. «Она, как дух, проходит мимо», – молвил Пушкин, и мы робеем как бы в прикосновении тайны...<sup>1</sup>

Задумаемся: почему женщины любят ветреников? Какой в них

---

<sup>1</sup> «Бахчисарайский фонтан». Гарем (куда так хочется залезть). Байрон. Байронов Жуан, туда попавший в costume деви. Задрапированный улан, достигший того же в Коломне (перечитывая «Домик в Коломне», я почему-то в нем не нашел вышеозначенного улана, а только красочное сообщение о брившейся тишком кухарке неизвестного служебного профиля, но все же, сдается, то был улан). Итак, улан, в подражание Байрону прокравшийся под бочок Параше, – как Пушкин, Байроновым же путем, прокрался в гарем в «Бахчисарайском фонтане», одевшись с ног до головы – в женоподобную поему. «Она пленительна и своенравна, как красавица Юга», – писал о поэме А.Бестужев (Марлинский) в очередном литературном обзоре («Полярная звезда», 1825 г.), не задумываясь, однако, над сходством пушкинского Фонтана с женщиной, но мы задумаемся...

прок – одно расстройство, векселя, измены, пропажи, но вот, подите ж вы, плачут – а любят, воем воют – а любят. Должно быть, ветреники сродни их воздушной организации, которой бессознательно хочется, чтоб и внутри и вокруг нее все летало и развевалось (не отсюда ли, кстати, берет свое происхождение юбка и другие кисейные, газовые зефиры женского туалета?). С ветреником женщине легче нащупать общий язык, попасть в тон. Короче, их сестра невольно чувствует в ветренике брата по духу.

Опять-таки полеты на венике имеют в своей научной основе ту же летучесть женской природы, воспетую Пушкиным в незабвенном «Гусаре», который, как и «Домик в Коломне», во многом автобиографичен. Вспомним, как тамошняя хозяйка, раздевшись донага, улизнула в трубу, подав пример своему сожителю:

Кой чорт! подумал я: теперь  
И мы попробуем! и духом  
Всю склянку выпил; верь не верь –  
Но кверху вдруг взвился я пухом.

Стремглав лечу, лечу, лечу,  
Куда, не помню и не знаю;  
Лишь встречным звездочкам кричу:  
Правей! . . . . .

Какой там гусар! – не гусар, а Пушкин взвился пухом вослед за женщинами и удостоился чести первого в русской поэзии авиатора!

19 апреля.

А вот, Машенька, беглые заметки – как если бы на полях книг, которые я все же понемножку читаю, в том числе того же Пушкина и о нем.

О дуэли Пушкина (Вересаев, Щеголев «Дуэль и смерть Пушкина» в серии «Жизнь замечательных людей» и т.д.) где-то сказано (со ссылкой на каких-то очевидцев), что якобы перед дуэлью и позднее Пушкин думал, что уцелеет, что пуля прошла мимо, и вывод, что для всех *таких* нету конца, а есть дверь, которая как раз открывается в решительный момент, и человек спасен. Возможно (догадка критика), минута огромного напряжения, в какую «видят всех», отмыкает ее, как ключом, и она оказывается ровно

по мерке и по форме тела (контур замочной скважины). Я – дверь. (Или это всякий не способен представить, что его не будет вдруг, потому что это противоположно природе нашего сознания и все приготовления к этому кажутся баловством, которое только пугает, но не может же наступить вполне серьезно? Но – обратный случай – предпочтение слепоты – чтобы закрыть-ся, как одеялом, или сказать: дяденька, не отдавайте.)

В представлениях Пушкина об искусстве господствовала зрелищная позиция биографии поэта. Согласно ей, например, профессора слабее поэтов и не согласны на дуэль (эпизод с Калиновским, которого Пушкин презирал), а поэты хоть на железном листе:

– Видали мы таких!

– Таких не видали.

Но (у Крылова) волк перед овцами тоже актер: «Пускай поживут, помечтают». А съест – для известности. И не съест – для известности, волка же – театральная репутация обязывает.

У поэтов иерархичность (навыворот), чувство чести. Сократ с полотенцем (в комментариях Платона). Пушкин мог бы и без пистолета пойти на Дантеса, и тот не смог бы – хоть туши ему папиросу о лоб (в современном восприятии Пушкин почему-то должен курить непременно – ср. у Багрицкого Пушкин с сигаретой в углу рта – «И памятник Пушкину просит закурить»).

Кастовость среды как форма морали, выработанной взамен ее отсутствия. Аристократизм при падении аристократии (Пушкин всегда подчеркивал свое знатное происхождение). Опухоли-касты. Горбы морали на месте равнин и выбоин.

У Блока в «Записных книжках» сказано, что он мечтал в юности написать стихотворение, прочтя которое люди бы хлопались в обморок и вставали прозревшими. Это максимальное стихотворение, способное пересоздать природу человека (даже!) – философский камень, который ищет мировая культура, не подозревая того.

Дон-Кихот – деятельный тип, согласно мнению Тургенева (статья «Гамлет и Дон-Кихот»). Преуспевающий Дон-Кихот – Бурчеев. Но Дон тем хорош, что неудачник. Санчо Панса – это доверчивость разума, лояльность здравого смысла (в ср. века) по отношению к вере. Обыватели-реалисты (в XVI в.) уповали на

рыцарей. Рыцари ожидали букетов по возвращению из похода, размышляли о чулочных подвязках. У Блока – «вот проснется» – вариант ветряных мельниц.

(Тема донкихотства широко разработана в статьях Т.Манна. NB.)

20 апреля.

А вот разные реплики из жизни.

Сделав глоток кофе:

- Точно по груди прошла мордочка в лапоточках.
- Жить так, чтоб никого не объесть.
- Оставалось ждать и надеяться на приснившиеся тапочки.
- Было нас пять человек. Все интеллигенты, за исключением

меня...

– Человек всегда и много лучше, и много хуже, чем от него ожидаешь.

О рубахе:

– Я в ней живу!

Внезапный вопрос:

– А что ты думаешь о драконах?

– ?!

– Куда они подевались?

«Женой я изменен», «Совесть на себе свою проверь» («Поэма из личной жизни»).

И слово теплое находишь,  
И время весело бежит,  
И видишь кое-что в природе,  
Когда в кармане чай лежит.

– Я буду говорить прямо, потому что жизнь коротка.

Дождь перешел в снег, а писем от тебя все нету и нету. Даже 31-е еще не приходило. Но все равно я к тебе отношусь со всею нежностью и со всей любовью. Всеми жилочками отношусь.

Целую и милую.

А.

20 апреля 1967 г.





**...бесполезную печку... ..про Фелицу, и про собачку.** – В апреле 67-го года я наконец-то поменялась со старухой Фелицей Ивановной, о чем в письме Синявскому писала так: «Я поменялась на Пятницкую улицу, что около ресторана «Балчуг», на две крохотные комнаты, в квартире с одной соседкой на кухне. Вернее, соседок две: мать и дочь, но дочери около 70 лет, а матери уже 96, из них она 12 лет как ослепла и из комнаты не выходит. А семидесятилетняя дочка еще очень бойкая и иррациональная и красится в ярко-рыжий цвет, и посмотрим, что будет дальше. А комнаты выглядят так: (в подлиннике – рисунок).

Как видишь, в большой (проходной) комнате одно окно, и оно сбоку, поэтому часть ее, смежная с соседкой, не очень светлая. А что это стоит перед окном и заштриховано? Печка, которую когда-то топили, а теперь нет, ибо подвели теплоцентраль. А входов два, и сначала Фелица ходила в дверь № 1, а потом пробилась дверь № 2, и теперь я могу вышибать».

**...в Рамене, в детстве...** – См. примечание к письму 12.

**...женщина с веером...** – Большая, под стеклом, репродукция с картины Пикассо, когда-то висевшая в нашем подвале.

**На проволочку с Сименоном...** – Некоторые ленинградские эковские жены, по пути из Ленинграда в лагерь и обратно, останавливались у меня. И кто-то из них, уже не помню кто, попросил почитать на несколько дней чужого Сименона и задержался возвратом.

**Голомшточе письмо...** – В письме Игоря Голомштока бурно обсуждалось место писателя в рабочем строю на материале «Мастера и Маргариты».

**...лишение кашей...** – На самых тяжелых работах давали дополнительную кашу, а когда переводили на более легкую (тоже тяжелую), добавку к рациону снимали.



## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

...Погода мерзкая, и на душе – невесело. В быту небольшие перемены: в жилых секциях нас расположили посменно, т.е. вся секция либо работает, либо сидит дома, либо спит. Жить стало труднее. Раньше была возможность сидеть на нижней койке в те часы, когда ее хозяин работал. Да и спать было просторнее. А сейчас – нос в нос. Сейчас у меня одно пристанище – под потолком, и я там сижу, как птичка в клетке. Все надежды – на лето, когда народ захочет гулять на улице. Но пока для этого холодно.

Еще на меня упала стойка от вагонки (очень я неловкий), и весьма удачно: сорвала немного кожу на затылке, не задев остального, и теперь я заклеен с макушки и там что-то вроде Егорова рубчика (мне же не видно). Больно не было, только сильно лилась кровь, и я получил освобождение на один день. Беспokoился, не стану ли я несколько лысым в результате (потому что я в жизни еще рассчитываю тебя обольщать и привлекать), но говорят – только гуще будут расти волосы на этом месте. Теперь я стану работать в своей австро-венгерской шапочке, и ты не беспокойся.

А Егорушкина фотография с обращением к папе на обороте очень, очень по мне и моя.

*22 апреля.*

Машечка. Очень я скучаю без тебя и без твоих писем. А они опять не хотят приходить.

*25 апреля.*

Ну какие у меня события? Вот, например, давали белый хлеб в ларьке, и, хотя мой ларек уже весь истрачен, мне добрые люди

подарили целую буханку. Вот, еще например, сделали ремонт, и мы отвинчивали-привинчивали свои кровати. Вот стало жарко в один момент.

*26 апреля.*

Ну вот, родная моя жена, получил я твое 31-е письмо, ехавшее до меня пятнадцать (!) суток и все-таки доехавшее. Там ты не совсем права и справедлива по причине моей абсолютной к тебе любви и нежелания жить и видеть жизнь без тебя. Но, к счастью, я уже знаю, что это ты не сейчас писала, а кроме того, к счастью же, почти одновременно пришли от тебя новые письма, очень украсившие мою жизнь, и я могу сызнова с тобой чирикать, не омрачаясь их долгим отсутствием, которое уже позади.

И как это тебя приспособили к работам по меньшутинскому переезду?!\* Понятно, надо помочь, но тебя бы, наверное, можно было освободить от повинности из-за твоей заботности собственным домом, и вообще мать-одиночка.

А у нас в два дня все листики распустились, и лес вдалеке сделался по-правдашнему зеленым, и березки по всему лагерю стоят, как маленькие фонтанчики типа Монплезир, и стало очень красиво и отраднo дышать. Вечерами просто дух захватывает от доброго воздуха, и лягушки поют хором что-то очень хвалебное, а днем висят сережки и падают мне на бумагу, когда я сижу на улице и пишу. Отыскал уличный столик стабильного устройства и там сижу, когда он не занят, под березовыми завитушками, птичками, жучками и прочей ерундой, ужасно трогательной и утешающей. Получается что-то вроде парка культуры и отдыха, кто-то рядом щелкает на бильярде, кто-то прыгает в мяч, играет радио, порхает ветер, и мне хорошо. В секции стараюсь быть поменьше, и последние дни, очень ясные и теплые, приспособился с утра уходить за свой столик и там проводить все свободное время. Тем более что работа душная и пыльная, а зимой я почти не вылезал из помещения.

А ты мне забыла прислать обещанные адреса, и пришлось открытки к 1-му маю отправить старым способом. Всего – семь: тебе, Игорю, Петрову, Меньшут., матери (на домашний адрес), Над. Вас.\* (на тебя) и Вике (Г-19). Целый день писал.

А то, что у Егора поднималась большая температура после прививки и все страшно распухало, может быть, и неплохо вот в

каком отношении: это считается, кажется, знаком предрасположенности человека к данной болезни, и значит, тем необходимее была прививка. И может, стоило бы, Маша, привить его до лета еще от чего-нибудь, в особенности – от дифтерита?

А голова у меня совсем заросла, и ненужная наклейка отлетела, и скоро можно будет мыться хоть с мылом.

Интересно узнать: сама ты рисовала чудесный вид из окна\* или Петрова просила? – я никак не могу догадаться.

А еще так было приятно и уютно узнать, что мы с тобой опять совпадаем, и ты согласна, и все понимаешь, и про твою стрижку, и про наш домик.

28 апреля.

Сколько ни вспоминал, ни смотрел, «девушки» у Пушкина падаются только *один раз* (а не два) – как две «параллельные» (и от этого слова происходят), а кроме того, это не Пушкин за ними ухаживает, а мольеровский Дон-Жуан занялся *крестьянскими* девушками по дороге к кому-то еще.

Но, в принципе, я не держусь за слова и, поразмыслив, согласился с твоей кобылицей (на девушек – пока нет). А также в прошлом письме подлежат замене неудачные слова. Вначале вместо «функционировать» поставь «восстановиться», и потом вместо «чванятся» (или «чинятся» – не помню, как точно было) надо: «с такими не очень-то церемонятся». С этими словами так же, как с Дон-Жуаном тебя просил.

А теперь опять вернемся к пушкинской авиации.

Полюбуйтесь: «Руслан и Людмила» – явившись первым ответвлением в эпос эротической лирики Пушкина, вдоль и поперек исписаны фигурами пилотажа. Еле видная поначалу, посланная издали точка-птичка («там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря»), приблизившись к нам, размахивается каруселями воздушных сражений и сообщений. Будто надутые шары, валандаются герои в пространстве, укладывая текст в живописные вензеля. В поэме уйма завитушек, занимающих внимание. Но, заметим, вся эта развесистая клюква, – нет! – елка, оплетенная золотой дребеденью (ее прообраз явлен у лукоморья, в прологе, где изображен, конечно, не дуб, а наша добрая,

зимняя ель, украшенная лешими и русалками, униженная всеми бирюльками мира, и ее-то Пушкин воткнул Русланом на месте былинного дуба, где она и стоит поныне – у колыбели каждого из нас, у лукоморья новой словесности, и как это правильно и сказочно, что именно Пушкин елку в игрушках нам подарил на Новый год в первом же большом творении), так вот эта елка, эта пихта, это нарочитое дезабилье романтизма, затейливо перепутанное, завинченное штопором, турниры в турнирах, кокотки в кокошниках, боярышни в сахаре, рыцари на меду, медведи на велосипеде, охотники на привале – имеют один источник страсти, которым схвачена и воздета на воздух, на манер фейерверка, вся эта великолепная, варварская трубуха поэмы.

Тот источник освистан и высмеян в пересказе Руслановой фавулы, пересаженной в одной из песен на почву непристойного фарса и обнажившей, в порядке эпатажа, свою вульгарную схему. В этой вставной новелле-картинке, служащей заодно и пародией, и аннотацией на «Руслана и Людмилу», действие из дворцовых палат вынесено в деревенский курятник. (Должно быть, куры – в курином, придворном, куртуазном и авантюрном значениях слова – отвечали идейным устремлениям автора и стилю, избранному в поэме, – старославянскому рококо.) Здесь-то, в радушном и гостеприимном бесстыдстве, берут начало или находят конец экивоки, двойная игра эротических образов Пушкина, уподобившего Людмилу, нежную, надышанную Жуковским Людмилу, пошлой курице, за которой гоняется по двору петух-Руслан, пока появление соперника коршуна не прерывает эти глупости в самый интересный момент.

...Когда за курицей трусливой,  
Султан курятника спесивый,  
Петух мой по двору бежал  
И сладострастными крылами  
Уже подругу обнимал...

Запоминающиеся впечатления детства от пребывания на даче сказались на столь откровенной трактовке отношений между полами. Как мальчишка, Пушкин показывает кукиш своим героям-любовникам, только что обрисованным в самых учтивых словах. Но каким светлым аккордом, какую пропастью мечтательности

разрешается эта сцена, едва событие вместе с соперником переносится в воздух – на ветер сердечной тоски и вдохновения.

...Напрасно горестью своей  
И хладным страхом пораженный  
Зовет любовницу петух...  
Он видит лишь летучий пух,  
Летучим ветром занесенный.

К последним строчкам – так они чисты и возвышенны – невольно напрашивается ассонанс: «Редееет облаков летучая грядда...» Редееет и стирается грань между эротикой и полетом, облаками и женскими формами, фривольностью и свободой – настолько то и другое у Пушкина не то чтобы всюду и всегда равноценные вещи, но доступные друг другу, сообщающиеся сосуды. Склонный в обществе к недозволенным жестам, он ухитряется сохранять ненаигранное целомудрие в самых рискованных порой эпизодах – не потому, что в эти минуты его что-то сдерживает или смущает; напротив, он не знает запретов и готов ради пущей пикантности покуситься на небеса; но как раз эта готовность непоседливой эротике Пушкина притрагиваться ко всему на свете (когда застыл этот свет, а когда им ответно светлея) – лишает ее четких границ и помогает вылиться в мысли, на взгляд, ни с какого бока ей не приставшие, не свойственные, – на самом же деле демонстрирующие ее силу и растяжимость.

Как тот басенный петух, что хотя никого не догнал, но согрелся, Пушкин умеет переключать одну энергию на другую, давая выход необузданной чувственности во все сферы жизнедеятельности. «Блажен, кто знает сладострастье высоких мыслей и стихов», – говорит он в минуту роздыха от неумеренных телесных блаженств. Как так «сладострастье *мыслей*» и вдобавок еще «*высоких*»? Да вот так уж: у него всё – сладострастье: и танцы с рифмами, и скачка под выстрелами, и тихий утренний моцион. «Любовь стихов, любовь моей свободы...» Слышите? Не Нинеты любовь, не Темиры, и даже не Параша, а – ... *свободы* (к тому же – «*моей*»? ). До крайности неопределенно, туманно: нелепо, а между тем сердце ёкает: любовь!

Эротика Пушкина, коли придет ей такая охота, способна удаться в путешествия, пуститься в историю, заняться политикой.

Его юношеский радикализм в немалой степени ей обязан своими нежными очертаниями, воспринявшими вольнодумство как умственную разновидность ветрености. Новейшие идеи века под его расторопным пером нередко принимали форму безотчетного волнения крови, какое испытывают только влюбленные. «Мы ждем с томленьем упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуту верного свиданья» – вот эквивалент, предложенный Пушкиным. Поэзия, любовь и свобода объединились в его голове в некое общее – привольное, легкокрылое – состояние духа, выступавшее под оболочкой разных слов и настроений, означающих примерно одно и то же одушевление. Главное было не в словах, а в их поклонах и пируэтах.

Понятно, в этом триумвирате первенство принадлежало поэзии. Но если хоть в сотой доле верна ненадежная теория, что художественная одаренность питается излучением эроса, то Пушкин тому прямая и кратчайшая иллюстрация. К предмету своих изображений он подсакивал нетерпеливым вздыхателем, нашептывая затронувшей его струны фигуре: «Тобой, одной тобой...» И он умел уговаривать.

«Elle me trouble comme une passion» – «Она меня волнует, как страсть», – писал он о Марине Мнишек.

Сопутствующая амурная мимика в его растущей любви к искусству привела к тому, что пушкинская Муза давно и прочно ассоциируется с хорошенькой барышней, возбуждающей игривые мысли, если не более глубокое чувство, как это было с его Татьяной. Та, как известно, помимо незадачливой партнерши Онегина и хладнокровной жены генерала, являлась личной Музой Пушкина и исполнила эту роль лучше всех других женщин. Я даже думаю, что она для того и не связалась с Онегиным и соблюла верность нелюбимому мужу, чтобы у нее оставалось больше свободного времени перечитывать Пушкина и томиться по нем. Пушкин ее, так сказать, сохранял для себя.

Зияния в ее характере, не сводящем (сколько простора!) концы с концами – русские вкусы с французскими навыками, здравый смысл с туманной мечтательностью, светский блеск с провинциализмом, сбереженным в залог верности чему-то высшему и вечному, – позволяют догадываться, что в Татьяне Пушкин копировал кое-какие черты с портрета своей поэзии, вперемешку с другими милыми его сердцу достоинствами, подобно тому как он приписал ей свою старень-

кую няню и свою же детскую одинокость в семье. Может быть, в Татьяне Пушкин точнее и больше, чем где-либо еще, воплотил себя персонально – в склонении над ним всепонимающей женской души, которая единственно может тебя постичь, тебе помочь, и что бы мы делали – скажите – на свете без этих женских склонений?..

Возможно, поэтому он, ревнивец, и не дал ходу нашей бедняжке, лишив ее всех удовольствий, заставив безвыходно любить – не столько Онегина, ее недостойного, напичканного едкой современностью (Татьяне досталась вечная часть), сколько – прежнюю любовь-свободу-поэзию, в этом союзе осиявших ее девичество. Не испытывая к пожилому супругу ничего, кроме почтительности, застраховавшей ее от соблазна поддаться Онегину, во-первых, и не дав ничего, во-вторых, Онегину, кроме горьких признаний, брошенных ему в лицо как вызов померяться с нею силами, она в этой стойкой раздвоенности находит гарантию остаться собою – не изменить ни с кем назначению, что ей приуготовил Пушкин, назвав навсегда *своею*.

Одинокая со младенчества – среди родных, среди подруг, одинокая среди высшего света, поверженного к ее ногам, одинокая на прогулках, у окна, с любимыми книгами, она – избранница, и в этом качестве проведена за ручку Пушкиным между Сциллой растроченных и помятых чувств (принадлежи Татьяна Онегину, да и всякому другому любовнику) и Харибдой семейной пошлости (увенчайся ее брак с генералом счастливой гармонией). Что же мы видим? – Сцилла с Харибдой встретились и пожрали друг друга, оставив невредимой, девственной ее, избранницу, что, как монахиня, отдана ни тому, ни другому, а только третьему, только Пушкину, умудрившись себя сберечь, как сосуд, в котором ни капли не пролилось, не усохло, не состарилось, не закисло, и вот эту чашу чистой женственности она, избранница, подносит *своему* избраннику и питомцу.

Вся жизнь моя была залогом  
Свиданья верного с тобой;  
Я знаю, ты мне послан Богом,  
До гроба ты хранитель мой...  
Ты в сновиденьях мне являлся,  
Незримый, ты мне был уж мил,  
Твой чудный взгляд меня томил,  
В душе твой голос раздавался  
Давно...



Боже, как хлещут волны, как ходуном ходит море, и мы слизываем языком слезы со щек, слушая этот горячечный бред, этот беспомощный лепет в письме Татьяны к Онегину, Татьяны к Пушкину или Пушкина к Татьяне, к черному небу, к белому свету...

Я вам пишу – чего же боле?  
Что я могу еще сказать?

Ничего она не может сказать, одним рывком отворяя себя в сбивчивых lamentациях, смысл которых – если подходить к ним с буквальной меркой ее пустого романа с Онегиным – сводится к двум, приблизительно, довольно типичным и тривиальным идеям: «теперь ты будешь меня презирать» и «а души ты моей все-таки не познал». Но как они сказаны!..

Открыв письмо Татьяны, мы – проваливаемся. Проваливаемся в человека, как в реку, которая несет нас вольным, переворачивающим течением, омывая контуры души, всецело выраженной потоком речи. Но с полуслова узнавая Татьяну, настоящую, голубую Татьяну, плещущую впереди, позади и вокруг нас, мы тем не менее ничего толком не понимаем из ее слов, действующих почти исключительно движением сказанного.

Кто ей внушал и эту нежность,  
И слов любезную небрежность?

– удивляется Пушкин, сам ведь все это и внушивший по долгу службы (в соответствии с собственным вкусом и слухом к нежной небрежности речений), что не мешает ему испытывать от случившегося что-то похожее на оторопь... Постой! Кто все-таки кому внушал? Тут явная путаница, подлог. По уверению Пушкина, Татьяна не могла сама сочинить такое, ибо «выражалася с трудом на языке своем родном» и писала письмо по-французски, перевести с которого с грехом пополам взялся автор.

...Вот  
Неполный, слабый перевод,  
С живой картины список бледный...

Но если бледная копия такова – то каков же прекрасный подлинник и что может быть полнее и подлиннее приложенного здесь документа?!

Читателю предоставлено право думать что угодно, заполняя догадками образовавшиеся пустоты, блуждая в несообразностях. Пушкин упрямо твердит, что его «перевод» внушен «иноплеменными словами» Татьяны, и отводит ей место над своим творчеством. Остывающее перед нами письмо лишь слабый оттиск каких-то давних отношений поэта с Татьяной, оставшихся *за* текстом – там, где хранится недоступный оригинал ее письма, которое Пушкин вечно читает и не может начитать.

Допустимо спросить: уж не Татьяна ли это ему являлась, бродя в одиночестве по лесам?

С утра до вечера в немой тиши дубов  
 Прилежно я внимал урокам девы тайной;  
 И, радуя меня наградою случайной,  
 Откинув локоны от милого чела,  
 Сама из рук моих свирель она брала:  
 Тростник был оживлен божественным дыханьем  
 И сердце наполнял святым очарованьем.

29–2 мая.

Прости, Машенька, моя единственная в мире Машенька, что я напустил столько литературы в письмо, которое ты, наверное, давно ждешь с нетерпением и надеждой поговорить, и вот вам пожалуйста. Но у меня, как и предвидел и говорил тебе, ничего другого не накопилось за такой маленький срок, а потом пушкинские мотивы, занимающие меня последнее время, имеют склонность прижаться к тебе, как к своей покровительнице и предмету моих тихих восторгов.

Праздничные дни заканчиваются. Провел я их, как ты видишь, за письмом, хотя на толкучке делать это было трудно и погода на этих днях опять похолодала. Но холодный ветер, все же пропитанный освежающей душистостью, и ярусы облаков, заполнившие клеть неба, – напоминали о нашем Севере и тешили сердце, хоть приходилось кутаться. Вся природа как-то раздвинулась и поехала вверх, и в лагере появилась иллюзия небывалого простора, сотканного из огромных запасов воздуха и света. Только уж

очень скоро густеют деревья, утрачивая свою первоначальную, прекрасную прозрачность.

В матерьяльном отношении эти дни тоже жил неплохо. Курил «Шипку», пил растворимый кофе. А еще опять поступил в продажу белый хлеб в ларьке и мне опять подарили – две буханки. А когда в здешних условиях подают что-нибудь съедобное – добро принимает сразу двойной объем и силу милостыни в ее высшем и величайшем значении.

· А еще скоро Егоров день\*, и я вас обнимаю. <...>

Завтра иду трудиться в первую смену, хорошо – неделя маленькая, а там опять во вторую.

Из этого письма мне особенно интересно, как тебе покажется Татьяна. Я сам не ожидал, что она такое отмочит, но, видно, в ее характере удивлять неожиданностями. Зато ею возвысилась шокирующая курица (без которой тоже нельзя было обойтись – чтобы реконструировать Пушкина и в этой, достаточно низкой теме), и кажется, удалось передать движения вниз и вверх, закруглив, наконец, гривуазную область пушкинских гуляний.

Люблю тебя, люблю, люблю.

А.

2 мая 1967 г.



...к работам по меньшевскому переезду?! – Из коммунальной квартиры по улице Семашко Меньшутины переехали в кооперативную в Измайлово. И совершенно естественно было мне возглавить этот переезд, потому что на недавнем моем переезде почти все наши общие с Меньшутинскими друзья оказались слабее меня в организации этого дела.

...Над. Вас. – Надежда Васильевна Реформатская (1901–1984) – филолог, специалист по литературе 20-х годов XX века, старый друг Синявского. В 40–60-е годы была заместителем директора по научной части Музея Маяковского, и поэтому, когда в 1950 году арестовали Доната Евгеньевича Синявского и А.С. стал «сыном врага народа», Надежда Васильевна сумела взять его на работу внештатным экскурсоводом, сделав вид, что она ничего не знает.

...чудесный вид из окна... – Эту картинку мы сочиняли вдвоем с А.Петровым.

...скоро Егоров день... – 6 мая, именины.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Машенька, Ласточка.

После очередной порции тоскливой выдержки и сплошного ожидания твоих писем, которые последнее время стали доходить до меня несколько труднее и медленнее, – пришло вознаграждение. Во-первых, – поздравительная телеграмма. Во-вторых, – бандероль. В-третьих, – три письма и все подряд нежные (№№ 37–39). Это не считая меньшутинской открытки.

В общем – праздник, отмеченный вдобавок (ну и добавка!) ярлычным шоколадом, которым меня угостили весьма кстати. И все это чуть ли не в один день! А я эту неделю тружусь в первую смену, и совсем не бывает времени, чтобы присесть и выразить тебе письменно все мои восхищения. Так и бегаю, бултыхаясь внутри разными восклицаниями по поводу твоей красоты. Так откладывается и тянется со дня на день объяснение в любви, которое я мечтаю когда-нибудь выразить тебе на словах и на деле более определенно.

Про Феофана же Грека мне сдается, что он все ж таки был греком, как это ни печально. Другое дело – что средневековая культура была по этой части универсальной и национальные школы не столь уж разнились тогда, так что Феофанова манера легко приросла к нашему дереву.

Немного обидно было услышать, что Коля вовсю пользуется\* мыслями, которые я ему рассказал-прочитал из книги «Земля и небо», с которой уже несколько лет я очень ношусь в душе и имеющей для меня какой-то очень личный смысл, а не просто научный труд. А область иконописания ему настолько доступнее и знакомее, чем мне, что расхватывать это нищенское добро, взлеянное урывками, – к тому же абсолютно не его вкуса и круга,

тем более не законченное при таких обстоятельствах, – как-то невеликодушно.

Короче, мне что-то стало жаль, и можешь ему это от меня сказать, а можешь и не говорить: как лучше. Или вот что: если ратаска окажется чересчур беззастенчивой, скажи, что ты, по моей просьбе, сама работаешь сейчас над этой темой, что достаточно близко к правде, поскольку многими идеями в «Земле и небе» я тебе всецело обязан\*, и было бы правильнее нам владеть этим совместно, и почему бы тебе без меня не продолжить эту книжку, заявив на нее все вытекающие отсюда права?

От статьи пребываю в изумлении\* и сильной радости. Помимо взгляда на вещи, очень соответствует непринужденность манеры и вкус к слову-образу, без которого весь этот живой разговор сразу увял бы.

Я глубоко убежден, что многие сферы истории искусства (и в особенности Древняя Русь) только потому и закрыты для современного человека, что об этих вопросах по давней академической традиции принято рассуждать скучно и сухо. Я не знаю, почему это произошло, – оттого ли, что само призвание науки заключается в том, чтобы сдирать с природы покров таинственности и превращать интересное в скушное? То ли в науку за ее многовековую историю слишком часто ударялись бездарности, не способные ничего открыть и придумать и избравшие для себя путь регистрации и систематизации накопленных сведений? Так или иначе, но в итоге почти вся древность – либо владение специалистов, один словарь которых наводит одурь, либо – игривых популяризаторов, не имеющих ни знаний, ни смелости ставить вопросы ребром.

Поэтому я приветствую ручки-ножки у Каргопольского Льва и голландского шкипера и синтез, по принципу воза выехавший из леса.

Но у меня задело ухо превращение девушки в титулованную Жар-птицу, тогда как ей следовало бы превращаться в царицу, и *несмотря* на то, что в соседнем столбце с титулом Жар-птицы фигурирует петух (!!). В «научных» трудах, может быть, и можно не обращать внимания на соседнее слово (все слова серые, одинаковые, и какая беда, что словечко «объективный» или «закономерный» повторится 30 раз кряду!), но в статьях подобного типа это

недопустимо, и, когда натыкаешься на подобный ляпсус, хочется рвать и метать.

Еще для люльки-шлюпки, приплывшей с прежних захоронений, надобно было хоть самое легкое упоминание о гробе-лодке, чтобы было что-то понятно. И еще в конце, перед «разумеется» почему-то не сделан абзац.

Может быть, моя придиричивость покажется излишней, но опять же *подобные* вещи – как стихотворение, в котором каждая точка должна стоять на месте и радовать глаз своей обязательностью.

А в общем – в общем показываю большой палец\*, как ты показала однажды, и я был счастлив.

А в нежных письмах в порядке риторического вопроса ты спрашиваешь, прошло ли в карфагенском плане самое страшное? Так вот: прошло. И никогда не вернется.

6 мая.

То ты меня радуешь, Машка, как в прошлый раз, а то огорчаешь, как сегодня в 40-м номере. Никаких ударов под ложечку и быть не может. И я переставал бывать счастливым и могу перестать только в одном случае и по одной причине – если ты от меня уходишь. И мне тяжело, что в такой вечер ты ходила с такими мыслями и что я тому виною.

10 мая.

А у нас комары вовсю кусаются, и стало колко сидеть по вечерам на воздухе, и вишня – несколько кустов – расцвела. А я тут два выходных дня делал выписки по эстетике средних веков (есть такая хорошая антология) и слушал Волшанинову, Горби, Ростовские звоны\*. В звонах очень приятно, что чирикают птички едва заметно, так что даже не поймешь, веревки ли это скрипят или птички чирикают. А в антологии нашел несколько потрясающе важных цитат, которые оченьгодились бы для «Земли и неба», и вообще мне все больше и больше хочется засесть за эту книгу.

А вот три книги, недавно вышедшие, которые нам с тобою надо иметь:

Л.Н.Гумилев. Открытие Хазарии (судя по рецензии в «Новом

мире», очень интересная и с разными неожиданными гипотезами, и вообще интересно – что вышло из сына).

*Павлов.* Египетский портрет I–IV вв. (1967 г.)

*Лазарев.* Михайловские мозаики. (1966 г.)

Это про фаюмский портрет, представленный в удивительно хороших репродукциях, так что его надо иметь даже больше, чем мозаики, которые я тоже видел здесь самолично и которые обставлены жутко солидными вычислениями всяких цветов и композиций. Наверное, обе эти книги есть еще в сотом магазине\*. Не упусти их, пожалуйста (особливо – египетский портрет).

А вот названия работ, которые мне надо когда-нибудь прочесть:

1) М.Э.Матье. Древнеегипетский обряд «отверзания уст и очей» – «Вопросы истории религии», т. V. М., 1958.

2) М.Э.Матье. Коптские и египетские магические статуэтки. – «Труды отдела Востока Гос. Эрмитажа», I, Л., 1939.

3) В.Грюнзен. Египто-эллинистический ритуальный портрет и средневековые портреты Рима. – ж. «Христианский Восток», 1912, № 1. (У него же статья в ж. «София», 1914, № 1.)

А еще мне понравился оборот начала 19-го века: «У меня давно вертелось в голове ходить в театр».

Сейчас иногда тоже бывают миленькие оборотики:

«Мы рвали цветы и т.д.»,

«Патефон лил песни»,

«Мелодия стояла в голове»,

«Я ничего тогда не знал о краткости жизни».

А когда тебе кажется, что я тебя обожаю и тетешкаю и уговариваю на все лады, – то ты очень права. И вообще ты сидишь у меня и в голове, и в сердце, как та самая мелодия, и обедаешь со мною, и ходишь на работу, но помимо того, еще купаешься в такой нежности, что я не могу допустить, чтобы это не отвечало действительности.

11 мая.

⟨Утрачены страницы\*⟩

Издавна, а точнее сказать, изначально ощущение красоты предполагает соразмерность, пропорциональную связь явлений. Понятия лада, гармонии, строя, порядка, равновесия, единства,

баланса то и дело подключаются к теме прекрасного в искусстве и жизни, хотя бы речь шла о самой свободной и естественной композиции. «Истинный вкус, – писал Пушкин, – состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности» («Отрывки из писем, мысли и замечания», 1827 г., – Полное собр. соч. в 10 тт., т. VII, М.; Л., 1951, стр. 53).

Вкус, или представление о том, что соразмерно и сообразно, меняется, санкционируя продвижение новых стилей, т.е. новых способов соизмерения, оставляя нетронутым, однако, всеобщий закон и залог прекрасного – необходимой упорядоченности.

«Утрачены страницы».

Женщина превращается в украшение дома, который наполняется ворохом миниатюрных ненужностей – в соответствии с назначением хозяйки – быть маленькой игрушкой большого-большого мужа. Для нее и слово находится – «крошка».

Гуляй, моя крошка, пока я на воле!

Пока я на воле, я твой!..

(Вариант:

Луна озарила зеркальные воды,

Где, крошка, гуляли мы с тобой...)

Красота все более прочно ассоциируется с накоплением вещей и признаков, перерождаясь порой в украшательство, живущее и паразитирующее на поверхности предмета, в виде необязательной надбавки, приложения к нему. Дома обзаводятся балкончиками, женщины зонтиками, мужчины тросточками. В провинциальном обычае и вкусе сочетания с прибавкой: часы с кукушкой, дама с собачкой, дом с мезонином. В прикладном искусстве города упор сделан на *прикладном*.

13–15 мая.

Все думаю-гадаю о пропаже моего апрельского письма и тщетно стараюсь найти тому мало-мальски разумное объяснение. Неужели кому-то просто нужно было поставить галочку в графе проведенных мероприятий? Все может быть.

Больше всего мне жаль тебя в этой гнусной истории. Представляю, как ты терзалась, и сердце кровью обливается.



Жаль и само письмо – было из удачных, потому что ведь и письма, бывает, больше удаются, а бывает – меньше. Но восстановить, как ты просишь, лирическую часть (про дом, про тебя, про Егорушку, про любовь) я уже не сумею, потому что с утра до вечера столько с тобой говорю на эти темы, что теперь трудно вспомнить, где чего я тебе сказал или написал. Во всяком случае можешь не сомневаться, что в пропавшем письме я тоже тебя ужасно как любил и лелеял.

Из вещей более деловых, пока я не забыл, – вот что (об этом писал, помнится, в апреле, а сейчас повторяю): в Пушкине II\* есть фактическая ошибка, поскольку я не располагал всеми текстами и написал по памяти, и ты своей рукой исправь непременно. В той фразе, где злосчастные девушки, зачеркни перед Дон-Жуаном слово «пушкинский» (потому что это не пушкинский, а мольтеровский Дон-Жуан) и вместо него напиши сверху «некогда» (надо: «попал некогда Дон-Жуан»). Не забудь, пожалуйста.

А о доме, тобой устроенном, я мечтаю.

А Егорушка с Ибрагимовым выражением\* получился очень трогательный и жалобно-прекрасный, и у меня горит желание вас, мои домашние и семейные люди, обнять и прикрыть от всех обид и несчастий.

Но меня все же несколько смущает Егоркино косоглазие, в том смысле, чтобы оно не увеличилось потом, принеся ему всякие горести от дураков. И может быть, не знаю, ему лучше в раннем возрасте поносить немного исправительные очки, пока он не понимает, если кто сейчас начнет над ним смеяться и мы его можем оградить, – чтобы не пришлось это делать в более позднем и уязвимом отрочестве. Что ты думаешь?

Мне кажется, вспоминая мои детские фотографии, что я в его годы косил меньше. И то какой вышел.

Получил «Звезду Востока»\* и радостно удивился при виде Бабеля, за которого столько напрасно воевал. А Мандельштамчик почему-то слабый и повторяющийся. И еще обратил внимание на себя неожиданно живой интонацией рассказ о Михоэлсе какого-то нового автора, забыл фамилию. Неужто это в самом деле инженер? – не верю.

В «Москве», № 4, напечатана Цветаева об Андрее Белом\* – не присылай – я здесь нашел и перечитаю.

А Меньшутины поедут в Крым или тоже отказались от этой затеи? А Лида деньги получила? – сообщи. Еще у меня кончается зубная паста, и попробуй мне послать в бандероли.

А ходили вы с Егором в зоопарк, как было обещано на 15 мая, и как это было – почему не рассказываешь?

*17 мая.*

Получил твои письма по № 48 включительно. Очень странно и немного жутко, уже имея телеграмму и зная, что письмо исчезло, читать про то, как ты его ждешь, как будто это не в прошлом времени, а вот сейчас, перед моими глазами, как во сне, и я не могу ничем помочь, потому что время уже ушло.

До пропажи письма я вообще жил неплохо, помногу занимался, стараясь больше уединиться, и чувствовал себя спокойно. А сейчас не знаю, что и делать, нервы прыгают, мысли скачут, и если письма начнут пропадать\*, то какой мне резон в тихих занятиях, о которых я тебе даже и рассказать не смогу?

Или это нарочно кто-то хочет выбить меня из колеи и посмотреть, куда я сдвинусь?

Или посмотреть, куда ты сдвинешься, не получая от меня письма?

Не сдвигайся, Маша, никуда, и все будет в порядке.

А ты мне очень понравилась в том письме, где проявляешь твердость духа и не веришь разным клеветам на меня, невзирая на заброшенность. Так и впредь всегда поступай. А на вопрос, как я живу, было сказано «хорошо» и только, и в этом весь разговор. И никому, Машка, не верь, что я могу тебе не писать или делать что-то у тебя за спиной в собственных интересах. У меня вне жизни с тобой таких не бывает и не будет, я это уже знаю, потому что чувствую, потому что все это уже испытано и проверено и я вижу, что это так, что все начинается и кончается в тебе и с тобою.

Целую тебя.

А.

*18-19 мая 1967.*

«...» А сейчас такой дивный воздух, что когда вдыхаю его, то все печали растворяются, потому что я тогда думаю о нашей с то-

бою любви и жизни, и, ты знаешь, даже смешно, никогда в моей жизни любовь не играла такой роли, а вот теперь играет, и это потому, что ты у меня имеешь, а раньше тоже была, но я еще, видимо, не все представлял, а теперь представляю и вижу и удивляюсь: бесконечно. Кто бы мог подумать?

P.S. А ты знаешь, что сейчас в моей жизни самое смешное и приятное, – я получил (!) телеграмму (!) о том (!), что ты (!) получила (!) апрельское (!) письмо (!). Понимаешь, в каком я сейчас счастье и любви к тебе пребываю? Но уже поздно переделывать это послание – и потому прими – со всеми воплями и сделаю соответственно коррективы, моя фантастичная жена Маша!



**...Коля вовсю пользуется...** – Речь идет о материалах к книге «Земля и небо в искусстве Древней Руси», см. примечание к письму 13.

**...я тебе всецело обязан...** – Идея этой книги родилась как результат наших с Синявским путешествий по Северу, куда я, искусствовед по образованию, работавшая тогда в архитектурной реставрации, увлекла Синявского в самом начале нашей с ним жизни. С тех пор Синявский говорил, что у нас с ним «производственный роман».

**От статьи пребываю в изумлении...** – Я послала А.С. мою статью «Фантастический реализм» в журнале «Декоративное искусство», № 3 за 1967 год. Название этой статьи, опубликованной в советском подцензурном журнале, поразило Синявского, потому что являлось парафразом его любимого рассуждения из статьи «Что такое социалистический реализм»: противопоставления социалистического реализма реализму фантастическому, апологетом которого он был. К тому же в этой статье впервые были опубликованы отрывки из лагерных писем Синявского, и он увидел, что, сидя в лагере, можно писать и печататься. Ситуация повторилась: сижу в Москве – печатаюсь в Париже, сижу в лагере – печатаюсь в Москве. Ура! (См. далее примечания к этому же письму.)

**...показываю большой палец...** – Большой палец я показала Синявскому на процессе после его последнего слова.

**...Волшанинову, Горби, Ростовские звоны.** – Присланные мной пластинки. Рада Волшанинова – исполнительница романсов, Сара Горби – известная эстрадная певица, пластинка с ростовскими звонами была первым после долгих лет богоборчества изданием церковной колокольной музыки.

**...обе эти книги есть еще в сотом магазине.** – Книжный магазин на ул. Горького (сейчас – магазин «Москва»).

**<Утрачены страницы>** – Целый ряд статей, которые вышли в журнале «Декоративное искусство» под фамилией «Розанова», на самом деле писались нами вдвоем. Естественно, об этом никто не знал, даже ближайшие друзья. А письма Синявского читались многим, и иногда даже давались в руки. И ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы в текстах таких писем узнали материалы статей в «Д.И.». Поэтому из некоторых писем приходилось вырезать часть текста. Два отрывка от 13–15 мая – это все, что осталось от материалов к нашей статье «На окраине искусства» (Декоративное искусство. 1968. №3).

**...в Пушкине II...** – Имеется в виду второй отрывок из «Прогулок с Пушкиным».

**...Егорушка с Ибрагимовым выражением...** – Ибрагим – знакомый котенок.

**Получил «Звезду Востока»...** – № 3 за 1967 год. В номере был опубликован рассказ Бабеля «Гришук» и «Из восьмистиший» Мандельштама.

**...Цветаева об Андрее Белом...** – «Пленный дух».

**...если письма начнут пропадать...** – На самом деле это угрозы, которые Синявский посылает через цензора кагэбешному начальству.



## ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

Все думаю, как тебе будет в июне: май-то моими письмами – с помощью апрельского – обеспечен на славу, а теперь – когда теперь это письмо пойдет? и пока доедет, сколько впереди ждать еще? – сердце сжимается от этого растянувшегося и вспучившегося у нас на пути времени, которое надо прожить.

День проходит быстро.

И неделя – быстро. Не успеешь оглянуться – воскресенье, пересменка.

А вот месяц уже переваливаешь с трудом, с отдышкой, и так он все лезет и лезет вверх, горою, и почему-то вторая его половина медленнее и тяжелее первой...

Ты спрашиваешь про быт. Это скучно. Но попробую описать средний день.

Я люблю работать во вторую смену. Тогда вскакиваешь бодренько в восемь и мчишься завтракать. Настроение веселое: все твое. Первая смена уже ушла, в зоне просторно и тихо, и хочется гулять, дышать, любоваться. Но нельзя: надо спешить: свободное время торопит. Позавтракав – кофе (который я регулярно имел в мае) и затем – в читальный зал или за летний столик – в зависимости от комаров, от погоды. После обеда – в час – приходят газеты, и сердце бьется: в четыре письма.

Большинство второй смены после обеда спит, я же – в редчайших случаях. Так что опять читать-писать, на дворе раздолье, никто не пристает с разговорами. В четыре сборы на работу, но, в общем-то, если с толком позанимался, день по существу уже закончен, и нетрудно его закруглить разгрузкой вагонок. Тем более – если их будет немного. Тем более – там ужин через пару часов, и получается все вместе что-то вроде вечернего моциона, потом, в конце смены, посмотреть на звезды, которые показывает напарник, и, засыпая на ходу, добираюсь до постели и мгновенно

улетучиваюсь. У нас даже острота была. Где-нибудь в половине второго: «Спокойной ночи, через полчаса – кофе!» То есть кофе-то, конечно, утром, но ощущение – полчаса.

Другое дело первая смена. Она несравненно длиннее, пустее и утомительнее. Она начинается с шести и стоит на месте, никуда не двигаясь. И уже устать успеешь, и жары, и пыли наглотаться, и спать захочешь, а на часах всего лишь 12, обед, и значит, только половина прошла. А когда притащишься в полшестого, все сразу сваливается – газеты, люди, ужин, толкотня, а в десять отбой, и мой сосед опять спит на левом боку и храпит на меня и норовит залезть – крупных размеров – на мою койку, и отгораживаешься подушкой от чужой и нелепой головы, и по несколько раз просыпаешься, чтобы скинуть с себя тяжелый, как бревно, локоть или ногу.

И целые дни не оставляет раздражение на бессмысленность происходящего, и даже кофе пить неинтересно: утром – весь пыл уйдет на разгрузку, вечером – еще хлопотнее и тяжелее будет заснуть. Только одно светит: на следующей неделе вторая смена.

Все же летом хорошо. И апрель-май у меня прошли легче зимы. Даже, например, обедать на работе можно на воздухе, и значит, сидя и не торопясь, и вообще душа и тело больше отдыхают.

Вот как я живу. Можно было б, наверное, занимательнее рассказать, но я не умею.

И не знаю никакого Саши Хуторянского\*. И совсем не обязательно обзаводить его книгой: полагается быть умнее.

Фотографию Спаса XIII века\* все-таки получил, хотя сперва не выдали, и я было расстроился, получив это письмо без означенной в нем фотографии. Очень нравится. Но я не знаю: может быть, это от моей нынешней скудости, от долгой отвычки видеть такие вещи. Очень приятная, лубяная округлость ланит.

А я тут несколько дней увлекался фаумским портретом. И неожиданно столкнулся с идеей, что поразительное индивидуальное сходство и в Фауме, и много раньше, в Древнем Египте, мотивировалось необходимостью точного места, куда поселится в будущем отлетающая душа.

Портрет – координаты в ее путешествии, чтобы не заблуди-

лась. И в нем – при точном сходстве с живым лицом – присутствует отрешенность ее полета, витания в раздумьях, куда бы сесть. Вещественная оболочка, включая всю психологию и биографию, в ней напечатанную, на себе не задерживает, но пропускает нас дальше – в ту глубокую погруженность, куда они все смотрят.

Чувство последней инстанции, стены, которая так непрошибаема в портретах 19-го века, что лицо кажется копьём, в тебя направленным и сующим ненужную тебе, чуждую психологию, – здесь не испытываешь, и сходство с живым человеком, который служит препятствием, о которого спотыкаешься, перестает нам мешать. Здесь сходство – окно (или дверь), знак пути, стрелка поворота, показывающая, где вход и выход, и мы радостно бежим по растворенному коридору, лицо – затягивает, а не отталкивает, – у-у-у как выталкивает взглядом самодовольный 19-й век, где каждый портрет кричит: «уходи, это я», или: «посмотри, это – я», так или иначе задерживая, не пуская пройти.

Так вот, оказывается, реалистическое сходство впервые в портретном искусстве появилось совсем не затем, чтобы на себя любоваться или себя показывать, но чтобы потом себя разыскать, и эта серьезность и благородство намерений ужасно как оправдывает, и радуешься за человека, озабоченного большими задачами своего местонахождения.

Но сразу возникают вопросы: а что такое лицо, не на портретах, а в жизни, и зачем оно нужно, зачем мы к нему подбегаем и, разговаривая друг с другом, засматриваем в лица, как в зеркало, и пляшем перед ним, и примериваемся, точно хотим войти? Не знаю. Не может оно только быть случайностью, – и нос, и рот, и глаза чтобы вдруг образовали случайно такую фигуру?..

Еще мне рассказали интересную для средневековья подробность. В комментариях какого-то Горбова к «Божественной комедии» Данте (то ли 2-я, то ли 3-я часть), дореволюционного еще издания, кажется, – приводится рассуждение одного монаха, утверждавшего идентичность человеческого лица с буквенным рисунком «Номо Dei»: Н – как необязательный придыхательный звук отбрасывается; тогда О – глаза; М – линия бровей

и перенося; D – уши, E – ноздри, I – рот. Получается что-то вроде такой схемы:



Надо будет посмотреть-проверить. Очень годится для «Земли и неба».

Еще надо мне когда-нибудь почитать *Г.Масперо* (крупнейший французский специалист египетской литературы). Его статья про Египет была опубликована в кн. «Всеобщая история искусств», изд. «Проблемы эстетики», 1911. У него-то уж, вероятно, узнаем про таинственное Ка.

Еще надо посмотреть – Вальдгауэр «Этюды по истории античного портрета», Изогиз, 1938; и «Античный портрет». Сб-к Гос. Ин-та истории искусств. Л., 1929.

Еще на расписной пелене II в., висящей в Музее изобр. ис-в, где изображен мужчина в рост, а рядом Анубис с собачьей головой, а по другую сторону, кажется, мумия в виде Осириса, – нарисованы кое-где какие-то похожие на пауков человечки, а я вспомнил, что мы с тобою уже однажды ломали над ним голову. Так вот, коли будет возможность и не забудешь (это ведь все просто так, на всякий случай, чтоб когда-нибудь вспомнилось), – попроси Голомшточка узнать, что это за пауконогие фигурки.

А в рассказе про Егорушкин аппарат самое приятное то, что он, положив его на стол, не забывает взять, и вы мне очень за это нравитесь: Егор – что не забывает, и я просто вижу, как он делает по столу ручкой, а ты – что такое заметила и мне написала.

25–26 мая.

Фантастическая моя жена Маша. Люблю я тебя все сильнее и крепче. Так что не знаю даже, как это можно. <...>

И очень ты интересные интерьеры нарисовала из нашего домика, но только не все мне понятно. А именно: что это за интригующий абажур на потолке? и какова та стена, где расположено окно? а где столовый стол или его не будет совсем? и куда ты ре-



шила поместить посуду – сохранилось ли в стеллаже нижнее отделение или книги до полу?

В общем-то мне стало легче представлять, но еще больше захотелось. И занимают воображение всякие новации – вроде, например, «Рыцаря-Треф»<sup>\*</sup>? И есть ли на окнах занавески, и какие они? И как все вместе получается – тесно или нет? И что будет висеть в Егорушкиной комнате? <...>

Получил еще большое письмо от Андрея с Лидией – занимательные рассказы про новый дом. Глубокое им спасибо за пушкинскую цитату. Очень она уместная и соответствующая.

А Владин Пашка<sup>\*</sup> должен тебе показать, насколько всё врут и что не стоит поэтому всякую спицу вставлять в колесницу.

По части статьи, возможно, не обошлось без обидевшихся за 12 номер, который на фоне совсем проваливается в яму, которую сам себе вырыл, и пускай там сидят. И вообще все это от зависти и от нечего делать.

А что ты стоишь «сама по себе» – то очень много перечислять и я сейчас не хочу, потому что все вместе и только вместе.

У нас холода, и ветер шумит так, что вспоминается почему-то раменский дубняк в мелких барашках от ветра, и стеклянную дверь закрывали, а лес рябился, как море, но если сойти под деревья, то будет тихо, как в глубине, а тут все снаружи, и от ветра на улице невозможно заниматься, все летит столбом, и я снова влез в ватник.

А в связи с Сашей Хуторянским (хорошее сочетание) я вот в каком затруднении. Меня тут очень просят экземпляр книги, и я не знаю, как быть. Что ты скажешь на это?

*29 мая.*

Очень серые, холодные дни. Заполняю кое-какими мыслишками про мещанское рококо и лубок.

«Утрачены страницы»<sup>\*</sup>

В этом сила примитива, которому – при всех потерях – суждена еще долгая жизнь. Разумеется, нынешняя провинция, все более искусно копирующая столичные вкусы, не вернется к прежней эстетике. Но в творчестве отдельных художников, в коллекциях, в исследованиях эта традиция сегодня вновь привлекает взгляды, волнует умы (сердца) и расширяет наши представления о реальном и прекрасном.

Вульгарное отпадает в ходе времени. Гармония восстанавливается, учтя поправки на добрую улыбку и участливое понимание. Остается прямой язык страсти. Остается память о том, что красота – чрезвычайно...

2 июня.

Извини, Машка, что пичкаю тебя искусством в лошадиных дозах, но мне хотелось довести этот ряд наблюдений до относительного конца, чтобы освободить голову. Кстати, в прошлом письме, в примерах по той же теме – в сочетании с прибавкой вслед за «домом с мезонином» можно добавить «сапоги со скрипом».

Пусть не смущает некоторая ироничность формулировок, кающаяся рококо. Ведь это та самая, про которую сказано как об орудии восприятия, и вот оно в действии – подобно тому, как деревенский фольклор сопровождался легким фантазированием – по его же примеру. Так сказать, единство формы и содержания.

А у нас вчера – 3 июня! – шел снег безо всяких гипербол.

А еще меня угощали неслыханной конфетой «Аленка».

⟨...⟩ Письмо от тебя последнее получил № 57, лягушка-путешественница\*. А меня пленило № 55, и я – в растроганности, что ты поняла, что Татьяна к тебе относится.

Слегка гриппую – очень уж холодно и неудобно.

Целую тебя крепко, моя девочка. Расскажи про Егорушку.

А.

4 июня 1967.



**...никакого Саши Хуторянского.** – Какой-то незнакомец, ссылаясь на некоего Сашу Хуторянского, которого считал почему-то нашим близким другом, попросил меня прислать ему в г. Владимир однотомник Пастернака с предисловием А.С. И вот – ответ Синявского.

**Фотографию Спаса XIII века...** – См. примечание к письму 12.

**...вроде, например, «Рыцаря-Треф»?** – Этот портрет-шарж Синяв-

ского в виде всадника с шестеркой треф на щите висел в нашем новом доме. В свое время мы много играли в карты.

**А Владин Пашка...** – Павел, 9-летний сын В.П.Мурат.

**«Утрачены страницы»** – Продолжение совместной работы над статьей «На окраине искусства» (см. примечание к письму 29).

**...лягушка-путешественница.** – Это одно из моих домашних прозвищ, к тому же письмо № 57 было отправлено мной не из Москвы, а из Киева, куда я поехала для работы над статьей о Примаченко.



## ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Здравствуйте, мои любимые детки.

**К** чему\* вы так торопитесь и так быстро растете, что я только диву даюсь, получив Егорову фотографию – на велосипеде?!

**Он** что-то уж очень длинный и взрослый получился. Такого хоть завтра в школу посылай. И мне грустно, что весь этот младенческий рост, и беготня, и лопотание, переходящее в речь, творятся без меня...

**В** каких числах вы намерены перебраться на дачу (если еще не перебрались)?

**В** ближайшие дни, чувствуется, все же должно как-никак начаться лето в настоящем разгаре, и вам пора на травку. Судя по всему, вы настроены провести сезон так же, как в прошлом году, и прекрасно. Прошу вас только остерегаться кушать невымытые ягоды.

**Привезли** вы хоть кое-какую мебелишку к Петрову, чтобы устроиться самостоятельно и с комфортом, и где будете жить – в той же комнате, что мы занимали, или теперь все по-новому?

Жду твоего письма, Машенька, с подробным рассказом о визите к Примаченко. Так же – все попутные впечатления. Знаешь ли ты, что на территории Киево-Печерской Лавры расположена хорошая выставка народного искусства с отменной керамикой. В изразцах и всяких тиграх-баранах ты, наверное, могла бы там найти интересную землю для Примаченко. В этой же Лавре – пещеры, открытые, кажется, не в любое время и доступные лишь с экскурсией. Слазила ты туда и видела ли ручку Алимпия, исполненную такой грациозности, что

кажется, на нее легла печать искусства? А я тебе в свое время мало рассказывал про Киев, потому что нам все было некогда и недосуг, да и ты, помнится, чтоб не слишком страдать от зависти, была не очень расположена слушать об этом удивительном городе.

Он похож на улитку и – наверное – из числа самых красивых у нас городов, из первой пятерки.

Впечатления, о которых ты слегка написала с дороги, близки моим тогдашним. В особенности в ощущении языка; «перукарня», «дитячий садок» – прикосновение к истокам. В стихах Хлебникова недаром так много украинизмов, добирающихся до корней речи, припорошенных землицей. Занимаясь Примаченко, ты могла бы использовать для колорита некоторые строки из Хлебникова (я посмотрю здесь и, может быть, кое-что подберу или вспомню). Уж если братья за нее всерьез, то стоило бы дать почувствовать всю эту стихию народной поэзии, языка, степей, быта (как, кстати, тебе показался украинский сельский пейзаж?). Тебе стоило бы так же прочесть драматическую феерию Леси Украинки «Лесная песнь», где, говорят, действует мавка замужем за человеком и общая тональность похожа на примаченковскую. И наверное – Коцюбинского «Тени забытых предков», по которым был недавно выпущен кинофильм, прогремевший во всем мире (смотрела ты его?).

На Украине нам с тобою, моя радость, много чего можно было бы посмотреть; в частности во Львовском музее, рассказывают, прекрасные иконописные фонды и много икон XV века (а я недавно в «Истории украинского искусства», выпущенной в 65-м или в 66-м году, видел превосходного Георгия на черном коне).

Спасибо за «Литературную Армению». Только я никак не могу сообразить про театральную программу, к ней присоединенную. Или она случайно попала? Игорь прислал письмо на днях с рассказом о кинофильме Бергмана «Источник», изложенном столь удачно, что я, читая, как будто немножко побывал в кино и кадры врезались в память. Пользуясь его любезностью, заказываю на будущее, когда у него будет время и охота, рассказ о египетских мумиях, паукообразных человечках и что такое «Ка», не формально, а по существу, в системе миро-

ощущения. Я думаю, если он не совсем в курсе дела, ему легко проконсультироваться в музее у египтологов по части ихней древней идеи-фикс. Разумеется, все это не к спеху и не обязательно.

**Был** и остаюсь немного обескуражен, почему ты мне так и не прислала обещанный еще к первому мая петровский адрес (должен же я иметь какие-то ориентиры вашего пребывания)?

Видимо, ты жутко захлопатываешься, Машка, и не всегда успеваешь мне ответить на все вопросы, а потом они залеживаются и забываются. Из-за этого у меня иногда появляется чувство какой-то растерянности, и я сам себе начинаю казаться призраком, который больше существует в собственном сознании и в один пустой день вдруг поймет, что его нет. В быту все настолько повторяется, что организм привыкает жить механично и монотонно. Жизнь вытягивается в один длинный час-месяц-год. В таком состоянии особенно важны простые конкретности, позволяющие вспомнить вкус бытия.

**Беспричинно** я к тебе придираюсь, – ты скажешь и будешь права; но я не жалуюсь и не сержусь, а просто рассказываю, стараясь как-то уяснить собственную психику.

В нормальных условиях, может быть, подобную странность испытывают старики. Малость впечатлений создает у них ощущение, что молодые ими пренебрегают. Вдобавок – скука (от которой, по счастью, я избавлен привычкой к книгам и размышлениям). В занудливости стариковства есть то же желание восстановиться в реальном чувстве своего существования. Пиши мне поэтому всякую мелочь, кажущуюся тебе вздором, но имеющую для меня интерес и зацепку о время и о пространство. Вроде, например, когда и куда поедут отдыхать Меньшутины? Каков их дом в смысле красоты экспозиции? А ты убрала комнату Егорушки или еще не успела? И есть ли у тебя новое летнее платье и в каком ты наряде сейчас гуляешь? Или в каком из старых чаще всего ходишь? (А я представляю, и мне будет приятно на тебя полюбоваться.) Имеешь ли ты время ходить в кино и что видела там? Читаешь ли ты какие-нибудь книжки или все только одна запарка, нехватка и теребиловка?

**Доволен** чрезвычайно твоими давешними иллюстрациями и комментариями нашего домика, но хочется еще и еще подробностей.

Опиши мне еще, пожалуйста, как проводит свое время Егор – с утра до вечера, по порядку. Не слишком ли одинакова его жизнь, интересно ли ему? Проникать немножко в его извилины доставляет мне живейшее наслаждение, и я все стараюсь взглянуть на жизнь чуть-чуть с его точки зрения. Незаметные жесты, аппаратик какой-нибудь, которым я уже восхищался, тут особенно много дают моему пониманию и любви к вам. Не совсем ясно – постоянен ли Егор в своих детских привязанностях или любит менять игры. И знает ли слово «нельзя» и как к нему относится (надо, чтобы оно было табу, нельзя – значит нельзя)? Жду с вожделием рассказа про то, как он воспримет возвращение на дачу, что узнает, а что забудет. Помнит ли он, например, свою былую страсть к перевешиванию петровских ключей? Имеет ли склонность к природе – к птичкам, цветочкам?

Спокоен и доволен вполне в своем любопытстве я смогу быть, конечно, лишь когда увижу все своими глазами, но желаю вас, мои милые, ужасно и потому пристаю с расспросами, а вы отчитывайтесь.

Обещай мне также, Маша, непременно сфотографироваться в ближайший месяц, чтобы я имел летом новый набор твоего личика. Подумать только – с прошлого года не было никаких иллюстраций, и я не знаю, какое у тебя теперь выражение ко мне. В дачных условиях тем более это сделать нетрудно. Приказываю, прошу и очень скучаю.

8 июля.

И ты еще спрашиваешь, доволен ли я тобой как искусствоведницей?!

– Очень! (По максимальному и с нежными интонациями.)

А руку и сердце и в этой сфере я тебе давно предлагаю, а ты возьми и согласишься. А чем защищу я тебя от всяких дурацких выдумок\* и беспардонных наветов?

– Тем, наверное, что все это пройдет, а мы с тобою останемся, и никто мне больше не нужен, и в этом нетрудно будет убедиться, видя, как мы пойдем, взявшись за ручки.

Мне кажется, мы и раньше очень друг друга любили, но, может быть, недостаточно ценили время, отпущенное любящим.

А иногда здесь бывают очень непохожие дни. Например, сегодня, в воскресенье, целый день лежал на травке, подостлав ватник, и, рассматривая Шагала и Клея, слушал подстрочный перевод комментариев к ихним картинкам. На травке лежать хорошо, как всегда, только шумновато и похоже на пляж.

*11 июня.*

Вот какая интересная книга вышла: «Новонайденные и неопубликованные произведения древнерусской литературы». М.; Л., 1965; еще надо иметь в виду сборник «Индия в древности», М., 1964, со статьей Комы Иванова\* «Древнеиндийский миф об установлении имен и его параллель в греческой традиции».

Случайно попалась книжка А.Кондратова\* (не того ли самого?! ) об острове Пасхи с очень хорошими изображениями и компилятивным ничегоособенным текстом, который все же был бы неплох, если б не маячащая за всеми рассуждениями творческая установка автора, не имеющего достаточных сведений, чтоб разрешить загадку острова, но тем не менее заранее знающего, что нет в ней никакой тайны.

– Наука идет от тайны к знанию, – уверяет он, забывая, что знание дает нам вновь почувствовать тайну, только на ином уровне глубины. Так что Тур Хейердал, не подтвержденный научными данными, но замороженный странной интригой в ускользаниях аку-аку, ближе к истине, чем Кондратов, представляющий жизнь как мертвую скуку.

А я тут понемногу читаю Упанишады и натолкнулся на возможное объяснение коня, венчающего русские избы. Возможно, он менее связан с общеупотребительным крестьянским конем, на котором ездят и пахут, чем это кажется с первого взгляда, и служит символом защиты, восходя к очень древнему представлению-ритуалу, отождествлявшему коня с солнцем. (Не отсюда ли и деревянное солнце под нашим конем, и подкова, приносящая счастье и прибываемая к дому как знак охраны?) Точнее говоря, земледельческая психология с ее любовью к полезной лошади лишь способствовала закреплению этого символа в позднейшем быту и помогала традиции не выветриться, превратив ее в привычку. Но первопричина была иная. «Брахман, единственный жрец, за-



щищает жрецов, (как) конь», – гласит «Чхандогья Упанишада» (М., 1965); IV, 17.10; стр. 94.

На магическо-сакраментальную сущность коня проливает свет древнеиндийская церемония жертвоприношения – *ашвамедха*. Она совершалась таким образом: царь пускал коня на волю в сопровождении сильного войска. Правители земель, куда заходил конь, либо должны были добровольно подчиниться царю – хозяину коня, либо их подчиняли силой. Поход продолжался в течение года, а затем коня приносили в жертву. Свершение этой церемонии давало право царю называться царем царей, владыкой земли. (Таким образом, уже этот обход и собиранье земель сопрягают коня со вселенной.) Церемония ашвамедхи связана с идеей сотворения мира; феномены природы отождествлялись с частями коня. Конь олицетворял *пурушу* (первичное существо, жизненный принцип, живое начало в существах), который, в свою очередь, иногда отождествлялся с Атманом и Брахманом. Есть легенда о том, что *Белая Яджурведа* (сборник жертвенных формул) был открыт первому мудрецу Яджнявалкье – солнцем, которое ему явилось в образе коня. При ашвамедхе употреблялись сосуды для жертвенных возлияний – сосуд *Махима* (букв. «великие»). Один из них, золотой, отождествляемый с днем, ставился впереди коня и употреблялся перед его заклинанием; второй, серебряный, отождествляемый с ночью, ставился позади коня и употреблялся после жертвоприношения.

Существовала также трактовка, согласно которой конь выступал как воплощение верховного и первого бога – Праджапати, который принес его в жертву в акте творения, – по существу сам себя себе самому принес в жертву. Праджапати – бог-творец, «отец созданий», от которого произошли боги и асуры (демоны).

«Брихадараньяна Упанишада» (М., 1964) открывается этой конской космогонией:

«1. Ом! Поистине, утренняя заря – это голова жертвенного коня, солнце – его глаз, ветер – его дыхание, его раскрытая пасть – это огонь Вайшванара (букв. «вездесущий», «вселенский», постоянный эпитет огня и бога огня – Агни. – А.С.); год – это тело жертвенного коня, небо – его спина, воздушное пространство – его брюхо, земля – его пах (иногда переводится как «копыта»), со-

гласно толкованию Шанкары: земля – подножие высшего существа. – А.С.), страны света – его бока, промежуточные стороны – его ребра, времена года – его члены, месяцы и половины месяца – его сочленения, дни и ночи – его ноги, звезды – его кости, облака – его мясо; пища в его желудке – это песок, реки – его жилы, печень и легкие – горы, травы и деревья – его волосы, восходящее (солнце) – его передняя половина, заходящее – его задняя половина. Когда он оскаливает пасть, сверкает молния; когда он содрогается, гремит гром; когда он испускает мочу, льется дождь; голос – это его голос (звучание стихий здесь отождествляется с голосом коня. – А.С.).

2. Поистине, день возник для коня подобно (сосуду) Махиман, что ставят перед конем. Колыбель его – в Восточном море. Ночь возникла для коня подобно (сосуду) Махиман, что ставят позади коня. Колыбель его в Западном море (т.е. опять-таки ассоциация с солнцем. – А.С.). Поистине, эти (сосуды) Махиманы возникли по обе стороны коня. Став конем, он понес на себе богов, (став) жеребцом – чандхарвов (разряд низших богов. – А.С.), (став) скакуном – асуров, (став) лошадью – людей (конем... жеребцом... скакуном... лошадью – согласно толкованию Шанкары – обозначение коня, употребляемое как восхваление. – А.С.). Море – его родич, море – его колыбель». Стр. 67 (I, 1).

Извини, Машечка, за такую длинную алхимию, но – едва открыл книгу – она меня поразила, позволив понять, почему конь влез на русскую крышу, вернув дом к забытому, первоначальному состоянию храма-вселенной, которая в языческой версии еще теплится в фольклоре, хотя ее образ уже по-новому явлен в церковной архитектуре; почему Хлебников в море увидел задранную морду коня («Где море бьется диким неуком...») и, следуя голосу древности, вновь возвел коня в правители – в единстве творца и жертвы.

Ах, князь, и князь, и конь, и книга –  
Имен жестокое пророчество.  
Они – одной судьбы. Их иго  
Нам не заметно, словно отчество.

А вот еще парочка пунктов, не имеющих отношения к коню, но нужных для «Земли и неба».

Исторические предания Индии, куда входил, в частности,

эпос «Махабхарата», назывались – *Итихаса* – букв. «так поистине было». То есть проводится литературный принцип точного документа. («Брихадараньяна», комментарии – финал.)

О мире – ларце (параллель: вселенная – дом): «Не истощается ларец, внутренность которого – воздушное пространство, а дно – земля. Ибо страны света – его углы, небо – его верхнее отверстие. Он, этот ларец, содержит в себе богатство; все сущее покоится в нем». – «Чхандогья Упанишада» (III, 15.1), стр. 79.

Ну, а это просто нравится:

Ритуальное кормление ребенка после рождения – золотой ложкой, приговаривая: «Я влагаю в тебя землю. Я влагаю в тебя воздушное пространство. Я влагаю в тебя небо. Я влагаю в тебя все – землю, воздушное пространство, небо». – «Брихадараньяна Упанишада», стр. 155.

(Кстати, это единство человека и мироздания позволяет понять, почему антропологический принцип ничуть не противоречит космологическому в архитектурной символике храма.)

Основная нить Упанишад, увязывающая 3306 богов с монотеизмом, состоит в идее тождества – центральной в индийской доктрине, предлагающей почитать Атмана «как целое, являемое в частях, как тождественное самому себе» («Чхандогья», V, 18.1, стр. 105). Все здесь равно всему, каждый подобен каждому и целому. Это порождает необычайную подвижность умозаключений-предметов-образов, которые в каждой следующей вариации тождества выстраиваются в новом порядке, тая в себе сотни новых возможностей. По логике: если это есть то – то есть то-то; но если то есть это – это есть вот это. В итоге легкости уподоблений, мотивированной равенством вещей, символика Индии особенно богата возможностями сюжета. Иносказание, закрепленное в ритуально-образном строе, смещается в сторону новых иносказаний, становясь богиней-матерью, порождающей мифы и сказки. Индию называют родиной сказок. Но это не потому, что она любит фантазировать, а в силу ее веры в тождественность явлений, вынуждающую искать соответствия – пока не появился этот лес взаимозаменяемых богов и стихий, подменяющих друг друга в подвижной иерархии.

Просмотрел своего маленького Хлебникова и только вот что нашел пригодное для Примаченко:

...Тоска о kobзаре,  
О строе колеса и палок,  
Семействе сказочных русалок.

(Из поэмы «Ночь в окопе», 1918–19 г.)

Семья лисиц подьѐмлет стаю рожниц,  
Несется конь, похищенный цыганом,  
Лежит суровый запорожец  
Часы столетий под курганом.

(Из стих-я «Курган», 1915 г.)

Если б, конечно, было Полное собрание его сочинений, я бы нашел больше и лучше.

Получил общие тетради с зубной пастой, и в самый раз – у меня уже все кончилось, и я начинал побаиваться за десны.

Получил тоже бандероль с «Литературной Грузией»\* со множеством стихов и цитат из Мандельштама и все время на них поглядываю и умиляюсь.

И еще получил от тебя несколько милых писем...

*16 июня.*

Ах, Маша, ах! Когда я получаю от тебя ласковое письмо, то сразу весь расцветаю и просто не знаю, как тебя обнять и себя тебе выразить. Это я в Егора пошел. Но для этого надо иметь тебя под руками. Каждый день и каждый час.

Еще не могу понять, почему ты мне не пишешь про Лидины деньги.

А еще мне понравилось про Дунюшку\* и про то, что ты с сыном басом разговариваешь. А письма я от тебя получил по № 65.

Большой же палец ты мне показала, дай Бог память, на лекции по теории литературы\*, где речь шла о том, что чем шире значение литературного образа, тем оно точнее.

А соавторы у меня были хоть и добрые, а все ж таки вынужденные. А ты – избранница. И любимая женщина. И мне все равно – ты ли, я ли. <...>

У меня тут новости личного порядка. Прибыл Юлька\*. Вро-

де бы здоров, весел и настроен благодушно, спокойно и миролюбиво. Бросаем друг на друга нежные взгляды. Насколько я понимаю, он успел уразуметь мою точку зрения на некоторые разногласия, связанные в прошлом с личной тематикой, и настроен ее (точку) принять. Дескать, никогда не рассматривал нас с тобою порознь, а пожелание гуманности было исключительно в абстрактном плане, без учета конкретной ситуации, которую он плохо представлял. Вероятно, он теперь поспешил бы исправить некоторые недоразумения, если б это практически было более осуществимо. Думаю, найдем с ним общий язык, и при том – что касается меня и тебя – он будет солидарен с нами.

А вчера вечером в который раз пускали через радиолу на улице мои цыганские пластинки и все слушали как замороженные – про «все обаяние прелестной красоты» (кстати, конкретный случай преувеличения и утрировки в понимании прекрасного – можно бы взять в качестве примера). И было очень удивительно, как люди разного возраста, языка и состояния с одинаковой мечтательностью внимали этим пронзительным звукам.

А есть ли у тебя дубликат Волшаниновой?

А в Пушкине IV, может быть, вместо «пихта» стоило бы поставить «пальма»?

К сожалению, за всеми прочими делами я совсем последнее время не брался за Пушкина – а главное ведь еще не сказано.

Работы последнее время тоже стало больше и больше устаю.

Тебя люблю, как маленький.

А Клее интересно сказал, что искусство не изображает видимое, а скорее – создает видимое.

А мне иногда кажется, что искусство только тем и занято, что перерабатывает материю в дух, и похоже тем на растение, которое, дыша, создает нам атмосферу и перетаскивает грузы снизу вверх и обратно, взяв эту работу в образ существования. А еще на растение, должно быть, похожа книга. Книга, которая ходит вперед и назад, наступает и отступает, то придвигается вплотную к читателю, то убегает от него и течет, как река, омывая все новые и новые страны, так что когда мы по ней едем, у нас начинает тихонечко кружиться голова от избытка впечатлений, которые при всем том не крутятся вихрем и мельком, но именно текут, предо-

ставляя спокойную возможность обозреть их и провожать глазами, книга, имеющая много сюжетов при одном стволе, которая растет, как дерево, обнимая пространство целостной массой листвы и воздуха, – как легкие изображают собой перевернутую форму дерева – словом, книга – вселенная, способная дышать, раздвигаясь вширь почти до бесконечности и сжимаясь до точки, смысл которой непостижим, как душа в ее последнем зерне.

Целую тебя, мое золотце.

А.

19 июня 1967.



**К чему...** – Здесь шифровка: «К нам в бур привезли Даниэля он посажен на полгода был избит беспричинно надзирателями доволен переездом спокоен бодр».

**...от всяких дурацких выдумок...** – В 1967 году бежала на Запад Светлана Сталина. Совершенно естественно, западные газеты были заполнены ее интервью, и совершенно естественно, в этих интервью она много говорила о Синявском, с которым они были сослуживцами в ИМЛИ. По отношению ко мне ее выступления частенько бывали нелепными, и о некоторых из них я написала Синявскому так: «Узнала о всякой принцесскиной трепотне, которая совсем опупела и чешет уже невесть что. Теперь уже всему миру известно и про ужасный подвал, и как ты мыл полы в коммунальной квартире, и какая у тебя тиранка жена, допускавшая такое. И репутация мне создается сильнее, чем у Зинаиды Николаевны». «Принцессой» мы называли Светлану, а Зинаида Николаевна – это жена Пастернака.

**...со статьей Комы Иванова...** – Комой родные и многие знакомые называли Вячеслава Всеволодовича Иванова, известного ученого-лингвиста.

**...попалась книжка А.Кондратова...** – Александр Кондратов, псевдоним и прозвище «Сэнди Конрад» (1937–1993) – ленинградский поэт и прозаик, произведения которого стали публиковаться только во время перестройки. Окончил Институт физкультуры имени Лесгафта в Ленинграде, автор нескольких работ по математической лингвистике и многочисленных научно-популярных книг и статей. В книге, о которой идет речь, рассказывается о результатах его работы вместе с Туром Хейерда-

лом по изучению скульптур острова Пасхи. В последние годы жизни выступал в цирке с номерами из репертуара йогов.

**...бандероль с «Литературной Грузией»...** – В № 1 «Литературной Грузии» за 1967 год в статье Г.Маргвелашвили «Об Осипе Мандельштаме» была приведена большая подборка стихотворений О.Мандельштама, опубликованных целиком или частично.

**...понравилось про Дунюшку...** – Рассказывая о том, как я купала Егора, я писала: «А потом я повязала ему платочек на голову и сказала, что он – Дунюшка, а когда я уходила и тоже повязалась платком, Егор заявил, что это мама – Дунюшка. И сегодня утром вспомнил мне про это и опять назвал Дунюшкой. И вообще, он – болтушкин и дразнилкин».

**...на лекции по теории литературы...** – Лекцией Синявский назвал свое последнее слово на процессе.

**Прибыл Юлька.** – В начале этого письма Синявский зашифровал информацию о прибытии Даниэля (см. первое примечание). Обратите внимание на разницу между зашифрованным и открытым текстами.



## ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ

Родная моя жена.

Боюсь, опять в этом письме не дойду до Пушкина: ничего путевого не успел написать. Последний месяц за него вообще не брался, а такие перерывы выбивают, и нужно долго входить в тему разговора, чтобы он струился живо и непринужденно, нужно отключиться мысленно ото всех внешних помех, а это тяжело, и вот спотыкаюсь через пень-колоду, и дни тянутся в раздражении на собственную беспомощность. Ведь я только треть, а то и меньше, сумел набросать, и такая растяжимость во времени тоже не благоприятствует. Надо бы с головой и в хорошем темпе, чтобы вышло похоже на один росчерк пера. А как это сделаешь?!

Только ты меня за мою неспособность, пожалуйста, не разлюбляй. Бог даст, постепенно опять налажусь.

В итоге нервы торчат колючим кустарником, в свободные минуты бросаюсь на разные второстепенные книги и откладываю их без толку, и ни к чему душа не лежит и не находит себе места.

Хорошо еще погода эти дни стоит лучезарная, а сегодня донесло какой-то цветущий запах, должно быть, липы цветут где-то далеко. И облака прекрасны.

В лагере сейчас как-то разом родилось много котят, и они милые и смешные, пользуются общей любовью, сидят по сушилкам, по ящикам, ходят, покачиваясь на сопливеньких ножках, а на глазах очки – следы разлепившихся зенок, что ли. Сегодня посадил кошку в дыру над дверью – ушла погулять, а дверь запломбировали, и там скулят детишки, и она не знала, как к ним вернуться, и было приятно что-то полезное сделать в этой жизни.

*26 июня.*



Разглядывая книгу про Киевские мозаики, обратил внимание на косину глаз в некоторых ликах, и, кажется, что-то такое уже попадалось когда-то, а может быть, и в фаюмских портретах встречается подобная вещь. Может быть, не у всех, но у некоторых – определено. А недавно в индийских текстах наткнулся на рекомендацию устремлять мысленно глаза в междубровье, где, согласно традиции, расположен третий глаз, которым и осуществляется духовное зрение. В Бхагават Гите сказано про какого-то йога, что он сидит, «взгляд меж бровей устремив». В напоминание этого глаза и ставят индусы на лбу красную точку. Так вот, не эту ли самую внутреннюю сосредоточенность передают иконописные лики, которые ведь никогда не смотрят в глаза зрителю, а куда-то туда? И не здесь ли истоки ихнего косоглазия?

27 июня.

Пришли, Машенька, твои домашние письма со всяким бытом, скарбом, детишками, заботами, играми, какашками и кефирами, по которым по всем жутко соскучился. И тревожное – про твое нездоровье. Уж ты, моя деточка, постарайся выбраться из этой ямины, очень тебя прошу. Потому что ты единственная и, понимая это, должна себя содержать на высшем уровне, а я уж тебе за это воздам, разведа вокруг сплошное музицирование и дефилирование. Маша моя. Ты же самая-самая. И токо-токо. И вообще вся моя привязанность к жизни и заинтересованность в своей судьбе в нынешнее время – держится на твоём наличии и благополучии, без чего я не вижу интереса существовать и желать себе возвращения в вольные условия, не будь тебя, теряющие всякую притягательность. Это я к тому, чтобы ты берегла себя, с тем чтобы потом я тебя мог лелеять не только в душе, но и на самом деле.

А про петровские загулы\* могу только ответить непонимающим сожалением о той растрате энергии и времени, чудовищность которой люди на свободе, понятно, не сознают так остро, ну а мне-то отсюда, несмотря ни на какие камешки в прошлый огород, кажущейся дикостью. Господи, иметь дом, комнату, где можно работать по своему вкусу, иметь под руками стул, стол, кровать, лампочку, которую можно по желанию зажечь хоть ночью, – и от всего этого убежать!..

Я понимаю, что такое ощущение недопустимой растраты нельзя объяснить словами, что мне легко могут возразить сотнями ссылок и доводов, один крепче другого. Это можно лишь пережить, и я говорю не как рассуждающий, а как переживший.

Стишки же, конечно, фуфловые\*, но годятся как загадочная подпись к картинке. В них трогает привязанность к Мандельштаму и хлебниковщине. Но намерение достичь странноватости с помощью левой ноги, какую все это пишется в расчете, что случайное слово само вывезет, – не вывозит. Может, они были бы краше, если б нарушения логики и строя были еще вопиющее, сбиваясь на прямое неумение писать в рифму. Приближение к откровенной неправомерности, к самопародии могло бы помочь. У Козьмы Пруткова в военном цикле афоризмов есть в этом духе приятные образцы.

А вот какие еще встречаются милые неправильности и меткие речения.

– Каком песня – таким мотив.

– Невинёвный.

– Люди с большой буквы.

– Для коллекции. (О вдове.)

– Итальянский танец кампанелла.

– Монахи занимаются антагонизмом.

– Лишить ларьком на один месяц.

– Ты соври, но только скажи, что все будет хорошо, – иначе я не могу.

– ...Чтобы работать и приносить пользу стране, где мой народ живет!

– Клянуся свободой!

– Почему-то вдруг чувствуешь такую вдруг ясность мыслей!..

А еще бывают ходики с вырезанной над ними из жести кошачьей головой, у которой глаза тикают туда-сюда с томительной методичностью.

30 июня 1967.

Получил от тебя открытку с быком\* и письмецо с Лазиковой колыбельной\* Егору. Она очень добрая. А удивительно то, что в отношении к косине она чудесным образом совпадает с тем, что я несколько дней тому написал тебе в этом письме. Правда, я, конечно, имел в виду не семейные, а художественные традиции и

даже не думал устанавливать тут никаких параллелей. И все же – странная близость мысли.

В языке же его, пожалуй, чуточку ощутима захлебывающаяся стилистика Бориса Леонидовича. Ну да это не беда.

А в бычке самое замечательное то, что он в цветах, как бывает конь в яблоках, с важнецкой мотивировкой: прогулка! Это похоже на Шагала – «Я и деревня», когда деревня, по которой я гуляю, становится частью меня настолько, что способна уместиться в глазу, в боку первой встречной коровы (об этом есть, вероятно, в книге Иоффе «Культура и стиль» – посмотри).

Это лирический принцип изображения жизни, когда весь мир – декорация грезящего в его центре сознания и окружающая среда входит в нашу внутренность как ее проекция и продолжение. Когда цветы гуляют по быку, потому что он по ним гуляет. Перед нами, строго говоря, лирический пейзаж быка.

Попутно тот же бык наводит вот на какую мысль (уже менее твердую и требующую проверки): не имеют ли зоологические образы Примаченки ботанического генезиса? То есть – не выросли ли ее странные формы из декоративных цветов и трав, как животная вариация, сохранившая, однако, связь со своим первичным, растительным миром? Существует же сходство ее чудовищ с репейниками и кактусами, как у данного бычка – с цветочком.

Тогда окажется, что Примаченко – растительный по своей природе художник, начинавший с обычного деревенского орнамента в виде всяких там травок-муравок, которые затем разрослись в целый лес, выделивший из себя зверей как естественное продолжение своей духовной насыщенности. (Выход цветка в зверя, и какие-нибудь пестики закручиваются рогами, вылезают колючей мордой.) Через Примаченко тогда мы можем лучше понять связь физиологии цветка с произрастанием тварей. Вспоминается Хлебников:

Лишь золотые трупики веток  
Мечутся дико и тянутся к людям:  
«Не надо делений, не надо меток,  
Вы были нами, мы вами будем».

(Стих. «Осень», 1921 г., по мал. серии Биб-ки поэта, стр. 179; в полном собр. соч. – кажется, в V-м томе.)

Но если даже все это не так и ты со мной не согласишься, то, глядя на Примаченко, вспоминается фантастическое представление средних веков о полурастении-полузвере, которое жило в Астраханских степях и гуляло на собственной привязи вокруг своего корня. Так думала вся научная Европа вплоть до XVII века включительно, имея в виду каракуль, что ли. Описание этого чуда природы стоит привести – оно есть, кажется, у Олеария или где-то в моих бумагах той же категории (Олеарий – Сказания иностранцев о смутном времени и т.д.). Описание очень соответствует примаченковской образности.

Кстати, здешние любители искусства на днях ткнули меня носом в статью о Киевском дворце пионеров, опубликованную в рижском журнале «Искусство» на латышском языке. Там речь идет о двух украинских художниках, сделавших мозаики для этого дворца и написавших на стене «Посвящается Марии Примаченко». Судя по картинам, мозаики в самом деле приятные. Этот факт может пригодиться тебе в плане развития традиций Примаченко в современном искусстве. Поэтому тебе, наверное, скоро пришлют отсюда вырезку из этого журнала с приложением краткого перевода означенной статьи.

А ты моя цаца!

И мне с тобой очень интересно жить.

*1 июля.*

Попробую все-таки продолжить прогулку о Пушкине, хотя для этого еще очень мало сделал и, может быть, этот набросок впоследствии немного изменится. Но откладывать тоже неохота.

Подобно Татьяне, Пушкин верил в сны и приметы. На то, говорят, имел он свои причины. Не будем их ворошить. Достаточно сослаться на его произведения, в которых нечаянный случай заглянуть в темное будущее повторяется с настойчивостью идефикс. Одни только сны в руку сняты подряд Руслану<sup>1</sup>, Алеко<sup>2</sup>, Татьяне<sup>3</sup>, Самозванцу<sup>4</sup>, Гриневу<sup>5</sup>. Это не считая других знамений и

<sup>1</sup> «И снится вещий сон герою...»

<sup>2</sup> «Я видел страшные мечты!...»

<sup>3</sup> «И снится чудный сон Татьяне...»

<sup>4</sup> «Всё тот же сон! возможно ль? в третий раз!»

<sup>5</sup> «Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни».

предсказаний – в «Песне о вещем Олеге», «Моцарте и Сальери», «Пиковой даме»... С неутихающим любопытством Пушкин еще и еще зондирует скользкую тему – предсказанной в нескольких звеньях и предустановленной в целом судьбы.

Чувство судьбы владело им в размерах необыкновенных. Лишь на мгновение в отрочестве мелькнула ему иллюзия скрыться от нее в лирическое затворничество. Судьба ответила в рифму, несмотря на десятилетнее поле, пролегшее между этими строчками: как будто автор отбрасывает неудавшуюся заготовку и пишет под ней чистовик.

1815 год:

В мечтах все радости земные!  
Судьбы всемогущее поэт.

1824 год:

И всюду страсти роковые,  
И от судеб защиты нет.

Но и без этого он уже чувствовал, что от судьбы не отвертеться. «Не властны мы в судьбе своей» – вечный припев Пушкина. Припомним: отшельник Финн рассказывает Руслану притчу своей жизни: ради бессердечной красавицы, пренебрегая расположением промысла, бедняк пятьдесят лет угрохал на геройские подвиги, на упражнения в чародействе, и помните, что получил? – разбитое корыто.

Теперь, Наина, ты моя!  
Победа наша, думал я.  
Но в самом деле победитель  
Был рок, упорный мой гонитель.

Между тем выход есть. Стоит махнуть рукой, положиться на волю рока, и – о чудо! – вчерашний гонитель берет вас под свое покровительство. Судьба любит послушных и втихомолку потворствует им, и так легко на душе у тех, кто об этом помнит.

Кому судьбою непременно  
Девичье сердце суждено,  
Тот будет мил назло вселенной,  
Сердиться глупо и грешно.

Доверие к судьбе – эту ходячую мудрость – Пушкин исповедует с силой засиявшей ему навстречу путеводной звезды. В ее свете доверие возгорается до символа веры. С ее высоты ординарные, по-студенчески воспетые лень и беспечность повесы обретают полновластие нравственного закона.

Лишь я судьбе во всем послушный,  
Счастливой лени верный сын,  
Всегда беспечный, равнодушный...

Ленивый – значит доверчивый, неназойливый. Ленивому безотчетно везет. Ленивый у Пушкина все равно что дурак в сказке: всех умнее, всех ловчее, самый работающий. Беспечного оберегает судьба по логике: кто же еще позаботится о таком? по методу: последнего – в первые! И вот уже Золушка – в золоте. Доверие – одаривается.

Ленивый гений Пушкина-Моцарта потому и не способен к злодейству, что оно, печать и орудие бездарного неудачника, вынашивается в потугах самовольно исправить судьбу, кровью или обманом навязав ей свой завистливый принцип. Лень же – разновидность смирения, благодарная восприимчивость гения к тому, что валится в рот (с опасностью выпить яд, поднесенный бесталанным злодеем).

Расчетливый у Пушкина – деспот, мятежник, Алеко. Узурпатор Борис Годунов. Карманник Германн. Расчетливый, все рассчитав, спотыкается и падает, не вызывая нашей жалости, потому что всегда недоволен (дуется на судьбу). В десятках вариаций повествует Пушкин о том, как у супротивника рока обламываются рога, как, вопреки всем уловкам и проискам, судьба торжествует победу над человеком, путая ему карты или подкидывая сюрприз.

В его сюжетах господствуют решительные изгибы и внезапные совпадения, являя форму закрученной и закругленной фабулы. Пушкинская «Метель», перепутавшая жениха и невесту только затем, чтобы они, вконец заплутавшись, нашли и полюбили друг друга не там, где искали, и не так, как того хотели, – поражает искусством, с каким из метельного сумрака человеческих страстей и намерений судьба, разъединяя и связывая, самодер-

жавно вырезает спирали своего собственного, прихотливо творимого бытия. Про многие вещи Пушкина трудно сказать – зачем они? и о чем? – настолько они ни о чем и ни к чему, кроме как к закругленности судьбы-интриги.

2–4 июля.

Добрый день, Машка.

**Сегодня\*** уже 5-е июля, а я все не могу развязаться с этим письмом: а все Пушкин виноват, съевший последнее время, так что едва-едва успеваю написать тебе в срок (пойдет оно уже завтра).

Вдобавок дожидался твоих писем, рассчитывая, что уж сегодня-то они придут наконец. На этой ведь неделе еще не получал, а уже – среда. И напрасно откладывал – опять не пришли. Никак не возьму в толк, почему такой перерыв (пятый день ничего не имею, – № 74 от 23 июня и открытка от этого же числа, а как это давно было, подумать страшно). К этому я не могу привыкнуть, и такие паузы производят на меня самое угнетающее впечатление. Для меня все выносимо, кроме неизвестности о тебе и вашем с Егором здоровье. И я сейчас не на шутку встревожен и огорчен, придя с работы и ничего не найдя (а жду уже с понедельника).

**Отправили**, кстати, вы мне новую Ильюшкину книгу\*, как намеревались: я пока что не получал никаких бандеролей (и это тоже волнует – не в бандеролях суть, а твоей невредимости)?!...

А книга вообще-то у меня здесь вагон и маленькая тележка. Так что с присылкой новых (включая Ильюшкину) можно и повременить. Уж если только что-нибудь сладкое появится, вроде «Мастера и Маргариты», тогда присылайте. Не собираются ли, кстати, выпустить новое издание Бабея? С текстами журнальных рассказов, не входивших ранее в сборники, – давно бы пора. Если такое появится – непременно добудьте (можешь обратиться за этим делом непосредственно к А.Н.Пирожковой\* – она не откажет). И я тогда бы просил прислать сюда.

**На** твой вопрос о том, как поступают ко мне твои письма, – отвечает моя теперешняя тревога.

Если же не принимать во внимание сегодняшнее мое разочарование, то последнее время письма от тебя приходили, в общем, довольно-таки регулярно – по одной-две штуки, через

день, через два. Те же письма, где ты меня упрекаешь, обычно задерживаются и приходят позднее тех, в которых ты уже опять весела и преисполнена ко мне любви и снисходительности. У меня от этого получается тот приварок, что я уже заранее знаю по веселому письму, что перед ним было (а в моем измерении – за ним будет) печальное и жалобное, и я радуюсь, что этот печальный отрезок уже, так сказать, позади и ты опять цела и невредима. И несурезица с очередностью твоих писем имеет, таким образом, свою выгоду. Машенька! Я думаю, ты не обижаешься на этот мой легкий юмор в наш с тобою общий ящик? В целом же твои письма для меня счастье и питание, более важное, чем дневной рацион. Так же почти, как ты сама, – только в уменьшительном виде. В тебе же самой – всё как в той самой скатерти-самобранке. Ты не представляешь, сколько я в тебе, здесь вдвали сидючи, обнаруживаю всяких достоинств, яств и питий. Милую тебя и целую в личико.

Или куда еще придется – сверху вниз, с боку на бок и по всем диагоналям.

А.

5 июля 1967.

<...>



**...петровские загулы...** – А.Петров начал гулять по девкам.

**Стишки же, конечно, фуфловые...** – Это про стихи А.Петрова, которые он иногда вписывал в мои письма.

**...открытку с быком...** – В издательстве «Искусство» вышла целая серия открыток с картинками Примаченко.

**...письмецо с Лазиковой колыбельной...** – Я переслала Синявскому совершенно пронзительное письмо мне от Лазаря Флейшмана, в ноябре 1962 года слушавшего в Рижском университете лекции Синявского, потом – нашего верного друга, которого мы, как правило, называли «наше незаконное дитя». Ныне – профессор Стэнфордского университета, автор книг о Пастернаке, специалист по поэзии XX века. Вот маленький отрывок из этого письма:

«Вы, подделываясь под общий язык, спросили: «Егор не очень косит?» – а я – наверное, смутившись, не ответил, как хотелось, – что у не-



го взгляд не «вкось», это для всех хотящих вкось, побоку глядеть – «вкось», а *в себя*, а еще вернее – *внутри*, и мне от этого «внутри» и было так «тепло», и Егор – озорник, галдящий на всю бабушкину квартиру, и Егор – вдруг застывший и – в самую «внутри»! – смотрящий и есть чистейшее и окрыленнейшее воскрешение чего-то – наверное – во мне самом, из числа – неокончательно забытого, а теперь туда – вкось – уходящего – дай Бог насовсем».

**Сегодня...** – Здесь шифровка: «Сегодня Даниэля отправили кажется на семнадцатый».

**...новую Ильюшкину книгу...** – Сборник рассказов Ильи Крупника «На этой земле». М. Сов. Россия, 1967.

**...к А.Н.Пирожковой...** – Антонина Николаевна Пирожкова, вдова И.Э.Бабея.



## ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Вот и вознаграждение! Еще один день после того, последнего моего письма помучился без ничего, и ночью давили кошмары в усилиях разглядеть через сон, что там у вас происходит, и, наверное, все было неправдой, а тень на плетень. Словом, неделю не было от тебя писем, за что сегодня разом получил 9 открыток и 2 конверта (!!). А то у меня уже голова начала болеть от волнения за вас, мои бедняжечки. Вообще-то я ничего, перемогаюсь. Но бывает – деталь упадет на ногу и ковыляю на обе стороны, бывает – просто перегрузка, хотя в целом сегодня трудоемкость работы средняя, за что и получил, например, в прошлый месяц 1 руб. 77 коп., и радуюсь такому расчету, ибо на большее я нынче плохо способен, а все ж таки иногда поджимает. Поджар стал. Худой пес. Но это даже нравится (злорадство, должно быть). А как получил эту стайку птичек\* (она с примаченковской легкой руки в самом деле выглядит стайкой), так по всему телу разливается доброта. И я тебя удивительно чувствую через какую-нибудь фразу. Как будто руку положил. И моя, и не соскучишься, да я с тобой и никогда не скучал, даже в плохие дни не бывало мне с тобою скушно, разве что когда другие люди мешались, ну да это же от других... Так что цельный бы век. А моя – когда стыдно в пещерах\*, и про платье в сентябре, и про Егоровы запахи. Может быть, только слово «мося» не мое, и «пока» – почему-то с южным душком, может быть от новизны, от непривычки, от привязанности знать и слышать про личико или задик – и вдруг «мося», с детства, должно быть, реакция на чужие слова, кажущиеся поддельными, но, возможно, и ошибаюсь, это так – придирка, от любви, от переполненности тобою, в особенности теперь, когда после

фальшивых снов ты явилась в собственном виде, в окружении милых картинок, тоже наших с первого взгляда, в сопровождении тихих мыслей про нашу с тобой тесную жизнь, которая не перестает и не перестанет быть, про Алимпия, про эти открытки, подтверждающие то, что я писал тебе о первом быке на прогулке, и здесь тоже птицы и звери качаются как продолжение стебля, как оживотненные немного растения, по примеру природы, а не копии с нее, по принципу, скажем, бабочки, которая ведь тоже является нам отделившимся и летающим цветком с усиками и глазами, и у Примаченки порхает эта воскресшая бабочка, вышедшая из гусеницы, хотя, вероятно, сильна в ней и гусеница – чудовище, но даже в сватовстве журавля к цапле деревья растут то ли в небе, то ли в воде, в ознаменование родства ее с изначальной стихией фольклора, прорастающей цветами повсюду, невзирая на то печь это или скамья, потому что все норovit зацвести в присутствии искусства. А тебе послали картинки с подражанием Примаченке и переводом этой статьи, и мне интересно, не потому что очень полезная, а просто – сюрприз. А с Пушкиным я, действительно, как-то отстал, все некогда было, да и нервы одно время, а иногда даже трудно в техническом отношении, когда игра в домино, уж очень стучат костяшками, чем сильнее удар, тем бодрее и увереннее ощущает себя игрок, а у меня эти битвы сидят в затылке. И та же, что у тебя, только, вероятно, сильнее, привязанность к достопамятным родинкам, снящимся наяву, по образцу той самой кучи кирпичей\*, только не в общеупотребительном смысле, а навсегда персональном и незаменимом, и ощущение тебя как собственной руки-ноги, и сильнее, поскольку мои руки-ноги я меньше своими чувствую, чем твои, там оставшиеся без меня, но более мне тебе родные. Вот как я тебя.

7 июля.

Еще одно письмо № 77 и одна открытка № 11. И ты – героиня, а с двумя малютками на руках\*, в стирках и боязни выскочить в магазин, – я просто не знаю, как ты с этим справляешься, и жалею тебя все время и беспокоюсь. А то, что не ответил на иные дурацкие реплики про подвальчик или мытье полов\*, то ведь они же до того шизофреничные, что глупо мне тебе толковать об

этом и что-то доказывать на тему, что я не верблюд. Ну, а просто филиппики в воздух испускать я не привык, тем более в моем положении иногда доводится слышать о себе такие версии, что только диву даешься, откуда такое залетает в голову людям, и не разводить же дискуссии. От некоторых легенд бывает предпочтительнее отвернуться, не унижаясь до опровержений. Но не думаешь же ты, что от тебя я отмалчиваюсь?.. Другой вопрос, какие выводы можно сделать и как реагировать, – это удобнее обговорить при встрече.

А разговоры твои с Егором мне очень нравятся. И в нем тоже нравится наличие воображения, даже если оно проявляется в намерении поливать подругу песочком из ведерка. Очень смешно. Трудно, конечно, пресекать его проказы, да так, чтобы поменьше дергать. Чтобы не пошел по разряду дерганных детей, которые тем не менее норовят сделать свое при вечных криках обессилевших родителей. Ну, может, он подрастет и толковее станет. <...>

*8 июля.*

В довольно сером очерке Е.Дороша «Размышления в Загорске» («Новый мир», 1967, № 3, стр. 113) цитируется житие Сергия Радонежского (источник не указан; возможно Епифаний Премудрый; возможно взято из книги И.В.Трофимова «Памятники архитектуры Троице-Сергиевой лавры», на которую автор часто ссылается), где между прочим сказано, что Сергей «монастырь большой распространив, келии убо четверообразно устроити повеле, посреде же церковь болшую въздвиже, отвсюду видима яко зеркало».

Приятная цитата, годная для «Земли и неба». Дорош толкует ее в смысле архитектурного единства: дескать, центр его – церковь Троицы – связан с остальными зданиями монастыря, как зеркало со своим отражением, что лично мне кажется натяжкой (с какой стати «отвсюду» приравнивать к достаточно близкому четверообразному окружению келиями, откуда, конечно, церковь видна безо всяких сопоставлений с зеркалом?). Вероятно, не надо слишком логизировать это сравнение, носящее скорее декоративный характер. И все же допустимо предположить, что в нем (может быть, бессознательно) выражена идея, что церковь – зеркало, идея соотносительности храма с миром, со вселенной, ко-

торая отовсюду смотрит на него как на собственное высящееся отражение.

Узнал, что недавно вышла книга, очень нам с тобою нужная (доставай): «Взаимодействие литературы и изобразительного искусства в Древней Руси». Труды отдела древнерусской литературы, XXII, М.: Л., «Наука», 1966 (476 стр.). Ее бы – позднее – я бы и здесь с удовольствием почитал, так что стоило бы и прислать со временем.

Другие вновь вышедшие книги, в принципе весьма полезные и желательные: А.Квятковский. «Поэтический словарь». М., 1966; Зенон Косидовский. Библиейские сказания. Пер. с польского. М., Политиздат, 1966 (456 стр.).

Но эти – не обязательны.

*11 июля.*

Все-таки приятно, что хоть и без меня, но ты побывала в Киве и приобщила его к нашей коллекции, потому что в итоге совпавших впечатлений этот город в некоторой степени тоже сделался «нашим». Как существует наш Переславль (с первой же поездки, когда из автобуса в окне на закате первые шеи и все волшебнo, начиная с тебя, и мы уехали ото всего), наши Вологда, Каргополь, Архангельск, Новгород, Суздаль и даже Сызрань. Жаль, у нас нету общего Таллина и Риги. И до чего же хорошо, что у нас столько своих городов, по которым мы могли бы гулять все равно что по нашей с тобою жизни.

А с чего это дети поплыли в Пицунду? Там же нет ничего, кроме развалин греческой бани. И долго, и дорого, и жарко.

Сегодня остался месяц до нашего свидания. Вроде бы не так много. А все ж таки надо прожить.

*13 июля.*

Здравствуй, Машенька, – вот и я!

**Нельзя\*** сосчитать, сколько утекло и случилось за эти десять дней, что я не притрагивался к письму.

Я сейчас перечитал – как будто несколько месяцев прошло. До того все перевернул твой внезапный приезд и внес в мою однообразную жизнь столько всяких радостей. Я глубже, чем когда-либо, ощутил твою заботу обо мне и моей судьбе. И лучше постиг

твое стремление все уладить и вернуть в нашу жизнь покой и мир. Как бы ни решилась в дальнейшем эта проблема, требующая серьезного обдумывания и некоторых консультаций, мне нравится в целом твоя позиция – терпеливая, спокойная, разъясняющая, чуждая вздорных конфликтов и не идущая в ущерб нашему достоинству. И шарахаться из крайности в крайность нет никакой нужды, и ты это хорошо понимаешь. Так и впредь придержи-вайся. А те конкретные предложения, которые ты мне изложила, нам еще с тобою придется обсудить более детально. Я сейчас еще не пришел к окончательному решению. И я временно оставляю этот вопрос открытым, чтобы к нему еще вернуться в этом письме или в следующих.

**Ни** о чем в данный момент не в состоянии думать, кроме как о тебе и твоём ко мне чудном мгновении и добром отношении.

И наши с тобой три дня кажутся целой вечностью, за которую мы успели родиться, вырасти и умереть с надеждой на будущее появление опять где-то рядышком, под одной крышей. Кажется, если следовать тем же порядком дальше, мы с тобою успеем прожить несколько запасных биографий и всякий раз, опомнясь, будем себя узнавать и радоваться счастью с продолжением следует.

**Какие-то** слова-улыбки, натюрморты-интерьеры мелькают в душе, как будто я вернулся в село с богатой и пестрой ярмарки и вот все еще вращаюсь вокруг праздничного спектакля, угощений, подарков...

В здешней моей глуши все обычно и нормально. Даже странно чувствовать вновь ее неизменное будничное течение после такого яркого и длительного отсутствия. И я живу несколько механически, не зная толком, где находится настоящая действительность – тут, в монотонной привычности потерявшая реальные признаки, или все еще там, с тобой в тихой комнате, на необитаемом острове. И, вероятно, поэтому отвечаю невпопад, и задумываюсь, и теряюсь, и даже это письмо пишу в каком-то растерянном состоянии духа. Словно раздвоение времени мешает изъясняться с четкой последовательностью и голову застит путаница впечатлений разных эпох. Не только – наших последних дней, но и всего прежнего, огромного, связанного с тобой бытия и пространства. И нету границ между годами и городами. Пишу, словно живу в прошлом и в настоящем, продолжая не этот, а тот

разговор. Тянется нить, разматываясь с троллейбуса, когда, застыв на фразе о том, что нравишься, услышал мурлыканье львенка (а ты забыла и пошла по наименьшей линии «многих», тогда как уже тогда все знала правильно, что одному)...

**Нас** с тобою, Маша, надо почаще встречать с друг дружкой, чтобы мне иметь более членораздельную речь.

Главное, конечно, что ты меня любишь, и я в этом имел возможность убедиться наглядно. Подобное возвратило меня к реальности и в более широком значении слова. Я вижу тебя своими глазами и начинаю догадываться, что я тоже живой. И я поэтому, наверное, показался тебе немного рассеянным, на самом же деле ошеломленным от столь близкого соприкосновения с жизнью, что ее можно потрогать руками. (Отсюда, верно, происходят объятия – по согласию любви и реальности...)

**Любая** мелочь, исходившая от тебя в эти дни, превратилась теперь в игрушку, которой я все не наиграюсь.

А больше всего – морская царица, с изумрудными такими зрачками, разлившимся на весь белый-белый, совсем темно-зеленый белок. Будто морская вода – и я никогда раньше в тебе этого не замечал. (А может, это от занавески с зелеными цветами – не знаю. Надо бы повторить и проверить.) Уж больно зеленые глаза получились – так не бывает. А когда ты оживлялась в рассказах, я наблюдал такое детство, что мне теперь стало ясно, что тебе не опасна старость. Такая уж ты у меня девочка.

**Будет** время, я тебе расскажу еще какие-нибудь твои достижения.

А про Примаченку у тебя интересно намечается. Хотя это трудно обосновать, чтобы никому не стало обидно, ее действительно нужно вывести за традиционные рамки фольклора, который она имеет, так сказать, с боку припеку. И думаю, тут решающая причина заключается в ее сложности и раздвоенности души, не свойственных народному творчеству. Народное – всегда целостно, монолитно и растет из единого корня. У нее же – соединение противоречивых начал – радости и угрозы, красоты с червоточиной. Рак под цветком – как мертвая голова Адама, но только без надежды на преодоленную смерть.

**В** этой теме, мне кажется, не следует обходить полностью и специфически-навязчивую образность Примаченки (хвосты и проч.).

А помочь тебе объяснить это, соблюдая тактичность, может Гоголь, у которого ощутим сходный комплекс. В его описаниях обольстительной женской красоты часто встречается эпитет «пронзительный» и ощутимо присутствие чего-то режущего, острого, ранящего душу. Очень это характерное для него сочетание – сладости и боли. Например, это есть в «Вие». Оттуда можно использовать сказочную картину ночи, когда Хома Брут бежит с панночкой на спине и видит вокруг и над собой всякую нечисть и бесовски-сладкое чувство терзает ему сердце. Цитата подобного типа могла бы послужить комментарием к Примаченке.

Как аналогию можно использовать также «Майскую ночь», где герой, подсматривая за русалками, замечает у одной в студенисто-прозрачном теле темноватое пятно и указывает ведьму.

В Примаченке имеется подобное пятно-улика. Точно ее сглазили в детстве; таких раньше в деревне называли «порченными» (не порочными, а именно порченными), в ней есть что-то от Хома Брута, ни в чем не виноватого, но все же отмеченного грехом. Сказка у нее перебита кричащими реалиями подсознания. Фантазия у нее подчиняется правде, которую выводит рука, а не является плодом выдумки, которая скорее играет вторичную роль маскирующей декорации. И я думаю, если тебе представится новая возможность побывать у нее, надо непременно уточнить впечатления детства и юности, расспросить о родителях, семье и т.п. Сны ее тоже хорошо бы записать. Литературная обработка этого материала позволит обойти слишком биографический ракурс. Не залезать в душу, но – чтобы из-под души слегка повеяло холодком.

23-24 июля.

Добрый день, моя любимица, красавица, умница и прочее и прочее (продолжаю свои восклицания и, кажется, ничего не забыл)!!

Здесь\*, едва вернулся со свидания в барак, меня уже ждали твои письма и открытки, которые очень интересно читать в обратном порядке, зная наперед, что выйдет из этих писем, пришедших, правда, тоже в достаточно хаотичном виде, не по порядку, так что я не вполне еще разобрался, где у них хвост, а где голова.



Сразу окунулся в твои предотъездные волнения, сборы, возню с малышами и сизнова все представил, ощутил и оценил. Маша моя! Всем составом я на тебя полагаюсь и уповаю. И понимаю твои тревоги, неудовольствия и горести, доставленные моим, хоть и в меру уживчивым, но мнительным характером. Думаю, однако, что это поправимо, и мы все переживем, доколе ты со мною. Все дело в этом. Я как-то уверен в наших с тобою судьбе и счастье. Сам не знаю почему, а уверен. Любовью только и желанием это не объяснить. К тому, что я тебе рассказывал про мои причины любить тебя именно так, как это у меня получилось, можно было бы добавить массу веселых подробностей, что я когда-нибудь и сделаю...

**Истории** эти не то чтобы занимательные, а могут тебе пригодиться в жизни.

Но довольно об этом.

**Моих** баек не переслушаешь, тем более когда они касаются тебя, вызывая приступы многословия и какой-то щенячьей восторженности.

А сегодня я получил еще одно письмо от тебя, написанное перед отъездом ко мне. Одного только теперь не хватает из этого эпистолярного цикла – № 80. Чем это вызвано, непонятно, если уж 83-й пришел и 84-й (тутошний, полученный накануне свидания). Случайно ты не перепутала номер в беготне между большими детишками и почтовым ящиком? А картинки получил все до единой, собрав целиком весь этот веер из птичьих хвостов и цветущих бычков. Талантлива она все-таки и живописна до невероятия. И хорошо бы когда-нибудь издали о ней роскошный альбом в цветных репродукциях, листов на 300.

С твоим отъездом погода, чуток простояв в летнем остолбенении, снова испортилась, перейдя в серенький полудождик, который все собирается начаться, что не может повредить моему хорошему настроению, сотворенному тобою в три дня.

Сколько дней прошло уже с твоего визита, а мне все как вчера, и я все еще в нем кувыркаюсь, как на травке, и не нарадуюсь на нашу семейную идиллию. И горечь расставания почему-то я на сей раз легко перенес, может быть в надежде тебя через месяц увидеть, а может быть потому, что в этот приезд нашел тебя более спокойной и доверчивой ко мне. А бороду ты мне, действи-

тельно, зря не подстригла в первый же вечер; я сейчас посмотрел на себя внимательно в зеркало, и заметно, что намного похорошел по сравнению с прежней запущенностью, в которой иногда даже виднелось что-то похожее на сумасшедшего старика.

**Всем я тебе теперь обязан** (и сознавать это очень приятно) – вплоть до приятной внешности, знаменитого табака и кофе, который меня очень пользует.

А главное – смыслом жизни, но это уже тебе известно и не буду повторяться. Подаренные тобой лимоны мы уже съели по шикарному способу – кофе с лимоном. Твою луковку тоже схрюкали – под суп и плач от ее крепчайшего духа, аж небо вспухло. После свидания на другой день я даже завтракать не ходил и еле-еле обедал, настолько был сыт – как верблюд. Кроме этого, у нас приятная новость: начали варить борщи из нежной свежей капусты, и стало гораздо вкуснее жить. Сюда же, к области вкуса, относится и такая милая вещь, как расцветший недавно у одного знакомого кактус, – представь – огромный кактус, усыпанный свечами, которые распускаются со стремительностью взрыва и горят редчайшим розовым огнем.

**Об Егорушке я забыл** поговорить с тобою насчет прививок, которые, наверно, осенью все-таки надо совершить.

Тоже забыл передать с тобою приветы добрым знакомым. А ты сама догадалась это сделать, придумав каждому персональные слова? Сказала бы каждому что-нибудь хорошее, подходящее полу и возрасту. Даже просто «вам привет» иногда бывает важно услышать. Я знаю – это мелочь, пустяк, но из таких состоит жизнь. Ведь не у всех людей есть такая, как у нас с тобой, полнота, не нуждающаяся в чужом внимании.

**Писать** письмо сразу после свидания очень трудно, потому что хочется в основном общаться риторическими вопросами, восклицаниями, междометиями и просто жестами, не изобразимыми средствами речи.

Я попробую вдругорядь быть более интересным, деловым и логичным. Вот дождусь от тебя письма и попробую. И может быть, про Пушкина чего-нибудь накумекаю, потому что давно им не занимался, а пустое препровождение времени действует на меня угнетающе и выводит из себя, и я начинаю томиться и ныть тебе про свои бедные нервы и прочую меланхолию. Никак не мо-

гу привыкнуть к бездейственному отбыванию срока и получать удовольствие в результате того, что день быстро закончился и год пролетел незаметно. Слишком рационалистично и утилитарно устроен я, что ли, для того чтобы попросту изживать ни на что не годное время. Довелось недавно слышать реплику: «жена сердится, что долго сижу». (И в голове промелькнуло, что моя жена не будет сердиться, хотя, конечно, это подло – думать о своих преимуществах.) Сколько уныния в этой реплике, и какая длинная жизнь лежит за нею! Душа плачет: «жена сердится, что долго сижу».

25–26 июля.

Ты не подумай, Машка, что я унываю или что. Наоборот. Нервный мой кустарник, потрепавшись на ветре, уселся на место и тихо шелестит тебе навстречу всеми веточками. Предчувствия у меня хорошие. Сознаю себя спокойнее и крепче обычного. И люблю тебя крепче.

Целую.

А.

26 июля 1967 г.



**...эту стайку птичек...** – Набор примаченковских открыток.

**...когда стыдно в пещерах...** – Из моего письма А.С. о поездке в Киев: «...и каждый день, отпущенный мне на Киев, ходила в пещеры. Пристраивалась в самом конце экскурсии, чтобы не мешали и чтобы создать хотя бы какую-то иллюзию одиночества, и за все глупости и пошлости экскурсоводов просила прощения и у Алимпия, и у Софрония... И было стыдно, Господи! Как было стыдно...»

**...той самой кучи кирпичей...** – Это из анекдота:

«На стройплощадке старлей проводит воспитательную пятиминутку:

– Рядовой Иванов! О чем вы думаете, глядя на эту кучу кирпича?»

– О детском садике, который можно из нее постоить, тов. старший лейтенант!

– Молодец! Рядовой Петров! А вы что думаете?

– Я думаю про заводы, которые строят из этого кирпича!

– Молодец! Рядовой Сидоров! А вы о чем думаете?

– О ебле, тов. старший лейтенант!

– То есть как о ебле?

– А я о ней всегда думаю!»

...с двумя малютками на руках... – А.Петров с женой укатили отдыхать в Пицунду, оставив мне с Егором Машку-маленькую.

...про подвальчик или мытье полов... – См. примечание о Светлане Сталиной к письму 31.

**Нельзя...** – Шифровка: «Нельзя соглашаться ни на какие заявления нас ловят любая бумажка будет подана в печати как покаяние». Летом 1967 года, в подготовке предстоящей амнистии в связи с 50-летием Октябрьской революции, КГБ начал давить на меня, чтобы я заставила Синявского написать просьбу о досрочном освобождении. Так как просьба о досрочном освобождении автоматически предполагает признание вины, я, естественно, отказалась даже разговаривать с Синявским на эту тему. Тогда кагэбешники предложили мне написать такую просьбу, объясняя, что жена имеет право не вдаваться в проблему «виновен – не виновен», а просто хотеть получить мужа домой. Я сказала, что напишу такую бумагу только в одном случае: если Синявский мне это разрешит. Под «уговоры Синявского» я получила дополнительное личное свидание. Синявский поставил жесткое условие: такое можно сделать только в одном случае – если он выходит вместе с Даниэлем. «Не дворянское это дело, – сказал А.С., – садиться вдвоем, а выходить одному». Лариса Богораз тогда говорила: «Они пообещают и обманут». Но они обманывать не стали. Они сразу заявили, что Даниэля не выпустят, потому что Лариса «раскрутила» Даниэля и Даниэль себя «плохо ведет». Полковник Бардин тогда сказал: «Если мы отпустим Даниэля, это будет выглядеть как наше отступление, а мы не отступаем». И тогда я, естественно, отказалась писать такое заявление. Подробности, а также документы об этой истории – см. в моей книге «Абрам да Марья».

**Здесь...** – Опять шифровка: «Здесь распускают истории о моих сделках с КГБ всем говорю об отказе писать помиловку». См. предыдущее примечание. Но я всегда знала: одной рукой КГБ «делает доброжелательное лицо», а другой – пакостит, считая, что противник (то есть мы) – уже в кармане. Не тут-то было!



## ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

То письмо мое, Машенька, помнится, было сплошным признанием, а это норовит поступить так же, и надо сдерживаться, чтобы хоть мало-мальски выглядеть перед тобой серьезным человеком. Поэтому начну с того, что у нас что ни день, то дождь, раз по пять – по десять в сутки, мелкий и надоедливый, и нет сухого места, чтобы спокойно и вдумчиво писать это письмо, и приходится бегать, то залезая на койку, то слезая от слишком налезавшего соседства, которое спит и не ведает о причиняемом стеснении, и снова ища укрытия, как белка в колесе.

Пока не забыл, вот что: меня просили узнать, можно ли в Москве заказать по почте очки, прислав рецепт. Кажется, в Москве есть такая фирма, типа «очки – почтой», и прошу тебя зайти в какую-нибудь знающую аптеку и спросить, а потом – ежели есть такое – прислать мне адрес. Не забудь, пожалуйста, очень просили.

Какие могут быть сомнения – правильно ли ты поступила, приезжав ко мне! Конечно, правильно, великолепно, и всегда так делай, а все претензии на этот счет звучат смешно и нелепо, и даже здесь, где у людей понятная зависть, – они не возникают. Мне кажется, Лара\* переоценивает свои возможности (это ее дело) и свое право вмешиваться в чужую жизнь (а это уже наше дело). На эту тему нет нужды спорить: не склонный кому-то навязывать мою точку зрения, не люблю, когда мне навязывают. Но жить мы будем по собственному скромному разумению. Так что поступай и дальше, как тебе виднее и как я тебя одобряю. А я тебя одобряю, и особенно восторгаюсь твоим приездом, и прошу приезжать ко мне почаще.

К слову сказать, длинная очередь, продержавшись несколько дней, как-то разом рассосалась, и теперь, насколько я понимаю, нет никакой толкучки. Тут раз на раз не приходится.

Получил письмо от Меньшутиных. Передай им (по поводу переписки Достоевского), что для разгадывания снов 19-го века нужно хорошее знание новой истории, а это качество редко совмещается с умением разбираться в снах. А вообще они милашки.

От Ренуара же все знатоки пришли в изумление и сказали «не может быть»\*, и только одна гипотеза пролила свет на эту странную популярность: ню. Вот где собака зарыта, и я очень смеялся на твою наивность.

Про Ренуара же (музыкальная тема озера\*, заката, тишины, кости). Задумчиво: – Я все никак не пойму, почему ей такое грубое название дали...

Из воспоминаний: – Да я специально выпил, – чтоб разговаривать с вами достойно!..

Эпос: – Было у меня две жены, три сына...

– Я старший, а он меня ударил.

– Беру велосипед и еду в другую сторону.

– У меня шесть-пять. Калики-моргалики лучше водки. Просекаю кейф. Просекаю сеанс. Какой приход. Фанфаных.

А еще недавно, не пойдя на кинофильм, посмотрел к нему хороший журнал под названием «Пермские боги» – про деревянную скульптуру, отснятую довольно прилично. Ну и опять вспомнил, с чего все начиналось\*, – я ведь тогда собирался поехать в Пермь на поиски языческих идолов, которые, судя по книге, в 22-м году еще стояли в одной пригородной роще, – но вместо этого встретил тебя. И с тех пор все началось.

30 июля.

Угадай, Маша, что я сейчас читаю по утрам? – сказки Андерсена. Случайно встретил, и вдруг, сам не знаю почему, захотелось. Утром у меня, до развода, минут десять-пятнадцать, ничем не занятых, и я успеваю прочесть по полсказки, примерно, в день. Попутно (в связи с Андерсеном и его биографией) появились такие нотабене:

*В стране детства* все благородные и великие. В стране детства все ясно, за исключением того, почему кто-то несчастен и люди

смертны. Ритмическое движение рук под песню: «Есть на севере хороший городок». История как прямая дорога. Героизм детей и подростков: книги «Дети-герои», «Детство знаменитых людей», повести Гайдара. А что если мультфильмы – не комический, а героический жанр, возрожденная буколика, способная к истинной идеализации?

*Индийская* повесть «Сын племени Наваха» (магия экзотических имен). На извозчике, в телеге – индеец, посреди чемоданов, портплекда. Едучи, отделялся и, играя, словно бы знал заранее и очень серьезно думал: так и будет, один, неизвестно откуда взявшийся, попавший в плен «Сын племени Наваха». Какая-то умудренность в этом детском переживании собственной экзотичности, чуточку грустная, втайне гордая, уже усталая, умудренность взрослого, попавшего «не туда», а на самом-то деле, напротив, попавшего куда надо, приземлился, родился, откуда взялся (распросы детей – как я родился? – не физиологический интерес, но вопрос путешественника), идея своего места во времени и в географии. Не потому ли в семье иногда дети считают себя найденышами (чему потакает взрослая выдумка про капусту или про аиста – и насколько она дальновидна, эта глупая выдумка, себя не осознавшая), подкидышами, и в детской литературной традиции появляется «Принц и нищий» и, вообще, о судьбе подброшенного (упавшего с неба) ребенка, романтические истории о знатном прошлом оборвыша, похитили цыгане, пираты, встреча с родителями, узнавания по родимому пятну, совпадение родины с родинкой, знак принадлежности. Вопрос: кто ты?

Обращения самые приятные. Помимо «раба» в Суздале, «человек» – это прямое, просторное, честное обращение к тебе, так что удивляешься точности наименования и почему-то даже гордишься, словно тебя удостоили, причислили (не к особи – а к роду людскому).

В проблеме имени две тенденции: раствориться, потерять имя, забыть, быть никем, перестать быть собою, исчезнуть и – наоборот – родиться вместе с именем, стать таким именно, определив свое место и роль, вплоть до судьбы потомства, наследующего имя. Локальное содержание имени – воскресение из безымянности. Почему-то выбор имени связан с первым восклицанием матери, с обстоятельствами рождения, всегда довольно случайными,

но оказавшимися – в точку, как «Моисей» – «вынутый из воды». Гороскоп, заключенный в имени: если важна дата, вплоть до часа рождения, то сопутствующие обстоятельства, может быть, столь же важны, даже самые пустяковые, но способные дать имя и тем соответствовать назначению лица-героя. Переход на крестильные имена – потеря лица, посвящение себя определенному попечителю, хранителю (имя как крыша).

Формы имен: первичные – выражают сущность, гороскоп; вторичные – прозвища, полученные уже в ходе истории, биографии, заслуг, впечатления в обществе, так сказать заработанные, но в общем-то более случайные; родовые – принадлежности к племени, к семье (Максим Грек, Феофан Грек); крестильные – посвящения и пострижения в жизнь.

Переименование (напр., Иакова) было связано с решающей, самоглавнейшей переменной судьбы, с получением новой «кармы», нарекли – обязали, предписали быть таким-то: исполни.

Уж если пошло по книгам, то еще перечитал в присланной тобою «Звезде Востока» рассказ Бабеля «Мой первый гонорар», вызвавший также уйму литературных нотабене.

Во-первых (если взять Бабеля в разноплановом стилевом ряду), *интимная* тема им преподносится и вне роллановско-цвейговской умильной традиции, и вне обычного для него грубого снижения. Оказывается, возможен (!) еще один вариант – с положительным знаком (низкую тему из комизма может вытянуть грусть). Героиня: «– Сама приду». Любовь как знак доверия, как разделение общей трапезы, как беззащитность, гостеприимство (все, что есть, мечу на стол, на, попробуй), панибратство как завязывания родства с людьми, из чужих дядей, превращенных в детей, потому что никто не подал, а я подала и поделилась общим куском, не претендуя на большее, чем сели встречные и закурили. Сердце разрывается от этой грусти, а тема – выручается, возврат к скомпрометированному раю. «И он ближний, и ты ближний». «Ну, мальчики, живите дружно».

(У Цвейга, кажется, есть сходный рассказ, но с более биологичным уклоном: врача загипнотизировала пациентка. – Вы представляете, что Вы наделали?! – А ну молчи! – И врач исцелился.)

Во-вторых (тот же рассказ Бабеля), роль штампа в биографическом жанре.



Обыкновенные штампы, по типу: «как гром среди ясного неба», «я весь трясусь», «но у меня сильно работают сдерживающие центры», «обнимаю-раздеваю, и она отдается» и т.д. – при многократном повторении начинают играть сюжетообразующую, двигательную роль. Штампы как колеса сюжета, как механизм действия, а под ними кое-где проступающая психология. «Красавец», «кровь с молоком», «в самом соку», (ср. «в ратиновом пальто») – перепрыгивают с ветки на ветку, с «него» на «нее» («как лань», «как серна»). По примеру охотника, взявшего оленя за ногу: должно само срабатывать.

Попробуйте усомниться в штампе – обида: так на самом деле было (и ведь, в самом деле, все так и было). Человек «с биографией» радуется: все-таки пожил. «Пожил» – как приобрел, что-то реальное, помимо богатства, наслаждений, успехов, – приобрел биографию и этим счастлив. Ему кажется, стоит все это описать и получится «великий роман» (на самом деле не получится).

С другой стороны, штампы – как знаки *искусства*. Теряешь понятие, где искусство, где жизнь. И сама жизнь больше смахивает на искусство, чем на себя (ощущение сказки).

Человек попадает в «ситуацию искусства», подобно тому как мы, родясь, попадаем в «ситуацию жизни». Тогда для него все – искусство, под каждым листком – и дом и стол. Говорят: – он что-то видит (потому что – художник). А что он видит? Только одно: что все полно искусством.

2 августа.

Я тут чересчур удалился в литературу, так что, наверное, уже не стану в этом письме братья за Пушкина, – тем более продолжение мизерное и недостаточно отстоялось, и пройдет пара недель, опять захочется переделать какие-то не вполне удавшиеся слова, а это по многу раз – получается накладно. Кстати, в прошлом Пушкине хорошо бы изменить фразу: «вынашивается в претензии самовольно исправить судьбу»: – вместо «в претензии» надо «в потугах».

Живу несколько вяло, утробной жизнью. Должно быть, погода плохо влияет. Если не идет дождь, то парит и давит.

У нас частые грозы и недавно на работе ударила молния метрах в ста в железную балку, никого не задев и уйдя в землю, но

кошка в комнате кубарем по полу, и вокруг нее, говорят, фиолетовый нимб из электричества.

От погоды, вероятно, у меня начали снова болеть зубы. Не десны, а именно зубы, притом странным образом – усиливаясь к вечеру и особенно когда ложусь спать. Стоит взобраться на койку, – хватаюсь за щеку, час-полтора терзаюсь, а потом, кое-как уgomонясь, засыпаю, и они проходят до следующего вечера, в остальное время действуя длинной головной болью – чтобы помнил. Вот какая интересная и каверзная зависимость зубов с койкой. Наверное, что-то невралгическое (так, кажись, произносится) по вине давления в воздухе, которое и вызывает зубную скорбь как более яркое и уязвляющее продолжение головной боли. Если не помогут мои приговаривания, придется обращаться в санчасть. Очень не хочется: еще расковыряют, так что и днем не найдешь покоя. Ты не волнуйся. Перетерплю. А за всякие там алоэ хлопотать пока что не надо: уж очень это волокитно и скушно. Даже подумать скушно.

Я и вообще думаю, что пассивная роль в жизни наиболее хорошо отвечает моему апатическому характеру. И потому, мне сдается, не надо самостоятельно предпринимать.

Радуют в последнее время кусочки природы в виде какой-нибудь травы, переполненной букашками. Здесь изобилие Божьих Коровок и прочих Жучков и Кузнечиков, а в сушилке живут Сверчки и пиликают по-домашнему. Все они очень милые, ползают в разные стороны, деловитые и природно-механические на взгляд. Вот он – прекрасный вид живой машины, вечный прообраз и упрек машине железной. Даже удивительно, что такие твари существуют на свете, образовав автономную область в животном царстве. Вроде ювелирного дела в искусстве.

А «теремок»\* на меня произвел самое радостное впечатление. Швы и шрамы не видны, и ни одна фраза не резанула. Особенно понравились билибинская лягушка, на которой сразу можно жениться, Салтан – масло масляное, Палех, забор, имя обязывает, кисточка скользит. И все на одной приятной изысканной интонации. Вспоминается Василий Васильевич\*: «стиль – это то, куда Бог поцеловал вещь». Очень доволен.

*5 августа.*

Вот все же несколько фраз о Пушкине, чтобы ты не думала, что я совсем захирел.

Фигура круга с ее замысловатым семейством в виде всяких там эллипсов и лемнискат наиболее отвечает духу Пушкина; в частности – его способу охотиться на героев, забрасывая линию судьбы, как лассо, успевающее по ходу рассказа свернуться в крендель, в петлю («...как черная лента, вокруг ног обвилась, и вскрикнул внезапно ужаленный князь»). Самый круглый в русской литературе писатель, Пушкин повсюду обнаруживает черту – замкнуть окружность, будь то абрис событий или острый очерк строфы, увязанной, как баранки, в рифмованные гирлянды. В пушкинских созвучиях есть что-то провиденциальное: разбежавшаяся без оглядки в разные стороны речь с удивлением вдруг замечает, что находится в кольце, под замком, – по соглашению судьбы и свободы.

В размеры стройные стекались  
Мои послушные слова  
И звонкой рифмой замыкались.

Идея рока, однако, действующая с мановением молнии, лишена у Пушкина строгости и чистоты религиозной доктрины. Случай – вот пункт, ставящий эту идею в позицию безликой и зыбкой неопределенности, сохранившей тем не менее право вершить суд над нами. Случай на службе рока прячет его под покров спорадических совпадений, которые, хотя и случаются с подозрительной меткостью, достаточно мелки и капризны, чтобы, не прибегая к помощи метафизики, сойти за безответственное стечение обстоятельств.

«– Случай! – сказал один из гостей.

– Сказка! – заметил Германн».

Так в «Пиковой Даме» публика реагирует на информацию Томского из области сверхъестественного: то, что для одних утратило реальность – «сказка», другими еще допускается в скромном одеянии случая, колеблющегося на грани небывалого и вероятного. Случай и рубит судьбу под корень, и строит ей новый, научный базис.

Случай – уступка черной магии со стороны точной механики, открывшей в мельтешении атомов происхождение вещей и под

носом у растерянной церкви исхитрившейся объяснить миропорядок беспорядком, из которого, как в цилиндре факира, внезапным столкновением шариков, образовалась цивилизация, не нуждавшаяся в творце. Под впечатлением этих известий, коловращением невидимых сил, человек попал в переплет математики и хиромантии и немного затосковал.

Дар напрасный, дар случайный,  
Жизнь, зачем ты мне дана?..<sup>1</sup>

Бездомность, сиротство, потеря цели и назначения – при всем том слепая случайность, возведенная в закон, устраивала Пушкина. В ней просвещенный век сохранил до поры нетронутым милый сердцу поэта привкус тайны и каверзы. Случайность для нового времени служила паллиативом чудесного. В ней было нечто от игры в карты, которую Пушкин любил. Случайность знаменовала свободу – рока, отсутствием логики обращенного в произвол, и растерзанной, как пропойца, человеческой необеспеченности. То была пустота свободы, чреватая катастрофами, сулящая приключения, учащая жить на фуфу, рискуя и – в риске – соревнуясь с бьющими как попало, в орла и в решку, разрядами, прозревая в их вспышках единственный, никем не предусмотренный шанс выйти в люди, встретиться лицом к лицу с неизвестностью, ослепнуть, потребовать ответа, отметить и, падая, знать, что ты не убит, а найден, взыскан перстом судьбы в вещественное оправдание случая, который уже не пустяк, но сигнал о встрече, о вечности, – «бессмертья, может быть, залог».

*6 августа.*

Письма от тебя опять плохо идут. Получил дня четыре назад 87-е, плюс открытка за 28 число, а номер восемьдесят так и пропал.

Я все ждал эти недели разъясняющего письма на деловую тему и поэтому ее не касался. Но письма нет. И вот что именно покамест меня смущает:

<sup>1</sup> Не напрасно, не случайно  
Жизнь от Бога мне дана, –  
поправлял ошибки Пушкина дотошный митрополит Филарет. Пушкин крушенно вздыхал, каялся, мялся и – аля-улю! – оставался при своем интересе: круги поэзии и религии к тому часу не совпадали.

Просьба о помиловании – согласно своей чисто юридической роли – предполагает признание вины и раскаяние, независимо – говорится ли об этом конкретно или умалчивается. Поскольку же я не считаю себя виновным, мне такое прошение подавать – не соответствует. Поэтому я воздерживаюсь от такого шага. Смягчающие предложения в словесном оформлении этой акции не могут изменить существа дела.

Пишу эти канцелярские обороты, а до меня – тем временем – долетает обрывок чьей-то речи о петухе, которого, оказывается, можно поить водкой. В нормальном состоянии был он «ленивый, как слон». А когда хозяин-рассказчик подпоил его слегка, «стал петух – как огонь».

Вот это язык!

Еще хороший образ (о лошади): «Бегит, как пишет».

И бывает – интонация – которой говорящий словно бы хочет удостоверить свою личность, как если бы не будь этого факта – не было бы и человека:

– Я жил в Москве. Кропоткина, 28.

(Как передать тон, каким это сказано?!)

(Обратная реакция: – Меня не было, слышите – не было!

[Только слабое эхо: – Был...])

*7 августа.*

Странно, что всякий раз, пиша тебе, в уме появляется фраза, которую не сказав, было бы очень жалко. Точно тороплюсь дообъясниться и выразить и знаю, что одними повтореньями тут не отделаться и что самое главное в жизни я еще тебе не сказал, и как же это будет, ежели не поспею?

Интересно: ощутишь ли снаружи этот беспрерывно растущий сюжет и трепет моего отношения, так что хочется, взяв тебя за плечи, слегка потрясти, спросив – а ты сознаешь? – зная заранее, что все понятно и так, а все-таки.

– Я тебя люблю.

А.

*8 августа 1967.*



**Мне кажется, Лара...** – Очередные разногласия с Ларисой Богораз изложены в моем письме Синявскому от 24 июля 1967 года: «...вчера мне Ларка предъявила претензии на тему, как я могла ехать на свидание (и вообще соглашаться на какие-либо льготы), когда Юлька в буре и никаких льгот не имеет? И сказала, что я была обязана или отказаться, или отложить на пару месяцев. Ибо я своей поездкой свела на нет действие ее писем.

Я же возразила, что доколе она не советовалась со мной про свои действия, и не только не советовалась, но даже не держала меня элементарно в курсе, и о всех ее манипуляциях я узнавала глубоко *post factum* и через третьи руки, то о каких претензиях может идти речь? Она же сама заняла позицию кошки, гуляющей сама по себе, а теперь вопит на весь город, как я ее подвела и как я смела делать то или это, не согласовав это с ней.

Мне же кажется, что все свои поступки я согласовываю с тобой, и этого вполне достаточно. Достаточно? И ты мной доволен? Скажи мне еще раз, что ты доволен мной, и моим поведением, и моим приездом.

**...и сказали «не может быть»...** – В книжном магазине поселка Явас, столицы потьминских лагерей, продавщица нам рассказала, что монография о Ренуаре была мгновенно раскуплена. Я написала об этом Синявскому.

**...музыкальная тема озера...** – Воспоминание об анекдоте: «Вечер. Берег озера. Закат. Тишина. На берегу озера сидят три монашки. И одна из них задумчиво говорит:

– А кость в нем все-таки есть...»

**...с чего все начиналось...** – Это о начале нашей с Синявским жизни, когда он собирался искать пермских идолов, а я утащила его на Север.

**А «теремок»...** – Речь идет о моей статье «Кто в тереме живет» в журнале «Декоративное искусство», № 6 за 1967 год.

**Вспоминается Василий Васильевич...** – В.В.Розанов.



## ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

А знаешь ли ты, Маша, что мне с тобою очень интересно иметь дело и, в частности, переписываться? И я хочу жить с тобою за разговорами, длящимися часы и дни, и чтобы ты мне при этом рассказывала обо всем на свете, а не только про морских царевен.

У моей деревянной ложки отломился-таки кусок, но мне ее хорошо склеили и даже – хотя не просил – покрыли для реставрации лаком, но я ей больше не ем, а берегу в чемодане как твою реликвию, а пользуюсь теперь железной и никак не привыкну.

Еще мне подарили добавочное одеяло с ситцевым, голубым в цветочках, пододеяльником, и, когда я под него забираюсь, получается ужасно какой домашний шарм, и я думаю о тебе и засыпаю.

Стоит по-осеннему прозрачная погода с очень холодными ночами, и, когда возвращаюсь со второй смены, даже в ватнике зябко.

Еще мне подарили зажигалку и новенькие портянки. Отъезжающие обычно оставляют свое добро остающимся, и, сидя здесь, я заметно богатею. Но зажигалка не прижилась: я как-то не могу научиться ею пользоваться, и не хочется.

То ли я стал добрее, то ли здесь, лучше чем на Первом, понимают в садоводстве, но некоторые цветы очень нравятся и доставляют радость. Особенно астры. А в том углу, где травка и я слушал переводы про Шагала, Клея и других хороших художников, растут большие желтые шары, которые, судя по детству, назывались Золотой Шар и росли у самой терраски, и мы, прыгая, всё боялись их сломать, потому что они были папиными любимцами.

От тебя приходят добрые письма, очень мне помогающие и дорогие. Беспokoит только здоровье Егорушки. Вы с ним очень красивы и очень мне подходите.

*12 августа.*

Перечитал «Разговор о Данте»\*. Я чуть было не написал «с Данте» – настолько все это близко. Особенно когда думаешь о Пушкине. Отменная книжка получилась: и шрифт, и формат. И очень умно поданы варианты и разночтения: через примечания, тонкие и умелые. Статья же Пинского не понравилась: академически расшаркиваясь, он хочет ввести «Разговор» в русло дантоведения, а интереснее было бы показать самого Мандельштама: насколько его Дантова тема отвечала личному опыту и нуждам русской словесности. Пинский\* же написал послесловие на горнфельдовский лад\*: культурно и бесцветно.

Еще прочитал «Делакруа» Гастева\*. Понравилось. И тон, и стиль. Особенно удались застольные беседы у Жорж Занд. Правда, если брать по большому счету, мне лично не хватает мыслей – о искусстве, о девятнадцатом веке. Ну как было хотя бы не сопоставить с Возрождением. Все слишком вертится вокруг силовых потенциалов гения-производителя – с преобладающим настроением: «вот были богатыри». Цвейговская традиция. Но в общем-то я доволен и рад за искусствоведение. С такими книгами оно многое сулит.

Про Примаченку согласен, что это не примитив в обычном смысле слова. Но я не очень склонен выносить ее за рамки примитивизма вообще и, хваля, тем самым невольно сужать и понятие, и возможности этого стиля. Напротив, надо напомнить, что это большой стиль, дающий простор для вариаций и разночтений, такой же как «реализм» в современном значении. В конце концов, мы знаем не только примитивы бабушки Мозес\* или русского лубка, но и романского искусства, и негритянской скульптуры и чего угодно еще. От него тянутся нити и к Брейгелю, и к Шагалу. Примаченко же – склонение примитива в сюрреализм, однако не в его интеллектуально-модернистской формации, а в древнем, извечном выражении, близком к стихии сказочно-магического восприятия. Демонстрация вещей снов, страхов и вожделений. Примаченко весьма своеобразна, необычна, но – не индивидуальна. В ней господствует родовое, тотемное начало. Как в глубоком гипнозе, при слове «женщина» рисовали паука, при слове «смерть» – бивни мамонта. Очень мне понравилось про радио, из которого появилась та самая ладья-гроб, плывущая по реке вечности – Лете, та ладья, которая издревле определила форму гроба до нынешних времен. Я так и подскочил, увидав картин-



ку: откуда она знает про это? Очевидно, сфера подсознания у нее необычайно развита и прямо соприкасается с творчеством, так что мы наблюдаем в ней неосознанное оживание мифа. Найди в моих бумажках (где-то возле Кришнамурти, индусов и т.п.) – о парапсихологии, откуда ясно, что в нашем подсознании живут древнейшие мифы. Но только нам надо загипнотизироваться, чтобы о них вспомнить, а она наяву ходит загипнотизированная. Ведь ее чудища столь же универсальны, как чортики алкоголиков. В этом-то ее главная и глубинная, поддонная связь с фольклором. Это не усвоение готовой традиции, а воспоминание о ней как о живом происшествии. Поэтому все так реально. Игра и выдумка отступили перед навязчивой реальностью, всплывшей со дна психики и неожиданно, загадочно совпавшей с онтологией каких-то тотемно-магических представлений. Уже на это, как вторичное напластование, лег усвоенный из быта, из родной природы традиционный узор в виде всяких петушков-гребешков и цветочков. Но почему цветочки так изгибчиво напряжены, что хотят вас ухватить своими усиками и щупальцами, почему они смотрят, точно хотят взглянуть, – это действует та первичная, скрытая сила мифа, растерявшего ясные сведения о себе и поэтому действующего в Примаченке как наваждение, немного сбивчиво, в виде случайных якобы ассоциаций. Но стоит ее поскрести, и могут обнаружиться связи аж с мексиканским тетрариумом.

Непонятно, зачем ее демонам понадобился картузик. Что это – то же радио, или признак соседства ее сновидений с достоверной обыденностью, или желание нарядить первобытных чудищ по моде «по улицам ходила большая Крокодила»\*?

*14 августа.*

Не помню, писал ли я тебе, что здешняя моя жизнь в психологическом отношении похожа на пребывание в вагоне дальнего следования, когда роль поезда исполняет ход времени, которое своим целенаправленным движением порождает иллюзию осмысленности и насыщенности самого пустого времяпрепровождения, поскольку, чем бы ты ни занимался, – «срок все равно идет» и, значит, дни проходят недаром, а как бы работают на будущее и за счет этого становятся содержательнее. И как в поезде, пассажиры не очень-то склонны заниматься полезным делом,

потому что их существование оправдано неуклонным приближением к станции назначения. Они могут позволить себе жить в свое удовольствие, насколько это доступно, – играть, гулять, пить кофе, болтать, не угрызаясь этой растратой свободного времени: отбывание срока во все вносит дозу полезности.

Меня эта путевая психология не очень устраивает, и я тихо бешусь, слыша постоянные: «да куда вы торопитесь», «у нас же так много свободного времени – столько-то лет впереди», «почему вы не хотите развлечься» и т.п. Жить на иждивении у будущего мне неохота. Но дело не во мне, а в парадоксальности ситуации, восполняющей отсутствие смысла жизни осмысленностью ее изживания. Иногда кажется, что в таком состоянии, поджидая, когда исполнится срок, люди могут быть счастливее, чем в условиях свободы, но только не вполне сознают эту возможность.

Еще почему-то последнее время мне понравилась длинная речь, в смысле размеров и разветвленности предложения. Правится кроить и перекраивать фразу так, чтобы она, разрастаясь, охватывала мир и росла уже не моей, а собственной силой, как продолжение природы, норовя за горизонт, к встающему ей навстречу окаймлению леса.

*15 августа.*

Продолжаю о Пушкине (в связи с теорией случая).

...С воцарением свободы все стало возможным. Даль кишела переменами, и каждый предмет норовил (в)стать на попа, грозя в ту же минуту повернуть мировое развитие в ином, еще не изведенном человечеством направлении. Размышления на тему: а что если б у Бонапарта не случился вовремя насморк? – входили в моду. Пушкин, кейфуя, раскладывал пасьянсы так называемого естественно-исторического процесса. Стоило вытянуть не ту даму, и вся картина непоправимо менялась. Его занимала эта легкая обратимость событий, дававшая пищу уму и стилю. Скача на пуантах фатума по плитам международного форума, история, казалось, была готова – для понта, на слабб – разыграть свои сцены сначала: всё по-новому, всё по-другому. У Пушкина руки чесались при виде таких вакансий в деле сюжетостроения. Всемирно знаменитые мифы на глазах обрастали свежими, просящимися на бумагу фабулами. Любая вошь лезла в Наполеоны. Пройдет еще

немного, и Раскольников скажет: все дозволено. Все шаталось. Все балансировало на краю умопостигаемой пропасти: а что если бы?! Дух захватывало от непомерной гипотетичности бытия.

В заметках о «Графе Нулине» в 1830 г. он делится своими исследованиями:

«В конце 1825 года находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те.

Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде.

Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась, я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть».

У «Графа Нулина» в истории была еще аналогия – выступление декабристов. Оно тоже имело возможность закончиться так или эдак. Но повесть содержала более глубокий урок, предложив анекдот и пародию на роль философии, в универсальные орудия мысли и видения.

Нужно ли говорить, что Пушкин по меньшей мере наполовину пародиен? что в его произведениях свирепствует подмена, дергающая авторитетные тексты вкривь и вкось? Классическое сравнение поэта с эхом придумано Пушкиным правильно – не только в смысле их обоюдной отзывчивости. Откликаясь «на всякий звук», эхо нас передразнивает.

Пушкин не развивал и не продолжал, а дразнил традицию, то и дело отступая в пародию и с ее помощью отступая в сторону от магистрального в истории литературы пути. Он шел не вперед, а вбок. Лишь впоследствии трудами школы и оперы его заворотили и вывели на столбовую дорогу. Сам-то он выбрал проселочную<sup>1</sup>.

*16 августа.*

---

<sup>1</sup> Он писал о Жуковском – Вяземскому (25 мая 1825 г.): «Я не следствие, а точно ученик его, и только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной».

Опять неделю нет от тебя писем. А в последних – что у Егора, может быть, плохо с легкими. <...>

У меня все нормально. Последние дни очень устаю на работе: тяжелая разгрузка в сушилке: дуб. Зубы тихо ноют. Иногда не так тихо – главным образом по ночам. Спасаясь пирамидоном, который, к счастью, удалось достать. Не вытерпел – был у врача. Бесплезняк. Назначили греть ультракороткими волнами, а я и без этого их уже грел теми же волнами. Пускай теперь сами заживают. Обходились же первобытные люди.

Теоретическое обоснование петровским картинкам\* может состоять из рассказа о свойствах примитива вообще. Тот же кусок потом хорошо влезет в Примаченку. Примитив – как понятийное искусство («Я и деревня» Шагала). Его детская серьезность (от серьезности и смех разбирает): выяснение: «а что это значит?» Оперирование не видимостями, а формулами: формула кошки, формула человека. Изображение действительности не в виде вырванного (из общего ландшафта) куска, а как всей системы мироздания (поэтому на небе солнышко с глазами, а из трубы дым – то есть сразу «весь мир», универсум); поэтому картина похожа на диаграмму действительности и ее части могут рассматриваться отдельно: скажем, лев, а рядом конь, и они не ловят друг друга, потому что между ними – вселенная. Преобладание главного над второстепенным, сущности над явлением; поэтому люди – головастики: голова довлеет. И доискиваться в примитиве соответствия всех частных живой натуре – все равно что спрашивать: а где в слове «чело-век» – ноги? Это искусство мыслит «чело-веками», интересуясь общими категориями, состояниями духа (а не психологией), метафизикой вещи (а не ее минутной физиономией). Выставочный принцип: нате, полюбитесь. Лица повернуты к зрителю, потому что на них смотрят.

«Неумение» как признак реализма.

А на «мудрецов» и проч. заметно влияние Свешникова\*. И это хорошо.

В Пушкина из прошлого письма нужно внести исправления. Вместо «в позицию зыбкой неопределенности» – надо «в позицию безликой и зыбкой неопределенности»; вместо «с подозрительной меткостью» – надо «с подозрительной дальновидностью»; вместо «отсутствием логики» – надо «утратой логики».

Вот что бывает, когда текст недостаточно отлежится.

А почему ты мне не прислала Пикассо\*? Мне очень нужна эта книжечка, и два раза. А также – Пастернак. Сделай, пожалуйста.

*18 августа.*

Имею от тебя, Маша, сразу четыре письма (по № 97 включительно). И я тобою очень доволен, и счастлив, и хвалю не нахваляюсь.

С петровско-семейной буколичкой так и держись, как держишься: сколько хватит.

Кстати, в его картинках (уже не общепримитивное, а сугубо личное качество) особо примечательно: удивление перед чудесной изобретательностью мироздания. И отсюда способность смотреть на все большими глазами. Это не только черта ребенка. Это черта философии и начало философии, склонной удивляться, в отличие от науки, провозгласившей: ничему не удивляйся (сладкая цитата об этом, из Флоренского, есть в общей тетради). Отсюда – философичность его работ.

Еще хорошо бы – присутствие в картинках практика-умельца, привыкшего все ломать и мастерить своими руками, но всякий раз приходящего в изумление от хитроумия природы, вылезавшего у него из-под пальцев. Вот эту атмосферу мастерового, рабочего человека, «ванночек с гальваникой», «свинтялок», «фитясок»\* надо бы передать, чтобы из нее просвечивала и ребячливость, и отзывчивость, и личность, и лохматость, и современность, и «техника на грани фантастики», и весь придурковато-мудрый вид, точнее – маска, из-под которой выбегают и бегают живые глаза-паучата. Как в «ключаях»\*, «Александр Константинович», вытря о штаны мокрые два пальца, говорит: – мерси.

Помимо портрета и колорита тут заключена значительная мысль (вторая после философичности, и этих двух вполне хватит, чтобы сделать – пальчики оближешь): об отсутствии у него при широком пользовании архаизмами какой бы то ни было консервативности и старомодности; о его жизненности; о внезапном родстве природы и техники, потому что ими вертит одна сила, позволяющая, не впадая в кощунство, воспринимать организм как замысловатый механизм (ручки-ножки на шарнирах – раз-два! раз-два!), и он, тем не менее, не превращается в работа. Понимание машины как насекомого или зверя (зубастый самолет); сти-

рание грани между природой и цивилизацией, стирание тем более актуальное, что сейчас наблюдается часто либо впадение в техницизм (Вознесенский\* и т.п.), либо руссоистские затеи, явно не имеющие шансов прижиться и потому окрашенные в элегические тона воспоминаний. А вот у него здоровое, без ущербности, отношение к технике – человека, не обожествляющего ее, но и не боящегося – современного. Знаешь, его поля я бы украсил бодрыми песнями типа «чтоб сказку сделать былью» – вперемешку с «в меня влюблялася вся улица».

Цветаевские «Стихи к Сонечке»\* не плохи и в принципе допустимы, но несколько блекловаты; у нее есть сильнее и ближе к лубку. Посмотри романс на смерть гр. Зубова из сб. «После России» (в цветаевской папке есть). Кроме того, можно из «Царь-Девицы». Например, такой лубок:

Спит младенец, распростерся  
И не слышит ничего.  
Ровно пальчиком уперся  
Месяц в личико его.

Цитата – не точная. Но особенно – по духу – близок ранний Заболоцкий, особенно из стихов о цирке. А вообще-то идея – на полях – замечательная. Но хорошо бы на слегка размытом фоне, как в кино титры, и, может быть, тоже размытые, не в резкости.

Очень я тебя люблю. И цену.

*19 августа.*

Очень тороплюсь с этим письмом поспеть вовремя – чтобы восстановить обычные сроки-даты отправки писем. Сегодня – воскресенье. Завтра начну работать во вторую смену и ждать тебя к себе. Может быть, это письмо ты все-таки удосужишься получить до поездки. Тогда привези чего-нибудь покушать – на всякий случай. И немножко сигарет, всего лучше – «Ява». Она хоть и с фильтром, но дивно хороша, я недавно смог оценить. И немножко кофе. Можно – в зернах. У конкурента недавно было общее свидание – в комнате, и с закуской.

Намерение отложить на сентябрь меня тоже сильно смущает тем, что ставит под угрозу декабрьскую встречу. Гарантий нет никаких.

Относительно помилования я написал тебе в прошлом письме мое непросвещенное мнение. Надеюсь, ты получила. Кое-что, наверное, и ты, и я сможем уточнить при свидании. Хорошо бы тебе также на эту тему слегка проконсультироваться с адвокатом\*, если он в Москве.

Мне как-то жалко отправлять Егорыча в детский сад уже в этом году. Даже старый вариант – с бабушкой – мне кажется привлекательней. Может быть, если осенью у тебя будет запарка и комната не готова, – отправить его для начала к бабушке, с тем чтобы затем, ближе к Новому году, забрать. А для детского сада пускай немножечко подрастет, да и то я не знаю, насколько это прекрасно.

У нас пошло на жару и, видать, под конец образуется настоящее лето. И приятно смотреть, как по небу плывут облака. Читая про твои дожди, мечтаю, чтобы и вам перепало такой погоды.

Еще ужасно мне по нраву, что Егор умеет долго слушать всякое чтение. И очень мне хочется к вам – общаться. И чтобы ты нам читала вместе где-нибудь на травке, или можно на лежаке. Приятно, когда человек умеет и любит слушать больше, чем говорить. А еще очень приятно смотреть на тебя.

А мне ты верь и не ошибешься. Потому что я по тебе соскучился на целую жизнь и на следующую, и всё, как представишь, мало. Так что стоит подождать, и ты будешь нырять и плавать, как рыбка, такое мы вокруг себя разведем счастье.

А у Егора мне понравилось слово «муливель». Вероятно, мы бы с ним много друг у друга почерпнули. <...>

Ты права, Машечка. С нами всё. И это в воздухе.

А.

20 августа 1967.



...«Разговор о Данте». – О.Мандельштам. Разговор о Данте. М.: Искусство, 1967.

**Пинский...** – Леонид Ефимович Пинский (1906–1981) – литературовед, наш друг, подпольная кличка «Ребе Пинский».

**...на горнфельдовский лад...** – Аркадий Георгиевич Горнфельд (1867–1941) – литературовед.

**...прочитал «Делакруа» Гастева.** – Алексей Гастев – искусствовед, подпольная кличка «Роковые яйца». Книга о Делакруа вышла в серии «Жизнь замечательных людей».

**...примитивы бабушки Мозес...** – Речь идет об американской художнице-примитивистке Анне Мэри Робертсон Мозес (1860–1961), работы которой мы с Синявским видели на выставке в Москве.

**...«по улицам ходила большая Крокодила».** – Песенка про то, как «по улице ходила / большая крокодила, / она, она зеленая была. / В зубах она держала кусочек одеяла, / и думала она, / что это ветчина», как говорят, была сочинена в 20-е годы коктебельскими гостями М.Волошина.

**...обоснование петровским картинкам...** – У нас с Синявским была идея – не написать ли статью о примитивах А.Петрова, тем более что многие мои письма украшались его картинками.

**...влияние Свешникова.** – Борис Петрович Свешников (1927–1998) – художник-нонконформист. Его лагерные рисунки изданы в 2000 году «Мемориалом».

**...не прислала Пикассо?** – Книга И.Голомштока и А.Синявского «Пикассо» пользовалась успехом у лагерных друзей Синявского, так же как и однотомник Пастернака с предисловием А.С.

**...«свинтялок», «фитясок»...** – «Свинтялки» – слово из детского лексикона А.С., которым он называл разные металлочно-механические предметы. «Фитяска», придуманная по принципу «свинтялок», – слово из повести Абрама Терца «Любимов».

**Как в «ключачах»...** – В журнале «Декоративное искусство» была опубликована моя статья «От вора нет запора» про коллекцию ключей А.Петрова, которого я в статье ернически-почтительно называю Александр Константинович.

**Вознесенский...** – Андрей Андреевич Вознесенский, поэт.

**...«Стихи к Сонечке»...** – Это творческий процесс: обсуждается возможность публикации Цветаевой в нашей статье в «Д.И.» или замены Цветаевой на что-то еще.

**...проконсультироваться с адвокатом...** – Эрнест Михайлович Коган, адвокат, защищавший Синявского на процессе.





## ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Детка моя – Маша.

Дни текут и перетекают один в другой, и уже давно, как ты уехала, и целое море впереди и целое море позади. Штиль.

Два письмеца доисторической давности – еще до твоего приезда опущенные – получил. Жду первой ласточки после свидания и люблю тебя, глубоко и потаенно, как маленький.

А знаешь, что больше всего меня поразило в твоих рассказах и о чем почему-то все время вспоминаю:

История про Егорушкину самостоятельность. Главное даже не то, что слез, а то, что почапал обратно и солидно улегся спать дальше. Интересно – забыл спросить – помнил ли он на другой день об этом происшествии и мог ли бы рассказать, что с ним приключилось? Или я преувеличиваю его повествовательные способности?

Ты мне ужасно понравилась и в это свое чудное появление, и я на тебя не могу налюбоваться и нарадоваться. Забыл спросить, сильно ли я посидел за это время. Иногда мне кажется – очень сильно. Отец начинал гораздо позже.

Еще у меня к тебе две просьбы принципиального свойства.

Первая: прошу тебя, как и прежде, соблюдать самостоятельность и обособленность в отношении Лары и ее претензий. Переспориванием ее тоже не стоит заниматься. Предоставим всем жить, как они хотят. И сами будем жить по-своему.

Вторая: надо договориться с Лидой и другими знакомыми дамами, к тому способными, чтобы они по очереди, каждая раз в неделю, приходили сидеть с Егором, освободив тебя на полдня, например, для интеллектуальных трудов и чтобы ты могла мне

письма писать, бандерольку иногда сочинить и т.д. В конце концов, эту повинность не так уж сложно организовать и не так уж тяжело нести, только в ее несении должна соблюдаться пунктуальность жесткого расписания (а не от случая к случаю), чтобы ты могла как-то планировать свое время и обрести некоторую независимость. Передай им о моей просьбе и скажи, что это для меня лично было бы серьезнейшей помощью – освободить тебя от ежедневного детсада, не уводя Егора в детсад. Пусть он живет при постоянной маме и при коллективной и приходящей няне. Что-то вроде шефства. И не таскать его по разным домам, а чтоб к Егору в дом приходили. Он теперь достаточно подрос, чтобы его не бояться, а просто немного присматривать за ним. Крайне это нужно, и напиши, как встретили такое предложение.

А Шекспира недавно я тоже попробовал и, ходя под его впечатлением полдня, могу подтвердить: прав был библиофил, похваливший его пьесы, сказав: одну прочитал – вторую хочется. Очень увлекателен и изыскан. Но все-таки много значит настроение и обстановка, и здесь Шекспир почему-то не очень уместен: его лучше читать, сидя дома, у камелька.

Не знаю, почувствовала ли ты, когда, ничего не имея, но ты сидела рядом, я этим присутствием был совершенно ошекспирен. Очень мне тебя надо. И для всего на свете. И чтобы книги читать. И чтобы жить.

29 августа.

Вот мелкие нотабене, возникшие попутно с Шекспиром.

Во-первых, проблема *сцены, театра*. Комический гротеск у него («Гамлет», «Макбет») переходит в трагедию и обратно. Ср. Пушкин и Глинка. Двойной гротеск: кто? и что? А надо всем: как? При столь широкой пародии локальность ее исчезает и растягивается над сценой, как дождевое облако. Образы средневековья, данс макабр (ср. «Бобок» Достоевского). Вывалившуюся челюсть никто не убирает, как не заметна известка в беленых коробках. Все мнится «продолжение следует», когда чистый финал.

Зрелище предполагает чувство уюта, тепло толпы «на миру». Внимание к пятну, к звуку, неважность слов, значений, чистая казовость в восприятии, первичные реакции в спектакле. То же, что ревю, балет, автоматизм жестов, экран телевизора. Включе-

но или выключено сознание? Оно притушено. Как в стихах ритм поедает смысл, так на театре явление поглощает бытие.

Зритель в премьерe иной, чем на репетиции. Реплика в форточку. Но очарование момента: котурны, блеск освещения, музыка, и вот уже мы – созерцаем. Близость театра и сна (теория Луначарского). «А я сижу и смотрю свои кинофильмы», выпался – пошел, вместе с толпой.

Сны расширяют поток информации. Лег спать как пошел в кино, и в предвкушении поеживаемся. Сны развлекательные и наставительные. Сон как средство связи, полеты во сне домой. («Сон в летнюю ночь» Шекспира.) Сон без снов: Лермонтов – «но не тем холодным сном могилы я б хотел навеки так заснуть». Индия о слиянии во сне с Атманом: сон – водопой души, убегающей по ночам на источники жизни. Тогда не есть ли сонный наиболее полный, наимудрейший. «Вечно спит», – ворчим, не замечая, что тот, любимчик, – приобщенный, а мы – отвергнутые. Сны – целая глава человечества. Посмотрел сон, послушал радио. Сон как кровля, как собственный домик. Когда плохая погода, мы спим (укрываемся). Иогананда: «Во сне всякий становится йогом... Спящий погружается, не сознавая этого, в источник космической энергии, питающей все живое». (Ср. «Чхандогья Упанишада», М., 1965: «Узнай от меня, дорогой, об истинной природе сна. Когда человек, как это называют, спит, то он, дорогой, достигает тогда [высшего] бытия, достигает самого себя» – стр. 113. «Брихадараньяна Упанишада», М., 1964: «И как [муж] в объятиях любимой жены не сознает ничего ни вне, ни внутри, так и этот пуруша в объятиях познающего Атмана не сознает ничего ни вне, ни внутри. Поистине, это его образ, [в котором он] достиг [исполнения] желаний, имеет желанием [лишь] Атмана, лишен желаний, свободен от печали. Здесь [в этом состоянии] отец – не отец, мать – не мать, миры – не миры, боги – не боги, веды – не веды; здесь вор – не вор, убийца – не убийца, нищенствующий монах – не нищенствующий монах, аскет – не аскет. За ним не следует добро, за ним не следует зло, ибо тогда он преодолевает все печали сердца.

Хотя, поистине, тогда [в состоянии глубокого, без снов, сна] он не видит, – поистине, зрящий он, [хотя] не видит. Ибо не разрушается зрение у зрящего, потому что не может погибнуть. Но

нет второго [после него], нет другого, отличного [от него], что он мог бы видеть» – стр. 121. Опять-таки ср. Лермонтов. *В. Райское яблоко, различие добра и зла.*)

Вопрос *чести и нравственности* – главное в «Гамлете». Восстановление чести, упрямство – доминанта в его характере. Может быть, поэтому и упрям, чтобы была точка опоры. Без нее – растворение. Фикс как основа личности, ее самосохранение. Прошлое не как память, а как гарантия, и он верен прошлому, более повинуюсь инстинкту жизни, чем идее. На самом-то деле совсем другой, на самом деле – ничего не осталось от прежнего принца, кроме *fixe*, но это соломинка, луковка, вытягивающая со дна, в отличие от притчи о богатом и Лазаре. Мы вновь (вслед за логикой Шекспира) возвращаемся к вопросу – что такое человек, из чего он состоит и на чем держится. Почему когда-то лучше? Не в составе дело, а в соломинке, которая тем и там прочна, где все на ней держится. Надежда в больших количествах растворяет, расслабляет. Соотнесенность морали и безнадежности (знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть»). Растворение героя. Куда они делись? – Стали просто людьми. Ситуация клятвы и подвига всегда на исходе.

Из «Гамлета» ясно, что человеку дается ровно столько, чтобы он мог выдержать. Нет «не могу», есть «не хочу». «Раньше я боготворил человека, а теперь я его полюбил», – говорит Лаэрт. Ни «до», ни «после» Гамлет не согласился бы поменяться на миллион.

Что все-таки в нем важнее – воззрения или психология? Родство душ с разными взглядами (Лаэрт и Гамлет). Раньше вместе (острота положения, отсутствие вторичного, минимум), затем раздельно. Мысль вторична, и она разделяет. Не на этой ли основе впоследствии Лондон, Хемингуэй, Ремарк – деидеологизация быта, голый человек?

Гоя (из сочетания с Пикассо и Пинтуриккио) – возможность углубления в себя у выдернутого из колеи, отрешенного от житейских забот. Задумчивость и додумывание до крайних степеней глубины, «трансцендентное» в сознании выдернутого. Затянувшаяся крайняя ситуация как условие подлинной жизни. Пренебрежение к себе, поиски более прочных и безусловных, чем «я», основ. История первых глав Дворжача и личность, отходящая на задний план (эволюция Шекспира от «Гамлета» к «Буре» и «Сну в летнюю ночь»).

*Убийца*, следуя «Макбету» (а также Достоевскому в «Преступле-

нии и наказании»), даже праведный и несчастный, обязательно убьет «неправильно», неуместно, не так и не того, кого собирался, хотя бы все до тонкости рассчитал и судьба ему, казалось бы, улыбалась. Все равно все будет «не так», и, если взглядеться в его поступки, обязательно проскользнут признаки сумасшествия, вызывающего цепь ненужных, случайных убийств.

Труднее понять доброту убийцы по контрасту с черствостью святых. Понять, зол ли убивец или это – часто – судьба, случай, планида. (В «Макбете») убийство – одержимость: кишечная слизь на пальцах. Преобладает чувство: «не я». Но не есть ли всегда при самом плохом – «не я»? Не способен ли «добрый» ко злу, любой добрый к любому злу, а все решает какой-то третий случай? И не потому ли – кто в мыслях своих, ибо этого уже достаточно.

*31-1 сентября.*

О Пушкине (безо всяких реплик с моей стороны):

– А в общем-то все дело из-за бабы получилось, я так считаю. Из-за красавицы-жены погиб.

Обращение к деревьям: – Кормильцы!

– Ансамбль грузин и одна баба, не знай какой нации, вся сядя, играет на аккордеоне.

– Солидные хлопцы – Пушкин и Гете...

За что я благодарен, так вот за что: стоит поднять перо, и мигом понесутся приходящие в голову образы – так вот за это самое, вы меня понимаете?..

– Для меня даже спирт тяжел. Дайте мне тихое утро на углу леса! Выйду в поле и бухнусь в обморок.

Взглянем на лысого человека. Что с него взять? Всякий смеется: плешь. Но посмотрите: там, где еще растут на его лбу волоски, – да ведь это похоже на Альпы, господа, на хребты Кавказа, покрытые с каждым веком редющим постепенно кустарником!..

– Эх, жизнь-пересылка!..

Чем больше думаю о стиле, тем понятнее, что его нет. Пишите изнутри, и вам не понадобится никакой стиль; и все будет им, и вы сами станете стилем и будете парить над вашими мелкими буквами. Стиль – отказ от него. Чистый дух, когда он вдруг почему-то подбирает, спустя рукава, кое-какие словечки для торопливого изложения...

*2 сентября.*

У нас уже совсем осень и листья падают, похолодало, а когда светит солнышко, все вокруг становится дымчатым. То ли от этой тревожащей дымчатости, или потому, что скоро два года моего заключения, или учебный год начался, вызывая смутные, глупые, ученические ассоциации, или поскольку, как писали в журнале, мы вступили в последнюю треть двадцатого века, – душевная атмосфера слегка переменялась и, хотя не видно реальных причин и я живу спокойно, как прежде, – уподобилась по колориту прошлогоднему предновогодью с его неясной неуверенностью неизвестного направления.

От тебя пришло письмо номер первый. Хорошо, но мало, моя драгоценная девочка, данная мне на всю жизнь.

Попались «Братья Карамазовы», и я их скоренько перечитал, забросив все остальное.

За этим чтением мне представилась не к Достоевскому лишь приложимая, но к любой книге в ее общем универсальном значении – затягивающая роль сюжета. Писатель интригует, заманивает в свою страну, куда, как с горки, мы скатываемся и оглядываемся, но поздно: попались! Книга – ловушка, мышеловка, а роль приманки исполняет сюжет, увлекая за собою читателя, пока тот с головой не станет ее пленником и поверенным. Не потому ли в литературе особенно широко применяются затягивающий сюжет путешествий, а также любовные истории с поджидаемой свадьбой в конце пути? В этих схемах пути с соблазнительной целью выражена сама идея книги как умозрительного пространства, которое необходимо покрыть: прочтешь – узнаешь, чем дело кончилось. Не начинают же со свадьбы, а свадьбой заканчивают: приманка. Писатель в развитии сюжета уподобляется хорошенькой женщине: он кокетничает, и обещает, и затягивает, и медлит, не настолько, однако, чтобы наскучить. «По усам текло, а в

рот не попало», – лукаво сказанное в финале, знаменует одновременно и мнимость нашего присутствия на завершающем пировании, и внезапное исчезновение автора, который, помазав нас по губам давно обещанной приманкой, уже зазывает в другую сказку новым приготовлением к свадьбе.

А собственно из «Карамазовых» вынес в дополнение к старому образу – ощущение, что Достоевский безусловно близок хлыстовству, ежели пользоваться этим словом не в осудительном, а в характеристическом смысле. Хлыстовство – в отличие от Л.Толстого с его тяготением к рационалистическим сектам. Разлившаяся по Достоевскому ситуация одержимости («бесы» сделали заглавием, «идиот» – тоже заглавный) сообщает его идеям форму сошедшего на человечество смерча, вихря, обуявшего духовного пламени, сжигающего без остатка сухожилия и хитросплетения психики в маниакальном пожаре. «Думал он горячо и порывисто», – сказано о мыслях Раскольникова. «...А тела своего он почти и не чувствовал на себе...» Тело – легкая оболочка, она светится изнутри или лопается, как скорлупа, под давлением чуждого духа, который селится в человеке и по временам из него высывается и корчит рожи, калеча снятую во владение плоть. Портрет помещика Максимова – «В глазах его было что-то лупоглазое» – указывает на двойника: лупоглазый сидит в Максимове.

Следом за телом – со скандалом трескается на человеке характер, столь же – оказалось! – преходящий, условный в своей новооткрытой реалистичной типичности, как персонажи комедии масок, как нарицательные имена Скотинина, Молчалина, устаревшие для Тургенева, но вот и Тургенев устарел в собирании точных черточек, и из натурального романа характеров мы попадаем в роман состояний.

Эпизодическое лицо в «Карамазовых», некто Калганов (сцена в Мокром), так же подвижен в своих состояниях, немотивированно меняющихся, как и главные герои, предрасположенные к переходам в разные стадии одержимости. «...» «Иногда в выражении лица его (Калганова) мелькало что-то неподвижное и упрямое: он глядел на вас, слушал, а сам как будто упорно мечтал о чем-то своем. То становился вял и ленив, то вдруг начинал волноваться, иногда, по-видимому, от самой пустой причины».

Больше о Калганове ничего не известно, но это эмбрион, гото-

вый в своей задумчивости развиться до полноценной медиумичности, какую – протянутые в пространство – являют в сущности все персонажи Достоевского, неподвижные, вялые (кусок провода), в ожидании и заранее волнующиеся в предощущении удара. Удар! повело-поехало! низошло! закружились, подхваченные – не жизнью – бурей радения о духе. «Садись вот здесь за стол, – говорит Митя Алеше, – а я подле сбоку, и буду смотреть на тебя, и все говорить. Ты будешь все молчать, а я буду все говорить, потому что срок пришел (! – вот вам и вся установка, и вся мотивировка). ...Почему рвался к тебе, жаждал сейчас тебя, все эти дни, сейчас? Все эти дни? Потому что тебе одному все скажу, потому что нужно, потому что ты нужен, потому что завтра лечу с облаков, потому что завтра жизнь кончится и начнется. Испытывал ты, видал ты во сне, как в яму с горы падают? Ну, так я теперь не во сне лечу. И не боюсь, и ты не бойся. То есть боюсь, но мне сладко. То есть не сладко, а восторг... Ну да черт, все равно, что бы ни было. Сильный дух, слабый дух, бабий дух – что бы ни было! Восхвалим природу: видишь, солнца сколько, небо-то как чисто, листья все зелены, совсем еще лето, час четвертый пополудни, тишина!»

Ср. эти «потому что», не имеющие причины и следствия, ничего не объясняющие, а лишь нарастающие, нагнетающие – с толстовской рассудительностью («не потому, что... а потому, что»). Достоевский ненавидит посредственность (природа Толстого), у него даже пьяница Снегирев – гениален, и всяк норовит в Христа. У Толстого Наполеон – пошл, любимая Наташа – дура, Андрей Болконский, расставаясь с прошлым, – прост и обычен, все обычно, заурядно, «опростимся» – лозунг Толстого, «обожимся» – Достоевского.

Хлыстовским же пантеизмом попахивает пантеизм Достоевского. При неразвитом в общем-то чувстве природы его «клейкие листочки» имеют вид почти сладострастный. Приведенное радение Мити оканчивается восхвалением природе. Даже православнейший старец Зосима рекомендует лобызать землю, ища восторга и исступления.

Потому что – везде – дух.

Все слова у Мити «не те»: не передают: не передаваемо. Ибо «было уже не до слога» (о Миусове). Еще бы до слога – глоссолалия, «бабий дух» (ух! ух!) подпирает, так и кажется – сейчас поскачут.



И все летят «как с горы».

Интересно бы еще проследить, как употребляется у Достоевского понятие «идея» – в значении, близком «одержимости», иступленному и сублимированному состоянию души. Не мировоззрение, а раздражение, заражение, «теоретически раздраженное сердце», носимое Раскольниковым, испытанным под видом идеи «решимость особого рода – решился, да как с горы упал или с колокольни слетел, да и на преступление-то словно не своими ногами пришел».

В «Братьях Карамазовых» не один, а сразу три убийцы, двое из которых убили отца мысленно, иносказательно. Но Митя «убил» чувством и поэтому честнее (стихийнее, непосредственнее), а Иван – умом, у Ивана мозг заражен.

Итак, обращение подавленных мыслей в действия, нет границы между идеей и исполнением; братья Карамазовы только «подумали» – и готово дело. Потому что дело дошло до того, что «идеи» режутся («Казуистика его выточилась, как бритва» – Раскольников). Для этого она взведена до степени «наваждения».

*3–4 сентября.*

Сегодня тихий день и ясное небо, слегка подбеленное облаками. Глядя на цветы, удивляюсь: да ведь они не отсюда! с какой азотистой почвы, из какого кислорода набрали они эти чистые краски, чтобы составить свой чудный венчик?

Прости, Машечка, что я тут вывалил столько литературы. Иными впечатлениями жизнь скучна, а в голове накопилась уйма этой самой литературы, так я и шпарю подряд, с цитатами, не в силах привести этот сор в более обстоятельный вид, а жаль выбрасывать, но тем временем – ты не думай – я тебя все время люблю и лелею.

Пришел № 2, и умилялся на Егорыча\*, полезшего под лежак за твоими туфлями, за это движение все можно отдать. И очень ты хорошо пишешь, как вы живете вдвоем, славно это, и мне сладко слышать про такую вашу взаимность, домашность и наклонение ума к свету, зримому в лицах.

Хочу к вам в дом. В домик. И в тот, и в другой.

Хорошо бы все-таки Егору уже в детстве иметь «свой дом», и поэтому я еще одобряю и твое намерение поселиться с ним вмес-

те на новой квартире, и радуюсь, что она у нас есть. Потому что, может быть, не теперь, еще рано, а чуточку подрастая, он разглядит этот дом и запомнит его на всю жизнь.

Вещи, увиденные в детстве, становятся вечными и, кажется даже, до сих пор продолжают существовать, начинаясь с большой буквы – и Буфет, и Велосипед.

Я иногда думаю: тяжела жизнь. И вдруг тут же, рядом: да ведь тем и хороша, что тяжела. Какая-то в ней вескость...

И все-таки нужен дом – особенно в детстве и в старости, когда мы больше всего дышим вечностью и, может быть, поэтому полнее всего живем.

Ну, не буду кваситься, да и вы мужайтесь, потому как я за вас и никому не отдам, всецело и навсегда беру твою руку. <...>

Очень хочется к вам в няньки, в отцы и мужья.

Будьте здоровы, любимые.

Ура! ура! – только что пришел № 3. И ты меня любишь, и я опять этому удивляюсь. Но не грусти. Милая, не грусти.

А.

5 сентября 1967 г.



**...умилялся на Егорыча...** – Синявский откликается на следующее место из моего письма от 26 августа 1967 года: «Сегодня, например, лежу я на терраске (чегой-то нездоровится), а ребеночек является с радостным лицом:

– Мамочка! Я подушку покрасил!

В ужасе вскакиваю, шарю ногами тапочки, и ребеночек с такой готовностью и нежностью тащит их из-под лежака и помогает надеть, что сердце замирает, и уже ясно, что выволочку устроить я не смогу, а потом такую разнеженную Егор ведет меня в комнату и торжествующе показывает свою подушку, «расписанную» зеленой гуашью из петровской банки, которую он откуда-то утащил и попользовался. Ну и что нам делать?»

## ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Манечка моя.

Ты права, что письма из Химок идут много дольше, чем из центра, и там, в Химках, они, видать по штемпелю, и впрямь сохнут в ящике без внимания дня по два – по три: письмо, например, от 27-го, а штемпель от 30-го.

Но ты заблуждаешься, говоря, что я к тебе начал небрежнее относиться, и ссылаешься на какие-то «не те» слова при свидании. Слова-то, может, и не те, да ведь не в самомнении сказаны: от недостаточности, от горечи. Ты все-таки не очень учитываешь мое нынешнее состояние подавленности, невозможности приложить силы к чему-то более соответствующему, самоедства, сомнения в себе, нежелания деградировать умственно и отчаянных попыток сохранить разум и навык.

Подло я устроен: не умею жить просто так, а это – при нескольких плюсах – страшный недостаток, слишком рационален, все думаю «пользу приносить», а какую я могу выдумать пользу? И мне даже чуточку грустно, что настроения, с этим связанные и понятные с полувзгляда, ты приняла за бахвальство и недооценку твоей личности, тогда как все как раз наоборот. Это во-первых.

Во-вторых: дура – я за тобою все еще ухаживаю, и хочу понравиться, и доказать, и завладеть, чтобы ты меня любила, а ты фырчишь.

В-третьих, Салтан, если хочешь знать, гораздо больше относится не к изобразительному искусству, а к Генделю. И вообще я человек мнительный, а ты – нет, и не надо, не к чему и не из-за чего тебе такой быть. Я за тебя цепляюсь, а ты говоришь – «я и

сама могу», да ведь я не могу и никогда не пушу и не скажу – ну и моги сама, потому что ты моя собственность и первое и последнее упование. И много чего еще.

*7 сентября.*

Плохо встретил я вчерашнюю годовщину. С тяжестью на сердце. Дождь, холод и никаких просветов. На дворе теперь не позаниматься, а на койке сосед, едва я вынимаю твое письмецо из конверта, говорит с интересом: «покажите картинку» или от нечего делать смотрит через плечо в книгу, которую я читаю, и от этого стороннего взгляда ничего не идет на ум. Очень скучаю по тишине и уединению. «Кончилось лето – наступила осень». Ну – как-нибудь...

*9 сентября.*

Получил Пикассо\*. Альбом великолепный. Наша графика хорошо пригодилась. Не говори Игорю: комментарии мне ужасно как не понравились. При таком роскошном издании они выглядят вдвойне жалкими, провинциальными. Возмущает какой-то неосознанно подхалимский, извиняющийся тон, призванный подчеркнуть, что ничего особенного, чистый Репин. На картинке Алжирские бабы Делакура, перекошенные как чорт знает что, а в комментарии этот взрывчатый способ, возбуждающий аналогию – ну хотя бы с Мейерхольдом, сравнивается с переводом на русский язык «Слова о полку Игореве». Здесь уже фальшь перешла в обман.

А наука представлена в таком виде: «Линия становится главным средством раскрытия содержания». Смирин писал на лучшем уровне. Пусть это будет между нами, но я испытывал чувство неловкости и стыда, хотя сама книга доставила массу удовольствий. И ссылка на общие требования тут не поможет. Недавно я прочел книгу француза Перрюшо о Сезанне, выпущенную в прошлом году – с прекрасным, по-настоящему, послесловием Прокофьева\*. Сам Перрюшо похож на Гастева и можно не читать, а вот Прокофьева при случае посмотри – в лучших традициях «Аполлона», и вот можно же было Прокофьеву не снижаться до популярности, чего же Голомшток-то так оскудел?!.

Кстати, у Перрюшо встретились хорошие слова (свидетельств-

во Эмиля Бернара) Гогена о Сезанне: «Нет ничего, что так походило бы на мазню, как шедевр». Это тоже – на мельницу внезапного слияния гениальности с графоманией.

Нужно доверие к речи, которая поведет, к руке; по примеру скульптора, режущего дерево в соответствии с его волокном, не знающего, что выйдет по ходу, какое слово выпрет и даст поворот и строение.

Пришли мне, Машенька, еще раз маленького Пикассо и большого Пастернака\*. А также – поморин: кончается. Последнюю неделю зубы почти не болят, но надо их поддержать.

Еще вышли две книги, которые бы хотелось иметь, и если найдутся желающие – пусть их подарят мне в день рождения:

Ап. Григорьев. Литературная критика. М., 1967 (631 стр.).

Данте. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967 (686 стр.).

Их и сюда стоило бы прислать. Когда-нибудь.

*12 сентября.*

Как я люблю, когда ты чирикаешь, как птичка, в ответ на мою любовь. (Это я к тому, что ты, наконец, получила августовское письмо.) Сразу посветлело.

А еще я нашел способ, как мне избавиться от соседского сапа, не сделавшись неврастеником, и, дойдя однажды ночью до белой горячки, набрался храбрости и перелег головой в другую сторону, ногами к этому бульканью, и, представь, не встретил возражения, и теперь сплю, как король, носом в тишину и на воздух. Пустяк, а как много значит: кошмар чужого присутствия заметно рассеялся.

Вокруг, за горизонтом, всюду цветет золотая листва, дни ясные до рези в глазах, и солнце печет, но воздух все равно изнутри уже полон холода, а ночью совсем мороз, и пришлось влезть раньше времени в теплое белье.

А вы, мои маленькие, не простудитесь на даче? Не простуживайтесь, пожалуйста.

*14 сентября.*

Поговорим о Пушкине.

Неудержимая страсть к пародированию подогревалась сознанием, что доколе всё в мире случайно – то и превратно, что от

великого до смешного один шаг. В доказательство Пушкин шагал из «Илиады» в «Гавриилиаду», от Жуковского с Ариосто к «Руслану и Людмиле», от «Бедной Лизы» Карамзина к «Барышне-крестьянке», со своим же «Каменным гостем» на бал у «Гробовщика». В итоге таких перешагиваний расшатывалась иерархия жанров и происходили обвалы и оползни, подобные «Евгению Онегину», из романа в стихах обрушившемуся в антироман – под стать «Тристраму Шенди» Стерна.

Начавшемуся распаду формы стоически противостоял анекдот. Случайность в нем выступала не в своей разрушительной, но в конструктивной, телообразующей функции, в виде стройного эпизода, исполненного достоинства, интересного самого по себе, сдерживающего низвержение ценностей на секунду вокруг востроглазой изюминки. «Нечаянный случай всех нас изумил», – говаривал Пушкин, любясь умением анекдота сосредоточиться на остроумии жизни и приподнять к ней интерес – обнаружить в ее загадках и казусах здравый смысл.

Анекдот хотя легковат, но тверд и локален. Он пользуется точными жестами: вот и вдруг. В его чудачествах ненароком побеждает табель о рангах, и вещи ударом шпаги восстанавливают имя и чин. Анекдот опять возвещает нам, что действительность разумна. Он возвращает престиж действительности. В нем случай встает с места и произносит тронную речь:

«– Тише, молчать, – отвечал учитель чистым русским языком, – молчать, или вы пропали. Я Дубровский».

Анекдот – антипод пародии. Анекдот благороден. Он вносит соль в историю, опостылевшую после стольких пародий, и внушает нам вновь уверенность, что мир – наше жилище. «В истории я люблю только анекдоты, – мог бы Пушкин повторить следом за Мериме, – среди анекдотов же предпочитаю те, где представляется мне, есть подлинное изображение нравов и характеров данной эпохи».

Какое в этом все-таки чувство спокойствия и рассудительной гармонии в доме, обжитости во вселенной, где все предметы стоят по своим полкам!.. Сошлемся на анекдот, послуживший в «Пиковой даме» эпиграфом, – выдержанный в характере Пушкина, в духе Мериме:

«В эту ночь явилась мне покойница баронесса фон В\*\*\*. Она

была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!» *Шведенборг*».

Какое все-таки чувство уюта!..

В пристрастии к анекдоту Пушкин верен вкусам восемнадцатого века. Оттуда же он перенял старомодную эlegantность в изложении занимательных притч, утолявших склонность столетия ко всему феноменальному. Прочтите «Свет зримый в лицах» Ивана Хмельницкого, и вы увидите, что Крокодил и даже Ураган или Снег принадлежали тогда к разряду анекдотических ситуаций.

Анекдот мельчит существенность и не терпит абстрактных понятий. Он описывает не человека, а родинку (зато родинку мадам Помпадур), не «Историю Пугачевского бунта», а «Капитанскую дочку», где все вертится на случае, на заячьем тулупчике. Но в анекдоте живет почтительность к избранному лицу; ему чуждо буржуазное равенство в отношении к фактам; он питает слабость к особенному, странному, чрезвычайному и преподносит мелочь как знак посвящения в раритеты. В том-то и весь фокус, что жизнь и невесту Гриневу спасает не сила, не доблесть, не хитрость, не кошелек, а заячий тулупчик. Тот незаурядный тулупчик должен быть заячьим: только *заячий* тулупчик спасает. *C'est la vie.*

15 сентября.

В прошлом Пушкине надо бы поправить: вместо «при виде таких вакансий в деле сюжетостроения» – надо «при виде таких перспектив в деле сюжетостроения»; вместо «Оно тоже имело возможность» – надо «, тоже имевшее возможность»; вместо «предложив анекдот и пародию» – надо «рекомендуя анекдот и пародию».

А в позапрошлом Пушкине (в конце): вместо «в вещественное доказательство случая» – надо «в дружественное поддержание случая».

А для «Земли и неба» я нашел в «Легенде о докторе Фаусте» (М.; Л., 1958) важную справку, касающуюся земного Эдема в средневековом представлении и вытекающих отсюда четырех рек. С острова Кавказа, расположенного между Индией и Скифией, Фауст (Народная книга, первое издание 1587 г.) увидел «с восточной стороны до полуночи издалика в вышине далекий свет, словно от ярко светящегося солнца, огненный поток, поднимающий-

ся подобно пламени от земли до неба, опоясывая пространства величиною с маленький остров. И еще увидел он, что из той долины бегут по земле четыре больших реки, одна в Индию, другая в Египет, третья в Армению и четвертая туда же» – стр. 98. Дух, поднявший Фауста и поставивший его на Кавказе, поясняет: «Та вода, что разделяется на четыре части, течет из райского источника, и образует она реки, которые зовутся Ганг или Физон, Гигон или Нил, Тигр и Ефрат. Теперь ты видишь, что лежит она под созвездиями Весов и Овна, доходит до самого неба, а у этих огненных стен стоит херувим с огненным мечом, приставленный все это охранять» – стр. 98.

(Не северное ли сияние – в Сибири – было принято за стены и меч?)

Дело в том, что названные четыре реки были изображены (выложены мрамором?) на полу в Софии Цареградской, что указывает на аналогию храма и вселенной.

О соотносении со вселенной гласит также любопытное упоминание Плутарха («Сравнительные жизнеописания в трех томах», т. I. М., 1961) – древнейший римский царь Нума разделял учения пифагорейцев: «Чтобы хранить неугасимый огонь, Нума, по преданию, воздвиг также храм Весты. Царь выстроил его круглым, воспроизводя, однако, очертания не Земли (ибо не отождествлял Весту с Землей), но всей вселенной, в средоточии которой пифагорейцы помещают огонь, называемый ими Гестией (Вестой) или же Монадой. Земля, по их учению, не недвижима и не находится в центре небосвода, но вращается вокруг огня и не принадлежит к числу самых высокочтимых составных частей вселенной. Земля занимает стороннее положение, тогда как срединное и главенствующее место подобает другому, более совершенному телу» – стр. 87.

Кстати, о Нуме Плутарх сообщает, что тот велел похоронить себя вместе со своими сочинениями, смысл которых он предварительно растолковал жрецам. Самих же текстов он им не оставил, «считая неподобающим доверять сохранение тайны безжизненным буквам. Исходя из тех же доводов, говорят, не записывали своего учения и пифагорейцы, но неписанным передавали его памяти достойных» – стр. 96.

Это сообщение напоминает, что в древности вообще высшая



мудрость не подлежала записыванию, но передавалась изустно. В чем же причина разделения истины и книги, которая ведь тоже несла не вымысел, а сущую правду, но – возможно – не в ее глубочайшем содержании, которое, будучи записанным, как бы что-то теряет? Или сказывается безразличие книги к читателю, ее готовность разговаривать с первым встречным, тогда как самые глубины нуждались в достойном восприемнике? Или требовалась гарантия безобманного документа, которым может быть только живое свидетельство? Или недоверие к мертвому слову, которое сковывает, уничтожает уже потому, что закрепляет, и не подходит к голосу мудрости, настолько живому и одухотворенному, что любая жесткая форма оказывается для него искажением? «Упанишады» – сидящий у ног (буквально) – не для заучивания, для сопереживания. Отказ от буквы ради духа, который веет, где хочет, и сам находит, если понадобится, себе пристанище и позаботится о потомстве новым нисхождением истины, которая всегда нова и способна поддержать учение в состоянии вечной свежести. Ограниченность слова в передаче несказанного, в особенности – слова записанного, и значение тишины. (Кстати, в стихах – слышится тишина. Стих – не только чередование слов, но еще больше организация пауз, устройство тишины и молчания, и еще неизвестно, что важнее.) Беззаботность (истины) о будущем, и все ее мысли о ближнем, о здешнем, вот об этой компании знакомых, такое же кратковременно-вечное общение – как отец в семье, играя с сыном, рассказывая ему и его научая, не станет же записывать в виде нотаций на послезавтрашний день. Запись – уже другая идея, не общения, сохранения, памятник, закон, Хамурапи, скрижали, то, что следует передать для потомства, предполагает точность правил, факты, даты и выполнялась обычно оставшимися без отца, в его память – чтоб не забылось, составляется документ. Их работа абсолютно не творческая, рабская, копия, ничего от себя, а тот, кто от себя, – беседа с сыном, лицом к лицу, зачем же записывать? Необходимость быть отцом или сыном была важнее возможности быть философом, писателем, и здесь истоки – в лице, в отце – устной традиции, предвещающей письменность.

Получил сегодня фотографию Егорушки. Очень понравился. А в куртке на молниях он, кажется, еще сильнее смахивает на меня. А когда (в другом письме) я прочитал, как его наказали за испорченную живопись, было очень-очень его жалко и за него несчастно, потому что хотя нельзя позволять, но ведь он не понимал, он ведь хорошего хотел, и страшно это обидно, когда так несправедливы.

И вообще поменьше его наказывайте. Главное – не спугнуть, не нарушить того доверия, какое он к тебе испытывает (ах, те туфли, забыть не могу!).

Еще приятно слушать рассказы про Егорычевы утренние визиты к тебе и ваши муравейные разговоры, все представляю, я тоже любил залезать в мамину постель, которая казалась гораздо уютнее и теплее собственной. Но хорошо бы, Машенька, так сделать, чтобы другие его в свои кровати не приваживали: пусть ему навсегда останется детское тепло материнского бока как единственное благо, а не всеобщая любезность и широкое гостеприимство.

Надо, чтобы некоторые – важнейшие – дары Егор до поры до времени мог получать только от нас. Смотри, чтобы в Зоопарк его кто-нибудь не повел раньше тебя и без тебя.

Правильно я объясняю, как ты думаешь?

А его шутка – кушать маму вилкой – не понравилась: кощунство: мама – дражайший и ненаглядный предмет, и ее можно только любить. Подобные же его безответственные слова нуждаются в доведении до ясности, из которой ребенок ухватит различие добра и зла.

А по душе твое рассуждение о Шлимане\* и его жене. Только – будем справедливы – кто раньше? кто давным-давно этим бредил и с этого начал? и кто возражал, ссылаясь на физиков и ах, увольте, обойдемся без этого – как его? понимания, что ли, то-то же, кто теперь прав, когда радуемся, что с десятилетнего возраста, и когда еще до всего, в коридоре, незнакомой: жена-подруга?!

А ты напрасно, что 7 сентября тебя не любил. Я тебя всегда любил. И всегда буду любить.

*19 сентября.*

Родная моя жена – Маша! Письма от тебя идут кувырком, т.е. сперва (вчера) № 13 (последнее по счету), а сегодня 11 и 12, а № 10 еще не пришел\*. <...>

У нас так холодно, что, уходя на работу во вторую смену, на ночь, – надеваю ушанку и шарф. Это настраивает на зиму, которая кажется не такой уж холодной (и не такой уж далекой). И легкий, спокойный ледок на душе: что поделаешь – третий год.

«Прощай, детство»\* – весьма хороша. Хотя в ней мне мелькнуло вроде второй молодости и влюбленной ажиотации на мотив «здравствуй, весна». Впрочем, возможно, это кажущееся: письма получил перед самым уходом на работу и едва успел прочитать, а сейчас, взяв листочек с собою, дописываю послевагонную ночью.

Не помню, пробовал ли Петров рисовать (к нему подходит и стоило бы) отражения в воде не существующих на берегу фигур и строений. Или чтобы сидела лягушка, а ее отражение – царевна, а вместо кошки отражается лошадь. На это меня настроило его окно с луною и снегом (интересно: ряд окон в чинной аристократической зале, а за ними то море, то лес, то голова, или вода на разных уровнях – один горизонт аж под потолком).

А в присланной графике Пикассо в глаза бросились тема маски как единая и всеобъемлющая в его творчестве, маски, скинутой в ранней, предваряющей арлекинаде (мотив неубранного актера), сорванной, взломанной в период кубизма и вновь нацепленной на раздетую девушку, склонную прикрывать лицо, оставив неубранную природу наружи (не то же ли – обнажение формы, путем последовательного съема покровов); короче, действительность – маска (майя – было бы в индийской транскрипции), а что под ней? – посмотрим, раскроем, – не ты ли, гложущая пустота? захлопнем; наденем; разнообразие манер и стилей не маски ли, вперемешку натянутые на подрамник? введение новых материалов, наклеек – система одежек (и все без застежек), многие способы маскировки; итак – тема маскарада с использованием новых и традиционных личин. Еще вижу – метафоричность, где в роли сравнений атлет и девочка, цветочек и лоно (ужасно трогательная картинка), лицо и веер, а из метафоры – метаморфоза (вечный путь иносказания), сияющаяся дорости до мифа, но не превозмогла, повисла на задумавшемся маскараде. Не отсюда ли и мгновенная, детская, игровая находчивость образа – «я не ищу – я нахожу» – соорудим быка из руля, вывернем шубу наизнанку – и не есть ли рассеченная форма эта вывернутая шуба, это стремление сделать театр из подвернувшейся метлы, поварешки, нарядимся, и получится – живопись.

Что-то я слишком разговорился, думал, допишу листочек, а все чего-то не уместается, будто жаль от тебя отрываться, расставаться. Сплошная нежность в голове, и вроде бы все уже тебе написал и больше не про что рассказывать, а я все тяну, есть еще время до развода, и я успею, немного грустно и очень ласково к тебе. То ли потому, что завтра двенадцать лет, то ли письма, дошедшие и не дошедшие, и ты одна, и на улице холодно, и поздний вечер, и я тоже совсем твой и не могу без тебя. Как на свидании. Слова перескакивают в уме, посмотреть бы на тебя, а когда снимали Егора и почему опять тебя не сняли? а сегодня впервые слово «фотка» в значении фотокарточка, смешные образования – «силаускас» для распространенного употребления «сила» (тупая острота: бабы – сила-мужики, много нудных, тупых повторений, которыми заполняют время, меня раздражают они), «Отвал Петрович», «голый васер» и очень веское – «кидняк». Сегодня же один неожиданно сказал о Пушкине: – Всегда ходил, говорят, при двух наганах.

Читаю Плутарха. Луна большая. Листья падают. Пойду покурю.

Когда ты приезжаешь на свидания, твое появление кажется сверхреальным: действительность как бы на минуту распаивается и выпускает тебя. Аналогия – ангел с неба, и хоть знаю, глаза не верят: ты?! Может быть, влияет тоже привычка к серому цвету, раздвигающемуся, как занавес. К чему это я вдруг вспомнил?

Еще мне хочется, чтобы ты – при всех вариантах – была спокойной за мою к тебе страсть. И не горюй по поводу возраста. В некотором роде у тебя получается, как у Егора, – не в смысле быстроты перемен, а моего отношения: и в стареющем виде у тебя, не считая сохранившихся красок, судя по всему, появится еще какое-то дополнительное очарование, которого не бывало раньше, и хоть мне мука, почти не видя, пропускать в тебе целые годы, я нисколько не утрачиваю твоей увлекательности и любопытства и интереса к тому, какая ты.

Не знаю, понятно ли я объясняю, что тебе для меня и стареть полезно.

Ну, обнимаю тебя, Машка. Моя Машенька.

А.  
20 сентября 1967.



**Получил Пикассо.** – Альбом «Графика Пикассо» (М.: Искусство, 1967) с комментариями Игоря Голомштока.

**...послесловием Прокофьева.** – Валерий Прокофьев (1928–1982) – искусствовед.

**...маленького Пикассо и большого Пастернака.** – И. Голомшток, А. Синявский. Пикассо. М., 1960; Б. Пастернак. Стихотворения и поэмы («Библиотека поэта», Большая серия). М., 1965.

**...твое рассуждение о Шлимане...** – В одном из писем Синявскому я писала: «С завистью читаю книжку про Шлимана (из серии «Жизнь замечательных людей») и предвкушаю, как когда-нибудь дам ее Егорычу, и завидую ему, что в моем детстве такой не было. Очень это здорово – одержимость с детства идеей Трои, и чтобы раскопать холм, и выбор жены – соучастницы. (Даже детская влюбленность проходит вокруг разговоров с десятилетней девочкой про раскопки, Гомера, Агамемнона и чтобы вместе *копать*.) Написал про это какой-то немец Штоль и сделал это на редкость приятно. Жалко, что мало: всего триста с небольшим страничек».

**...а № 10 еще не пришел.** – В нашей переписке все время присутствовал обязательный третий – КГБ. И было забавно-странно-страшно наблюдать, как они «работают» с письмами, как пропадают некоторые письма (а я всегда оставляла себе черновые наброски) и как задерживаются письма, в которых есть хоть какой-то материал, подлежащий изучению. Вот и мое десятое письмо задержалось, видимо, из-за следующего пассажа: «Ты знаешь, меня тоже после каждой поездки к тебе засыпают вопросами про новости, а я, как последняя идиотка, ничего не могу рассказать новенького и сногшибательного. Вот Ларка – та может, а я – нет. И, м.б., поэтому, а может, почему еще, но по городу ходят легенды о твоём прекрасном житье-бытье (не то что у Юльки), и о том, что тебе созданы все условия для кабинетной работы (не то что у Юльки), и что ты работаешь над книгой о Свифте (не то что Ю.), и что все это ты получил после обращения к властям (не то что Ю...) о том, что тебе тяжело жить в лагере, и что я в последнюю поездку (не то что Ларка, которой ездить не разрешается) отвезла тебе половину библиотеки Ленина на свифтовскую тему.

Самое забавное, что это рассказывают «из достоверных источников» люди, косвенно связанные с Ларкой.

А твоя жена, оказывается, блистает в высшем свете, пьет в ресторане ВТО водку с женой Евтушенки и Беллой Ахмадулиной и меняет поклонников как перчатки (бедный Андрей Донатович...).

Что-либо опровергать – совершенно бессмысленно, и, когда я пыталась сказать, что у тебя нет личного магнитофона, а работаешь ты на прежнем месте, почувствовала, что мне не верят.

Ну и чорт с ними. Они – сами по себе, а мы – своей дорогой, взявшись за ручки. Так?»

«Прощай, детство»... – Картина А.Петрова, эскиз которой я послала в письме Синявскому.



## ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Льют дожди по принципу: «И утром там дождь-дождь, там и вечером дождь-дождь», как ты пела когда-то и меня утешала. Но, страиваясь на зиму, на осень, гораздо хуже тревожишься в их томительном ожидании, чем когда они наступают на самом деле. Сейчас – наступило – льет со всех сторон, я мокрый, как ворона, а ничего, веселый.

Вот письмеца нету – это хуже. Правда, десятое все-таки с опозданием появилось, но хочется новенькое получить.

Попался в руки Заболоцкий, и в нем нашлись строки, годные для рококошных полей. Из стихотворения «Цирк» особенно (по изданию «Библиотеки поэта», 1965 г.):

Лошадь белая выходит,  
 Бледным личиком вертя,  
 И на ней при всем народе  
 Сидит полновесное дитя.  
 Дитя, смеясь, сидит анфас,  
 И вдруг, взмахнув ноги обмылком,  
 Дитя сидит к коню затылком,  
 А конь, как стражник, опустил  
 Высокий лоб с большим пером,  
 По кругу носится, спесив,  
 Поставив ноги под углом. (Стр. 224)

(Между прочим, только сейчас пришло в голову: если хочешь из несобранного, что, разумеется, приятнее, то здорово было бы Н.Олейникова, спроси у Собакевича\*, например про таракана, когда его валят на спину огромные вивисекторы, – прекрасный

лубок. И это в сочетании с цветаевским Зубовым и с ее же певичкой – пальчики оближешь.)

Очень много ассоциаций встречается к петровским картинкам. Иногда ему стоило бы для настройки посмотреть раннего Заболоцкого. Есть и для Примаченки – идея родства, в частности, мира животного и растительного. В поэме «Деревья» растения говорят о корове (и мне вспоминается ее бычок на прогулке):

Кто, мать она? Быть может, в этом теле  
Мы, как детеныши, когда-нибудь сидели? (Стр. 296 и т.д.)

А вот хороший эпиграф-шапка к теме примитива вообще (речь идет о Хлебникове – в «Торжестве земледелия»):

И мир животный с небесами  
Тут примирен прекрасно-глупо. (Стр. 256)

В примитиве, должно быть, всегда присутствует глупость как признак детства и доброты (пускай – мудрая глупость). Может быть, поэтому Примаченко выглядит недостаточно примитивной: злое – изоощренно.

*25 сентября.*

Сегодня, говорят, день рождения М.И.Цветаевой. Отметили, выпив кофе. Грустно, тоскливо. Дождь не перестает. Жизнь складывается из таких фраз: «У тебя спички есть?»

*26 сентября.*

Представь, как трогательно. У меня есть тапочки на работе, ужасно старые уже и протертые догола. Так чтобы моим босым ногам не простудиться об каменный пол, неизвестный доброжелатель вставил в них теплые стельки. Сегодня прихожу, разворачиваю тряпицу, куда их обычно прячу, чтоб не исчезли в чужую смену. И – сюрприз, Оле-Лукойе, не мог доискаться, кто подал.

От этих невидимых даров очень все внутри светлеет.

А недавно угощали корейкой, а еще недавно чем-то вроде сусеного молока. Все это вытаскивает из ямы, в которую, кажется, совсем проваливаешься, ан нет, жив человек и приветливо машет ручкой.



А еще от дождя, который ни за что не хочет уняться, иногда в порядке обратного хода возникает определенное чувство уюта, – не сидя в тепле, а напротив, промокнув, замерзнув, странное чувство пропадания, немного одушевленное нежностью – не поймешь к кому и к чему? – даже к этой дикой сырости, к этому не думающему о людях дождю. Пусть идет.

*27 сентября 1967.*

Письма пришли! Письма пришли! Сразу три: 16, 18, 19. А 15 и 17 опять запаздывают. И я совсем от них разнеженный и без конца тебя обожающий.

Несколько разболелся: простудился-таки. На работу таскаюсь, но пробую больше сидеть и лежать. Терпимая слабость, суставчики, насморк, небольшая температура, должно быть, – по ощущению должно скоро пройти.

Трогает сознание собственной беспомощности. И леса вдали густого медного колера. Сегодня впервые шла ледяная крупа.

Картинки на всех трех письмах превосходные – приятно, когда по мокрому, и с чучелами очень нравится. Странные, однако же, случаются совпадения под куполом всемирного цирка.

А слово «психовать» к тебе не подходит: этакое плебейство. Не надо их произносить.

А как тебе нравится:

– Портфель из чистокровной кожи!

Пойду прилягу.

*30 сентября.*

Хорошо, что Егорыч у бабушки. А то при нынешней неровной погоде нужен за ним глаз да глаз. Всецело одобряю мысль оставить его там до рождественской елки. Вот с няньками – огорчительно: неужто не чувствуют, что здесь не до развлечений, что помощь требуется, а не игра?! Очень это угнетает и сердит. Не умеют? А я умел? Мне это было проще, чем бабам? Разве так сложно раз в неделю выкроить несколько часов и немного приглядеть за ребеночком, который теперь ведь не так страшен своей плачущей беспомощностью, как в первые месяцы? Отказываюсь понимать.

Твои книжные увлечения, Машенька, разделяю в полной ме-

ре. И вообще твой выбор удачен, и ты жуткий молодец, что, несмотря на все тяготы, находишь времячко для букинистического магазина.

Только гетевский двухтомник, насколько я представляю его, несколько страдает неполнотой. Предпочтительнее академические издания, максимальные по возможному охвату текстов. Из более раннего – стихотворные переводы с корейского не так уж интересны. То ли дело «Восточный Диван», проникнутый истинным ароматом восточной поэзии: когда читаешь эти стихи – впечатление, будто пьешь кофе по-турецки, приправленное душистым кальяном, – колорит, чорт побори!

Кстати, судя по твоим письмам, вы с Петровым пристрастились пить кофе – конечно, растворимый много удобнее, но, за отсутствием такового, совсем неплохо в зернах, только требует умелой варки и большего объема. Мы здесь кофейком балуемся и принимаем в нем толк.

Здоровье мое за последние сутки заметно подвинулось вперед, и я уже вылезая из гриппа и очень тебя чту и люблю.

*1 октября.*

Моя умница и красавица!

Нечего тебе раздумывать над шекспировскими нотабене – они того не стоят: все это довольно случайные записи чисто литературного свойства, к которым не следует относиться всерьез. Поэтому и нотабене пометил, как на полях книг, когда читаешь, делаешь беглые пометки, ну а мне, как правило, в руки попадают чужие книги, на которых неловко черкать карандашом свои замечания, не успевшие оформиться, ну а старая привычка сказывается.

Вот, скажем, вчера ко мне явился пожилой неграмотный дядя консультироваться на тему сочинения – «На дне» Горького – для одиннадцатого класса; пришлось срочно перечитывать, и попутно возникли вопросы уже не для дяди, а для меня.

Во-первых, чем объяснить *интеллектуализм* горьковских босяков? Возможно – неотягченностью разума обязательным ассортиментом знаний и сведений, свежестью интеллектуальной энергии, еще не проложившей дороги, а лишь прокладывающей, не смущающейся обстоятельствами и не задумывающейся о том, что

из этого получится и согласуемо ли это с существующими доктринами. В этом смысле двадцатый век (как и в случае с древними историческими эпохами) удаляется до «низин», откуда получает новый угол для обозрения всего предыдущего. «Конец» лучше понимает «начало», чем «начало» понимает «конец» (конечно, эти понятия могут употребляться лишь к определенным отрезкам времени, а не истории вообще). Обращает внимание, что это Горький «снизу» взглянул на интеллигенцию и увидел в ней многое, чего не замечала эта среда. (Клим Самгин находится в положении горничной, которая мимоходом подслушивает разговоры знатных гостей, бессильная вставить свое слово и даже понять что-либо. Интересно, что Горький вообще любит изображать и слушать героев, находясь в позиции детства или кого-нибудь в этом роде.) Почему пророки чаще рекрутируются из низших классов или берутся со стороны, во всяком случае не из элиты? – не потому ли, что им сподручнее подняться над знаниями-предрассудками и выйти за грань «культуры»? Культура ли Павел, Ян Гус, Лютер? – вряд ли. Проблема источника, всегда лежащего сбоку, вне «культуры», а не в ее центре.

Деятнадцатый век собирал, накапливал, а двадцатый сделал шаг в сторону, и ему отсюда многое стало виднее.

Во-вторых, откуда берется атмосфера тепла, почти новогодняя, в пьесе Горького, когда, казалось бы, действует принцип: *я ем* – следовательно существую (горьковский Сатин опровергает эту версию сытости, и уже его монолога довольно, чтобы придать действию иное, мажорное звучание). Оказывается: семья. И не ем, а ешь – ради возлюбленной этот жест (Васька Пепел и Наташа), пускай маленькая, как муха, но и муха вносит иллюзию дома. Праздник, забота о слабом. Итак: возврат, в самой аномалии тяготение к норме, не пугайтесь: восторжествует здоровье. «Я ем, эрго» – совсем иное эрго – к семье, к природе, к любви; это через ем-то? через потерю образа? хоть и через потерю, не к зверю, к животному, – к человеку. Вспомним тигрицу Будды, вот именно, справедливость, тигрица, а не скука, уют, тепло бока, пары, не хватает дитяти, почти диккенсовская обстановка семьи, рода – надо всем, перед всеми.

А вот маленькое нотабене к «Бедным людям» Достоевского. Эйдология *эпистолярного жанра*. Повторением однотипных фор-

мул вроде «целую твои губочки» снимается сентиментальность, а сюжет проясняется где-то после, почти вне текста. Характер «его», героя, не важен. «Он» как «он» идеальный (ср. «На дне» Горького, рассказы Насти о студенте Гастоне). Не видела смерти и поэтому пишет: северная сага о появлении гостя. Теплится сомнение: он ли? Приходи (абы кто) – не приходи (боится). Попытки вернуться к жизни – выйти замуж. Экспозиция в эпистолярном романе обычно начинается со второго письма-завязки, первое только настройка инструмента перед началом концерта (ср. Шодерло де Лакло). Жанром взрывается сюжет (жанр в принципе реалистичен) и достигается обыденность прозы. Сказка в эпистолярном романе теряет сказочность. Поэтому почти нечувствителен обрыв на самом интересном, хотя все повисает в воздухе (преодоленный Мериме).

*2 октября.*

Непогода снова сменилась тихой осенней ясностью. В данный момент я даже сижу и пишу тебе на солнышке, правда, в ватнике и в шапке, но уж очень красиво вокруг, и жаль упускать из вида эту расплывчатую воздушность деревьев, готовых улететь.

В воспоминаниях о детстве фигуры близких выглядят очень большими – в соответствии с маленьким миром ребенка. Но, вероятно, они еще больше и простираются до размеров вселенной, захватывая и вбирая в себя все приметы действительности, распределенной, допустим, на мамину и на папину половины, так что Ореховая Гора, например, служит продолжением отцовского тела, а в соснах\* явственно присутствие матери.

Появление родного лица происходит не на фоне вещей, не имеющих к лицу отношения, но как бы в их дальнейшее образование и развитие, проясняющее знакомую форму до явственной персональности. Не «мама идет по улице», а улица становится мамой, которая материализуется из состояния рассеяния, так что ее можно вызвать в любую минуту из мира, числящегося за ней так же, как ее платье или пальто. Ребенок кличет мать, как бы та ни была далека, в надежде, что эта всеобщая материнская одушевленность предметов просияет, наконец, очевидностью их внутренней сути – стоит только позвать. Поэтому он не слишком удивится, если шкаф обернется матерью или она, как солнце, вы-

глянет из-за облака. И поэтому же, наверное, воспоминания о милom лице незаметно принимают характер размытого, расплывающегося во все стороны повествования. Им ближе не портрет, а пейзаж – география родимого имени, вкрапленного повсюду и ждущего оклика.

*3 октября.*

Если во сне нам снится улица, по которой ходят, – значит, внутри у нас широко и просторно, как в городе и как в комнате, и наша душа велика и по ней можно пройти и спуститься по лестнице к морю и сесть на берегу и смотреть.

К речи тоже надо бы подойти как к пространству, в котором смотрят и дышат, способном стать лоном и домом, храмом и конурой. Разветвленность и складчатость речи – вот самое интересное. Меня почему-то все чаще литературный язык интересует не как образ, а как строящееся, растущее и образующее закоулки пространство. Возможно, повлиял Мандельштам, хотя у него стихи. Такие маленькие стихи у него, а сколько вмещают. Это не сгущенный язык, а просторный язык. Прозаическая же речь по природе своей пространна и должна перевести пустынное многословие в разряд домостроительства и занимательных путешествий.

*3 октября.*

Добрый день, моя золотая Машенька.

**Опять\*** перерыв в письмах, и даже те не приходят, которые давным-давно обещаны, посланы и должны бы давно прийти, и, хоть последние твои слова очень ласковые и успокаивающие, все же требуется продолжение, а оно никак не следует.

Я в общем-то пребываю в неплохом настроении, и здоровье как будто наладилось.

**Наш** Егорушка тоже меня весьма приободряет своим нравом – хороший ребенок получается.

А будете ли ему делать прививки этой осенью? Думаю – несмотря на все страхи – надо бы. Прививка все-таки обладает тем преимуществом, что мы ею как бы делаем все от нас зависящее.

**Завезли** вы вещи на зимнюю квартиру – и вообще я сейчас, после переезда Егора к бабушке, не очень представляю твой быт и где ты и как?

А думаю о тебе и мечтаю все равно ежедневно, и даже сны про тебя вижу только добрые и хорошие, и в мыслях ты у меня ходишь в чрезвычайно красивом и навсегда родном виде. Какой-то автор в какой-то забытой книжке, которую я читал еще в ранней-ранней юности, писал, подразумевая, должно быть, лирические грезы героя, тоже, по всей вероятности, довольно юного и наивного: «сначала (или потом) придет женщина интересная, как леопард, и мы будем очень любить друг друга». Я не помню, рассказывал ли тебе об этом в свое время, и что на меня эта экзотическая характеристика когда-то произвела впечатление, и я на нее очень надеялся. Никакого «сначала», однако, не последовало, и я уже выбросил из головы всякую африку, как вдруг твое появление, а затем наша жизнь, а теперь и наша будущая встреча и нераздельность заставляют взглянуть на леопарда более проникательно. И эта фраза почему-то сейчас опять всплыла в памяти, и мне припомнилось, на кого она намекала, и чем больше я к ней присматриваюсь, тем лучше понимаю это, и мне даже кажется, что тогда, в связи с этим вычитанным откуда-то образом, я вроде бы тебя уже как-то видел мысленным взором на манер давно прошедшего времени или во сне и потому так обрадовался и сразу узнал. Или, может быть, ты уже слышала от меня подобные комплименты? И я на старости лет становлюсь ужасно к тебе привязчивым и увивчивым кавалером.

**Кажется** мне еще, что Примаченку тебе непременно надо закончить в срок, и я еще раз приветствую твое решение разрядить на несколько времени твои занятия с Егором.

В новом же году, если его здоровье будет на высоте, привози мне посмотреть Егорыча. Действительно, нам с ним пора познакомиться ближе, и лучше всего это сделать в конце апреля.

**Надолго** ли ему хватит воспоминаний об этой встрече, конечно, трудно сказать, но все же какой-то лучик-зайчик, может быть, останется...

*4 октября.*

Что же нам делать, Машуня, и как нам быть, если я до сих пор так и не получил никакого привета, ни нового, ни старого, а время идет и подходит к отправке письма, и мне так хотелось успеть откликнуться на твою застрявшую писуличку, и вот не получается? О чем рассказать еще из моей микроскопической жизни? Рассказать

ли, что нету махорки, к которой я вполне пристрастился, но скоро появится, а покуда пробавляюсь сторонним византом\*; что перечитываю «Волшебную гору» Т.Манна из интереса к длинной прозе умозрительного характера, которой больше пошли бы бессвязность и расточительность речи, приравненной к реке или к дереву; что загадочные теплые стельки, над которыми я так умилялся, столь же таинственно испарились, и, расследовав эту странность, я узнал, что моими тапочками просто временно пользовался сослуживец в другой смене, отдавший свои туфли в ремонт, а я уже думал на домовых, которые здесь, к сожалению, не водятся, и это еще проблема, почему, например, ни в больницах, ни в театрах, ни в тюрьмах не бывает ничего подобного; что меня заинтриговала фигура из твоего письма, где ты пишешь про то, кто бы мог подумать, что ты меня так полюбишь, – или ты раньше не догадывалась? или это просто оборот такой в языке? – рассказать ли (это я все тебе рассказываю), что в книге «Історія Українського Мистецтва» в шести томах, том II, Київ, 1967, стр. 223, опубликована интересная композиция Нерукотворного Спаса XV века (из Львовского музея), дающая почувствовать масштабы документальности и самый корень живописания в древнерусском искусстве (два ангела держат огромный, похожий на знамя плат); что еще я прочитал вышедшую недавно книгу об иконописи для детского возраста О.Чайковской «Против неба – на земле», весьма посредственную, с упором на первой части названия, и чего это ее «Новый мир» расхвалил – ни одной свежей мысли или хотя бы факта, но зато в новомирской рецензии на нее приводится полезная цитата (к сожалению, без точной ссылки) из Дионисия Ареопагита: «Видения бога сообразны с тем, кому он является»? Дальнейший рассказ отложу до вечера: может быть, к тому моменту что-нибудь от тебя придет?

*5 октября (утро).*

Все-таки кой-чего дождался-дотерпелся и сегодня перед уходом на работу получил твой семнадцатый номерок (так что за тобой остался пятнадцатый), а ехал он ко мне, бедный, целых пятнадцать дней. Конечно, маловато, но и за то спасибо.

В связи с твоими взбудораженными нервочками спешу заверить: не теряй времени зря и жми, если еще до сих пор этого не сделала, к Примаченке. Будет очень смешно и грустно, когда ты

просидишь, не солоно хлебавши, ждя у моря погоды. Кстати, я последнее время меньше обнадеживаюсь, чем раньше, когда для радостных фантазий было больше простора. Но не приуныл, а настроен в общем спокойно и тебя люблю так, что ни в сказке сказать, ни пером описать, и если повторяюсь с таким определением, то ведь и в сказке повторяется этот образ восторга и преклонения.

С Пушкиным вот только подкачал из-за физических недомоганий и мелкого пессимизма, вызванного главным образом переходом на осень и вытекающие из нее неудобства.

Бывает иногда (редко, но бывает), что все валится из рук, не хочется ни на что смотреть и ни о чем думать. Тогда я ложусь и сплю, и это мне теперь тем лучше удается, что окончательно утвердился спать с соседом в форме валета, и таким образом койка стала для меня гораздо более постоянной и уютной пристанью. В виду зимы это квартира.

Сейчас опять ночь, как и в том письме. Я помылся в душе, постирал носочки-платочки. В курилке стали топить, и сейчас они быстро высохнут. Надо сворачиваться.

Будь здорова, милая.

Очень я твой.

И Егоров.

Целую ваши личики.

А.

5 октября 1967.



**...спроси у Собакевича...** – Собакевич – наше семейное прозвище писателя и переводчика Андрея Сергеева. Речь идет о стихотворении Н.Олейникова «Таракан», а вообще весь текст в скобках – это обсуждение подготавливаемой к печати нашей статьи в «Декоративном искусстве». В конце концов вместо Олейникова мы поставили в статью «Стихи к Сонечке» Цветаевой (см. также письмо 35).

**...Ореховая Гора... в соснах...** – Воспоминание об окрестностях села Рамено (см. примечание к письму 12).

**Опять...** – Здесь шифровка: «Опять в наш бур завезли Даниэля кажется ненадолго».

**...сторонним византом...** – «Визант» – марка сигарет.



## ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Давай я попробую, Машенька, кое-как тебе описать мой день рождения, который, против ожидания, прошел хорошо. Начнем с того, что на сей раз он совпал с воскресеньем и можно было не работать, а жить в свое удовольствие. Во-вторых, среди долгих дождей он попал как раз на период тепла и ясности, а назавтра (на сегодня) уже опять шел дождь, так что получилось вроде последнего погожего дня.

Подарки мне подарили такие: две книги и две пластинки. Одна книга называется «О возвышенном» – очень миленькие эстетические фрагменты неизвестного античного автора, портативная, в карман удобно влазит. Вторая – том Канта, тоже на тему эстетики. А музыка – Чурляниса с его картинкой на обложке. Так что я весь утопал в искусстве и чувствовал себя в своей тарелке.

Гостей было немного, но уютно, два часика посидели за растворимым кофием с молоком, и варенья целая банка, и много купил печенья в ларьке специально к этому дню, а также удалось забронировать столик, и все остались довольны.

Остальное время (пир был с четырех до шести, а потом все пошли в кино, а я остался) я в основном пролежал на койке, фантазируя о Пушкине. Вечером, перед сном, удалось вытащить ваши с Егорушкой фотографические мордочки и полюбоваться на них келейным образом. Хотел еще письмо пописать, да не успел и делаю это сегодня под свежим впечатлением.

Да, еще забыл сказать, утром, кроме супа, съел банку консервов на двоих.

Еще в субботу получил общедружескую телеграмму, а сегодня от тебя с Егором и от Над. Вас. отдельно. Больше поздравлений не было.

Твою телеграммочку сейчас таскаю в кармане и усиленно перечитываю с ног до головы.

Настроение было у меня лучезарное, и за весь вчерашний день только одна маленькая неприятность, это за целый-то день, когда меня приняли за кого-то другого и выслушал нотацию, ну да не беда.

Из трех моих тюремных дней рождений этот был самый приятный.

Еще мне рассказали приятную примету: оказывается, 42 года не какая-нибудь проходная дата, а вступление в седьмую семерку человеческой жизни, которая считается важной и особенно серьезной. И от этой новости я как-то повеселел.

И сегодня тоже светло на сердце, хотя кругом дождь. И тебя, и по тебе.

*9 октября.*

Ты говоришь, Маша, что я о моем быте почти ничего не пишу, а все только про любовь с изящной литературой. Но, во-первых, из меня бытописатель никакой, во-вторых, никакого быта, и я даже не знаю, о чем тут рассказывать, скучища одна получится. Ближе не быт, а природа, в которой желтые листья как-то сразу начали лиловеть, и очень это красиво и почему-то чуточку грустно – переход желтого в лиловый.

В человеческом общежитии тоже внимание привлекает природа, как в сегодняшнем эпизоде, когда добрый знакомый за пять сигарет выкупил мышь, которую собирались казнить, и выпустил, и как она бежала, должно быть с перепугу, прямо по дороге, по широкой дороге\*.

Страшно смотреть, с каким оживлением люди бьют крыс и мышей, целая облава, орава, с палками, с улюлюканьем, добрые и несчастные люди оживают, веселеют, хорошеют, свежий румянец, улыбки, интерес к жизни, ловят несчастных зверей, не понимая, что это значит.

Вообще иногда бывает трудно понять человека, живущего в каких-то своих, неведомых измерениях. Подходит украинец, заговаривает, я плохо разбираю его речь, спрашивает, бывал ли я в Киеве, где именно, я, конечно, вспоминаю Подол, Софию, Лавру, а он упорствует, почем нынче килограмм мяса на киев-

ском базаре, и не верит, что я не помню, что не бывал на базаре, потому что он помнит, сколько стоило это мясо в 1954 году, и я поражен и раздавлен этой дальностью расстояний и насколько я перевернут в его мозгу.

Но тут нельзя презирать и полезнее задумываться над природой самых простых вещей. Скажем, меня раздражало и до сих пор из себя выводит – с каким шумом и тупостью люди целыми днями, годами дуются в домино или в шашки, стучат по столу, так что все подпрыгивает, с размаха, с повторением одних и тех же формул, ругательств, обязательно стучать, приговаривая «пошел! пошел!», круговорот, круг Ван Гога, его же кафе, но за всем этим вторая действительность, ибо действительностей много, и развлекающиеся в домино игроки обретают интересный сюжет существования, переживают острую драму побед и поражений, испытывают близость судьбы, – поработал на станке, поиграл в шашки для поддержания интереса, игра вообще включает схему жизни, полную приключений, событий, и за недостатком таковых их воссоздают на доске, проходя не в люди, а в дамки, такая же большая действительность, как у меня, например, чтение, когда ныряешь в книгу, как в сон, и живешь параллельно движением речи, более интересным, чем собственная судьба, и все эти плоскости, составленные под углом друг к другу, торчащие в разные стороны, образуют огромное, запутанное бытие человека, живущего сразу в нескольких направлениях. Это интересно, загадочно, но какой же это быт?

*10 октября.*

Ну и ну. Не успел я написать, что быта нету, и он начался с такой назойливостью, что лучше б его вообще не было.

Меня поставили на новую работу. Называется: «мойщик стула». Мойщик стула! – есть в этом сочетании что-то муторное и давнее, дыр-бул-щыл\*, и так оно и есть.

Конвейер, от которого даже покурить не вырвешься. В руке у меня щетка, которой, окунув в горячую воду, слизываю клей со стульев, и не успеешь слизнуть один – уже другой лезет, и нельзя остановиться: мойщик стула.

Прикрепленный в учителя старичок сказал, подбадривая: «Работа царская: думать не надо, любая женщина справится».

Но для меня это не так. Для меня это тоска и наказание, по-

сланное мне, вероятно, за то, что когда-то стыдился и сердился мыть посуду. Но чашки не лезут, как эти стулья, с чашками ты хозяин, и потом – ну сколько можно мыть посуду – в крайнем случае час, а тут целый день и день за днем, без просвета.

Старая моя специальность грузчика, отодвинувшаяся уже так далеко, что, кажется, месяц прошел, представляется отсюда тихой обителью, исполненной грации и умственной живости.

Это нелегко объяснить, но все-таки в любом труде, вероятно, должен присутствовать элемент игры, жизни, хотя бы надежды побольше заработать или побыстрее сделать; в мойке же стульев ничего этого нет и от меня ничего не зависит – ни скорость, ни количество, и я на ней устаю главным образом в психическом смысле. Разгрузкой я сам распоряжался и двигался в разнообразных позициях, когда медленнее, когда в темпе, и было интересно: вот это кончил, хорошо устал и за это выиграл время на отдых, на мысли, на возможность покурить, почитать. Здесь – никаких выигрышей, и хотя работа формально считается легче разгрузочной, я на ней выматываюсь тотально, до головокружений и полнейшей апатии. На чтение не остается ни капли, и вот эта выхолощенность существования особенно удручает и волнует за будущее. Единственное достоинство мойщика то, что в этой роли я – хочешь, не хочешь – буду немножко зарабатывать, чего давно не было, и денег осталось в обрез, десятка на два ларька. Но я бы предпочел не пользоваться ларьком и заниматься своей разгрузкой.

Как видишь, я слегка раздражен. Но со временем это пройдет: привыкну или попробую перевестись на другую работу. Ты не волнуйся.

А другой старичок, сочувствуя моему горю, сказал: «Это потому, что ты безответный».

Меня эта реплика тронула не тем, в какой мере она подходит к моему характеру, да и подходит ли вообще, а совершенно иным вопросом, с нею пришедшим на ум и не имеющим отношения к этой конкретной ситуации.

Не из безответности ли – вопрос – возникает литература?

*12 октября.*

«...» Жизнь – сплошной стул. Время: черная пятница. Число:

*13 октября.*

Вот и награда за все мучения: прихожу это я сегодня с работы и едва с ног не валюсь, а мне уж с крыльца кричат: «Вам шесть писем!» Оказалось же: семь!

Такого еще не бывало. Целых семь писем, и все полные поздравлений, любви, счастья и физически-моральной поддержки, которая очень кстати подошла мне на выручку, потому как последнее время что-то с трудом тяну эту телегу.

И в сомнения, о которых ты пишешь, выпадаю не из кокетства, а в самом деле сомнительно становится, как посмотришь да поглядишь на собственную упрямость.

А твои ласковые слова поднимают меня из мрака, и я снова мотаю мордой, как старый конь, упираясь ногами в землю. Потому что твое мнение я выше всего ставлю. Ты не думай, я не взвинчиваюсь, не нервничаю, а держусь ровно и терпеливо, но только я иногда выдыхаюсь, а ты вдохнула – и вот ожил. <...>

Растроган и растворен твоими книжными заботами и в связи с этим обращаю твое внимание на Гете, которого нынче я решительно предпочитаю Шиллеру. Гетевские издания могут быть и стандартными – академическими, и типа избранного, как второе пятнадцатирублевое собрание Шиллера, – по твоему усмотрению (первое слишком роскошно по теперешнему положению, и дело не только в цене, а просто ни к чему иметь здесь такие книги, надо быть скромнее).

С Гете поторопись, а из других книг я, может быть, попрошу позднее «Божественную комедию», но об этом напишу отдельно. И еще – Монтеня (он у нас дома есть). Но это потом. А быстро мне очень нужен маленький Пикассо, 2-й экз., и Пастернак желателен. И Поморин (я об этом уже писал). А некоторые подарки, вроде роскошного альбома Корина, вообще не надо посылать, только опиши мне его немножко для душевного развлечения, и есть ли в нем Чудо в Хонех\*? Задником восхищаюсь. И вообще всех дарителей благодарю и целую.

А тебя особенно и исключительно. И когда-нибудь, если нам посчастливится жить вместе, я разрешу тебе за все твои качества и чудеса капризничать вволю и всласть и буду потакать. Потому что очень хочется тебе потакать.

Никак не развяжусь с Пушкиным и в следующий присест, вероятно, чего-нибудь о нем напишу.

*14 октября.*

В превратностях фортуны Пушкин чувствовал себя как рыба в воде. Случайность его прищпоривала, горячила, молодила и возвращала к нашим баранам. Он был ей сродни. Чуть что, он лез на рожон, навстречу бедствиям. Беснуясь, он никогда, однако, не пробовал переспорить судьбу: его подмывало испытать ее рукопожатье.

То была проверка своего жребия. Он шел на дуэль так же, как бросался под огонь вдохновения: экспромтом, по любому поводу. Он искушал судьбу в нескончаемом желании убедиться, что она о нем помнит. Ему везло. «Но злобно мной играет счастье», – помечал он, втайне польщенный, в удостоверение своего первородства. Житейскими невзгодами оплачивалась участь поэта. Куш был немалый и требовал компенсации. У древних это называлось «ревностью богов», а он числился в их любимчиках, и положение обязывало.

Никто так глупо не швырялся жизнью, как Пушкин. Но кто еще эдаким дуриком входил в литературу? Он сам не заметил, как стал писателем, сосватанный дядюшкой под пьяную лавочку.

Сначала я играл,  
Шутя стихи марал,  
А там – переписал,  
А там – и напечатал.  
И что же? Рад, не рад, –  
Но вот уже я брат  
Тому, сему, другому...  
Что делать? Виноват!

Тем не менее этот удел, носивший признаки минутной прихоти, детской забавы, был для него дороже всех прочих даров, земных и небесных, взятых вместе. Ему ничего не стоила начатая партия, но играть нужно было по-крупному, на всю катушку. «Генералы и тайные советники оставили свой винт, чтобы видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной... Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом».

Боратынский был шокирован его гибелью. «...Зачем это так, а не иначе? – вопрошал он со слезами недоумения и обиды. – Естественно ли, чтобы великий человек, в зрелых летах, погиб на по-

единке, как неосторожный мальчик?» (Письмо П.А.Вяземскому, 5 февраля 1837 г.).

На это мы ответим: естественно. Пушкин умер в согласии с программой своей жизни и мог бы сказать: мы квиты. Случайный дар был заклан в жертву случаю. Его конец напоминал его начало: мальчишка и погиб по-мальчишески, в ореоле скандала и подвига наподобие Дон-Кихота. Колорит анекдота был выдержан до конца, и ради пущего остроумия, что ли, Пушкина угораздило попасть в пуговицу. У рока есть чувство юмора.

Смерть на дуэли настолько ему соответствовала, что выглядела отрывком из пушкинских сочинений. Отрывок, правда, получился немного пародийный, но это ведь тоже было в его стиле.

В легкомысленной юности, закругляя «Гавриилиаду», поэт бросал вызов архангелу и шутя предлагал сосчитаться в конце жизненного пути:

Но дни бегут, и время сединою  
Мою главу тишком посеребрит,  
И важный брак с любезною женою  
Пред алтарем меня соединит.  
Иосифа прекрасный утешитель!  
Молю тебя, колена преклоня,  
О, рогачей заступник и хранитель,  
Молю – тогда благослови меня,  
Даруй ты мне беспечность и смиренность,  
Даруй ты мне терпенье вновь и вновь,  
Спокойный сон, в супруге уверенность,  
В семействе мир и к ближнему любовь!

Ближним оказался Дантес. Все вышло почти по писаному. Предложение было, видимо, принято: за судьбой оставался последний выстрел, и она его сделала с небольшою поправкой на собственную фантазию: в довольстве и тишине Пушкину было отказано. Не этот ли заключительный фортель он предчувствовал в «Каменном госте», в «Выстреле», в «Пиковой даме»? Или здесь действовало старинное литературное право, по которому судьба таинственно расправляется с автором, пользуясь, как подстрочником, текстами его сочинений, – во славу и в подтверждение их удивительной прозорливости?..

«В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

– Старуха! – закричал он в ужасе».

*17 октября.*

Стоит глубокая серая осень, и деревья стоят черные, готовые к зиме. Я тоже готов. Опять сижу и жду твоих писем, пока они где-то там соберутся в новую кучку, сговорятся и прилетят.

Все-таки, вероятно, твои письма для меня события большего значения и масштаба, чем мои для тебя. Никак не начитаюсь. На фоне до того скучном, что он кажется нереальным, они, помимо всего прочего, убеждают в существовании истинной жизни...

На бессодержательность – не жалуйся. Простое сообщение, что ты есть, что это ты пишешь, уже спасительно. Конечно, приятнее, когда длинные, но такими ведь могут быть и где ты чирикаешь про всякие мелочи твоего с Егором быта-туалета. Я очень люблю читать твои письма, в которых ты просто болтаешь – о том, о сем, о чепухе.

Еще ты меня порадовала известием, что хотела бы связать для меня какие-нибудь теплые штуки. Радуюсь домашности таких мыслей, хотя всерьез заниматься сейчас ими не стоит времени и нет нужды в этих вещах, а лишь в теплоте самого намерения и отношения, и его одного вполне достаточно, потому что ты знаешь, как я люблю в тебе всякое домоводство и заботу в таком роде, когда не забота дорога, а то, что ты ее проявляешь, да надо ли объяснять – все и так нам понятно.

Очень устаю на работе. И свободное время ужалось до слез, так что, боюсь, это отразится на письмах и они станут ужасно нудными. Время уменьшилось еще и потому, что раньше во вторую смену я спал с двух до восьми и этого вполне хватало, а сейчас требуется досыпать днем.

Ты, может быть, думаешь, что у меня теперь ужасно чистые руки от полоскания в горячей воде? Это верно отчасти: они в мелком дрипе, как бывает после бани, и мореного цвета: дубовый стул.

Пытался перебраться на другую работу. Вдали маячила прекрасная должность под шикарным девизом: «ночной дневальный техотдела». Обязанности – трудно лучше придумать: топить печ-



ку, мыть полы, вытирать пыль и, вытерев, сидеть под лампой в чистоте и тишине интеллигентно убранной комнаты.

Не разрешили.

Прости: я все угрюмо сползаю в эту низменную сферу. Хотя и в этих условиях постепенно приспосабливаюсь и начинаю функционировать как заводной, а мысли витают. А витают они сейчас в области сказки, то ли по контрасту, то ли потому, что понемножку читаю Шварца, которого раньше не доводилось читать. «Дракон» у него в самом деле приятен и вообще приятна всякая сказочность. Очень меня занимает сказка как проявление чистого, может быть впервые отделившегося от утилитаризма, искусства, и что она такое, и как она проясняет действительность и делает ее более похожей на себя, разделяя добро и зло и заканчивая все страхи и ужасы счастливым концом.

*19 октября.*

Вчера получил бандероль с Пастернаком. Теперь из этой серии остались Пикассо с Поморинном. Между прочим, если ты когда-нибудь приложишь пару головок чеснока, это, говорят, не забраняется.

С кофе сейчас перебои. И я ужасно завидую тем, кому приходят посылки с одним кофе в зернах, это они правильно поступают, следуя гетевскому лозунгу: «У здорового духа – здоровое тело».

Теперь о другом. Катон, по свидетельству Плутарха, сказал: «Душа влюбленного живет в чужом теле», и хотя это было сказано, возможно, в осудительном смысле, отсюда явствует, что любовь всегда подразумевает переход, перелет, размыкание границ собственного «я» в пользу того другого, который для нас более ценен, чем мы сами. Без «я», конечно, к сожалению, не обойтись: ядро. Принцип существования, есмь (должно быть, это в нашем нутре – считать себя – при всем трезвом сознании своего сходства с другими – в единственном числе, и притом первым по счету – не в смысле своего превосходства или совершенства, а как первую единицу, откуда все отсчитывается, откуда я смотрю и слушаю в ракурсе моего однозначного положения, и поэтому мой отец, может быть, и не самый лучший отец, но самый первый и самый главный, и то же моя мать и жена – становятся единственными настолько, как если бы в мире не существовало иных), рож-

дает и способ познания (человек – мера вещей) и размножения: по своему подобию, и это закон природы, формы, следуя которому горы растут горами и елка не переходит в березу, инерция, традиция, инстинкт самосохранения, каждая вещь – особь, статичность, эгоизм. Любовь всему этому противостоит и нарушает порядок мира, для того чтобы он был единым, взаимным. Любовь бесформенна, и она наводит мосты во вселенной, мысля ее не по моему, а по твоему подобию.

Между прочим (раз уж зашла о нем речь), о том же Марке Катоне у Плутарха говорится: «Постоянный труд, умеренный образ жизни и военные походы, в которых он вырос, налили его тело силою и здоровьем. Видя в искусстве речи как бы второе тело, орудие, незаменимое для мужа, который не намерен прозябать в ничтожестве и безделии, он приобрел и изощрил это искусство (...) и сначала прослыл усердным адвокатом, а потом – и умелым оратором» (т. I, стр. 430).

Как наглядно здесь представлен идеал и символ античности, мыслящей речь по образу и подобию тела и видящей в изящной словесности разновидность физкультуры, восторжествовавшей в ваянии, но негласно подчинившей себе и прочие духовные сферы. Оратор выступает в виде гимнаста или борца, и само искусство спора, рассуждения, доказательства, учитывающее поочередно все «про» и «контра», искусство логики, философии (игра софизмами – демонстрация бицепсов) служат отражением телесного боя, спортивных упражнений, последовательно выдвигающих члены по правилам диалектики.

А тебя я люблю вот еще за что. С тобой самые простые и прозаические вещи, вроде, например, обеда или похода на рынок, в прачешную, в кино, принимали образ игры, как в детстве, когда целыми днями живешь играя, так что любые обязанности превращаются в маскарад. Поэтому с тобой не соскучишься, и наша совместная жизнь была для меня перечитыванием лучших страниц детства.

Сказочная моя Маша!

Целую и обнимаю тебя – как мы условились? на всю жизнь?

И даже больше. И что бы ни было.

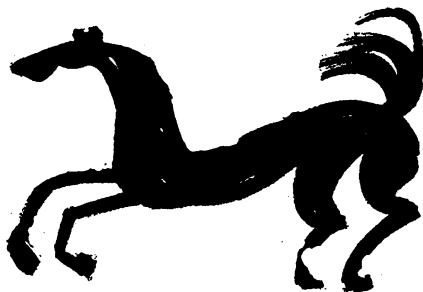
А.  
20 октября 1967.



**...по широкой дороге.** – Из нашей любимой песни «По тундре, по широкой дороге, где мчится поезд Воркута–Ленинград».

**...дыр-бул-щыл...** – Первая строчка хрестоматийного стихотворения Алексея Крученых.

**...Чудо в Хонех?** – Икона XV века, поразившая Синявского во время посещения дома Павла Корина. См.: В.И.Антонова. Древнерусское искусство в собрании Павла Корина. М., 1966.



## ПИСЬМО СОРОКОВОЕ

Получил от тебя какие-то странные два письма (29 и 30) и никак не возьму в толк, что это значит, словно они писались тобой в полусне, невпопад, и неужели не довольно возмездий, и все это с Егором, по самому больному. Я не за уточнениями к тебе обращаюсь, Машка, а просто подавлен и бормочу, не зная к чему и зачем.

Перебил же тебя на свидании о первых днях и ночах\* не потому, что неинтересно было слушать про эти грустные вещи, к которым вообще не подходят слова «интересно» или «не интересно» (интересно мучились мои дети?). Сил не было, душа разрывалась – вот и перебил. Чтобы не задохнуться.

У тебя всегда чутье на слова и на интонации, а в этом письме все пропало, точно это не твое, только почерк похожий. Теперь мне надо еще прожить несколько пустых дней, а то и неделю, чтобы получить от тебя следующее, которое, может быть, позволит, поможет все-таки выбраться, но как перейти эту пустыню – не приложу ума. А еще жаловался на всякие незадачи в виде работы, перегрузки. Да побольше бы их, побольнее бы! В такие-то дни любые внешние боли воспринимаются помощью от горестей более острых.

Не понимаю, почему ты так? Ничего не понимаю.

*21 октября.*

Все перечитываю эти два письма, пришедшие вчера, особняком, вернее от 10-го, и у меня такое чувство, что ты писала невнимательно, не подумав, как, бывает, слушают или говорят, занятые другими делами и мыслями. Когда это просто разговор о незначительных предметах, о том о сем, это естественно, и с кем

не случается, но как могла ты в таком духе касаться самого у нас с тобой, отложив объяснение этих страшных и сказанных вскользь слов на два месяца (по крайней мере). Я не настаиваю на немедленном выяснении: тебе виднее. Надо так надо. Но неужели ты полагаешь, что я смогу спокойно жить два месяца под этим и размышлять о чем-то еще, зная, что у вас там что-то по-серьезному неладно? Или что, я должен принять к сведению и забыть, не думать, пропустить мимо ушей? Что бы ты сделала, скажи, если бы я, например, намекнул, что нахожусь в большой опасности, серьезно болен, что ли, а разъяснения отложил до устной встречи? Ты сидела бы тихо и вела бы себя смирно, как ты мне советовала еще совсем недавно? Но ведь ты можешь хотя бы писать мне ежедневно, слать телеграммы, бегать по улицам, советоваться с друзьями, а я и этого лишен, я связан, а ты связанному преподносишь пантомиму: ах не спрашивай, ах не пытайся.

Так не делают. И так мы не договаривались. Договаривались: правду. Самую худшую, но правду. А намеки – лучше не надо. Или я, по-твоему, должен теперь перебирать в уме все варианты возмездия? Я же не каменный, и даже по части семижилности, я думаю, меня немножко переоценили.

Я сейчас как ослепший, все тычусь в одну точку. Но что мне делать? Посоветуй, как жить? И что теперь: все будущие, имеющие быть в нашей жизни несчастья пойдут по разряду возмездия за мои вины перед тобою?

А разве несчастья иногда не случаются по другой причине, и надо ли всякий раз искать виноватого и виноватить по каждой новой нас постигающей беде?

Вот теперь уже за вину озабоченность пошла. Был специфически озабочен – и за это возмездие. Наказать, наказать меня надо. И наказание за наказанием... Откуда это?

Главное – конечно, не в моих царапинах – ну еще колени, если тебе так плохо, но при чем тут Егор, как в эту свалку Егор попал?

*23 октября.*

Письмо это я могу отправить тебе не раньше 1-го ноября, а до этого надо сначала дожить. Попытался послать телеграмму: хотя понимаю, что, вероятно, бессмысленно, но человеку свойственно что-то делать, предпринимать.

По поводу твоего письма не буду больше причитать. Но ведь и писать сейчас больше не о чем. Не о литературе же. Какая сейчас литература, когда ничего на ум не идет, сплошные обрывки.

Кстати, в тех же письмах ты упоминаешь о Пермской скульптуре\*. А ты забыла, что у нас подобная книга имеется, что я ее давно купил, а недавно в письме к тебе даже на нее ссылался, вспоминая начало и Север?

Гумилева тоже не надо присылать.

Вчера на горячую руку написал тебе слишком резко. Это как в анекдоте: волнуйся, подробности письмом – волнуйся, подробности – через два месяца. Вот я и дал свечку. Прости. Разволновался.

*24 октября.*

Послал телеграмму, и немного отлегло: словно полезное дело сделал: слабак.

Это уж так устроено: бывает, помирает кто, а ближние стараются, хотя сознают, что ничем не поможешь. Но очень это тяжело, непереносимо – не иметь средств помочь, вот и бегают, и стараются понапрасну.

А как представляю, как ты телеграмму получишь и все равно-то ничегошеньки не сумеешь ответить, так начинаю разрываться сердцем за тебя, и очень мне тебя жалко, заброшенное мое существо, на которое столько легло. И я вижу, что ты, может быть, лишь самую малость чего-то не поняла, и зря я на тебя кричал риторическими вопросами, на которые не надо буквально отвечать, – просто нам свойственно перекидываться горем, когда мы от него теряем голову и ничем не можем помочь.

Только я тебя люблю, бесконечно люблю...

*25 октября.*

Ничего-то я не знаю. Не знаю, что у вас творится. Не знаю, дошла ли и дойдет ли до тебя телеграмма, которую я послал еще 23-го, и ответишь ли ты на нее. Не знаю, когда пошлю это письмо. Потому что 5-го отправлять нет резона, праздники, и оно не успеет до них уйти. Вот и неизвестно, как лучше, после праздников, то есть 10-го – не поздно ли, да и трудно вытерпеть, или 3-го, чтобы успело, или 1-го, чтобы скорее, а зачем скорее, если я уже послал телеграмму и все равно без толку? И нету тебя ря-

дом, чтобы посоветовать, а так хотелось бы иметь твои советы, очень любил, и ты всегда хорошо советовала, чего надеть или как жить будем, скучаю я без тебя, и действительность исчезла.

Даже не знаю, пошлю ли тебе это больное, несуразное письмо. Но что могу вместо него послать?

Дни идут, как идет затяжной дождь или снег, нет, снег для них слишком красив и добр, – равномерной серой материей, сплошным стулом идут, мою в четыре руки, с утра до вечера, а на вечернем разводе уже темно и фонари сияют в тумане, порождая тот сырой рассеянный свет, который так уютен везде, только не здесь, – в романах у Диккенса он хорошо описан.

*26 октября.*

Пишу тебе сейчас почти каждый день, хотя, как понимаешь, писать совершенно не о чем и нет ни мыслей, ни времени на это, живу автоматически, как будто и не живу, и только держусь за тебя и, чуть представится такая возможность, берусь за письмо, потерявшее логику и принимающее более магический смысл северного обращения к тебе по любому поводу и без повода, лишь бы к тебе и поближе.

Мне рассказывали занятную историю о том, как молодой человек, попав сюда, решил не расстраивать мать-старушку и сочинил целый роман с ответственной командировкой и прочим камуфляжем, да так удачно, что старушка и не подозревает о правде и радуется и пишет письма, смеясь над своими глупыми снами, в которых ей сын почему-то все время снится в тюрьме.

А я все стараюсь вынуть бумажку и написать тебе хоть немного, чуть-чуть.

*27 октября.*

Здравствуй, Машенька, здравствуй, деточка.

**Вчера\*** получил от тебя еще два письма, 31 и 32, несколько меня успокоившие, потому как в их свете 29-е роковое письмо предстает в более широком и ровном ряду твоих писем и не кажется уже внезапным ударом.

А дело в том, что я ведь их получаю не совсем так, как ты их пишешь и отправляешь, а кучками разной величины, отстоящими друг от друга (перо ни черта не пишет!) на довольно-таки ощу-

тимые расстояния. Таким образом, и письмо от 10 октября явилось для меня в виде отдельного блюда, не поддающегося расхлебанию. Я на него поэтому и прореагировал так остро. Пишешь же ты на самом деле ежедневно или почти ежедневно, и поэтому в них, естественно, встречаются разные настроения, варьирующиеся со дня на день в уверенности, что завтрашнее будет бодрее сегодняшнего и т.д. Я этого не уловил в тот момент, потому что, повторяю, когда до письма ждешь неделю и нервничаешь, и после письма неделю, – оно принимает в моих глазах сенсационный характер и воспринимается обособленно, в виде срочного известия сверхординарной значимости. В ласковом же, счастливом, поздравительном ряду предыдущих и спокойном, деловом последующих оно более сглаживается, и я сейчас не так схожу с ума, как в начале этого письма, и вновь обретаю почву под собою и воздух вокруг, которые есть ты и пребудешь. И я несколько смущен сейчас и собственной экзальтированностью, и как меня, оказывается, легко выбивает из жизни (и возвращает в нее) какая-нибудь одна твоя фраза.

**Опять же** – вот написал и не знаю все-таки, мелочь ли это, определял вслепую, и ты уж не сердись на меня за неточные выражения.

Сумеешь ли ты разобрать, однако, что со мною происходило, по этим закорючкам? Я в дальнейшем, если что, растолкую – ведь это не так уж спешно и не столь уж драматично. Не будем придумывать себе бедствия в дополнение к имеющимся, и давай друг дружке верить, несмотря на какие-то не всегда удачно, может быть, сказанные слова. Я за тебя и с тобою при всех случаях – помни об этом, пожалуйста, и люби меня. Главное-то ведь у нас не меняется. Никогда и ни за что.

**На** этом кончаю психическую часть (все это письмо получается в ужасно психическом колорите, в отличие от прошлого, погрязшего в жанре, в быту, – вот тебе и разнообразие, а то все литература да литература, соскучилась небось) и перехожу к математике.

Я согласен в принципе с твоей раскладкой знаменитой формулы: «а» + «b»\* сидели на трубе (очень смеялся, особенно «и» мила). Меня ведь совсем не прельщает шерочка с машерочкой и вообще объединение очень разных и далеких буковок в одну пустую



сумму. Я, Машка, в идеале, в будущем так и представляю, как ты говоришь, но для этого нужны соответствующие место и время. А нынешние условия не позволяют так решать эту нехитрую задачу. Например, представь картину: жена тяжело заболела и лежит пластом в больнице, а муж, ее не видя и (даже!) не говоря с нею, объявляет друзьям и знакомым, что они с женой не сошлись характерами на личной почве и поэтому теперь будут жить врозь. В данной ситуации, во-первых, ни один порядочный человек мужу не поверит и будет справедливо считать его последним негодяем; во-вторых, какие, спрашивается, у мужа резоны и основания жить отдельно, если он и так достаточно отделен от нее и не вправе предъявлять ей никаких серьезных претензий (разлюбил – другое дело, но при чем здесь публика?); в-третьих, разве жена сохранит к нему хоть каплю уважения, если он бросит ее в такой момент? И целесообразно ли, и морально ли, и практически возможно ли мужу подавать на развод, когда и более невинные его привычки и особенности характера трактуются ближними как корысть? Так что необходимо ему обождать до лучших времен, когда все само встанет на место и произойдет естественно, без подсиживания, скандалов и деклараций. А тем более события личного свойства не должны протекать публично. Ты согласна теперь, что семейная аналогия, к которой ты прибегла, достаточно красноречива и хорошо объясняет мою точку зрения? Писать об этом более и далее мне не хочется, давай лучше поговорим при встрече в декабре или феврале.

*28 октября.*

Сегодня ясный день, и далеко виден лес, и много неба, и труба хорошо поет, как в кинофильме «Дорога», которую мы с тобой смотрели, с тобой, с тобой...

Звук подчеркивает, выявляет пространство, и чей-нибудь лирический свист в холодное дождливое утро вдруг дает понять, что душа так же велика и тосклива, как этот воздух и даже больше – свист, свист. <...>

*29 октября.*

Ура-ура-ура-ура! (и так четыре раза).

Пришли от тебя три письма и одна телеграмма из Киева, и сумрачное мое настроение рассеялось, как дым, при виде того, как

ты нежно со мной обращаешься. Опять же телеграмма из Киева позволяет надеяться, что у вас с Егором сейчас нет уж такой катастрофы, раз ты поехала, и хорошо сделала.

Ой, Машечка, – как от тебя одной все во мне зависит!

Теперь с этим письмом в его большей части я выгляжу весьма странно и совершенно не так, как на самом деле, и я бы с удовольствием его тебе не посылал, а написал бы новое, более соответствующее. Да вот беда – уже ноябрь над нами, и времени не осталось. А мне не хочется слишком откладывать отправку письма, тем более, что ты достаточно натерпелась от почтовой нерегулярности, и надо постараться закончить за несколько дней до праздников, и уже в открытке с царицей Савской я тебе обещал послать не позднее 3-го, и ты будешь волноваться. Так что с переделкой письма мне сейчас не управиться, и ты уж извини снисходительно и прими его и меня со всеми недостатками и той мысленной поправкой, что я совсем твой и растворяюсь от любви, едва о тебе подумаю.

Погода сейчас тоже на нашей стороне, прямо-таки осенняя весна, и небеса блистают, точно глазированные, а я уже вполне настроился на зиму, и такое озарение кажется чистым сюрпризом. Даже иногда это самое письмо пишу тебе на дворе.

Ты спрашивала, до сколько я занимаюсь в библиотеке и как, если воскресенье. А сейчас я вообще перекочевал жить на койку и читаю и пишу, лежа на спине. Здесь меньше беспокоят. В библиотеку же или на улицу сбегаю в тех случаях, когда уже слишком долго и громко кричит и стреляет радио и голова начинает клубиться от усилий отключиться.

На работе читать теперь почти не выходит. Но в процессе мытья я приобрел уже некоторый механический навык и лоск, так что руки сами работают без моего участия и, бывает, с удивлением вдруг замечаешь, что, не заметя, выложил уже всю пирамиду из десяти стульев и надо приниматься за новую. А курю беглой затяжкой, пока наливаются горячая вода в ведро, с которым хожу к крану через пятнадцать стульев, а всего вымываю их в смену 100–125 экз. Терпеть можно. Но жалко.

А где ты, Маша, поставила такой большой буфет – в комнате или в коридоре, и оправдал ли он твои положительные расчеты по объему и красоте, в которых я сомневался?

Ты напрасно не одобряешь сухое молоко. Мне довелось тут как-то попробовать – не финское, а отечественное – но растворяется прекрасно и вкусно. Но самое вкусное и питательное, пожалуй, что мне доводилось пробовать в здешней жизни, – это (не считая, разумеется, кофе) мед. Здесь в большом почете сало. Но я к нему почему-то равнодушен и, хоть выбирать не приходится, предпочел бы колбасу.

А на журнал «Новый мир» меня не надо подписывать: тут должны получать знакомые, и я пользуюсь. И ни на что не надо подписывать: печати хватает.

Узнал из прессы, что недавно вышли и сразу сделались библиографической редкостью книжки о Тышлере и о Мавриной\* (видала ты их и что это такое?). А еще вышло два тома «Истории Византии» в трех томах и один первый том в 500 страниц с чем-то. Это я не к тому, чтобы их купить: обойдемся. Из книг наиболее светит двухтомник Гете (а не Шиллер с Шекспиром, которых я опять недавно просматривал), но беспокоит и удручает твое денежное сиротство. Правда, на книжные расходы ты могла бы одолжиться у Вики\*, если не сейчас, то со временем.

А я сейчас очень внимательно штудирую и конспектирую новейшую книгу Д.С.Лихачева «Поэтика древнерусской литературы», написанную им в продолжение и дополнение к «Образу человека в искусстве Древней Руси». Поскольку я делаю очень основательный конспект – приобретать ее тоже не обязательно.

Книга хорошая, со всякими тонкостями, а все ж таки «Небо с землей» были бы интереснее. Э-хе-хе!..

Еще мне хочется, чтобы ты мне почаще и поподробнее рассказывала о Егорушке.

А сейчас я представил, как ты где-то едешь, ходишь, дышишь – далеко и неизвестно где и как. Но мне счастливо от тебя и шепчу: – ау!

*31 октября.*

«...» Ты не очень расстраивайся, что впереди так много осталось. Конечно, ужасно много, и долго, и тяжело. Но все же надо учесть, что четыре года значительно меньше семи лет, которые мы начинали. Десять же месяцев при таких цифрах не принимай близко к сердцу, потому что они быстро пройдут и особенно под

конец не покажутся, когда мы уже будем махать друг другу навстречу всеми мыслями. А сейчас позади почти треть, а через год мы начнем переваливать середину, и дело пойдет под гору и станет легче.

Ты не думай, я не бодрюсь нарочно для твоего успокоения. Я сейчас в самом деле спокоен, и на душе почему-то легко и просто. Состояние известной раздвоенности, существовавшей последние месяцы и вносившей в жизнь невольную неопределенность, – кончилось наконец, и теперь я более точно и твердо знаю свою участь и открыт перед нею, и тот срок, что встает за четырьмя горами, неожиданно приблизился, и я как-то реальнее разрезаю время и двигаюсь к тебе, только к тебе и подрастающему мне навстречу оттуда Егору.

Не бойся стариться, мы не старимся, а идем друг к другу, и нам надо дойти, и выжить, и не надорваться, потому что все у нас с тобой тогда начнется и мы будем любить все крепче и удивительнее.

Теперь несколько практических уточнений на ближайшее время.

Ты как-то писала о чьем-то мнении, будто я огорчен твоим разрывом с Ларой. На самом же деле все по-другому. Некоторые ее слова и поступки, задевающие, в частности, меня, носят настолько ненормальный и оскорбительный характер, что я не вижу возможности спорить с ней и внутренне отстраняюсь. А внешне я очень прошу и тебя, и моих ближайших друзей держаться от нее подальше – вплоть до полного прекращения с ней взаимоотношений. Вряд ли нужно объявлять это в виде декларации и не обязательно доводить до ее сведения, просто это мой личный совет и просьба более интимного свойства. Мне кажется, это следует сделать, не разводя дискуссий, но, поверив на слово моему ощущению, тихо и решительно от нее отстраниться, как иногда приходится поступать с больными.

А еще – мелочи.

Пришли мне, Маша, зубную щетку (это не считая Поморина и Пикассо). А поближе к Новому году – первый том «Опытов» Монтеня (они у нас должны быть) и книжечку «Стихотворений» Мандельштама 28 года. Так иногда хочется получить к празднику книжечку. Только лучше бандеролью пошли, а не привози.

А мы ведь в декабре увидимся! – не так уж скоро, а все-таки...

Ты на меня не сердись. А я на тебя никогда не сержусь, но люблю повсюду.

А.  
1-2 ноября 1967.



**...о первых днях и ночах...** – На первом свидании, и потом еще несколько раз, я пыталась рассказать Синявскому о первых днях нашей с Егором жизни без него. А он меня почему-то не слушал. И в одном из писем я позволила себе обидеться на это.

**...о Пермской скульптуре.** – Н.Н.Серебренников. Пермская деревянная скульптура: Материалы предварительного изучения и опись. Издание художественной галереи Пермского государственного областного музея, 1928.

**Вчера...** – Шифровка: «Вчера Даниэля опять увезли на семнадцатый».

**...«а» + «б»...** – Власти всегда старались подельников стравливать или, по крайней мере, разделять. Так, среди отбывавших наказание в те же годы в тех же лагерях членов «группы Краснопевцева» двое – Краснопевцев и Меньшиков – опубликовали в дубровлагской многотиражке покаянную статью, а их подельник Рендель каяться отказался. Об этой ситуации, а также о ситуации Синявского с Даниэлем я писала Синявскому 14 октября 1967 года: «Последние дни я что-то задумалась над ситуацией – «подельники и их отношения». Навели меня на эту тему разногласия Краснопевцева и Ренделя, о которых я весьма наслышана.

Традиционный расклад получается такой: «А» «И» «Б» сидели на трубе (вместе). «А» – упало (написав статью), «Б» – пропало (ну, не то чтобы пропало, но все-таки), кто остался на трубе? Остался «И», и к тому же в выигрыше.

Ну, а если бы «А» не упало? И разошлось с «Б», не совершая по отношению друг к другу нехорошие телодвижения? Как тогда? Что тогда выигрывает «И»? Ровным счетом ничего. И почему не могут «А» и «Б» разойтись по сугубо личным мотивам, оставаясь при этом безупречными и прекрасными? Ведь даже мужья с женами время от времени расходятся! А разведенные семьи частенько сохраняют уважительность друг к другу и совсем не обязательно поливают ближних помоями.

Все эти рассуждения к тому, что мне стало опять плохо, чему немало способствовали переданные недавно от твоего имени огорчения по поводу разлада. И я опять получаюсь виноватой, а Ларка – святой. И сколько можно?»

Здесь необходимо пояснение.

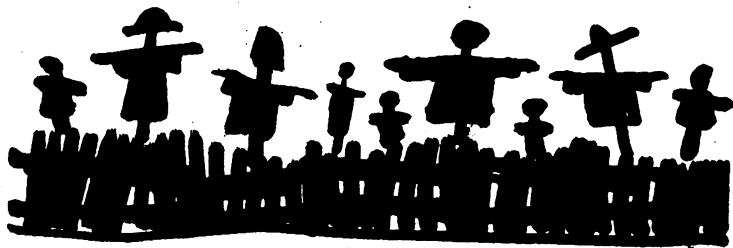
Вокруг нас с Синявским и Даниэлем всегда было много разных слухов, и многие из них исходили из известного учреждения – из КГБ.

Но кроме КГБ была еще одна сила, которая желала Синявского с Даниэлем развести. Это друзья Даниэля – Лариса Богораз и ее компания.

После суда Синявский просил меня через Ларису передать Даниэлю, что он, как «паровоз» (то есть главный обвиняемый, а значит, и старший в этом деле), считает, что и они с Даниэлем, и мы с Ларисой на процессе свое дело сделали, сделали его хорошо и должны отойти в сторону. Не сдаваться, а притвориться, уйти в тень – больше успеем сделать. Но, к сожалению, эти пожелания Синявского Л.Богораз, увлекшись революционной борьбой, Даниэлю не передала, и наш друг Даниэль следом за Ларисой «пошел в раскрутку». Результат – сначала бур (барак усиленного режима), затем крытка (Владимирская тюрьма). Подробнее об этом – в моей книге «Абрам да Марья».

...книжки о Тышлере и о Мавриной... – Ф.Я.Сыркина. Александр Григорьевич Тышлер; В.И.Костин. Татьяна Алексеевна Маврина. Обе книги вышли в 1966 году в издательстве «Советский художник».

...одолжаться у Вики... – У Виктории Швейцер.



## ПИСЬМО СОРОК ПЕРВОЕ

Собирался тебя порадовать в этом письме чем-нибудь интересным, а не выходит. Заболел. Вчера, как отослал тебе письмецо, пошел на завод, вечер, вторая смена, смотрю – плохо мое дело, ручки трясутся, косточки ноют, еле домыл свои стульчики, и сегодня вместо работы – в санчасть, получил освобождение даже на завтра: 38,8.

Лежу в кейфе от высокой температуры. Она у меня лучше протекает, чем низкая. И потом с ней как-то увереннее себя чувствуешь в жизни. Появляется сознание собственной полноценности, и можно спокойно лежать, неподдельно и со вкусом болея. Ничего страшного – обычная простуда.

А сейчас разбудили, и – представь – один знакомый принес книгу, и я начал лечиться почти по-домашнему чтением «Макбета». Отличная вещь. А все же в дальнейшем лучше воздержаться от подобного чтения: требуется слишком большое напряжение при такой температуре, и условия не те. Но неожиданные совпадения-встреча с домом, с тобою очень растрогали и усладили.

От «Макбета» ощущаю себя намного благороднее: книги, как и еда, влияют на наш состав. О какой-нибудь барышне можно сказать: «она состояла, кажется, из чистого куриного мяса, сливок и пастилы».

А нам на праздник сверх лимита выдали 5 руб. и продали по 2 кг сахара, 300 гр. сливочного масла и 1 кг лука. Давно я не был так богат. А сахар не какой-нибудь тростниковый, а крепенький, сладкоустойчивый. Будем пировать.

Сейчас пишу в жутко лежащем положении и все буквы прыгают, а потом перепишу. Прислушиваюсь к себе, и тянусь к тебе, и пишу, и засыпаю.

*3 ноября.*

С твоей помощью возвращаюсь к литературе, и вот что я нашёл у Плутарха, который, повествуя о походе в Грецию Суллы, сообщает:

«Невдалеке от Диррахия расположена Аполлония, а с нею рядом Нимфей – священное место, где в горах, среди зелени лесов и лугов, бьют источники неугасимого огня. Рассказывают, что здесь поймали спящего сатира, такого, каких изображают ваятели и живописцы. Его привели к Сулле и, призвав многочисленных переводчиков, стали расспрашивать, кто он такой. Но он не произнес ничего вразумительного, а только испустил грубый крик, более всего напоминавший смесь конского ржания с козлиным бляением. Напуганный Сулла велел прогнать его с глаз долой» (Жизнеописания, т. II, стр. 140).

Подумать только – это было за каких-нибудь 80 лет до н.э.!

А недавно мыл стулья и вдруг подумал:

В животных уже то приятно, что у них четыре лапы и хвост, тогда как у нас только две. При виде кошки или собаки нас охватывает удивление, смешанное с юмором: на четырех ногах! Животные – наши комические, утрированные подобию.

Птицы не доставляют такой радости. Зато у них есть крылья.

*4 ноября.*

Мне уже лучше. Температура 37,5. Дали освобождение еще на два дня. После чего начинаются праздники, так что в общем количестве у меня выйдут каникулы на семь дней. Жаль, из них много времени уходит непроизводительным образом: много сплю или так лежу в полусне – слабость. По ночам ужасно потею, скидывая градусы.

Вчера послал три поздравительные открытки – Реформатской (на тебя), Игорю и Егору (опять на тебя). От тебя пришло последнее предотъездное письмо № 38. Долговато...

Теперь буду ждать с примаченковскими впечатлениями. Хорошо бы ты мне побольше о ней рассказала: всё какие-нибудь мыслишки вдруг придут в голову.

А потом хорошо бы заняться чем-нибудь в рококошном духе – придумай. Очень хочется думать про какое-нибудь искусство. А ничего нет под руками.

Поэтому пока при первом удобном случае изложу тебе в виде



вариаций к теме «земли и неба» несколько замечаний, вызванных цитатами, попавшимися на глаза в разных книжках.

Очень одиноко мне тут лежать без движения, а письма от тебя придут теперь нескоро – аж после праздников. А письма ни от кого другого не получал очень давно и сразу тебе про это писал – последнее было, кажется, еще летом от Меньшутиных.

5 ноября.

В письме к Кириллу (нач. XV в.) *Епифаний* рассказывает о том, как Феофан Грек по его просьбе нарисовал храм Софии в Цареграде:

«...Он смело взял кисть и лист и быстро написал подобное церкви изображение согласно образу существующей церкви в Цареграде и дал мне. К этому листу явился интерес и у других московских иконописцев, многие перерисовывали друг у друга, соревнуясь друг перед другом и друг от друга заимствуя. После же всех и мне, как живописцу, пришлось написать то же четырежды; я поставил этот храм в моей книге в четырех местах: во-первых, в начале книги Евангелия Матфея, изобразив и столп Юстиниана, там, где образ евангелиста Матфея, во-вторых, храм в начале евангелиста Марка; в-третьих же, перед началом евангелиста Луки, в-четвертых же, там, где начинается Иоанново благовестие, – четыре храма, – у четырех евангелистов написал» («Мастера искусства об искусстве», т. IV, М., 1937, стр. 17).

Поразителен этот страстный интерес к «точной копии», к документу при поразительном между тем безразличии к правильности соответствия исторического и географического. Один и тот же снимок с цареградской Софии сопровождает фигуры четырех евангелистов, расходясь с ними во времени и местопребывании, о чем Епифаний, прозванный к тому же Премудрым, конечно, не мог не знать, но решительно пренебрег этим несущественным расхождением. Все дело, видимо, в том, что у Епифания в руках оказался неподдельный образчик истинной святости, и эти качества преобладали все прочие соображения, и он его повсюду вставляет, предпочитая настоящую, подлинную Софию, не идущую по месту и сроку, но несомненную в своей подлинности, – выдуманной композиции, которая с его точки зре-

ния – взятая из головы – была бы здесь менее достоверной. Способность средневековья видеть и мыслить частями, вправляя их в целое, которое само все урегулирует. Пусть лучше фоном послужит София, не бывшая при евангелистах: она им больше подходит и как святыня и как документированная реальность; а во времени и пространстве они уж сами как-нибудь разберутся и усядутся рядом. Тем более, Епифаниево Евангелие переписывалось уже после Софии, и, следовательно, евангелисты *сейчас* как бы его пишут, расположившись под знаменитым столпом Юстиниана. И то и другое стали событиями настоящего времени и явлением вечности и в этом качестве свободно соотносятся между собою.

В книге Д.С.Лихачева «Поэтика древнерусской литературы» (М., 1967) подобного рода явления в литературе названы «нестилизационными подражаниями»: «Отдельные элементы старой формы используются в новом произведении как своего рода украшения. Из этих украшений составляется мозаичная новая композиция» (стр. 186). В качестве примера предлагается «Задонщина», текст которой богато инкрустирован отрывками, к месту и не к месту заимствованными из «Слова о Полку Игореве». «Авторы конца XIV–XV вв. поступают так, как поступали хищники времен упадка культуры, разбиравшие остатки античных строений – колонны, капители, куски обработанного мрамора – и включавшие их в состав своих собственных построек, не считаясь с пропорциями и общим планом, заимствуя материал для украшений» (с. 187).

Автор совершенно не отдает отчет в том, что это связано не столько с украшениями, сколько вызвано любовью к подлиннику, что в этом как раз и состоит реализм средневековья. Если считать «Задонщину» вторичной по отношению к «Слову», то значит, сама древность слова была гарантией его точности в изображении современных баталий. «Задонщина» опиралась на «Слово» как на более авторитетный источник в изображении Куликовского поля, хотя это и был явный анахронизм, – но такими анахронизмами был полон Ветхий Завет, то и дело взывающий к Новому, и наоборот. «Натуру» нужно было разыскать, реставрировать и ею – натурой – инкрустировать произведение. Чем действовать вслепую, своим умом, умнее было

воспользоваться готовыми кусками природы, пускай немного сдвинутыми во времени, но зато несравненно натуральными и достоверными.

7 ноября.

Машенька, я влюбился! Влюбился в остров Исландию, о котором прочитал в случайно подвернувшейся книжке М.И.Стеблина-Каменского «Культура Исландии».

Представляешь: горный пейзаж, краски лишайников, прозрачный воздух, безлюдье, патриархальность, собаки не кусаются, на всю страну несколько десятков полицейских (это на двести-то тысяч), нет армии, не любят войну, нет часовых (ах – Пере-славль!\*), и при всей цивилизованности нет ничего швейцарского, самый литературный народ в мире, максимальный процент печатной продукции на душу, филологический уклон в населении, которое донныне зачитывается памятниками старины, которых ужасно много, и все любят и помнят, где чего было, и самый популярный, и любимый, и живой до сего времени жанр – сказки о мертвецах и привидениях! Недавно вышли в шести томах, но на русский язык никогда не переводились. Представляешь, какая сладость и какая жалость!

Я давно обратил внимание на выставке Исландской живописи (помнишь?), какие у них приятные традиции в сочетании даже с абстракцией, пейзажно-абстрактный экспрессионизм, какие мхи, лишайники, перепутанные волны водорослей, а теперь совсем без ума от этих рассказов про сказочную землю Исландию, где первый исландский закон, принятый чорт-те когда, предписывал, подплывая к берегу, снимать с корабельного носа голову дракона, чтоб не испугать духов страны, а нынешний писатель и прогрессивный деятель Тоурберг Тоурдарсон, старичок лет семидесяти пяти (почему-то он мне представляется непременно в синих шерстяных чулках толстой вязки), говорит посетителям: «Меня спрашивают, как я, будучи коммунистом, могу верить в привидения. Но как я могу не верить в них, если я несколько раз в жизни видел их так же ясно, как я сейчас вижу вас?»

И шоферы такси рассказывают о встречах с мертвецами. И север, и ночь, и пустыня, и северное сияние, и города из малень-

ких домиков и отдельных квартир. В общем – какое-то сплошное умиление, и очень грустно, что эти шесть томов с привидениями нам недоступны.

Если бы мне было сейчас 14 лет, я бы кинулся учить исландский язык.

9 ноября.

В средневековых трактатах, затрагивающих вопросы эстетики, очень много говорится о пропорциональности вещей, которую средневековые восприняло у античности и твердит о ней постоянно, словно не замечая собственных диспропорций. Но пропорциональность, возможно, выступает здесь более не в виде соразмерности тела, как это было показано и описано в «Каноне» Поликлета, но иерархической слаженности вселенной, носящей характер сложной и уходящей в небо зависимости.

*Бонавентура* (XIII в.): «Коль скоро, стало быть, все вещи прекрасны, и в известном смысле могут служить источником наслаждения, а красоты и наслаждения нет без пропорциональности, пропорциональность же прежде всего существует в числах, необходимо, чтобы все поддавалось счислению, отчего число и есть в духе важнейший прообраз создателя, а в вещах – важнейший след, ведущий к мудрости» («История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли», т. I, М., 1962, стр. 285).

В подобного рода «пропорциональные» рассуждения весьма замечательную и ярко выдержанную в духе средневековья поправку вносит *Николай Орем*, французский математик, астроном и философ XIV столетия. Его высказывание действительно проливает свет на пропорциональность и нарушения таковой в средневековом искусстве. В «Трактате о соизмеримости или несоизмеримости движений неба» Орема ставится вопрос об эстетическом качестве иррациональных отношений, что представлено в виде спора Арифметики (сторонницы рациональных отношений) и Геометрии (сторонницы иррациональных отношений). Спор не завершен, но есть основания думать, что автор склоняется на сторону Геометрии, устами которой сказано:

«...Она (Арифметика) говорит, что в ее рациональных пропорциях заключается красота и совершенство, чего я не отри-

цаю. Однако небесное сияет гораздо большей и шире простирающейся красотой, если тела соизмеримы и движения несоизмеримы или если одни движения соизмеримы, другие же несоизмеримы, хотя каждое из них равномерно, нежели в том случае, если все они соизмеримы. Тогда, при сочетании иррациональности и равноценности, равномерность разнообразится иррациональностью, иррациональность же не лишается должной равномерности. ...Независимо от того, благороднее ли иррациональное отношение или нет, слаженное сочетание прекраснее и благообразнее, чем однородная простота. ...И небо превосходнее, нежели в том случае, если бы звезды были повсюду сплошь, мало того – вселенная совершеннее благодаря наличию тленного и даже благодаря наличию несовершенного и уродов. И пение с разнообразными созвучиями усладительнее, чем если бы оно совершалось на единственном непрерывном созвучии, а именно в октаву. И картина, расцвеченная разнообразными красками, имеет лучший вид, чем прекраснейший цвет, однообразно разлитый по всей поверхности» (там же, стр. 322–323). <...>

В отличие от вполне соизмеримых фигур античности, образы средневековья удивительны как раз сочетанием пропорциональности с несоизмеримостью и в идее представляют собою не замкнутый образ круга, но уходящее «по прямой всегда вдаль» острие. Подчеркнутая удлиненность пропорций в иконах, утрировка, готика и прочие иррациональности в сфере искусства находят в Ореме рассудительного теоретика.

*11 ноября.*

Ты уж меня прости, что я докучаю такими длинными цитатами с комментариями, носящими достаточно отвлеченный характер. Но, во-первых, это прет из меня проклятая польза. Во-вторых, цитатки в самом деле, мне кажется, миленькие, и жаль их растеривать посреди мытых стульев, которые не меняются, и вчера их было двести, и завтра столько же будет, до обеда сто и после обеда сто, и не об них же вести речь в эти долгие сроки, когда писем от тебя нет, хоть уже и праздники миновали, а их все нет и нет, и я бы очень волновался, если бы меня не утешили сообразительные знакомые, что после праздников почтовым

работникам полагается отгул, и поэтому происходит такая задержка.

А хочется, воротясь с работы, забраться на верхнюю полку, укутать ноги ватничком и пописать тебе письмо, и вот я вспоминаю, что давно вертится у меня в голове XIV-го века философ Орем, и мы с ним вместе тебе кланяемся.

Я здоров вполне. За время болезни не то чтобы отдохнул, но как-то встрепенулся душой, подержал в руках разные книжечки и вспомнил, что я человек, как здесь говорят, более-менее интеллигентный. Приятно вспомнить.

Опять же разные мысли, сны, вперевивку с чужими обрывками разговоров, краем уха невольно слушаю, сплю, думаю, и все это смешано в секции, про то, например, что какой-то американский солдат в журнале превратился в девушку, и как это можно, и как же он теперь станет рожать, конфет навалом, посмотрел на кошку, сказав ни к селу, ни к городу: ее убить надо, беззлобно, спокойно, как говорят: пора ужинать или – не мешает побриться, присмотрись, иней сел на землю, на деревья, скамейки, и все в один миг стало живым и пушистым, – и снова рассказ про йога, который ходил босиком по снегу и таинственно говорил, что всем кажется, будто он в сапогах, видите, я достиг третьей степени посвящения, но все видели его босиком и смеялись.

Присущие моему возрасту... Сердце болит, зубы гниют. А это твоя пацанка? Кто ее знает? Жена пишет – моя. Девушка из Баку. И будет целовать меня в губы интересная женщина... Поля добра так же бескрайни, как и пустыни зла. Электроуничтожалка. Кончина его была довольно замечательна. У тебя еще в штанах куда-чет. И покрыть долготу дней протяженностью текста.

«Солнышко!» – привычно в письмах женщины называют мужчин, не имеющих ничего общего с солнцем. Но взглянув на этого старца, я сразу понял: «солнышко!» – вот это и есть «солнышко!».

Серенькое сияние исходило из его бороды, торчащей во все стороны лучиками, сквозь которые улыбалось его рылообразное, всегда ослабленное, как сам он выразился о себе со скромностью, лицо. Торжественная и немного строгая доброта бродила и плавилась в нем и одаривала собою всех окружающих, и с молчаливых уст спархивали и удалялись в пространство круги-улыбки. Да, солнышко!

А рядом появилась Луна, круглолицая, бритая, с бабьим видом, с носом картофелиной, слегка осповатая, с потупленным конфузливо взглядом, похожим на глазок в той же картофелине, упрятанный в припухлости щек.

– Вы знаете, и второй разбойник спасен...

– Как спасен?!

– Да... Только об этом никто не знает...

И из всезнающего глаза слеза, и вновь потупился, и я подумал, не оба ли они разбойники, но вовремя вспомнил, что на старинных картинах, гравюрах Солнце и Луна изображались с чертами человеческих физиономий, и, вспомнив, увидел, что это они и есть, Солнце и Луна, два завета, два дерева, и хотя Солнце главнее и старше, молодая Луна ему нужна в симметричное добавление, а также светить по ночам, когда все спят.

– И от этих восхищений я просыпаюсь.

*12 ноября.*

Пишу тебе очень длинно (и не скучно ли тебе со мною?) и все думаю, что – пока пишу – от тебя за это время успеют прийти письма, а они не приходят. Только сегодня, после десятидневного перерыва, пришел номер 40 (а 39-го нет), и бедный примаченковский зверь ехал ко мне целых две недели, хотя возле него всего несколько строк и два киевских листочка, а что же будет с большими-то письмами?! Но я все равно ужасно рад, но только беспокоюсь, представляя, как из-за праздников и мои письма будут идти до тебя так же долго, а я к тому же увеличил перерыв между тем письмом и этим, правда, дополнив его поздравительными открытками, не считая телеграммы, которую послал сгоряча, а ты, наверно, не получила, потому что на нее ничем не отвечаешь. И где ты теперь, и куда про тебя думать и мечтать? А зверь – прекрасный. И ты – тоже.

Я иногда сейчас ем сахар отдельным куском и вспоминаю Петрова, и зря мы его за это ругали: очень помогает – сахар!

А знаешь ли ты, что в № 9 «Театра» за прошлый год напечатали портрет Галилея Брехта\*, а я и не знал, совсем непохожий, и в том же номере редкие воспоминания Ермолинского о Булгакове, и как это печально, что у такого писателя была такая жизнь, ты, если пойдешь в Ленинку, почитай мимоходом – стоит того.

Интересно, что собой представляет его жена. А мое мнение о Волянде все-таки подтверждается, и Некрасов в «Новом мире» о том же, 15 раз – значит, ценился Мастер\*.

У нас приятно подмораживает по утрам, а потом развозит – вавилонская грязь. Скорей бы снег! И легче станет дышать, и хочется скорее войти в зиму, в третью зиму.

14 ноября.

Старый лагерник мне рассказывал, что, чужая статья, Пушкин всегда имел при себе два нагана. Рискованные натуры довольно предусмотрительны: бесшабашные в жизни, они суеверны в судьбе.

Несмотря на раздоры и меры предосторожности, у Пушкина было товарищеское чувство локтя с судьбой, освобождающее от страха, страдания и суеты. «Воля» и «доля» рифмуются у него как синонимы. Чем больше мы вверяемся промыслу, тем вольготнее нам живется, и полная покорность беспечальна, как птичка. Из множества русских пословиц ему ближе всего, пожалуй, присказка: «Спи! утро вечера мудренее».

За пушкинским подчинением року слышится вздох облегчения независимо, принесло это успех или ущерб. Так, по милости автора, вещая смерть Олега воспринимается нами с явным энтузиазмом. Ход конем оправдался: князь получил мат: рок одержал верх: дело сделано: туш!

Бойцы поминают минувшие дни  
И битвы, где вместе рубились они.

В общении с провидением достигается присущая Пушкину высшая точка зрения на предмет, придерживаясь которой, мы почти с удовольствием переживаем несчастья, лишь бы они содействовали судьбе. Приходит состояние свободы и покоя, нашептанное сознанием собственной беспомощности. Мы словно сбросили тяжесть: ныне отпускаеши.

«Разъедемся, пора! – сказали, –  
Безвестной вверимся судьбе».  
И каждый конь, не чужая стали,  
По воле путь избрал себе.



Вопреки общему мнению, что свобода горда, непокорна, Пушкин ее в «Цыганах» одел в ризы смирения. Смирение и свобода одно, когда судьба нам становится домом и доверие к ней простирается степью в летнюю ночь. Этнография счастливо совпала в данном случае со слабостью автора, как русский и как Пушкин равнодушного к цыганской стезе. К нищенским кибиткам цыган – «сих смиренных приверженцев первобытной свободы», «смиреной вольности детей» – Пушкин привязал свою кочующую душу, исполненную лени, беспечности, страстей, праздной мечтательности, широких горизонтов, блуждания, и всё это под попечением рока, не отягченного бунтом и ропотом, под сенью луны, витающей в облаках.

Луна здесь главное лицо. Конечно, романтизм, но не только. Эта поэма ему сопричастна более других. Пушкин плавает в «Цыганах», как луна в масле, и передает ей бразды правления над своей поэзией.

Взгляни: под отдаленным сводом  
Гуляет вольная луна;  
На всю природу мимоходом  
Равно сиянье льет она.  
Заглянет в облако любое,  
Его так пышно озарит –  
И вот – уж перешла в другое;  
И то недолго посетит.  
Кто место в небе ей укажет,  
Примолвя: там остановись!  
Кто сердцу юной девы скажет:  
Люби одно, не изменись!<sup>1</sup>

В луне, как и в судьбе, что разгуливают по вселенной, наполняя своим сиянием любые встречные вещи, – залог и природа пушкинского универсализма, пушкинской изменчивости и переимчивости. Смирение перед неисповедимостью промысла и некое отождествление с ним открывали поэту дорогу к огромному кругозору. Всепонимающее, всепроникающее дарование Пушкина много обя-

<sup>1</sup> Ср. отрывок «Зачем крутится ветер в овраге...», из неоконченной поэмы «Езерский», где похожая ассоциация – ветра, девы, луны и т.д. – замыкается на певце.

зано склонности переключать долги на судьбу, полагая, что ей виднее. С ее вездесущей позиции и впрямь далеко видеть.

*16 ноября.*

«...» Получил бандероль с Пикассо и Крупником. Теперь мне бы еще Поморин получить с Зубной Щеткой. Ты прости, что я так упорно второй месяц пристаю с этой мелочью и все не унимаюсь. Что поделаешь – зубы гниют (приятное сочетание – вроде: – Мыл вчера голову туалетным мылом и развел у себя под носом целую барыню).

То ли от пропущенных писем, то ли еще почему, но я как-то слабо последнее время представляю твое бытие, Егорушку, дом и прочие вещи. А некоторые моменты для меня полная неожиданность. Имею в виду любителей цветаевской поэзии, которых так много сейчас, что этот признак ни о чем не говорит и еще меньше может служить доброй рекомендацией. Лишь мнение о том, что все святые\*, основанное на очевидном незнании предмета, позволяет попасть в этот просак. Может быть, я ошибаюсь, поскольку, повторяю, Цветаева почти как борода в наше время, и я бы мог предложить дюжину таких сочетаний. Но если все-таки это тот случай, который мне кажется наиболее вероятным (хотя по чудовищной нелепости я его с трудом допускаю), то остается поздравить с мезальянсом. В старину гостю, употреблявшему в языке выражения типа «покласть», «ложит» или «хотит», совали 3 рубля в руку и говорили «ступай, братец», а нынче иные дамы ложат его себе под бочок – к нашему удивлению.

Неужели существуют женщины, – воскликнул с горечью в голосе один знакомый, разумея женщин определенного круга и уровня образованности, – способные отдаться на одну неделю!..

Бедняга давно сидит. Конечно, не в произношении дело, был бы человек хороший, а этого нет, как раз наоборот. Да и вообще подобная филантропия кажется мне, мягко говоря, идиотством.

А Примаченко все же фольклор, и то, что она создала свою школу среди неумек, тому лишнее подтверждение.

А еще я рад, что Петров побывал в Киеве, и совсем не раздражаюсь, получая кленовые листики\*, а трогаюсь и к тебе отношусь с непереставаемой нежностью.

*18 ноября.*

Вот у меня и посветлело в бараке от твоего письма, пришедшего только вчера, и теперь я им буду долго играть, дышать, укрываться и наслаждаться.

Называется оно 43-е (а 42-е из этой серии еще не появилось), и мне от него так стало хорошо и привольно, что не описать на бумаге, а для правильного изображения моих ответных и встречных чувств надо бы взять банку с чем-нибудь вкусным и чтобы я, как бывало, прямо из банки тебя бы питал, и потчевал, и лелеял, как маленькую, в знак доверия и полного братства, когда нет никакой разницы. Сейчас достал из блокнота твое личико онежского цикла, которое отыскалось по следу Тарасова, – потому что совсем как тогда, похожее на блюдечко, сияющее, умытое – достал не в порядке давних северных воспоминаний, а нынешних встреч и умываний, и на нем ты как раз такая. И я смотрю.

А в моем трудовом неустройстве ничем помогать не надо, кроме любви, ну и книг иногда (вроде «Фауста», например). Потому что хоть и тяжело, и нудно, и отчаянно иногда, но устанавливается – ты права – удивительное равновесие, и при этом ограничении бывают минуты, когда из души бьет такой поток настроения, что не знаешь, куда вместить, – лоханок не хватит.

И в счастье я тоже с тобой согласен. Я счастлив, и это твоя заслуга.

А рассуждая от себя отвлеченно, задумываешься над равновесием, действующим вообще в природе вещей в виде всяческих превращений.

Может, потому и бессмертна душа, что если здесь убить человека, то ему ничего не останется другого, как переселиться куда-то туда. Закон компенсации: сожми человека здесь – он вылезет там. Надо еще сообразить, не вызваны ли массовые эпидемии в прошлом необходимостью заселить необжитые пространства Вселенной. Мы здесь грустим: Пушкин умер. А может, он срочно понадобился в другом месте? И неизвестно, где он нужнее...

А покупкой книги про балканскую иконопись – я очень доволен, про нее я ничего не слышал еще, а хорошо бы ты мне описывала эти сокровища подробнее – помимо книжного интереса люблю, когда ты мне рассказываешь.

А 43-е – из тех писем, которых несколько, самых важных, слушающих мне охранной грамотой\*.

Прими, Мария, мою любовь и признательность.

19-20 ноября 1967.

А.

По торопливости дату не в том месте поставил. Бывает такое: по болезни, может быть, я в открытке Надежде Васильевне употребил вульгарное слово «семейство» вместо «семья» – и до сих пор грызет совесть.

Вообще описки и опечатки – главная моя беда в жизни.



**...ах – Переславль!..** – Переславль-Залесский, древний русский город, в котором когда-то было четыре монастыря и сорок четыре церкви, пленивший мое воображение еще в раннем студенчестве, стал моим первым архитектурным подарком Синявскому.

**...портрет Галилея Брехта...** – В журнале «Театр», № 9 за 1966 год, в статье М.Строевой «Жизнь и смерть Галилея» была опубликована фотография В.Высоцкого в роли Галилея в спектакле Театра на Таганке по пьесе Б.Брехта «Жизнь Галилея».

**...значит, ценится Мастер.** – Виктор Некрасов в очерке «Дом Турбиных» (Новый мир. 1967. № 8) писал о спектакле «Дни Турбиных»: «Да, я полюбил этих людей. Полюбил за честность, благородство, наконец за трагичность положения. Полюбил, как полюбили их сотни тысяч зрителей мхатовского спектакля. А среди них был и Сталин. Судя по протоколам театра, он смотрел «Дни Турбиных» не меньше пятнадцати раз! А вряд ли он был таким уж завзятым театралом...»

**...мнение о том, что все святые...** – К сожалению, не все лагерники (а речь в этом отрывке идет об одном из лагерников) – святые.

**...кленовые листики...** – В несколько писем я вложила кленовые листья из Киева.

**...охранной грамотой.** – Вот что Синявский считал охранной грамотой в моем 43-м письме от 5 ноября 1967 года: «Могу еще раз объяснить, что все равно ты главный и первый, и потерпи еще немножечко, м.б., и нам когда-нибудь улыбнется мадам Фортуна. Все-таки нам с тобой вы-

падало столько счастья и удачи, что прочим людям на несколько жизней хватило бы. И на фоне такой невероятной щедрости судьбы и чрезвычайного изобилия, м.б., этот стул, этот срок, эта ложка дегтя выданы для равновесия и чтоб не захлебнуться. Как в том анекдоте про любовника мадам Коти».

А анекдот про мадам Коти такой: «Была в 19 веке во Франции знаменитая парфюмерная фирма «Коти». И вот мадам Коти днем, пока муж на работе, принимает любовника. Вдруг шум в прихожей: муж вернулся! А тут жизнь в разгаре: голый любовник, все разбросано. Мадам Коти смотрит по сторонам, видит шкаф образцов готовой продукции (духи, одеколоны) и быстро пихает туда любовника со всеми тряпками. Входит муж, берет забытые бумаги, не торопясь готовит себе чашечку кофе, болтает с супругой, целует ее на прощание и уходит. Мадам Коти открывает шкаф, оттуда вываливается еле живой любовник со словами:

– Дайте понюхать кусочек говна...»



## ПИСЬМО СОРОК ВТОРОЕ

То письмо было длинным, а это еще не знаю каким. Потому что в том письме роль играл перерыв, вместе с которым я и писать мог дольше и думал хоть чем-то порадовать и отплатить за твое терпение в ожидании письма, и за мои позапрошлые нервы, и за твою любовь, очень мне последнее время пошедшую на пользу. А теперь я тоже хочу, но неизвестно, сумею ли, хватит ли дней у меня, и сил, и хорошего настроения, которое продолжается, но никогда не знаешь ведь, как завтра будет. Я его – настроение – определяю количеством сна во вторую смену. Сейчас – шесть часов, только ночью, и чувствую себя превосходно, в хорошей умственной форме, живу в темпе, интересно, и некогда от книг, к которым бегу, едва появилась возможность, от клочка бумаги, от письма, что пишу тебе, и сутки проносятся, заполнены до отказа, и работа спорится, и мысль тянется, между двух стульев, в клею, и снег идет, и сначала он шел и таял, и ничего не получалось, а теперь застыл, и все посветлело, побелело, и наступила зима.

Хожу по снегу как в полусне, смотрю, как он падает, и сердце радуется, вздохнешь – и привольно, да у меня еще не выветрилось твое ласковое письмецо, вот и жить можно.

*22 ноября.*

В «Цыганах» Пушкин взглянул на действительность с высоты бегущей луны и увидел рифмующееся с «волей» и «долей» поле, по которому, подобно луне в небе, странствует табор, кольшимый легкой любовью и легчайшей изменой в любви. Эти пересечения смыслов, заложенные в кочевом образе жизни, свойственном и женскому сердцу, и луне, и судьбе, и табору, и автору, – сообщают поэме исключительную органичность. Мнится, все в ней

вращается в одном световом пятне, охватывающем, однако, целое мироздание.

С цыганским табором, как символом Собрания сочинений Пушкина, в силах сравниться разве что шумный бал, занявший в его поэзии столь же важное место. Образ легко и вольно пересекаемого пространства, наполненного пестрым смешением лиц, одежд, наречий, состояний, по которым скользит, вальсируя,нисходительный взгляд поэта, озаряющий минутным вниманием то ту, то иную картину, – вот его творчество в общих контурах.

Друзья! не все ль одно и то же:  
Забыться праздною душой  
В блестящем зале, в модной ложе  
Или в кибитке кочевой?

Ясно – одно и то же. Светскость Пушкина родственна его страсти к кочевничеству. В Онегине он запечатлел эту идею. «Там будет бал, там детский праздник. Куда ж поскачет мой проказник?» Наш пострел везде поспел, – можно смело поручиться за Пушкина. Недаром он смолоду так ударил по географии. После русского Руслана только и слышим: Кавказ, Балканы... «...И финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык», прежде чем попасть в будущие любители Пушкина, были им в «Братьях разбойниках» собраны в один букет. То был мандат на мировую литературу.

Подвижность Пушкина, жизнь на колесах позволяли без проволочек брать труднейшие национальные и исторические барьеры. Легкомыслие становилось средством сообщения с другими народами, путешественник принимал эстафету паркетного шаркуна. Шла война, отправляли в изгнание, отпускали в командировки по кровавым следам Паскевича, Ермолова, Пугачева, Петра, а бал все ширился и множился гостями, нарядами, разбитыми в пыль племенами и крепостями.

Так Муза, легкий друг Мечты,  
К пределам Азии летала  
И для венка себе срывала  
Кавказа дикие цветы.  
Ее пленял наряд суровый  
Племен, возросших на войне,

И часто в сей одежде новой  
Волшебница являлась мне...

Пушкин любил рядиться в чужие костюмы и на улице, и в стихах. «Вот уж смотришь – Пушкин серб или молдаван, а одежду ему давали знакомые дамы... В другой раз смотришь – уже Пушкин турок, уже Пушкин жид, так и разговаривает, как жид». Эти девичьи воспоминания о кишиневских проделках поэта могли бы сойти за литературоведческое исследование. «Переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим языкам» – таков русский язык в определении Пушкина, таков и сам Пушкин, умевший по-свойски войти в любые мысли и речи. Компанейский, на короткой ноге с целым светом, уживчивый и терпимый «даже иногда с излишеством», он, по свидетельству знакомых, равно охотно болтал с дураками и умниками, с подлецами и пошляками. Общительность его не знала границ. «У всякого есть ум, – настаивал Пушкин, – мне не скучно ни с кем, начиная с будочника и до царя». «Иногда с лакеями беседовал», – добавляет уважительно старушка А.О.Смирнова-Россет.

...И гад морских подводный ход,  
И дольней лозы прозябанье.

Все темы ему были доступны, как женщины, и, перебегая по ним, он застолбил проезды для русской словесности на столетия вперед. Куда ни сунемся – всюду Пушкин, что объясняется не столько воздействием его гения на другие таланты, сколько отсутствием в мире мотивов, им ранее не затронутых. Просто Пушкин за всех успел обо всем написать.

В результате он стал российским Вергилием и в этой роли гда-учителя сопровождает нас, в какую бы сторону истории, культуры и жизни мы не направились. Гуляя сегодня с Пушкиным, ты встретишь и себя самого.

...Я, нос себе зажав, отворотил лицо,  
Но мудрый вождь тащил меня все дале, дале –  
И, камень приподняв за медное кольцо,  
Сошли мы вниз – и я узрел себя в подвале.

23–24 ноября.



Мне ужасно понравилось то, что ты рассказываешь о Примаченке\* в 42-м номере, на днях все же полученном (и весь этот ряд, таким образом, восстановлен), и надо, чтобы этот рассказ отразился в работе, не пропав среди пестрого материала, более чтобы крупно, целостно и развернуто велась речь о самом существенном. И тут ударный момент – фольклор и какое она к нему имеет *прямое* отношение. И тогда все вынесенные тобою из бесед удивительные подробности – про ее страхи, про войну, про неблагоприятное самоощущение живописи, которая побаивается собственной силы и, считая себя недостойным, немного греховодным занятием, старается переключиться с черной магии на белую, но вместо этого, что-то утрачивая, становится просто декоративным искусством, – очень пригодятся и встанут на место.

Изготовление идолов и другие заклинания стали предосудительным делом с упрочением христианства, и фольклор мало-помалу ушел в развлечения и украшения, предавшись невинной и бесполезной фантазии, чистой игре искусства, явно не рассчитанного на что-то серьезное и полностью ставшего, увы, прикладным – так, цветочки, маляры, тусски, скоморошество, пусяки, салазки; либо подспудно, втайне, полуосознанно продолжал заниматься старым ремеслом – колдовством, устраиваясь где-то на отшибе, в подклетьях и в омутах народного творчества. К последнему явлению принадлежит Примаченко, и в этом ее обособленность, уникальность, разительная индивидуальность, заставляющая иных толкователей выводить ее за рамки фольклора, невольно связанного в современном сознании с чем-то довольно безликим, веселым и второсортным. В действительности же это фольклор, но только не мертвый, а живой – в его изначальном, серьезном значении, из ликвидированной Бог знает когда языческой старины, не просто верившей в леших (все верят), но поклонявшейся домовому как богу и оставшейся впоследствии в глубине души верной этому уже бесовскому действию и поэтому сознающей свою виновность и недозволенность.

В устной словесности еще существуют подобные реликты (заговоры), а в народной живописи мы не встретим сейчас ничего подобного, разве что у дикарей и шаманов. У Примаченки имеется, несомненно, чувство тотема и табу. (Между прочим, была у нас когда-то тоненькая книжка З.Фрейда «Тотем и табу», весь-

ма содержательная, но она, кажется, потерялась или валяется у Ветки\*, но если бы отыскался мой конспект этой книги – где-то среди очень старых тетрадок, прежде набитых в посудном шкафчике, – или бы у тебя случилось время посмотреть ее в Ленинке, там бы ты нашла для себя полезное, и в данном сочетании психоза с язычеством Фрейд окажется не таким уж долдоном.) Примаченко доходит до истоков и позволяет понять, что язычество не столь уж милая и светлая вера, какой его нынче представляют иные дяди, именующие себя язычниками в знак своей склонности к удовольствиям. Аналогии Примаченке надо искать где-нибудь в Африке, у индейцев, насылающих порчу (месяца два-полтора назад в «За рубежом» была статеечка про дикарских колдунов, так они там выкомаривают чорт-те что, например, выясняя, кто вор, всем племенем лопают яд, и всем ничего, а виновный в корчах издыхает, – жуткая темнота и нечисть, по сравнению с которыми средневековая мистика кажется мирным позитивизмом).

Не забудем, что бесы в иконах изображались в профиль, чтобы своим прямым взглядом не повредить прихожанам. А Примаченко своих зверюшек раскрашивает...

Лишенное конкретной утилитарной наделенности, в ней тем не менее живет и здравствует то первобытное отношение к образу, когда, чтобы убить бизона, нужно было предварительно нарисовать, как это делается.

Ей близка печаль одержимых, понимающих, что их способность не награда, а род недуга. Надо бы дать почувствовать, что она совсем не «рука мастера» (точнее – это уже вторичное), а ею владеют руки искусства (назовем их так хотя бы), и потому она не ведает, что творит, понимая лишь смутно, что творится над нею что-то неладное и не она выбирала, а так случилось, поэтому, люди, не вините.

По поводу 41-го года\* в ее восприятии – не устаю восторгаться, ведь это же дернул цепочку, и дом обвалился – вот оно, чувство ответственности художника за свой образ, обладающий силой предсказывать и вызывать, и драма автора, сознающего, что он наделал, но не имеющего возможности исправить, раз ему велено и дано, а не сам же взял и придумал.

Словом, Машечка, я тебя горячо целую со всеми этими наход-

ками и уповаю, что в твоей Примаченке прозвонят кардинальные темы.

Между прочим, в один момент, когда пишу это, вдруг слышу тихо напевающий голос: «но извела его проклятая больница», и тот же самый быстрый мотивчик, и все прочее – точная копия.

*25 ноября.*

Все больше и больше мне нравится лагерная зима. Во-первых, впереди лето, а значит, есть перспектива. Во-вторых, топят печи, и воздух в секции стал значительно чище, и дрова уютно потрескивают, навевая видения. Это не считая снега, изморози и прочих воздушных созерцаний.

Душа глубже, душе глубже – под бушлатом.

*26 ноября 1967.*

А я получил от тебя телеграмму и два маленьких письма. Телеграмма ужасно трогательная и поддерживающая в жизни. Только я не знаю – почему она? Или к тебе пришло, наконец, мое долгое письмо?.. <...>

О моей работе не надо никого просить. В плохом положении я последнее время нашел ряд преимуществ. Одно из них в том, что по крайней мере меня труднее упрекнуть, что хорошо устроился. Есть и другие положительные стороны. Я также думаю, что, когда поедешь на общее свидание, не проси о передаче. Так – захвати на случай перекусить, если вдруг повезет. А передачу не захватывай. <...>

*26 ноября.*

На дворе настоящий мороз и очень красиво, а я надел валенки и ватные брюки, и мне тепло, а письма от тебя опять не идут, что в такой холод совсем уж несправедливо.

Последнее время опять очень утешает Пушкин. Я его особенно не перечитываю, а просто всплывают в уме разные строчки, и, взглядываясь в них, замечаешь вдруг что-то неслыханное. Поэтому и тебя сейчас Пушкиным кормлю в ожидании твоих писем и пережидании длинной зимы. Только допустил в конспектах о нем глупое противоречие, которое надо устранить, и ты, будь добра,

исправь одну фразу обязательно – из старого места, где речь шла о лени как разновидности смирения и доверия. Было написано что-то вроде: «Расчетливый, все рассчитав, спотыкается и падает, не вызывая нашей жалости, потому что...» Так вот, вместо «не вызывая нашей жалости» – надо: «ничего не понимая» (потому что потом я как раз буду говорить, что у Пушкина любой вызывает жалость). Раз уж зашло о поправках, то немножко выше этого места: «Ленивому безотчетно везет», лучше: «Ленивому необъяснимо везет». А подальше этих мест (в смысле – ниже) хорошо бы снять цитату из Пушкина: «В размеры стройные стекались Мои послушные слова И звонкой рифмой замыкались». Она – мешает.

А теперь пойдем дальше, хоть это уже будет второй раз в одном письме, но что поделаешь?

Больше всего в людях Пушкин ценил благоволение. Об этом он говорил за несколько дней до смерти – вместе с близкой ему темой судьбы, об этом писал в рецензии на книгу Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека» (1836 г.).

«Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах и, получив свободу, издал свои записки. Изумление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью, – прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства».

В «ненарушимой благосклонности во всем и ко всему» рецензент усматривал «тайну прекрасной души, тайну человека-христианина» и причислял своего автора к тем избранным душам, «которых Ангел Господний приветствовал именем *человеков благоволения*».

Был ли Пушкин сим избранным? Наверное, был – на иной манер.

В соприкосновении с пушкинской речью нас охватывает атмосфера благосклонности, как бы по-тихому источаемая словами и заставляющая вещи открыться и воскликнуть: «я – здесь!» Пушкин чаще всего любит то, о чем пишет, а так как он писал обо всем, трудно выбрать в мире более доброжелательного писателя. Его общительность и отзывчивость, его доверие и слияние с промыслом либо вызваны благоволением, либо выводят это чувство из глубин души на волю с той же святой простотой, с какой посылается свет на землю – равно для праведных и грешных. По-

этому Пушкин и вхож повсюду, как самый лучший друг. Он приветлив к изображаемому, и оно к нему льнет.

Возьмем достаточно популярные строчки и посмотрим, в чем соль. Они звучат как «с добрым утром!».

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,  
На дровнях обновляет путь...

(Какой триумф по ничтожному поводу!)

Что ты ржешь, мой конь ретивый?..

(Ну как тут коню не откликнуться и не заговорить человеческим голосом?!)

Мой дядя самых честных правил...

(Под влиянием этого дяди, отходная которому читается тоном здравицы, у вечно меланхоличного Лермонтова появилось единственное бодрое стихотворение «Бородино»: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...»)

Тиха украинская ночь...

(А звучит восклицательно, – а почему? – да потому, что Пушкин это ей вменяет в заслугу и награждает медалью «тиха» с таким же добрым торжеством, как восхищался достатком героя: «Богат и славен Кочубей», словно все прочие ночи плохи, а вот украинская – тиха, слышите, на весь мир объявляю: «Тиха украинская ночь!»)

Прибежали в избу дети,  
Второпях зовут отца...

(Под этот припев отплясывали, позабыв об утопленнике. Вообще у Пушкина все начинается с праздничного колокольного звона, а заканчивается под сурдинку...)

С Богом, в дальнюю дорогу!  
Путь найдешь ты, слава Богу.

Светит месяц; ночь ясна;  
Чарка выпита до дна.

(Ничего себе – «Похоронная песня»! О самом печальном или ужасном он норовит сказать тост –)

Итак, – хвала тебе, Чума!..

Пушкин не жаловал официальную оду, но, сменив пластинку, какой-то частью души оставался одописцем. Только теперь он писал оды в честь чернильницы, на встречу осени, пусть шуточные, смешливые, а все же исполненные похвалы. «Пою приятеля молодого и множество его причуд», – валял он дурака в «Онегине», давая понять, что не такой он отсталый, а между тем воспел и приятеля, и весь его мелочный туалет. Прочнее многих современников Пушкин сохранял за собою антураж и титул певца, стоящего на страже интересов привилегированного предмета. Однако эти привилегии воспевались им не в форме высокопарного славословия, затмевающего предмет разговора пиитическим красноречием, но в виде нежной восприимчивости к личным свойствам обожаемой вещи, так что она, купаясь в славе, не теряла реальных признаков, а лишь становилась более ясной и, значит, более притягательной. Вещи выглядят у Пушкина как золотое яблочко на серебряном блюде. Будто каждой из них сказано:

Мороз и солнце; день чудесный!  
Еще ты дремлешь, друг прелестный –  
Пора, красавица, проснись:  
Открой сомкнуты негой взоры  
Навстречу северной Авроры,  
Звездою севера явись!

И они – являются.

«Нет истины, где нет любви» – это правило в устах Пушкина помимо прочего означало, что истинная объективность достигается нашим сердечным и умственным расположением, что, любя, мы переносимся в дорогое существо и, проникшись им, вернее постигаем его природу. Нравственность, не подозревая о том, иг-

рает на руку художнику. Но в итоге ему подчас приходится любить негодяев.

Вслед за Пушкиным мы настолько погружаемся в муки Сальери, что готовы, подобно последнему, усомниться в достоинствах Моцарта, и лишь совершаемое на наших глазах беспрецедентное злодеяние восстанавливает справедливость и заставляет ужаснуться тому, кто только что своей казуистикой едва нас не вовлек в соучастники. В целях полного равновесия (не слишком беспокоясь за Моцарта, находящегося с ним в родстве) автор с широтой творца дает фору Сальери и, поставив на первое место, в открытую мирволит убийце и демонстрирует его сердце с симпатией и состраданием.

Драматический поэт – требовал Пушкин – должен быть беспристрастным, как судьба. Но это верно в пределах целого, взятого в скобки, произведения, а пока тянется действие, он пристрастен к каждому шагу и печется попеременно то об одной, то о другой стороне, так что нам не всегда известно, кого следует предпочесть: под пушкинское поддакивание мы успели подружиться с обеими непримиримыми сторонами. Царь и Евгений в «Медном всаднике», отец и сын в «Скупом рыцаре», отец и дочь в «Станционном смотрителе», граф и Сильвио в «Выстреле» – и мы пугаемся и трудимся, доискиваясь, к кому же благоволит покладистый автор. А он благоволит ко всем.

Перестрелка за холмами;  
Смотрит лагерь их и наш;  
На холме пред казаками  
Вьется красный делибаш.

А откуда смотрит Пушкин? Сразу с обеих сторон, из ихнего и из нашего лагеря? Или, быть может, сверху, сбоку, откуда-то с третьей точки, равно удаленной от «них» и от «нас»? Во всяком случае он подыгрывает и нашим, и вашим с таким аппетитом («Эй, казак! не рвися к бою», «Делибаш! не суйся к лаве»), будто науськивает их поскорее проверить в деле равные силы. Ну и, конечно, удалцы не выдерживают и несутся навстречу друг другу.

Мчатся, сшиблись в общем крике...  
Посмотрите! каковы?

Делибаш уже на пике,  
А казак без головы.

Нет, каков автор! Он словно бы для очистки совести фыркает: – я же предупреджал! – и наслаждается потехой, и весело потирает руки: есть условия для работы.

Как бы в этих обстоятельствах вел себя Сильвио Пеллико? Должно, молился бы за обоих – не убивайте, а коль убили – так за души, обогранные кровью. Пушкин тоже молится – за то, чтобы одолели оба партнера.

Осуществись молитва Пеллико – действительность в ее нынешнем образе исчезнет, история остановится, драчуны обнимутся и всему наступит конец. Пушкинская молитва идет на потребу миру – такому, каков он есть, и состоит в пожелании ему долгих лет, доброго здоровья, боевых успехов и личного счастья. Пусть солдат воюет, царь царствует, женщина любит, монах постится, а Пушкин, пусть Пушкин на все это смотрит, обо всем этом пишет, радея за всех и воодушевляя каждого.

Бог помочь вам, друзья мои,  
В заботах жизни, царской службы,  
И на пирах разгульной дружбы,  
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,  
И в бурях, и в житейском горе,  
В краю чужом, в пустынном море  
И в мрачных пропастях земли!

Вероятно, никогда столько сочувствия людям не изливалось разом в одном – таком маленьком – стихотворении. Плакать хочется – до того Пушкин хорош. Но давайте на минуту представим в менее иносказательном виде и «мрачные пропасти земли», и «заботы царской службы». В пропастях, как всем понятно, тогда мытарствовали декабристы. Ну, а в службу царю входило эти пропасти укреплять. Что ж получается, Пушкин желает и тем и другим скорейшей удачи? Узнику – милость, беглому – лес, царский слуга – лови и казни. Так, что ли?! Да (со вздохом) – так.



Не мы ли здесь вчера скакали,  
Не мы ли яростно топтали,  
Усердной местию горя,  
Лихих изменников царя?

Это писалось на другой день после 14 декабря – одновременно с ободряющим посланием в Сибирь. Живописуя молодого опричника, Пушкин мимоходом и ему посочувствовал – заодно с его печальными жертвами. Уж очень славный попался опричник – жаль было без рубля отпускать...

*1 декабря.*

Очень я по тебе соскучился, моя родная Машечка, пока все это писал, а прерываться на полуслове не хотелось, и когда остановился – смотрю, уже декабрь на дворе, но с письмами от тебя негусто, но я тебя все равно люблю.

Про Егорушкину отвычивость, я думаю, – это в какой-то мере неизбежно, и бывает, маленькие дети больше любят свою глупую няньку, чем умных родителей, потому что постоянно с ней сидят, и приживаются, как звери, почти к любому, кто подберет. А быть с кем-то рядом и не привязаться к тому всеми силами ребенок не может по извечной детской потребности – любить. Возможно, и бабушка с ним больше возится, и меньше других людей вокруг, рассеивающих внимание, что позволяет ему полнее и тверже сосредоточиться на ком-то одном. И обижаться на это не надо, не имеем права, и хотя это очень трудно, постарайся, когда поселитесь вместе, поменьше раздражаться на его новшества, даже для тебя плохие и грустные, потому что не хочется, чтобы после доброй бабушки появилась «злая мама», и перестройку проводить исподволь и постепенно, без рывков, которые очень ребенок чувствует и сжимается сердцем.

А сознательная любовь появится значительно позже, когда ребеночек начнет сравнивать, интересоваться и выбирать. Я, например, отца чуть ли не до пяти лет боялся и только, он являлся каким-то посторонним вмешательством в мою семью, а кроме того, отпугивали громкий голос, яркие волосы и резкость жестов, хотя он обычно бывал ласков и добр, но казался страшным.

Вообще дети в таком цветочном возрасте ужасно чуткие существа, и тут масса под- и надсознательных тонкостей, вроде, например, фантазий, что они подкидьши и найденыши, как это было у Бориса Леонидовича\* – и это при столь одаренных разносторонне родителей. Или непонятно откуда берущаяся детская злобность, на которую можно отвечать только добром. Ведь откуда берутся дети, мы просто не знаем, и что с ними было, и как это трудно, наверное, прижиться на новой земле, ничего не умея ни высказать, ни понять.

Ужасно мне жалко вас обоих, моих детишек, потому что и тебя в таковых держу и люблю, деля только на старших и младших, хотя к отцовству на тебе подмешалось и обратное чуть-чуть отношение, так что, прочтя «Береги себя...», я вздрогнул и обрадовался безмерно (Неужели! Неужели!) – в первый черед оттого, что это ты мне так подписалась, а уже потом остальное пришло на ум, и я тоже обрадовался, но уже меньше, чем тому, первому для меня – кто ты и как ты.

А все же больше девочка-дочка. И незнакомое прежде в таком качестве, здесь прорезавшееся и воспитавшееся некое чувство кровосмешения, не подберу другого слова, безо всякой патологии, а потому что совсем моя, с ручками, с ножками и с головкой, и что бы ни случилось – все мое, и, может быть, очень глубокое, древнее тут замешано, когда неизвестно, в каком виде и лесу мы с тобой обитали, и теперь все продолжаем, и голова тихонечко начинает кружиться, как тебя рядом представляю.

Не стану об этом сейчас философствовать, – поскольку то дело не ума, а больше чистого зоопарка, в котором понятнее жить, кормить, гулять и купаться, чем рассказывать рассуждения. Но я к тому, что мне бывает смешно и диковато слышать, когда ты норовишь отделиться: куда ты денешься от меня, раз не просто сроднились, а выяснили, кем мы друг другу нынче приходимся? И потом: видишь, мы опять имеем кой-какие шкварочки с наших несчастий.

И вот, мои дети и звери! Поздравляю вас – сначала с днем рождения Егора, а потом – старшенькой Маши! И обнимаю вас и целую во все устья и ручейки.

Вероятно, это письмо все же поспеет к Егоровой дате, а моему второму письму в этом месяце все равно никуда не поспеть.

Поэтому заранее беру вас на ручки и, поздравляя, объясняюсь в любви ко всем вместе и к каждому в отдельности. Будьте здоровы и умны.

Маша, Машенька, моя зеленоглазая девочка...

*3 декабря.*

Получил недавно письмо от Меньшутиных, и, несмотря на обычную беззаботную интонацию, чувствуется от всяких болезней и болезней какая-то неизбывная скудость и грусть, и ты хотя бы поздравь от меня и того и другую с их близкими именинками.

Еще получил – вот и ягодки – цветастую глупую размазню с расписыванием гостеприимных хозяев и в благодарности, которую я лично, право же, не заслужил и не расположен заслуживать впредь от лица, не имевшего ко мне отношения и в более удобной для того обстановке, и на кой мне чорт нужна вся эта самодеятельность? Не люблю я подобный способ промышленности, когда одалживаются без позволения, а после ласково благодарят и лезут в старые друзья на том основании, что – благодарны, ох, как я плююсь и ругаюсь.

Теперь – хорошо бы ты прислала мне немного 3-хкопеечных марок, чтобы я мог вам на Новый год и позднее, когда позволят, посылать поздравительные открытки, но открыток мне не надо, а вот бы марок десятка два. Игорю стоит повторить бандероли с промежутком дня в три-четыре, – конечно, лучше до Нового года. А тебя я очень прошу до приезда послать двухтомник Гете, если это еще не сделано. <...>

*4 декабря.*

То-то же: отросток. Ужасно люблю в тебе и эти слова, и такое качество. И радуюсь, точно вместе листал асмоловские рекламы\* пышнотелых красавиц во львах и будто видел своими глазами, читая тебя, по собиранию культуры, не образованности, культуры, вот достойные заботы, как часто путают с профессорами Пустозерск\*, о котором они пишут и где она живет, ближе к боли, чем к кафедре. Виктор Дмитрич\* – бестактный дурак, и такое бывает часто, к тому же, ты права, невежество, жена – телеграфируй, когда приедешь, отвечает – через пять лет. Я рад, что тросточки подтвердились\*, и счастлив, что ты у меня имеешься, как будто за па-

зухой сидишь, и мой сурок со мною, недавно играли по радио, и мне казалось, это о нас. Уже сумерки, тускловатое, сумерки второго дня отдыха, завтра на две недели в первую смену, не будет времени думать о Пушкине, и я старался в этом письме наверстать. <...>

За меня не беспокойся, я очень хорош, когда ты со мною, и люблю тебя, и люблю, и еще раз, и еще сильнее...

А.

5 декабря 1967.



**...что ты рассказываешь о Примаченке...** – В 42-м письме я писала Сивявскому: «...на этот раз я провела с Примаченко больше времени и много разговаривала и с ней, и с Федей (сыном), и с ее девочками-ученицами.

И все больше получается, что она сама не ведает, что творит и откуда что берется.

А флора и фауна не только в родстве, а в прямом единстве и вырастают друг из друга, прорастают листочками и выщериваются зубами. И все живое, и все едино, и она сама говорит, что каждый цветочек смотрит, и ему бывает больно, но и сам обидеть может, причем не в переносном смысле (роза с шипами), а в прямом, т.к. способен на активное действие. Можно было бы сказать, что всякая травинка (всякое дыхание) да хвалит, но опять-таки не получается, ибо время от времени проскальзывает у Примаченки мысль о греховности ее ремесла, о недозволенности этих занятий.

Например, мой киевский спутник спросил – не хотелось ли ей или не пробовала ли она обратиться к библейским сюжетам (явно желая подтянуть ее зверей к Апокалипсису, что было бы очень модно и потому заманчиво). Так она, бедняга, замахала руками и была шокирована, и замелькали у нее слова, что не смеет, и как можно?..

Вместе с тем – убежденность в *силе* картинки, в возможности наклеить картинкой беду. Сначала рука выводит чорта на листе, а потом уже он является.

Сейчас страшных зверей почти не рисует: боится войны. (До 41-го года шел сплошной bestiарий – и чем кончилось?) И упрямо колдует, сочиняя картинку одна другой радостнее: а вот вам еще один урожай! а вот еще одна свадьба! на тебе! «Киевским каштанам вечно цвести». И вся серия последнего года называется «На радость людям», а по цвету она – сплошное золото в лазури: много колосьев в небе.

И все это я не придумала, а только из ее высказываний. Каково тебе это?»

**...валяется у Ветки...** – Ветка – Елизавета Алексеевна Ефремова, филолог, журналист, однокурсница Синявского.

**По поводу 41-го года...** – Мария Примаченко говорила мне, что чувствует себя виноватой в том, что началась война: «Я рисовала чудовищ, и они пришли».

**...у Бориса Леонидовича...** – Б.Пастернак. Люди и положения.

**...асмоловские рекламы... ..тросточки подтвердились...** – Отзвуки нашей общей работы над статьей «На окраине искусства» для «Д.И.».

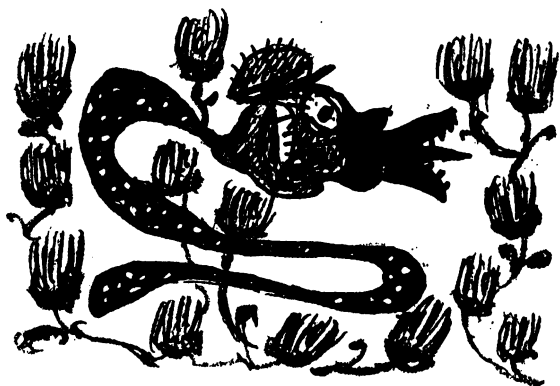
**...Пустозерск...** – Место заточения и казни протопопы Аввакума.

**Виктор Дмитрич...** – В.Д.Дувакин. Речь идет о том, что к 50-летию советской власти была объявлена амнистия и многие, в том числе доверчивый Дувакин, решили, что она коснется Синявского и Даниэля, хотя на самом деле «особо опасные» Синявский и Даниэль под нее не попадали.

Из моего письма Синявскому: «Еще я очень устала от неграмотных идиотов, которые не умеют читать и думать и которым приходится объяснять, что «особо опасные» – это не эмоциональная оценка, а точный юридический термин. Ведь почти ежедневно меня кто-нибудь поздравляет с праздничным подарком, а я долго и нудно объясняю, что подарков не было.

– Как же так, – сказал Виктор Дмитрич, – а мы здесь с девочками все точно подсчитали. Маша, вы не ошибаетесь?

– Нет, Виктор Дмитрич, я не ошибаюсь, – терпеливо уговариваю я, подавляя желание укусить ближнего. Да побольнее».



## ПИСЬМО СОРОК ТРЕТЬЕ

С Новым годом, мой детинец! И с новым счастьем!

Мне-то до Нового года еще далеко отсюда, а у вас, пока доеду с этим письмом, он уже, вероятно, находится позади, но впереди Рождество, и я с ним тоже вас целую и поздравляю. А про счастье я без иронии, потому что счастлив с вами и вы у меня непременно ходите в новом счастье.

Интересно знать, есть ли у вас Елка и какая она, и я все вспоминаю.

Еще радостно вострепнулся, услышав, что ты, Машечка, еще во мне не совсем разочаровалась, несмотря на мое нытье, а кое-что даже любишь и жаждешь, по сравнению с чем я еще больше и сильнее – тебя, и ужасно доволен таким твоим ко мне откровенным отношением и желаю, чтобы так всегда было, как ты пишешь, а я уж твой совсем, твой-твой – только что не дотянусь.

Егорушка на фотографии получился очень серьезным и добродушным, но я его в этом виде очень хорошо узнаю и понимаю.

А еще я недавно пересадила много твоих и несколько Егоровых копий в толстую-толстую и большую-большую тетрадь бухгалтерского типа, шитую самодельно из синей-синей бумаги и подаренную мне и выполняющую одновременно роль альбома, папки и подставки, на которой пишу в постели, и приятно, пописав, посмотреть на Машу в разных лицах и выражениях и писать дальше, помня все время, что ты под рукой, и можно всегда открыть и посмотреть, и от этого совместного пребывания мне интереснее жить, и думается лучше и дальше в таком твоём тихом присутствии.

Про карфагенство же в обратном значении писать нету сил,

до того это тяжело, а я тебе объяснял, да ты, должно быть, не усвоила или забыла, и, если хочешь, когда-нибудь потом еще расскажу, а сейчас писать не можется, подумать страшно, а не то чтобы писать, пощади... Я же тебя люблю.

*8 декабря.*

Интересно было бы писать перетекающей фразой, начатой в интонации одного человека, а кончаемой как бы другим, так чтобы она самим строением и развитием несла бы два лица, и они бы качались на ней, как на качелях, и увязывала бы и обнимала мир шире обыкновенных возможностей речи. Может быть, в этом приятность деепричастных наивностей, типа: «подъезжая к станции, у меня слетела шляпа»? Да и не в том ли задача фразы – связывать разные вещи, и не обязательно по прямой, а допустимо, чтобы ветвилась, как дерево, повинувшись своему росту и прихоти, а не только логике. Если, допустим, я иду к тебе, то, сказав вначале «я», почему бы тебе в конце не протянуть мне руки?..

Древнерусская литературная речь, возможно, была свободнее в синтаксическом отношении и легче допускала соединения оборотов, находящихся в разных планах и направлениях бытия (надо проверить). Идея сочленения букв и слов выражена в книжном орнаменте, который ведь не просто украшен, а весь увязан и перевит, и звери сцепились хвостиками, и люди наткнулись на сабли, связавшись в общую букву, и стебли растут друг из дружки, закручивая единую линию в растительный лабиринт, в котором ничто не прерывается, но продолжается и развивается, вызывая желание проследить всю эту цепь, то есть связать ее взглядом, – и все это так вяжется с орнаментальным узором начальных фраз, содержащих название и оглавление, и введение вместе и писанных крупными буквами со множеством ухищрений и сокращений, что в свой черед образует графическое витие, требующее расшифровки – прочтения. Тогда люди больше помнили о том, что, читая, мы складываем «аз» и «буки», и восхищались, что, читая, получается связная речь, и, упиваясь этим открытием, впадали в стилевую витиеватость, что так естественно для книжного языка, более связанного и продолжительного по сравнению с разговорным, что и получало дополнитель-

ное осознание, ударение в орнаменте. Раньше я думал, в нем словесные образы лезут, а теперь вижу, что сильнее лезет их речевая связь.

*10 декабря.*

А картинка с читающим Осипом\* хороша, и вообще с маленькими фигурочками (скоро зима) открывается возможность картинкам быть огромнее, патетичнее, сложнее и трогательнее. Как будто все мироздание сцена, на которой кувыркаются маленькие великие герои.

А глистам Егорыча я тоже в первый момент – странное дело – обрадовался, потому, наверное, что ими многое объясняется. Только все равно надо нам побыстрее от них избавиться.

А Туркова – Салтыкова\* я не читал, но с тобой тоже согласен.

А провинциализм Леси\* я подозревал, но уж очень советовали, вот я и написал на всякий случай, – и куда ж от него денешься, от провинциализма? Кругом одно и то же.

Как видишь из этих откликов, я сегодня получил твои новые письма. Вернее, одно новое – 56-е, а второе – старое – 51-е. Ну и ехало оно ко мне, сердешное, – 21 день, видать, мои волнения очень его замедлили. И видишь, как я на все твои детали сразу откликаюсь. А ты не всегда. И поэтому иногда бывает грустновато, хоть и понимаю, что ты затурканная и тебе трудно везде попеть. Но ничего, мы потом как-нибудь разберемся.

Тут, бывает, ерунда разрастается в целую проблему. Например, недавно потерял гребешок, и сразу напал ужас, чем и как я теперь стану расчесывать свою бороду, вдобавок так стихийно, на волю волн, пущенную последние месяцы? По счастью, один знакомый сжалился и отдал мне свою расческу. А то бы пришлось писать тебе и ждать, пока письмо дойдет и пока бандероль поедет; и сколько бы из этого получилось месяцев?

А вчера вечером внезапно пошел дождь, настоящий дождь посреди зимы, и стало очень скользко и плохо. А сегодня наладилось, и началась сильнейшая пурга февральского типа, и на душе от нее хорошо – даром что на улице сплошная белая жуть.

Никак не пойму: уже больше месяца у меня приподнятое настроение. И я все думаю-гадаю: откуда? почему оно хорошее, если обстоятельства сплошь плохи – и с работой плохо, и с куравом,



и с кофе, и уже очень давно плохо, и прочно плохо, а настроение все равно хорошее? Проснешься и посмотришь: приподнятое. Наверное, это снег влияет, неся в себе сказку. И потому даже весной нет такой новизны, как в снегопаде. Особенно в начале зимы, когда проснешься, а вокруг все белое и в голове кувыркаются чудеса детства: морские коньки, пила-рыба, электрический скат. И еще, помню, была такая рыба: рыба-молоток. Так прямо и называлась.

11 декабря.

Изучил полезную книгу древнерусского направления: Н.А.Казакова. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.; Л., 1960, – и нашел в ней несколько зернышек для «Земли и неба». Автор – Вассиан Косой (XVI в.), из нестяжателей, ученик Нила Сорского.

*Зернышко первое.* Словесная формула любой реформации: «...на првую духовную красоту и удобрение возвратится желаем...» Стр. 269. (Никто из них не хочет перемен ради нового, все заботы – «на првую».)

*Зернышко второе.* Церковный чин как отражение космического чина. Почему строгость устава, буквы, канона? – забота о неколебимости вселенской и нравственной основы, и консерватизм как идея, охватывающая в древнерусской концепции и географию, и космогонию (речь конкретно идет о том, почему не священники – хотя и монахи – не имеют права совершать церковную службу):

«Что есть украшающе поднебесную? Разве церковный чин – тое содержит небесная и земная чин мысленных, чин чювственных и чин убо содержащу всяческаа, и мир украшен, и доброта всяческая недвижима. Рукоположения же неприемшеи священническия чины и возглашения предвосхищают – ни мир, ни благочестие единомысленно, но мятеж и безчиние приносят. Безчиние же и нелепота – в воздухе убо громове и на земли трусове, в мори потопления, во граде же и в доме же брань, в душах же грехы, а во церквах нестроение, еже не хранити степени церковныя». Стр. 330–331.

Это из произведения нестяжателей, которое не принадлежит Вассиану, но русского происхождения и называется «*Повесть зело полезна отца Нила*» (имеется в виду Нил Синайский (а не Нил Сорский)). Из той же повести:

*Зернышко третье.* Характер древнего пения – не для людей, отсутствие субъективного элемента, аскетизм в самой красоте. Речь идет о том, кто в храме присутствует, следя за поющими: «Жрѣтвенику бо ношью и днѣм неотступно предстоать аггели и ведят, иже с тѣсславием и гордостію и челоуекоугодием поющаго...». Стр. 338.

Мысли все это известные, но любопытные четкостью, найденностью словесной формулы, – как словечко «челоуекоугодием».

12 декабря.

Машенька, сердце мое! – что с ним и с тобою?! Сейчас получил твои болезненные письма в успокоительном тоне, к которому, боюсь, ты нарочно приспособилась, чтобы меня не волновать. Волнуй сколько угодно, только не более и береги себя, береги себя – твержу и твержу, и велю, и наказываю, и прошу изо всех сил – хранить тебя пуце всего не свете...

А писем пришло четыре, и все подряд, по № 60 включительно, что очень радостно и неожиданно: давно не было, чтобы так много и подряд.

А я свои обещания ничуть не беру обратно, и с чего ты взяла гамлетовские увлечения, ума не приложу – если ты перечитаешь мои письма более внимательно, то увидишь, как все на самом деле я понимаю, и поэтому я повторяться не стану, нечего на меня возводить напраслину.

То же и о недельной доступности и продолжительности иных интеллектуалок – не я сказал, а цитата, а я-то не ободряюсь, но курица не знает. И в шариковой ручке не виноват: выцыганил ее путем нудного и долгого попрошайничества, к которому цыгане вообще склонны, а ты мне сама говорила, что когда нечего дарить – можно, а мне в самом деле нечего – те две общие тетрадки, что ты прислала, я еще летом выдал, а неудобно бывает, мне же делают подарки. Вчера, например, по случаю моих именин подарили мне две книжки, а один из дарителей через неделю сам именинник – что я буду делать в ответ на его приглашение, просто не представляю. Поэтому и у тебя, в свою очередь, попрошайничаю, – какие-нибудь книжечки (хоть записные – только покрасивше, ведь не для себя) и прочие в этом роде пустяки, хотя мне стыдно, зная твое положение и физическое, и де-

нежное, и, может быть, к этому делу Лидию приспособить, поручив бандероли ей – как ты считаешь? – не думай, что я от этого стану тебя меньше ценить, а просто в целях удобства, потому что мне нужны действительно всякие мелочи, а тебе и так хватает, и я не обижаюсь и на забывашку тоже согласен, но неприятно мне просить подолгу всякую ерунду...

А вот Егора и взаправду придется греть и даже – первое время – баловать, и даже намеков на битые не должно быть, чтобы бабушка не оказалась права.

А про все твое сегодняшнее чириканье мне хочется, благодарно вздохнув, согласиться, что нам с тобой – даже сейчас – лучше, чем там многим другим. Только ты, пожалуйста, не болей, во-первых, и люби меня, во-вторых.

*14 декабря.*

«Странное смешение в этом великолепном создании!» – жаловался на Пушкина друг Пуцин. Он всегда был слишком широк для своих друзей. Общаясь со всеми, всем угождая, Пушкин каждому казался попеременно родным и чужим. Его переманивали, теребили, учили жить, ловили на слове, записывали в царедворцы, в якобинцы, в масоны, а он, по примеру прекрасных испанок, ухитрялся «с любовью набожность умильно сочетать, из-под мантильи знак условный подавать» и ускользал, как колобок, от дедушки и от бабушки.

Чей бы облик не принял Пушкин? С кем бы не нашел общий язык? «Не дай мне Бог сойти с ума», – открещивался он для того лишь, чтобы лучше представить себя в положении сумасшедшего. Он, умевший в лице Гринева и воевать и дружить с Пугачевым, сумел войти на цыпочках в годами не мытую совесть ката и удалился восвояси с добрым словом за пазухой.

«Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», – повторяли мне губители, может быть, и вправду желая меня ободрить».

Сколько застенчивости, такта, иронии, надежды и грубого здоровья – в этом коротеньком «не бось»! Такое не придумаешь. Такое можно пережить, подслушать в роковую минуту, либо схватить, как Пушкин, – помощью вдохновенья. Оно, кстати, согласно его взглядам, есть в первую очередь «расположение души к живейшему принятию впечатлений».

Расположение – к принятию. Приятельство, приятность. Расположенность к первому встречному, ко всему, что Господь ниспошлет. Ниспошлет – расположенность – благосклонность – покой – и гостеприимство всей этой тишины – вдохновение...

Хуже всех отозвался о Пушкине директор лицея Е.А.Энгельгардт. Хуже всех – потому что его отзыв не лишен пронизательности, несмотря на обычное профессиональное недомыслие. Но если, допустим, фразы о том, что Пушкину главное в жизни «блестеть», что у него «совершенно поверхностный, французский ум», отнести за счет педагогической ограниченности, то все же местами характеристика знаменитого выпускника поражает пронзительной грустью и какой-то боязливой растерянностью перед этой уникальной и загадочной аномалией. О Пушкине, о нашем Пушкине пишется:

«Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце» (1816 г.).

Проще всего смеясь отмахнуться от напуганного директора: дескать, старый пень, Сальери, профукавший нового Моцарта, либерал и энгельгардт. Но, быть может, его смятение перед тем, «как никогда еще не бывало», достойно послужит прологом к огромности Пушкина, который и сам довольно охотно вздыхал над сердечной неполноценностью и пожирал пространства так, как если бы желал насытить свою пустующую утробу, требующую ни много ни мало – целый мир, не имея сил остановиться, не зная причины задерживаться на чем-то одном.

Пустота – содержимое Пушкина. Без нее он был бы не полон, его бы не было, как не бывает огня без воздуха, вдоха без выдоха. Ею прежде всего обеспечивалась восприимчивость поэта, подчинявшаяся обаянию любого каприза и колорита поглощаемой торопливо картины, что поздравительной открыткой влетает в глянец: натурально! точь-в-точь какие видим в жизни! Вспомним Гоголя, беспокойно, кошмарно занятого собою, рисовавшего все в превратном свете своего кривого носа. Пушкину не было о чем беспокоиться, Пушкин был достаточно пуст, чтобы видеть вещи как есть, не навязывая себя в произвольные фантазеры, но полнясь ими до краев и реагируя почти механически, «ревет ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог,

гремит ли гром, поет ли дева за холмом», – благосклонно и равнодушно.

Любя всех, он никого не любил, и «никого» давало свободу кивать налево и направо – что ни кивок, то клятва в верности, беспрецедентное свидание. Пружина этих обращений закручена Пушкиным в Дон Гуане, вкладывающем всего себя (много ль надо, коли нечего вкладывать?) в каждую новую страсть – с готовностью перерождаться по подобию соблазняемого лица, так что в каждый данный момент наш изменник правдив и искренен, в соответствии с происшедшей в нем разительной переменой. Он тем исправнее и правдивее поглощает чужую душу, что ему не хватает своей начинки, что для него уподобления суть образ жизни и пропитания. Вот на наших глазах развратник расцветает тюльпаном невинности – это он высосал кровь добродетельной Доны Анны, напился, пропитался ею и, вдохновившись, говорит:

...Так, разврата  
Я долго был покорный ученик,  
Но с той поры, как вас увидел я,  
Мне кажется, я весь переродился.  
Вас полюбя, люблю я добродетель  
И в первый раз смиренно перед ней  
Дрожащие колена преклоняю.

Верьте, верьте – на самом деле страсть обратила Гуана в ангела, Пушкина – в пушкинское творение. Но не очень-то увлекайтесь: перед нами – вурдалак.

В столь повышенной восприимчивости таилось что-то вампирическое. Потому-то пушкинский образ так лоснится вечной молодостью, свежей кровью, крепким румянцем, потому-то с неслыханной силой явлено в нем настоящее время: вся полнота бытия вместилась в один момент переливания крови встречных жертв в порожнюю тару того, кто в сущности никем не является, ничего не помнит, не любит, а лишь, наливаясь, твердит мгновению: «ты прекрасно! (ты полно крови!) остановись!» – пока не отвалится.

На закидоны Доны Анны, сколько птичек в Гуановом списке, тот с достоинством возражает: «Ни одной доньине из них я не любил», – и ничуть не лицемерит: все исчезло в момент охоты, кроме полноты и правды переживаемого мгновения, оно одно лишь существует, оно

сосет, оно довлеет само себе, воспринимая заветный образ, оно пройдет, и некто скажет, потягиваясь, подводя итоги с пустой зевотой:

На жертву прихоти моей  
Гляжу, упившись наслаждением,  
С неодолимым отвращеньем:  
Так безрасчетный дуралей,  
Вотще решаешь на злое дело,  
Зарезав нищего в лесу,  
Бранит ободранное тело...

Скорее в путь, до новой встречи, до новой пищи уму и сердцу, – «мчатся тучи, вьются тучи» (невидимкою луна)...

*17 декабря.*

Странно, что пока еще ни разу мне не снились стулья, как не снились вагонки, что, казалось бы, одним своим количеством должны были все затопить, и вот ничего этого нет, напротив, снятся веселые вещи и снишься ты...

Времени совсем мало, даже думать, одни обрывки. Почему, например, мы боимся мышей и тараканов? Не потому ли, что мыши – когда слышны, не видны, а когда видны, не слышны, и это отсутствие, сопровождающее их появление, наводит страх?

В тараканах же к бесшумности прибавляется холод трупа, и если представить сочетание – шерсть мышья, а температура тараканья, то оно так отвратительно, что даже думать противно.

А ты знаешь, моя теория о том, что в нашем Георгии\* дракончик нарочно написан с брезгливой небрежностью и определенно недоделан, не прописан как следует, – все-таки подтверждается тем суждением, что в древнерусском искусстве самые необходимые упоминания и изображения подобных персонажей строго лимитировались, чтобы их не привлечь ненароком в живом виде. Даже в чтении житий старались как-то не выговаривать отчетливо нехорошее имя, почти что пропускать его мимо языка и ушей.

А тебя я люблю, и ты не забывай об этом, помни всегда и думай всегда, как я тебя люблю.

*18 декабря.*

В книге «*Очерки московской жизни*», М., 1963, – мне встретилось несколько сладких цитат о вывесках в 19-м веке, которые могут тебе пригодиться.

*Первая* из очерка: *И.Т.Кокорев*. Публикации и вывески (впервые и полностью опубликована в журнале «Москвитянин», 1850, январь-февраль, № 2–3):

«Кузнецкий мост! Тверская, Никольская, Ильинка – какое зрелище пред очи представляете вы? Домище на домище, дверь на двери, окно на окне, и все это, от низу до верху, усеяно вывесками, покрыто ими, как обоями. Вывеска цепляется за вывеску, одна теснит другую; гигантский вызолоченный сапог горделиво высится над двухаршинным кренделем; окорок ветчины красуется против телескопа; ключ в полпуда весом присоединился бок о бок с исполинскими ножницами, седлом, сделанным по мерке Бовы-королевича, и перчаткой, в которую влезет дюжина рук; виноградная гроздь красноречиво довершает эффект «Торговли российских и иностранных вин, роуми и водок».

Это вывески натуральные, осязательно представляющие предметы; а вот богатая коллекция вывесок-картин: ... различные группы изящно костюмированных кавалеров образуют из себя фамилию знаменитостей портного дела; ряд бутылок, из которых бьет фонтан пенистого напитка, с надписью «эко пиво!» приглашает к себе жаждущих прохлады; Везувий в полном разгаре извержения коптит колбасы; конфеты и разные сласти сыплются из рога изобилия в руки малюток, а летящая слава трубит известность кондитерской; ярославец на отлете несет поднос с чайным прибором; любители гимнастики упражняют свои силы в катании шаров по зеленому полю...». Стр. 250–251.

*Вторая* – описание *рококошной* вывески – *Ф.А.Гильяров*. Поддевичье.

«Прежде в нашем соседстве на Плющихе в цирюльне на вывеске изображена даже была так целая картина: молодая дама или девица в белом подвенечном платье, с гирляндой цветов на голове, с длиннейшим тюлевым вуалем, декольте, сидит на кресле; около нее, изогнувшись в три погибели, стоит кавалер в белом галстуке, в открытом жилете, с «манишкой», во фраке, с хрустальной вазой в руке, куда высокой и крутой дугой бьет кровь из обнаженного ручного сгиба этой особы в декольте, на что сама дама смотрит с улыбкой неизреченного удовольствия» <...>. Стр. 323.

Пока переписывал тебе первую цитату, в голову пришло, что эта действительность, утыканная вывесками, должна была казаться современникам необыкновенно реальной, гораздо более вечной и прочной, чем она оказалась на самом деле, так что они бы, наверное, очень удивились, увидав, что ее нет.

Там, в 19-м веке, уж очень крепок был внешний, видимый покров явлений, располагая к охоте устраиваться всерьез и надолго. Реализм, как художественное течение, не мало зависел от этого ощущения густой материальной «среды», в которой он жил и которой, представлялось, все исчерпывается. Просвечивающую действительность тогда можно было подсмотреть лишь на задворках, с черного хода, откуда и пошел Достоевский.

А еще одну маленькую цитату мне захотелось тебе подарить на Новый год. Это из *Батюшкова* – «Прогулка по Москве», которая была б изумительной – будь в ней таких фраз поболее, но она одна: *«Пруды украшают город и делают прелестное гулянье».*

Речь идет о Пресне 1811 года, а мне почему-то в ней мелькаешь ты, моя девочка.

Не хочется перебивать аромат этой фразы...<sup>1</sup>

19 декабря.

Трудно думать наперед про то, как ты уже уехала, когда еще никак не приедешь... У меня дни перед свиданием тянутся гораздо длиннее, чем после него. Просто ужас, как долго тебя нет.

Стоят большие морозы, которые я переносу хорошо.

И сколько тебе еще ждать, родная, моего следующего письма?! Но ты не очень волнуйся: я уверен, что после свидания буду любить тебя еще сильнее.

А почему ты не рассказываешь про книгу, мне подаренную, – о взаимных связях в древнерусском искусстве-литературе? Хотя бы оглавление. А чудо в Хонех?

Прочитал твоё описание, как падает снег на крыши, и умилился тому, до чего ты меня любишь.

Вот и умница.

А.

20 декабря 1967.

---

<sup>1</sup> ...и потому я в сноске добавлю, что у Батюшкова о старой Москве еще сказано: «Здесь всякий может дурачиться, как хочет, жить и умереть чудачком».





**...картинка с читающим Осипом...** – Одна из картинок А.Петрова, украшавшая мое письмо. Осип – спаниель Осичка.

**...Туркова – Салтыкова...** – А.М.Турков. Салтыков-Щедрин (серия «Жизнь замечательных людей»). М., 1966.

**...провинциализм Леси...** – В связи с работой над Примаченко я прилежно читала Лесю Украинку и Коцюбинского.

**...в нашем Георгии...** – «Чудо Георгия о змие», икона XIV века, привезенная нами с верховьев Пинеги, где ею было закрыто амбарное окно. Сейчас – в Британском музее.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Лазарь. Флейшман. Мужское письмо.</i> . . . . .	5
<i>Мария Розанова. Несколько слов от адресата этих писем</i> . . . . .	13

## 1966

Письмо первое. . . . .	21
Письмо второе. . . . .	25
Письмо третье. . . . .	28
Письмо четвертое. . . . .	36
Письмо пятое. . . . .	43
Письмо шестое. . . . .	51
Письмо седьмое. . . . .	62
Письмо восьмое. . . . .	72
Письмо девятое. . . . .	82
Письмо десятое. . . . .	94
Письмо одиннадцатое. . . . .	106
Письмо двенадцатое. . . . .	115
Письмо тринадцатое. . . . .	127
Письмо четырнадцатое. . . . .	139
Письмо пятнадцатое. . . . .	154
Письмо шестнадцатое. . . . .	165
Письмо семнадцатое. . . . .	176
Письмо восемнадцатое. . . . .	189
Письмо девятнадцатое. . . . .	199
Письмо двадцатое. . . . .	210

## 1967

Письмо двадцать первое . . . . .	221
Письмо двадцать второе . . . . .	229
Письмо двадцать третье . . . . .	237
Письмо двадцать четвертое . . . . .	247
Письмо двадцать пятое . . . . .	256
Письмо двадцать шестое . . . . .	266
Письмо двадцать седьмое . . . . .	276
Письмо двадцать восьмое . . . . .	286
Письмо двадцать девятое . . . . .	296
Письмо тридцатое . . . . .	305
Письмо тридцать первое . . . . .	312
Письмо тридцать второе . . . . .	324
Письмо тридцать третье . . . . .	334
Письмо тридцать четвертое . . . . .	345
Письмо тридцать пятое . . . . .	355
Письмо тридцать шестое . . . . .	365
Письмо тридцать седьмое . . . . .	375
Письмо тридцать восьмое . . . . .	387
Письмо тридцать девятое . . . . .	397
Письмо сороковое . . . . .	408
Письмо сорок первое . . . . .	419
Письмо сорок второе . . . . .	434
Письмо сорок третье . . . . .	450

**Синявский Андрей Донатович**

**127 ПИСЕМ О ЛЮБВИ**

**В трех томах**

**ТОМ 1**

Редакторы *И. Парина, В. Кочетов*

Корректор *Л. Кочетова*

Компьютерная верстка *Г. Егорова*

ИД № 03974 от 12.02.01 г.

Подписано в печать 21.08.04. Формат 60x84/16  
Печать офсетная. Гарнитура «NewBaskervilleС»  
Усл.-печ. л. 24,36. Тираж 1500 экз. Заказ № 4116.

Издательство «АГРАФ»  
129344, Москва,  
Енисейская ул., д. 2, стр. 2  
e-mail: [agraf.ltd@ru.net](mailto:agraf.ltd@ru.net)  
<http://www.ru.net/~agraf.ltd>

Отпечатано в полном соответствии  
с качеством предоставленных диапозитивов  
на ОАО «Дом печати-ВЯТКА»  
610033, г. Киров, Московская ул., 122

ISBN 5-7784-0293-7



9 785778 402935 >



17 февраля ±1

18 февраля 81

25 февраля

28 февраля 82

31 февраля 83

6 февраля 1961

10 марта

12-13 марта

14 марта

15 марта

17-18 марта

20 сентября 1967

22 января 1967

19 марта

20 апреля 1967

20 декабря 1967

14 ноября 1961

11 февраля

10 февраля

15

1967

23-24 февраля

20 марта 66-66

20 августа 1967

1 апреля

13 апреля

5 октября 1967

20 декабря 1967

18 апреля

19-20 ноября 1967

20 апреля

19 апреля

18 февраля

2 мая 1967

5 июля 1967

8 августа 1967

5 октября 1967

26 мая 1967

13-24 января

3-4 сентября

4-5 апреля 1967

14 июня 1967

20 октября

23-24 ноября 1967

29-2 мая

5 декабря 1967



